



**Дружба
народов**

4/2018



Дружба народов



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

*Основан
в марте 1939 года*

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

E-mail: dn52@mail.ru,
**http://magazines.russ.ru/
druzhiba/
LIVEJOURNAL:** [http://druzhiba-
narodov.livejournal.com/](http://druzhiba-narodov.livejournal.com/)

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaomprk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.02.2018.
Подписано в печать 22.03.2018.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отг. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 8134. Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Лев
АННИНСКИЙ
Ирина
ДОРОНИНА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ
Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид
НАГИМ

Захар
ПРИЛЕПИН

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

Александр
ЭБАНОИДЗЕ

ЭЛЬЧИН

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Олеся НИКОЛАЕВА. Вертеп. Стихи	3
Валерий БОЧКОВ. Возвращение в Эдем. Роман	8
Евгения БИЛЬЧЕНКО. Друг мой рай. Стихи	80
Владимир БЕРЕЗИН. Расцвет жизненных сил. Из будущей книги	84
Пётр МАТЮКОВ. Мойдодыр—2017. Стихи	138
Манана ДУМБАДЗЕ. Леди Макбет Капрованского района. Рассказ. С грузинского. Перевод Владимира Маловичко	142
Татьяна ПАНКРАТОВА. Господин из Сан-Франциско. Рассказ	154
Джасур ИСХАКОВ. Леди Гамильтон. Рассказ	164
Сюзанна КУЛЕШОВА. Мадлен. Рассказ	170
Алексей ИВАНОВ. Страсть и ярость. Из цикла «Сванские рассказы»	176
Заир АСИМ. Прохладный рассвет безмолвия. Стихи	179
Екатерина БАЛАНДИНА. Блеск и нищета куртизанов. Рассказ	181
Александр ВЕРГЕЛИС. Летучий голландец. Рассказ	183
Иван ВОЛОСЮК. Не при делах. Стихи	189
Александр ФЕДЕНКО. Муха. Рассказ	191
Евгений ШКЛОВСКИЙ. Обида. Из цикла «Доктор Крупов»	201
Майя ШВАРЦМАН. Под токованье птицам отдан сад. Стихи	207

Первые стихи

Санджар ЯНЫШЕВ. Сладкий ужас	210
------------------------------------	-----

Нация и мир

Сергей МАРКЕДОНОВ. Россия и постсоветские конфликты: стратегия или реагирование	214
--	-----

Публицистика

Василий КРЮКОВ. Путь слова	223
----------------------------------	-----

Дружба на вырост

«Школа диалога народов России: литература и жизнь»	234
--	-----

Критика

Елена ИВАНИЦКАЯ — Анатолий КОРОЛЁВ. Гибель бумаги. Диалог критика и писателя	252
---	-----

Литературный барометр

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Бишкек утопический, Алма-Ата ностальгическая	263
---	-----

Культурная хроника

Юрий ПОДПОРЕНКО. Альберт Гогугдзе: главное — быть самим собой	269
---	-----

Эхо

Фишка не шутка! Пушкин в помощь... Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ	270
--	-----

Summary	272
---------------	-----

Олеся Николаева

Вертеп

* * *

Провинциальная гостиница:
там все — торговец, мытарь, нелюдь.
Люд пришлый не спешит подвинуться,
чтоб странников впустила челядь.
У всех — сердца до верха заняты:
желудочки, мешки предсердья,
забиты уши, очи залиты,
и сжаты губы от усердья.

Битком набито всё и заперто.
«Нет мест!» — из-за дверей хозяин.
Осёл почти свалился замертво.
Иосиф выше сил измаян.
Мария скрылась светлоликая
под плотным тёмным покрывалом.
И на пустыню безъязыкое
селенье облик поменяло...

Моё же сердце — место дикое:
здесь сумрачно, здесь ветры злее,
здесь бродит зверь, ночами рыкая,
здесь привидения и змеи.
Но путники изнеможённые
здесь опускаются на камни,
под эти своды обнажённые.
Как принимать мне их? Куда мне?

...О, сердце! Ты — вертеп таинственный,
срываешься на верхних нотах,
когда рождается Единственный
Младенец там, в твоих темнотах!
И что до ангельского пения,
звезды, волхвов и волхования,
когда Младенца дуновение
коснулось твоего дыханья...

Николаева Олеся Александровна — поэт, прозаик, эссеист. Окончила Литературный институт им.А.М.Горького. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе Национальной премии «Поэт» (2006), профессор Литературного института им.А.М.Горького. Постоянный автор «Дружбы народов». Живет в Переделкине.

* * *

Для чего был этот жар?
 Разве что сушить солому...
 Твой неоценённый дар
 будет передан другому.
 Сам Даритель не простит
 небрежения к подарку,
 вычеркнет, внесёт пометку,
 птица Сирин улетит.

Саламандра, догорев,
 обратится в пень без слуха,
 в прах и пепел, в тёмный гнев,
 падкий на кривизны духа.
 ...Сам завёл химер, завил,
 сам глядел в стекло кривое:
 не растил, морил, травил
 дарование живое.

Трепет гнал, как простеца,
 умиление бил, как муху...
 Лез повсюду без лица
 на рожон и в заваруху.

За тщеславный интерес
 потрошил прилюдно кукол,
 обносился, пооблез,
 прокутил, прожёл, профукал.

Что там голос говорит?
 Почему душа скучает?
 Или новый фаворит
 дар небесный получает?
 И на смотр к нему, на суд —
 реки потекут, и скалы,
 с места двинувшись, пойдут,
 грозы вытащат кимвалы.

Из потёмков вековых,
 как диких птиц,
 души мёртвых и живых
 изнутри начнут светиться.
 Расчехлят ветра гобой,
 вспыхнет небо в отдаленье,
 и раскроет пред тобой
 сокровенный лик творенье.

На смерть друга

С. С.

Земля скорбит и с ветром на паях
 поёт прощание шмелям и чёрным розам
 да всхлипнет вдруг...
 А у неё в друзьях
 лишь меланхолия с анабиозом.

И заразителен печальный этот вздох.
 День выдохся и сдулся, двинногивый.
 Конвой устал, и спёкся скоморох,
 и сдался муравей трудолюбивый.

И если даже знать, что мир-труд-май,
 что жизнь — борьба на рубеже эпохи,
 ты страсть к победе запихнёшь в сарай,
 потратишь дни на ахи и на охи.

Ты бродишь в снах, клубишься, как туман,
 и время вспять пытаешься подвинуть.
 Спроси: зачем земля себе в карман
 кладёт людей и забывает вынуть?

Знаки препинания

В публикации — авторская пунктуация:
полная инфляция запятых, точек, тире.
Азбука Морзе в ступоре, у капитана — прострация.
Навигация заводит корабль к чёрной дыре.

Пробует крикнуть, ан слиплись слова. Внимательный
юнга разгадывает по губам: багров, как варёный рак:
— Дайте ему вопросительный, дайте ему восклицательный,
дайте ему хоть какой-то небесный — знак!

В трюме полно воды, гаснет иллюминация.
Мёрзнет луна, и скорость равна нулю.
Рация сдохла. Только жестикуляция —
отчаянная — встречному кораблю.

Тот упакован с иголочки: шарм, интонация,
пафос, ирония, артикуляция, раж:
— Будем ли, братцы, спасать его, будем ли братья и
брать на буксир его или же на abordаж?

Или же — пусть его: сам себе, бацая, мацая,
все обесточил приборы, порвал провода
и уверяет, что это — такая новация:
верить в Ничто, зваться Некто и плыть в никуда.

Ничто

Скажи про то, что ты «Ничто» назвал.
Скажи, Ничто — безмыслие, безволие:
дыра без ткани, без пути — провал,
и без самой иглы — ушко иголье.

Оно готово жизнь пожрать, украсть
подсказки Промысла, скрыть музыку от слуха
и всунуть тайно головешку в пясть —
всю черноту несбывшегося духа.

Оно тебя предаст пустым словам,
мотивчику, сверлящему до свиста,
иронии с начинкой: пополам
смесь зависти с издёвкой мазохиста.

Оно поставит наблюдать воды
из крана капанье, и, добавляя перца,
все бытия приметы и следы
затапывать, вымарывать из сердца...

Похлеще кришнаита обернёт
материей, размножит средь репринтов:
ты двойников хоть задом наперёд
считай в огнях зеркальных лабиринтов.

Пока идёшь на этот лживый свет,
на зов, неважно чей: звезда то? меч то? —
Ничто тебя совсем сведёт на нет,
сведёт на нет, чтоб превратиться в Нечто.

Чуждый огонь

Чем холоднее и пустынное на сердце — тем верней навстречу
и желтоглазое уныние, и косоротое злоречье...
Идут, хромцы, сосредоточенно, угрюмы и неутомимы,
то рощами, то вдоль обочины, на вид — простые пилигримы.
Но в ком заметят червоточины, тех окружают, обнуляют,
и вид на жительство просроченный слюной на темя налепляют.

...Я знала тех, кто долго мыкался: то замирал кариатидой,
то лес валил, то в стены тыкался и кто не справился с обидой.
И стал кормить в себе томление, пока сквозь мысленную стужу
отчаянья и озлобления огонь не вырвался наружу.
Он тлел в подполье, злые жалобы шипели, лопааясь под спудом,
чтоб вспыхнуть вдруг: пора настала бы Надава вспомнить с Авиудом.

Как те страницы ни пролистывай, как голову ни прячь в тумане,
всё видишь их огонь неистовый, самих же попавший в стане.
...О, как бы жить, себя не мучая: ни власти не желать, ни славы,
изъять из сердца сны горючие и жароплавкие составы.
Из облака сине-зелёного торчат чадающие затылки.
Боюсь, по запаху палёного Творец найдет нас у коптилки.

* * *

Сквозь полночную Россию, рухнувшую на кровать, —
еду дочь Анастасию из полона выручать.
Дочь моя в плену исканий, подростковых холодов,
бунтов, комплексов, скитаний, расписаний поездов.

Отчего же отменили все ночные поезда?
Мёртвые автомобили мчатся, мчатся в никуда.
Нет билета, нет ответа, стук тревожный в колесе,
из бездонного кювета ужас лезет на шоссе.

Тьма безглаза и бескрайна, жизнь — как будто не своя,
словно ты попал случайно в области небытия,
словно снишься ты — кошмаром — грешнику: черным-черна
в грешных снах его недаром подноготная страна.

Лишь луна взглянёт совою одноглазой вдалеке,
человечьей головою обернётся руль в руке.
Залепляет ветровое снег стекло до слепоты,
юзом колеёй кривою тормози же у версты!

Здесь она — среди бездомных кошек, шавок, сквозняков,
среди бесплотных полчищ тёмных, сторожих, товарняков...
Никакой анестезии на пути — слезу утри —
к дочери Анастасии, к Царству Божьему внутри.

Музыка

Это сценки детства: солнце воду пьёт, —
папа молодой, берега родные,
птичка под моим окошком гнёздышко для деток вьёт...
Все картинки, все переводные.

Кто-то налепил их — ляп! — на сердце мне:
перевёл, потёр, снял лишнее, и в цвете
вся я в тех картиночках: в звёздах и луне.
Музыка застыла в золотой карете.

На весу в балете. Звук прилип к рожку.
Дверью в тёмный шкаф прикрыты злые вести.
А в лесу лисица своему божку
лестницу сплетает из волшбы и лести.

И когда средь мира я выставляю зонд,
как подлодка, высмотреть, место ль — не гнилое? —
из картинок этих мне раскрывает зонт
небо с мутным зеркальцем: вечное былое.

Я хожу и вслушиваюсь, обращаюсь вспять
и почти заглядываю за ограду рая:
вдруг оттуда музыка нам начнёт звучать,
словно струны, нас перебирая?

Валерий Бочков

Возвращение в Эдем

Роман

Часть первая

Вера

1

Шоссе дымилось. От асфальта шел пар. За двадцать минут я не встретил ни одной машины. Лес, тесно подступавший к самой обочине, вдруг оборвался, словно его обрезали. Ровно, как ножом. Стало светло, и тут же из тумана вылезли неопрятные холмы с остатками серого снега. За холмами, в мутном мороке, неуверенно угадывались горы.

Конец февраля обрушился на Вермонт ливнями тропической мощи. С Атлантики пер циклон, в Бостоне готовились к наводнению, а в Вашингтоне внезапно зацвели вишни. Мне было плевать на вишни и на Вашингтон: всю зиму я просидел тут, на даче, пытаюсь закончить книгу. Три морозных месяца в лесу, на берегу замерзшей реки. Считаю, без интернета и с полудохлой мобильной связью: телефон светился одним робким делением, да и то, если забраться на чердак и выставить мобильник в окно. Людей я не видел неделями, зато волки выли каждую ночь; снега навалило под самую крышу — бывали дни, когда я часами пытался расчистить тропинку, чтобы добраться до возделанного сарая с дровами. Температура падала до минус пятнадцати, что на русский вкус вроде бы пустяк, но это до поры, пока не переведешь местный Фаренгейт в родной Цельсий.

Шоссе покатило вниз. Туман стал совсем густым, он растекался по капоту, словно я по ошибке въехал в облако. Включил дворники, щетки с показным усердием

Валерий Бочков — прозаик, художник. Родился в Латвии. Вырос в Москве. Окончил художественно-графический факультет МГПИ. С 2000 года живет и работает в Вашингтоне. Член американского ПЕН-Клуба. Лауреат «Русской Премии» 2014 года в категории «Крупная проза» (роман «К югу от Вирджинии»).

Публикации в «ДН» — романы «Медовый рай» (2015, № 2), «Время воды» (2015, № 12) и «Коронация зверя» (2016, № 7).

Журнальный вариант.

принялись размазывать по стеклу слякоть. Из мути выплыл дорожный знак с издевательским ограничением скорости в пятьдесят миль. Мой джип делал от силы пятнадцать. Справа на обочине проступил щит с надписью «Удивительные антикварные товары». Под ним на живописной ржавой цепи висела внушительная стрелка, указывающая направо.

Я свернул, дальше поехал на ощупь — видимость была от силы метров пять. Путешествие внутри облака продолжалось. Почти интуитивно въехал на парковку, уткнулся бампером в мягкое. Ага, — забор; из тумана проступили темные бревна, я заглушил мотор.

Распахнул дверь, вылез из машины. Под ногами чавкнуло, мои ноги, обутые в замшевые домашние тапки, неспешно ушли в грязь. Откуда-то донеслась музыка, что-то классическое. Осторожно ступая, побрел на звук. Молочное марево сгустилось и приобрело очертания крыльца, за которым темнел бесконечный амбар. Крыльцо было завалено старьем, хлам громоздился, вылезал через перила, темнелся на ступеньках. Начали проступать детали: гигантское колесо от телеги, растерзанный буфет, древняя прялка с веретеном, о которое незадачливые немецкие принцессы кололи себе пальчики; было тут деревянное весло, несколько колченогих табуреток, стиральная доска, ржавый светофор, грубо вырезанный из дерева индеец в натуральную величину, белый лосиный череп с могучими рогами, пожарная каска с числом «17».

Среди всего этого барахла в кресле-качалке сидела тетка с допотопным приемником на коленях.

— Гендель? — кивнул я на приемник.

— Гендель, — недоверчиво подтвердила тетка.

— Оратория «Мессия»?

— «Мессия»...

Хор подбирался к финалу второй части, к знаменитой «Аллилуйя». Сам король Георг Второй, говорят, вскочил на ноги, потрясенной музыкой. Теперь на концертах, по традиции, весь зал встает при исполнении этого куска. «И седьмой Ангел вострубил», — вывел стеклянный тенор в уверенный фа-диез, и тут же хор обрушился многократной «Аллилуйя!». Повторяя и набирая мощь, мелодия полезла вверх, все выше и выше, словно строя лестницу, по которой вот-вот спустится Он, Царь царей и Господь господствующих.

— Люксембургский симфонический оркестр? — я стянул перчатки.

Тетка посмотрела на мои руки. Я сунул их в карманы куртки.

— Гендель умер, дирижируя «Мессию». Вот в этом месте... Нет, чуть дальше...

— Не самая плохая смерть, — я улыбнулся.

— Двадцать процентов.

— ?.. — я уставился на нее.

— Вам скидка. На любой товар.

— Спасибо, — я кивнул и тут заметил, что у тетки не было ноги. Из-под длинной цыганской юбки торчал всего один сапог. Правый.

— Вон там вход, — она ткнула рукой. — Двадцать процентов.

Я толкнул облупившуюся дверь. Помещение ошарашило размерами — авиационный ангар, вокзал средних размеров, крытый стадион. На дальней — далекой — стене висела циклопическая маркиза настоящего кинотеатра, название «Олимпия», составленное из метровых букв, было украшено жестяными узорами и расцвечено пестрыми лампами. Я вошел, и лампочки зажглись. Огни празднично

заморгали, запульсировали и вдруг побежали. Горели не все, но общее впечатление было весьма внушительным.

Под вывеской кинотеатра стоял муляж динозавра чуть ли не в натуральную величину. Крашенный ядовито-травяной краской, это был один из тех вегетарианских ящеров — с длинной шеей и маленькой змеиной головой. В бок фальшивому ископаемому гаду уперся буфером древний «форд», явно выпущенный еще при жизни самого Генри. Разумеется, машина была черной. «Мои автомобили могут быть любого цвета, при условии, что этот цвет черный». Аль Капоне, Бонни и Клайд, Диллинджер и прочие чикагские гангстеры уходили от погони именно на таких «фордах». Я подошел ближе в надежде найти дырки от пуля. Дырок не было.

Зато были унитазы, целое фаянсовое семейство антикварной сантехники. Несколько биде, дюжина ванн разной емкости. Одна овальная, огромная, как минимум на троих, возвышалась на хищных лапах из литой бронзы. Миновав умывальники, я побрел вглубь зала.

Началась мебель. Меня обступили шкафы и буфеты, мрачные гардеробы, дубовые комоды, крестьянские шифоньеры, похожие на семейные гробы, обеденные столы с кругами от раскаленных сковородок, всевозможные стулья — кокетливые, вроде венских, честные сосновые, составленные только из прямых углов, стулья с плюшевыми сиденьями и из плетеной соломки. Стулья жались тесными группами, вроде подростковых банд, за ними возвышались колченогие этажерки и трельяжи со свинцовой мутью полуслепых зеркал, в которой неясно отражался и множился мебельный ад — я уходил все глубже и глубже и уже не знал, как выбраться из этого лабиринта.

Где-то капала вода, звонко, точно с большой высоты и в полный таз. На деревянной скамье ютился выводок керосиновых ламп, пыльных, с закопченными стеклами — от полуметровой дылды, должно быть, для маяка, и до карманного лилипута в два дюйма. Я перелез через скамью, едва не зацепив самую большую, и попал в секцию столярных и слесарных инструментов. Мятые канистры, чумазные бидоны, трехлитровая — не меньше — масленка, должно быть, для смазки паровозных колес, ржавые пилы и топоры, мрачные коловороты явно инквизиторского толка, молотки и кувалды, ящики со ржавыми гвоздями вроде тех, что древние римляне прибавляли к кресту, — от обилия железа, от запаха ржавой пыли и вони прогорклого машинного масла у меня заныл затылок. Где этот чертов выход?

Я повернул обратно, но в мебельной секции угодил в тупик. И, кажется, это была другая мебель и другая секция. Сейчас это называется «офисная мебель». Тут продавали утварь какой-то конторы, разорившейся, похоже, во времена Великой депрессии. Крепкие письменные столы из темной сосны, таких уже давно не делают, да и кому они сегодня нужны — такие крепкие. Я остановился. Простота и надежность, лаконичное изящество дизайнера — я провел ладонью по спинке стула. Конец арт-деко, предчувствие стиля «баухаус». Высокие спинки и сиденья были обиты черной кожей. Я выдвинул один стул, дунул на сиденье, сел. Да, вот настоящий рабочий стул! Посмотрел на ценник — всего сорок пять долларов! Вспомнил про двадцать процентов, кое-как сложил и вычел, получилось тридцать шесть. Шесть чашек кофе. Или бутылка коньяка. Или... Но с другой стороны, покупать один стул глупо. Как минимум — четыре. А правильней шесть, полдюжины. Снова заныл затылок. Нет — всё! Всё, всё — к чертовой матери! Я встал и увидел сейф. Плечистый двухметровый монстр сиял черным лаком. Я подошел и, разумеется, потянул за стальную ручку.

Разумеется, сейф был заперт.

Лак местами облупился, на двери тусклым золотом проступала полустертая надпись, должно быть, название конторы или банка. Готические буквы, вроде тех, какими накалывают себе в интимных местах девицы-интеллектуалки цитаты из Ницше и Джима Моррисона, напоминали запутанный орнамент. Правда, мне удалось разобрать надпись ниже — Мюнхен, Бавария, 1935. Под ней стояло какое-то клеймо, оно было старательно затерто.

Покрутил наугад ручки кодового замка — шесть бронзовых шишек. Они маслянисто пощелкивали, в прорези мелькали арабские цифры и латинские буквы. Вспомнил, что когда в московских подъездах появились первые цифровые замки, тайный код непременно был нацарапан тут же рядом — на двери или стене. Я достал телефон и включил фонарик. Обошел сейф. Без особого удивления, но с удовольствием, обнаружил на задней стенке шестизначную комбинацию 54B91E. Некто выцарапал ее чем-то острым в самом низу, у правой ножки.

Код не подошел. Я еще раз — тщательно — выставил все цифры и буквы. Надавил на ручку — закрыто. Преждевременное торжество обернулось легким унижением. Я пожал плечами, скорее равнодушно, чем огорченно. С силой дернул ручку, внутри надежно клацнули стальные пальцы запора. Исподтишка пнул сейф в бок — странно, все так логично складывалось. Уже собрался уходить, но вернулся — решил кое-что проверить. Набрал новую комбинацию.

E19B45.

Щелк!

Да, ручка повернулась! Повернулась до упора. Внутри замка сработал механизм, властно и уверенно. Дверь лениво пошла, нехотя раскрылась. Я заглянул внутрь.

Я — писатель. Фантазия — среда моего обитания. Стихия — сказал бы, будь я поэтом. За секунду, что пролетела с поворота замка, в моем сознании промелькнула галерея образов — от банально зеленых стопок денег (стодолларовые купюры в тугих пачках по сто, перетянутые бумажной лентой с чернильной печатью «Федеральный резерв») до крокодиловых папок с ветхими документами, неопровержимо подтверждающими, что планетой управляет тайная масонская ложа.

Секунда — это почти бесконечность. Фантазия — энергия, помощней термоядерной. Именно фантазия, а не слово, как утверждается в одной книге, лежит в основе всего. С фантазии начинается абсолютно все — картина, роман, изобретение, открытие. Новая теория и новая религия, новый дом и новое государство — сияющий город на холме. Джон Леннон и Кампанелла понимали это. Гитлер и Сталин тоже.

За секунду фантазия нашпиговала мою голову пропавшими сокровищами багдадских халифов, чертежами вечного двигателя, досье ФБР о покушении на Кеннеди, четкими фотографиями инопланетян, формулой философского камня, схемой выхода в четвертое измерение из Бермудского треугольника. Да, секунда — это почти бесконечность. Если ею правильно воспользоваться.

Я заглянул внутрь.

Верхние полки оказались пустыми. Пыль и две скрепки. Я провел пальцем, вытер палец о джинсы. Внизу валялся один сапог, грязный, солдатского типа. В другом углу виднелся сверток, похожий на большой астраханский арбуз, завернутый в газету. Я наклонился, разорвал бумагу. Под бумагой было стекло. То была пузатая бутылка ведра на два, примерно в такой моя украинская бабка Христина держала вишневую наливку. Я включил фонарик.

Там, в бутылке, была голова. Человеческая голова. Женская.

Я приблизил свет вплотную. За зеленоватым толстым стеклом белело аккуратное ухо, похожее на фарфоровую безделушку. Линия скулы переходила в круглый подбородок, немного тяжелый, — про такой неважные беллетристы пишут «упрямый». Рот, скорее маленький, но губы хорошей формы. Нос тонкий, глаза закрыты. Брови — вот брови действительно были упрямы. Кстати, женские брови, на мой взгляд, явно недооцениваются в современной культуре.

Я выключил фонарь. Сел на пол.

Женская голова в бутылке — да, до такого даже моя шустрая фантазия не додумалась. Я снова включил свет. Светлые волосы, стрижка до плеч, если бы они были... Удивительно, но голова совсем не походила на маринованные в формальдегиде экспонаты. На тех кошмарных обитателей кунсткамеры, бескровных и мерцающих трупной зеленью в мутном сиропе. Нет, тут был румянец. Розовая кожа. Губы, как живые. Тронуты коралловой помадой, чуть ли не с перламутровым отливом. Спящая голова, точнее, голова спящей женщины. Только в бутылке.

Есть вещи, на которые лучше не смотреть. Но это при условии, что ты можешь побороть любопытство. Мне не удалось — я ухватил бутылку за короткое горло и приподнял. Сквозь толстое стекло дна увидел срез шеи. Гладкий как пенек. Ни страшных вен, ни обрезанных труб гортани, ни сахарного кошмара шейных позвонков. Срез был гладок и румян, как коленка теннисистки.

Настроение внезапно улучшилось. Я поставил бутылку на место, интимно погладил стеклянный бок. Все стало просто и почти ясно: мрачная тайна отрезанной головы перешла в разряд курьезов. Муляж, манекен — ни мстительных мужей, ни страстных любовников с патологическими наклонностями. Неожиданно я почувствовал на своем затылке чей-то взгляд. Оглянулся — с соседней полки на меня угрюмо пялился волк. Чучело волка.

— Муляж! — я зачем-то подмигнул хищнику.

Два вопроса, совершенно не связанных, возникли в моем мозгу одновременно: сколько может стоить такая диковина и каким образом неведомый мастер умудрился засунуть муляж в бутылку. Тут — знак вопроса, вернее, целых два.

Первый вопрос остался без ответа — ценника не было. Вполне возможно, что хозяйка даже не знает о бутылке. Ведь сейф был закрыт.

Ответ на второй лежал в сфере тайного хобби загадочных виртуозов, что мастерят фрегаты и каравеллы внутри бутылок. Наверное так, пинцетом, что ли. Я дотянулся до горлышка и потрогал сургуч, которым была запечатана бутылка. Да, пинцетом и иглами. Иглами и пинцетами...

Хозяйка продолжала слушать приемник. Передавали Прокофьева. Угадывать «Танец рыцарей» было ниже моего достоинства.

— Там у вас сейф... — начал я.

— Ключ потерял, — отрезала хозяйка.

— А сколько он...

— Ключ, говорю, потерял, — повторила она.

Божественное аллегро главной мелодии неуклюже перешло в слюнявую тему Джульетты и Париса — поразительно, с какой легкостью гений может угробить собственный шедевр. К слову — в определении гениальности я придерживаюсь античного взгляда: гений — это дух, вселяющийся в художника в моменты творческого экстаза, а вовсе не сам художник. Именно этим объясняются неожиданные провалы у признанного мастера, равно как и внезапные триумфы у посредственного ремесленника.

— Я бы хотел приобрести этот... тот сейф.

По ее взгляду стало ясно, что недавно завоеванный авторитет мой стремительно рушился. И еще — она представления не имеет о бутылке.

— Он закрыт, — хозяйка выключила радио. — И ключа нет.

Так говорят с детьми лет пяти-шести. Капризными или не очень сообразительными.

— И все-таки, — вбил я последний гвоздь в гроб своей репутации. — Сколько? Она грустно посмотрела мне в глаза и назвала цену.

— Сто пятьдесят.

— А скидка? — с простодушием идиота улыбнулся я.

— Сто двадцать, — безнадежно глядя сквозь меня, сказала она.

Раскрыв бумажник, я отсчитал купюры и протянул ей. Она пересчитала, сложила бумажки пополам, потом еще раз пополам.

— Сейчас заберете? — она сунула деньги куда-то меж складок юбки.

Черт! Хитроумный, почти изящный план повернулся неожиданной стороной — как я мог забыть о транспортировке? Этот железный гроб весит не меньше тонны. Тут нужен кран, грузовик... Грузчики, в конце концов.

В этот момент до меня вдруг дошло, что от тумана не осталось и следа. Молочное марево исчезло. У забора посреди лужи стояла моя машина, дальше блестело сырое шоссе, сразу за дорогой дыбились дикие камни — сияя черным, точно антрацит, они поднимались мокрым утесом вертикально вверх. В каменных морщинах кое-где еще остался лед. Эти вкрапления напоминали рукотворный орнамент. Как серебро на черном мраморе, и все это высотой с девятиэтажный дом.

2

Сейф привезли на закате. Точнее, в сумерках. Солнце так и не появилось, а небо из уныло мышиного постепенно перешло в пронзительно тоскливый оттенок серого, которым красят военные корабли. Три мужика — водитель и два грузчика, один с бородой морковного цвета, они по-хозяйски соскочили в грязь моего раскисшего двора. Мотор продолжал тарыхтеть, отравляя воздух вонью солярки. Сейф гордо возвышался в кузове. Словно мятежник, он был перепоясан цепями, цепи тянулись к бортам, где при помощи стальных карабинов они крепились к ржавым кованым кольцам.

Сразу стало ясно, что в дом сейф не пролезет.

— А через задний ход? — рыжий сочно сплюнул.

Мужики закурили, рыжий не курил, он достал из комбинезона жестяную банку и сунул в рот какую-то коричневую гадость, похожую на кусок сосновой коры. Я раньше никогда не видел, как люди жуют табак. Рыжий аппетитно работал челюстями, морковная борода топорщилась, точно живая.

— Давайте сюда, — с беззаботным оптимизмом я указал в сторону сарая. — Чуть правее, рядом с дровами.

Грузовик укатил. Вместе с темнотой на меня наваливалась глупая тяжесть всей моей затеи. С доставкой материальный ущерб составил двести двадцать долларов. О морально-эстетическом уроне думать не хотелось: безобразный черный ящик на неопределенное время стал частью моего пасторального пейзажа. Этот урод будет меня встречать каждое утро, он будет поглядывать, как я попиваю чай на веранде, как работаю, будет желать мне спокойной ночи.

Я застонал и громко выругался матом.

Начало моросить. Макушки сосен качнулись в такт, ветер завыл в голых ветках берез. С запада надвигалась стена непроглядной хмари. Дождь полил сильнее. Я подошел к сейфу и набрал комбинацию. Надавил на ручку, замок не сдвинулся. Я проверил код. Еще раз — E19B45. Дверь не открывалась. На западе лениво загремело, мутно полыхнуло небо. Сосновый бор черной аппликацией возник и сразу же растворился в чернильной тьме. Грохнуло громче, уверенней. Лес протяжно охнул, словно в оторопи. И вот тут обрушился ливень.

Я пытался работать, пробовал читать. Но попробуй почитать на корабле в бурю. За окнами гремело и вспыхивало, дождь колотил по крыше, точно кто-то сеял крупной дробью. Бедный дом, перестроенный из столетнего амбара в относительно комфортабельную берлогу, стонал древними балками, скрипел лестницами, дрожал стеклами. Ветер ухал в трубе, выл пьяным басом, а то вдруг взвизгивал истеричным фальцетом.

Снаружи разыгрывалась какая-то атмосферная жуть. Свет я не включал, бродил по темному дому, переходил от окна к окну. Вспышки молний освещали могучие сосны, которые мотались, как пьяные в дым великаны. Слоновьи стволы трещали, я знал, что здешняя северная сосна, при внешнем атлетизме, дерево весьма хрупкое. Прошлым сентябрем такой вот здоровяк рухнул на сарай. Полкрыши пришлось менять, единственным, впрочем весьма слабым, утешением было то, что вечером я поленился загнать в сарай машину.

Нынешней тревогой была река. Такой ранней и стремительной оттепели местные не помнили. Два дня назад река вскрылась и начался ледоход. От обилия талой воды река взбухла, ее развезло, прямо перед домом — там, где перекаты, — случился затор. Глыбы мутного льда полуметровой толщины вздыбились почти арктическими торосами, новый лед продолжал ползти и громоздиться. Он лез на берег, ломал прибрежный ивняк, как бритвой срезал молодые осины. Вместе со льдом начала прибывать вода. Река вышла из берегов, и край черной воды с неприметным упорством подбирался все ближе и ближе к дому.

В кладовке я нашел фонарь, мощный армейский, он мне достался от бывшего хозяина дома, отставного пехотного майора. Батареи я поменял, и фонарь бил как прожектор. Чтобы еще раз убедиться, направил луч себе в лицо. Разумеется, ослеп на минуту. Пока перед глазами плавали белые круги, снаружи раздался треск, и через секунду что-то отчаянно грохнуло. Дом вздрогнул, притом весьма ощутимо. Почти подпрыгнул. С полки посыпалась пыль и труха, на пол полетела какая-то звонкая мелочь.

Молния! Молния угодила в дом! — другой мысли у меня не было. Мы очутились в центре урагана! Крыша пробита, и сейчас начнется потоп! Размахивая фонарем, я взлетел на второй этаж. Но тут все было мирно — в печке малиновым жаром дышали угли, кот спал рядом на пледе. Я направил фонарь вверх. Потолок был цел. Балки тоже на своих местах.

Не очень веря, что все обошлось, я открыл дверь на балкон. Осторожно вышел во тьму и направил луч света в ночь. Ливень выдохся. Под ногами скрипели доски, что-то хрустело. Белый круг выхватил пунктирную мельтешню дождя, кряжистые стволы сосен. Я медленно повел круг влево. Сосны ожили. Угольные тени забродили по серому снегу, топыря во все стороны страшные руки. У сарая могильным обелиском темнел сейф. Отсюда, с балкона, он казался еще огромней.

Но главное — река была на месте: вода, если и поднялась, то совсем чуть-чуть.

Пока я шарил лучом по ледяному полю, по нагромождению белых глыб, мне вдруг показалось, что на балконе кто-то есть. Звериный инстинкт сработал молниеносно и безошибочно. Какой-то первобытный ужас не позволил мне повернуться, но боковым зрением я видел, что слева, у самых перил, тьма будто сгущалась. Она высилась, нависала надо мной двухметровым чудищем.

Не дыша я направил фонарь туда.

Это была елка. Верней, ее макушка, — само дерево лежало внизу, на террасе. Сверху мне было видно, что ствол вдребезги разбил перила. Вырванные и сломанные доски, вперемешку с грязным снегом и еловыми лапами, стояли дыбом. Упоительно и властно пахло свежей хвоей.

3

Какая профессия является самой опасной на свете?

Вопрос не риторический. Вопрос вполне практического характера, и ответ должен быть основан на статистике несчастных случаев, травм и летальных исходов.

Первыми приходят в голову профессии романтико-героического плана — летчик-испытатель, альпинист-спасатель, ну, может еще, ныряльщик за жемчугом. Затем, разумеется, идут полицейские и пожарные, солдаты-минеры и шоферы-дальнобойщики. Кто еще? Ну, может, экзотические специальности, вроде канатоходца или укротителя львов. Или заклинателя змей — яды и антисанитария, да и вообще, кто знает, что там творится в этой Индии.

На самом деле самая опасная профессия на земле — лесоруб.

Именно они получают больше всего увечий и травм. Именно среди лесорубов самая высокая смертность, так сказать, на рабочем месте. Именно он, человек с бензопилой и топором, подвергает себя самому высокому профессиональному риску. Разумеется, если верить статистике.

Лес. Для туриста и грибника, для пары влюбленных, для дачника и залетного отпускника-горожанина лес — это что-то вроде декорации, неодушевленного вертикального пейзажа без неба, но с обильной зеленой палитрой всех оттенков. Такого сорта люди соприкасаются с лесом едва-едва, по касательной, они скользят по поверхности — в лучшем случае их угораздит забрести в чащу или они угодят в болото, но и это будет лишь намеком на мощь и власть лесной стихии. Как пляжный курортник в соломенной шляпе и с обгоревшим носом, собирающий невинные ракушки в полосе прибоя, — что он знает о штормах и ураганах, о ревущих широтах, о воде в трюме и оборванном такелаже, о человеке за бортом и резиновых плавниках, режущих воду концентрическими кругами.

Первым делом прямо с утра я нарушил главную заповедь гильдии лесорубов — никогда не пользоваться бензопилой в одиночку. Бензопила — действительно штука крайне опасная: сук, толщиной в руку, она перепиливает за секунду. Человек — не дерево, он гораздо мягче. Любая рана может стать смертельной просто из-за потери крови. К тому же в лесу, как правило, на редкость скверная мобильная связь. По крайней мере, здесь, у меня — кажется, я уже жаловался.

Ель, рухнувшая вчера ночью на веранду, оказалась большим старым деревом. Метров пятидесяти: расстояния я меряю бассейнами — олимпийским в пятьдесят метров и тренировочным в двадцать пять, одно время я увлекался плаванием и с тех пор безошибочно могу на глаз прикинуть длину в этих параметрах. Покойная ель росла на берегу реки и сломалась у самого основания. Ствол там был толщиной в полметра.

Бензопила. У меня «Штилл». Назвать его бензопилой не поворачивается язык. «Штилл» — стальной монстр с восемнадцатидюймовым лезвием, безотказный и удобный, квинтэссенция и апофеоз лесопильной мысли, воплощенные баварскими мастерами с истинно германской аккуратностью и традиционным уважением к механике. Агрегат эффективный в руках профессионала, смертельный в руках идиота.

Я залил масло и бензин. Натянул комбинезон, куртку из чертовой кожи, сапоги со стальными носами — чаще всего пила соскакивает и бьет именно туда — в ногу. Напялил шлем с сетчатым забралом и перчатки.

Казалось бы, чего уж проще — распилить дерево? Включил пилу и пили, соблюдая правила техники безопасности. Но, увы, тут, кроме правил этой безопасности, здравого смысла и законов физики, включается в игру бездна непредвиденных мелочей. Тех, что мы называем случайностями.

Деревья как люди, у каждого свой характер (изрядно пошлая метафора, но лучше не скажешь). Дубы и осины, березы и клены, липы и ели; гляди, та — кокетка, а этот — бузотер, вот явный подлец, а эта ничего, вроде покладистая. Внутри любого дерева может оказаться червоточина, и ствол, треснув пополам, обрушится вам на голову телеграфным столбом. Нет, каска тут уже не поможет. Еще — отпиленная часть дерева может покатиться не в ту сторону, куда вам хотелось бы. Такой кругляш подобен асфальтовому катку. Дальше — коварны толстые ветви, в них скрыта сила натянутого лука.

Но самая главная опасность в том, что лесоруб работает в лесу. Именно лес — переплетение корней под ногами, торчащие ветки, острые сучья, скользкий мох или колючий кустарник, скрытые в траве ямы и камни — состоит из ловушек и капканов. Оступиться или споткнуться с работающей пилой в руках — не дай вам бог. А уж тем более, если рядом никого нет.

Я был предельно осторожен. Распил ели прошел без особых происшествий: один раз ствол зажал пилу — я неправильно рассчитал действующие силы, трояк по физике неожиданным образом напомнил о себе, да еще я потянул спину, перетаскивая распиленные бревна. Кругляши я сложил аккуратной пирамидой. Отпиленные ветки оттащил в лес. Божественно пахло хвоей — не банальной новогодней елкой, а свежими сырыми опилками, живым деревом. Впрочем, не таким уж и живым, увы. К этому духу добавлялся острый запах горячего металла и смазки. Растерзанный снег напоминал место крупной драки. Истоптанный и серый, он весь был усеян обломанными ветками и сучьями, с рыжими лужами еловых опилок.

Пилить я начал утром, около десяти. Закончил в полдень. Вернее, не закончил, а просто упал без сил. В данном случае это вовсе не фигура речи. Почти на карачках дополз до крыльца, стянул шлем и перчатки. Сел на ступеньки. Пить хотелось смертельно. Я дотянулся до сугроба, зачерпнул пригоршню и сунул в рот. Здешний снег по вкусу напоминает родниковую воду, если вы не пили из родника, то поверьте мне, вермонтский снег не хуже французской «Перье». Той, что без пузырей.

Проклюнулось солнце. Игриво моргнув в сизую прореху, оно исчезло, но через мгновение вдруг выкатило и засияло в полную мартовскую силу. Я зажмурился и вытянул сапоги прямо в лужу талого льда. Ох, хорошо! — я взъерошил мокрой от снега ладонью волосы. Да, после трех сумрачных месяцев это действительно было хорошо.

Сквозь искрящуюся мишуру лучистой капли, калейдоскоп сосулек и тающего снега проступило черное прямоугольное пятно. Почти Малевич. Отмытый ночным ливнем, сейф сиял. В полуденном солнце он мне показался больше и значительней, точно налившийся ядовитым соком тугой фрукт. Бесовский угловатый баклажан.

И тут мне почудилось, что дверь сейфа приоткрыта.

Я пригляделся — точно, там была щель. Ну да, вон и тень падает на другую створку. Я приподнялся, встал медленно, точно боясь разрушить колдовство. Пошел. Наверное, вчера заело петли... Или замок заклинило при перевозке — вон, как эти молодцы его кантовали. Дошел до сейфа и надавил ручку. Ничего. Дверь была закрыта. Щель оказалась оптической иллюзией весеннего солнца и моей усталости. На всякий случай я еще раз набрал код, впрочем, без особой надежды. Да, закрыто.

Усталость обернулась покорностью: в конце концов все справедливо — ведь это я решил объегорить одноногую торговку. Если кого-то и винить, то лишь себя самого. Кармические законы продолжали работать исправно.

4

Той ночью я очутился на писательской конференции. Во сне, разумеется. Дело происходило в наскоро сколоченном гибриде Лондона и Ульяновска — набережная Вестминстера выходила на крутой волжский берег. То живописное место, что симбирцы зовут Венец. Сама конференция проходила в Ленинском мемориале, уродливом здании из серого бетона, которое режиссер сна впихнул за площадью Пикадилли, на Риджент стрит. После регистрации я почему-то оказался в подвале. Оказался один, если не считать птицелова. Он был без лица, но с клеткой, полной лимонных канареек. От птицелова я узнал о предстоящей процедуре массажа. Дальнейшее шло фрагментами: я лежал совершенно голый на кожаной кушетке. Лежал навзничь. Дальше — возникла девица, крепкая цирковая танцовщица с белыми ляжками в сетчатых чулках. На лице, понятно, маска.

Эротические надежды оказались иллюзорны — мускулистая мерзавка, притко оседлав меня, начала премерно мять мои плечи и грудь. Она щипалась, хищно впинаясь ногтями в плоть. Следуя законам стандартного кошмара, я не мог пошевелиться. Адская массажистка сняла маску — разумеется, это была женщина из бутылки. Одновременно я понял, что она же — покойная принцесса Диана. Ужас какого-то невнятного откровения, жуткого и важного предчувствия, начал напирать на меня. Принцесса явно почуяла мой страх, она хищно выгнулась и вытащила из прически узкий, как шило, кинжал. Сжав рукоятку стилета, она принялась вырезать острым лезвием прямо на моей груди какие-то знаки. Боль казалась очень реальной. Теплая кровь стекала струями по груди и бокам, собиралась липкой лужей под лопатками. Я униженно молил прекратить. Она не обращала внимания, резала и резала. Я закричал и проснулся.

В окно глядела луна. Грудь и плечи ныли, я вспомнил про каторжную битву с елью. Меня знобило, майка была потной, хоть выжимай. На полу лежал лунный ромб. Я спустил ноги в лунную муть, встал и наощупь добрался до ванной. Отвернул кран, напился. Уходя, мельком заметил на майке большое темное пятно. Похоже было на засохшую кровь. Я подошел к зеркалу и стянул майку. На груди ясно проступали знаки — цифры и буквы: A12M76. Да, код был вырезан на моей груди.

Как я спустился, как вышел из дома — не помню абсолютно. В следующий момент я стоял перед сейфом и набирал новую комбинацию. Замок шелкнул, я потянул за ручку. Дверь подалась и плавно открылась.

Жар обдал лицо, точно я заглянул в пылающую топку. Задней стенки не было — передо мной распахнулась даль, страшная горящая равнина с пурпурным небом, по которому метались черные крылатые тени. Так летними сумерками

беснуются в небе летучие мыши. Одна из тварей, сделав кульбит в воздухе, рванула прямо на меня. Я не мог двинуться с места, не мог оторвать взгляда — пикирующий бес стремительно приближался. Сложив перепончатые крылья, точно истребитель, он несся ко мне — я уже мог различить его алчущие глаза, вот он совсем рядом. Я заорал и закрыл лицо руками... И проснулся во второй раз.

Первым делом задрал майку. Конечно — ничего. Пока грелся чайник, я вышел на крыльцо. Проклятый сейф стоял на месте, вода не поднялась. Ледовый затор тоже не двинулся с места. Соблазнительную мечту о динамите прервал свисток закипевшего чайника.

Хороший день нужно начинать с чашки свежего чая, черного английского и, разумеется, без сахара. Я вернулся на крыльцо. Погода была дрянь. Вермонтцы (народ обстоятельный, вроде шотландцев) говорят: если тебе не нравится здешняя погода — просто подожди полчаса. Пока я пил чай, небесные механики кратко продемонстрировали мне все времена года, начав с добротной пурги с колючей крупой и закончив убедительно ярким солнцем на кардинально синем фоне.

Сделав еще глоток, я пристроил чашку на деревянных перилах и направился к сейфу. Ощущал себя достаточно глупо — попытка открыть настоящий железный замок при помощи кода из сна — это уже материал не для психоаналитика, а скорее, психиатра.

Небрежной рукой набрал комбинацию. Точно делая кому-то одолжение, дернул дверь — закрыто, видишь, ну что я тебе говорил? Тот, другой, не сдавался — ты видел код в зеркале, попробуй наизнанку набрать. Наизнанку! Ладно-ладно, не горячись, вот пожалуйста.

Замок ожил — внутри что-то цокнуло. Железно и радостно бряцнули-шелкнули шестеренки и пружины. Точно смазанный ружейный затвор, ретиво звякнули стальные пальцы запора — клац! — я надавил на ручку, и дверь снисходительно подалась. Сейф открылся.

Бутылка с головой была там. Сапог тоже.

Нет, она мало походила на принцессу Диану. Может, стрижка и овал лица. Да еще аккуратный нос, с хищным аристократическим намеком. Я поднялся на второй этаж, смахнул бумаги с письменного стола. Поставил бутылку ближе к окну. Принес из кухни тряпку и «виндекс», побрызгал и тщательно протер стекло. Нашел в ящике старинную лупу, купленную без особой цели в антикварной лавке год назад.

Нет, не Диана. Кожа на лбу, на щеках была идеально гладкой, будто из воска. Но почему — будто? Наверняка воск. Ведь именно из воска лепят тех Элвисов и Наполеонов для коллекции мадам Тюссо. Воск — оптимальный материал для имитации живой плоти.

Луч солнца прочертил диагональ по моему столу, половина головы оказалась в тени, другая матово сияла, точно светилась изнутри. Я приблизил линзу увеличительного стекла к поверхности бутылки. Брови — я мог разглядеть каждый волосок — были выполнены мастерски, веки с длинными рыжеватыми ресницами, узкая переносица, невинный, почти девичий, лоб без единой морщинки. Волосы, русые с платиновым оттенком, как из рекламы какого-нибудь шампуня со слоганом «блеск и сила здоровых волос», они не были прилизаны, но в растрепанности прически чувствовался триумф утонченного эстета, виртуоза-куафера. Кто же он, этот ваятель? Кто и как сделал ее — а главное, зачем? И как он умудрился впихнуть ее в бутылку? В это узкое горлышко?

Да, конечно, я видел фрегаты и каравеллы, собранные внутри бутылок

сумасшедшими миниатюристами-конструкторами. Мог даже вообразить педантичный процесс (пинцеты, клей, длинные иглы), шепетильность которого меня лично взбесила бы минут за пятнадцать. Горлышко бутылки было запаяно сургучом шоколадного цвета, сверху я разглядел выдавленную печать. По кругу шла какая-то надпись, часть букв стерлась, удалось разобрать латинские «R» и «W» и еще нечто, похожее на цифру семь. Надпись замыкалась кольцом вокруг символа — равносторонний треугольник внутри квадрата. В центре треугольника была звезда или цветок с пятью лепестками.

Я сел, достал ручку и скопировал рисунок. Не очень точно, но в целом близко к оригиналу. Руки слегка тряслись. Цветок, потом треугольник, потом квадрат — все обвел линией, больше похожей на лихорадочный овал, чем на круг. Рисунок напоминал талисман из гримуара, что-то вроде иллюстрации к «Черной курочке» или «Гептамерону». Я повернул лист на сто восемьдесят градусов — цветок превратился в пентаграмму. В сигил, при помощи которых средневековые алхимики и маги вызывали своих демонов.

Полгода назад один псевдоинтеллектуальный журнал заказал мне эссе на тему демонологии, алхимии и прочей чертовщины. Ничего серьезного, так, введение в эзотерику для домохозяек. При сборе материала меня больше всего поразило, насколько буднично, насколько рутинно наши предки относились ко всей этой мистической ахинее. Колдовские рецепты излагались с обыденностью кулинарной инструкции для выпечки какого-нибудь яблочной шарлотки с корицей и миндальной присыпкой. Тут же прилагались нехитрые чертежи символов и знаков, изобразив которые и произнеся абракадабру, вроде «Сефер Разиэль ха-малах», запросто можно было вызвать демона среднего ранга типа Асмодея или Валефара.

Я взял рисунок, посмотрел на просвет. Покрутил, перевернул вверх ногами. За окном с метровых сосулек капало на жёсть подоконника, солнце спряталось и тут же выкатилось опять. Комната вспыхнула, стали видны пыль и мелкий мусор, незаметные прежде. Я провел ладонью по столу, вытер о штанину. Ну и грязь... Уже взял тряпку, но так и замер с поднятой рукой.

Голова в бутылке открыла глаза.

5

Ее глаза были светло-оливковыми с голубым, почти перламутровым намеком. Такие глаза у Венеры Боттичелли, я их видел в Прадо во Флоренции. А после точно такими же глазами взглянула на меня через плечо женщина-шофер, что везла меня в своем такси на железнодорожный вокзал Лоренцо Медичи.

Ощущение сумасшествия было абсолютным. Не знаю, сколько времени я простоял с тряпкой в руке. Надежда на простой механический трюк родилась и тут же погасла, нет, не кукла — глаза были живыми. Они смотрели на меня внимательно, мне показалось даже как бы оценивающе — знаете, у женщин есть взгляд такого рода.

Она моргнула, стала разглядывать комнату. С книжных полок перешла на картинки, развешанные по стене. Работая над книгой, я люблю окружать себя зрительными образами — открытками, вырезками из газет — всем, что помогает мне погрузиться в тему. В писательском ремесле первородным для меня является не слово, а образ. Слова приходят потом, но сначала я должен увидеть. В мельчайших деталях, всю геометрию и структуру, с нюансами цвета и тона.

Нынешняя книга моя получалась весьма эклектичной — мало того, что я писал ее от лица женщины-журналиста, находящейся в апокалиптической Москве недалекого будущего, в сюжете параллельно развивалась линия ее деда, героического казака,

ставшего красным генералом. На стене висели карточки лихих усачей в фуражках набекрень, с пышными чубами и георгиевскими крестами на груди. Тут же были приколоты булавками вырезки из журнала с разными породами скаковых лошадей, типы седел и сбруи, схема боевого порядка эскадрона, форма красного кавалериста Первой конной армии. Сбоку висел портрет Пушкина, вырванный из какой-то книги, рядом — фото Чехова. Ниже булавкой с бирюзовой головкой был приколот лист нотной бумаги с цыганским романсом про костер, что в тумане светит.

— Меня зовут Ева.

Голос прозвучал ясно. Не сквозь стекло — четко, точно говорящий стоял в двух шагах от меня. Я открыл рот, но выдавить из себя не смог ни звука.

— Сядьте, пожалуйста. И перестаньте нервничать.

Я сел. Ее губы двигались не совсем синхронно со словами, словно в скверно продублированном кино.

— Какие тут звери у вас в лесу?

Безвольной рукой я поднял тряпку. Что-то промычал. Казалось, я разучился говорить, не знал, что делать с языком для произнесения нужных звуков.

— Поверните меня в сторону леса, пожалуйста. Хочу увидеть зверей.

Я бережно, лишь пальцами касаясь стекла, развернул бутылку к окну. Теперь голова оказалась ко мне в профиль. Нос у нее был чуть птичий, а подбородок действительно упрямый. Вполне банальные мысли текли в мозгу параллельно фундаментальному столбняку всего моего естества. Эмоционально, интеллектуально и физически я впал в какой-то паралич.

— Даже простую белку увидеть — такая радость. А если оленя, то у меня на целый день настроение особенное. Слово маленькое счастье снизошло.

— Олень пуглив... — совладав с онемевшим языком, наконец произнес я. Мозг явно в процесс еще не включился.

— Олень доверчив. В отличие от человека. — И после паузы спросила: — Вам нравятся люди?

На опушке снег подтаял и лежал белыми островами среди бурой травы и ржавых прошлогодних листьев. Дальше высился лес — мокрые сосны, взъерошенные ели, пегие стволы берез, в таинственной глубине стеклянные лучи кривой геометрией резали тесную чашу, мастера из строгих теней почти кафедральные нефы. На странный вопрос я не успел ответить — из леса на поляну вышел олень. С царственной грацией остановился в центре проталины. Поднял голову, по-балетному отставил заднюю ногу и замер. Это был взрослый самец белохвостого оленя, лесной аристократ с внушительными рогами — я насчитал пять отростков. Происходящее напоминало визуальную цитату из раннего Диснея, не хватало только хоровода мелких птишек вокруг рогов. Олень повернул голову в нашу сторону. На лбу белело пятно, похожее на ромб.

— Чудо... — выдохнула она. — Ну, иди.

Фарфоровый красавец, надменно позирующий на лужайке, точно по команде, ожил и в два прыжка исчез в лесу. Пропал, будто и не было. Я продолжал тупо пялиться на пустую проталину. Теплело. Над мертвой травой курился едва приметный туман.

— Это... это вы? — я сделал в воздухе неопределенный округлый жест вроде тех пассов, которыми иллюзионисты сопровождают свои фокусы. — Вы?

— Давай на «ты», — предложила она. — Будет проще. К чему реверансы — я голова в бутылке, ты — писатель в лесу. Правильно?

Я кивнул — правильно. Называть голову в бутылке на «вы» действительно было нелепо.

— Дмитрий, — обратилась она. — Нет, лучше Митя. Можно так?

Я снова кивнул. То, что она знала мое имя, почему-то показалось мне особенно удивительным. Все-таки поразительное существо человек.

— Кстати, имя у тебя неправильное, — без церемоний сказала она, точно речь шла о цвете галстука. — И фамилия тоже. Не писательская. У русского писателя фамилия должна быть короткая и смешная — Пушкин, Толстой, Гоголь, Бабель. Смешно и коротко. А ты — Дмитрий Ви-но-гра-дов, ну что это такое, честное слово? Дмитрий Виноградов! Кто он? Оперный тенор? Артист балета?

Она подумала и выдала, как припечатала:

— Глеб — вот твое имя. Глеб Яхин.

— Спасибо, не надо, — буркнул я.

— Да уж теперь-то что. Но будь ты Глеб Яхин, тот контракт на сериал не прошляпил бы. Триста тысяч — не дрозд наплакал.

Ту январскую сделку, уже почти подписанную, провалила мой агент Марта Лутц — чокнутая мулатка, похожая на Кармен, с пирсингом в неожиданных местах и манерами одесской хулиганки. При очевидной профнепригодности Марта обладала каким-то ведьмацким шармом, который весьма удачно действовал на издателей и продюсеров. Впрочем, не всегда.

— Нет, ты можешь, конечно, винить Марту, — сказала голова. — Если так легче. Тебе. Но, впрочем, тут ты прав, деньги — вздор. Пена цивилизации. Фальшивый кумир, которым дураки пытаются заткнуть прореху в душе мироздания размером с Демиурга. Вот она — тоска по священному!

Именно тоска. Я подумал о своем банковском балансе, скромном и печальном. Ева явно вошла во вкус и продолжила с воодушевлением.

— Таинство сакрального жертвоприношения превращают в шаманскую пляску с бубном. Жажда бессмертия трансформируется в добровольный самообман. Булыжник вместо философского камня, бутылочное стекло вместо сапфиров.

— Культ денег — фетишизм импотентов. Эрос кастратов! Черт, прокрававшийся на бал в костюме херувима. Мерзость и гадость, квинтэссенция порока, корневище половины грехов.

— Но отсутствие этого корневища, увы, может здорово испортить настроение, — вставил я безразличным тоном. — Причем надолго. Иногда на целую жизнь.

Ева лукаво скосила на меня свой флорентийский глаз.

— Там, в сейфе... — и замолчала.

— Что? — насторожился я. — Там сапог. Старый и не моего размера.

— Не только, дорогой Митя. Не только.

По лужам, по раскисшему снегу, шлепая галошами на босу ногу, я почти моментально оказался у сейфа. Распахнул обе створки. На меня посыпались деньги. Стодолларовые купюры в крепких пачках были перетянуты бумажной лентой лимонного цвета. Как в банке. Как в банке!

— Как в банке... — бормотал я то ли восторженно, то ли в ужасе.

Пачки рассыпались по весенней грязи. Я начал подбирать их, впихивать обратно на полки. Но там не было места — сейф был набит деньгами. Плотно набит, на совесть — от пола до потолка. Деньги снова падали в лужи.

Я кинулся в сарай, вытащил коробку из-под принтера, которую не успел сжечь. Ползая на карачках, стал собирать деньги. Кидать в коробку. Как в банке! На

лимонных были пропечатаны цифры — единица и нули. В каждой пачке — десять тысяч долларов. Нет, погоди... Сто тысяч? Сто тысяч?! Сто!

Я ногтями сорвал ленту, начал считать. Деньги, совсем новые, чуть шершавые, пахли типографской краской и машинной смазкой — аромат, божественный дух, который не спутать ни с каким другим. Руки тряслись, кредитки выскользнули и разлетелись по земле. Их было много, гораздо больше десяти. Гораздо больше.

В коробку из-под принтера вошло сорок миллионов долларов.

С пачкой денег в кулаке я вбежал в комнату. От ползанья на коленях джинсы промокли насквозь, холодные струйки воды стекали в галоши. Ева ухмылялась.

— Что это? — я сунул купюры ей под нос. — Как это? Откуда?

— Хороший ты мужик, Митя, — устало произнесла она. — Дурак только.

— Они фальшивые?

Она фыркнула и уставилась в окно.

— Там четверть миллиарда... — у меня сорвался голос на фальцет. — Миллиарда долларов! Откуда? И как? И откуда?

— Угомонись ты. Со счета Хусаинова. Банк «Афина Юнион» на Каймановых островах. Еще вопросы?

— Хусаинова?! Айдара Хусаинова?! Это же Кремль, мафия, КГБ и черт его знает кто еще! Ты что ж думаешь, они не заметят, да? Да?

— Почему? Конечно, заметят. Они ведь мерзавцы, а не кретины, — сказала весело Ева. — Они там уже какому-нибудь виолончелисту паяльник вставляют в...

— Господи! — я бросил деньги на пол. — Господи... Невинному человеку...

Рухнул в кресло, дотянулся до коньяка на столе. Сделал большой глоток. Потом еще один.

— Ну хватит мелодрамы, а? — примирительно обратилась Ева. — Невинный человек этот — подонок. К тому же и музыкант так себе. Совсем не Йо-Йо-Ма. Ты что ж думаешь, я наобум тут чудеса выкозюливаю? У меня, да будет тебе известно, на сто ходов вперед все просчитано. Все — понял! Ведь я потому наличными и доставила. А ведь могла просто перевести со счета на счет. С его — на твой.

Она хихикнула.

— Спасибо, — буркнул я.

Отпил еще коньяка, разглядывая бумажки, рассыпанные по ковру. С одних на меня глядел по-бабьи гладкий Франклин, другие лежали зеленой рубашкой вверх. Там был нарисован какой-то дом с колоннами. Скорее всего, белый — никогда не разглядывал. На моем полу валялись сто тысяч американских долларов. И еще четверть миллиарда в сарае.

— Как в банке... — прошептал я.

Странно, но безумство, восторг, эйфория сменились тоской. В ощущении этом было что-то вроде похмелья. У меня не было ни малейшего желания что-то купить на эти деньги.

— Что и требовалось доказать, — ехидным сопрано пропела Ева.

6

Все-таки без шока не обошлось. С эмоциональным потрясением я справлялся по-русски, и к полудню бутылка коньяка оказалось пустой уже наполовину.

— Хватит тебе, — проворчала сварливо Ева. — Хорош, а?

Какой хорош? Настроение мое к полудню улучшилось кардинально. Сюрреализм

происходящего постепенно затуманился, панический ужас сменился бесшабашным куражом, готический кошмар черно-белого Макса Эрнста зарумянился и стал напоминать салонную живопись позднего Дали. Я снова плеснул коньяка в водочную рюмку (пить из горлышка мне стало неловко в четверть одиннадцатого) и аккуратно перелил жидкость в себя.

— Ты понимаешь... только сейчас, — вытирая губы рукой, горячился я. — Вот сейчас я начинаю все осознавать. Все! И про тебя, и про себя, и про...

Я делал энергичный жест, точно собирался бросить лассо.

Истина! Гиперборейская тьма вспыхивала звездами, звезды логично сплетались в галактики, главная тайна мироздания приоткрывалась медленно, но неотвратно. Да, я был пьян.

И тут кто-то постучал в дверь. Постучал нагло, как стучит управдом или полиция. Опрокинув вертявое кресло, я пошел открывать. В коридоре налетел на вешалку, сшиб вазу, запутался в беспризорных ботинках. Наглый стук повторился. Тихо матерясь, распахнул дверь. На крыльце стоял курчавый мулат ростом с пятиклассника в малиновом френче с золотыми пуговицами.

— Ну и гряззища у тебя тут, братец! — он брезгливо вытирал свой штаблет о мой коврик. — Ну-ка, хозяйина кликни!

Под мышкой мулат держал плоскую лакированную коробку, в таких обычно хранят столовое серебро.

— Хозяин... я, — кашлянув, выдохнул в сторону; и только тут мой мутный мозг озарился — мулат говорил по-русски без малейшего намека на акцент. И даже с московским выговором, плавным и таким родным. Запачканные туфли явно расстроили его, грязь не очищалась ни в какую.

— Хотите тапки? — неуверенно спросил я.

В прихожей он скинул свои башмаки, переобулся. Сунул мне свою коробку, тяжеленную, будто набитую свинцом. Тапки, замшевые с нутром из белой овчины, оказались велики, но мулату, похоже, понравились. Он потопал, приплясывая, шелкнул по-цыгански пальцами, засмеялся.

— Вот что! Вели-ка, ты, милый человек, самовар поставить! — Он подмигнул. — Продрог до мозжечка, не поверишь!

— Может — коньяку?

В гостиной я усадил его в кресло, принес рюмки и коньяк. Он разглядывал комнату, довольно потирая смуглые ладошки.

— Есть в глухом уединенье деревенском, — он встал, быстро подошел к окну — за ним темнел мокрый лес, — покой и мудрость! Мудрость и покой... Да — скучно! И нет ни моря, ни пальмовых рощ, ни итальянской оперы. И сердце вести просит от друзей, оставленных вдали, и тоскует-тоскует по суете...

Я протянул ему рюмку. Он запнулся, понюхал коньяк. Мы чокнулись и выпили.

Он хлопнул в ладоши, снова вскочил. Со стуком откинул крышку пианино, энергично обеими руками взял бравурный аккорд.

— Расстроен инструмент, — извиняясь, я привстал. — Лес. Влажность дикая, из-за реки...

— Расстроен?! — его пальцы ловко пробежались по клавишам в мажорной гамме. — Так даже интересней!

С виртуозной неожиданностью гамма превратилась в Моцарта, в увертюру к «Флейте». Моцарт трансформировался в марш, после в какой-то дикий танец, напоминающий пляски Хачатуряна.

Я протянул ему налитую рюмку. Мы чокнулись.

— Прошу простить великодушно, — мулат выдохнул и со стуком поставил рюмку на крышку пианино. — Впопыхах забыл представиться.

— Я вас узнал.

Он по-детски простодушно оскалился белыми крупными зубами. Мне всегда было удивительно, что у бывших рабов, безусловно лишенных на протяжении нескольких поколений стоматологических услуг, зубы гораздо качественнее, чем у нас, белых.

Третью рюмку мы выпили на брудершафт и поцеловались. Я стал обращаться к нему на «ты». Усидеть на месте он не мог, то с живостью юного пуделя вскакивал и носился по комнате, то бросался ко мне и хватал за плечи.

— Вот именно! Ясность мысли и живость слога! — кричал, яростно тряхнув головой. — Ты же романист, Митя! А что есть роман? Болтовня! Вот и выкладывай все начистоту! Болтай, но с толком! Tout bien vu! Ни единого лишнего слова, умоляю, друг мой! Ведь как русский возьмется писать прозу, так и не понять — то ли с немецкого перевод, то ли с английского. Да еще и наше аристократическое чванство — ведь не просто, подлец, пишет, а свою родовую гордыню лелеет. Писательское самолюбие пополам с дворянской гордыней — где уж тут место для словесности, я тебя спрашиваю?

Мы снова чокнулись и снова выпили до дна.

— Я говорю: господа, охота вам из пустого в порожнее переливать — все это хорошо для немцев, пресыщенных уже положительными познаниями, но мы-то, мы-то — русские!

В его коробке оказалась пара дуэльных пистолетов. Кроме них в бордовом бархате угнездились целое семейство мелких инструментов — шомпол и щетки, отвертки, даже деревянный молоток, похожий на колотушку для отбивания котлет.

— Ле Паж! — наугад брякнул я, шуря глаз и целясь в абажур. — Какой декаданс...

Пистолеты оказались тяжелыми, как утюги.

— Не Ле Паж, Митя! Пистолеты дрезденские, Карла Ульриха! Вот — гляди! И если француз есть бог непревзойденный в мире соусов и подливок, то шестеренки с пружинками я доверю собирать лишь педантичному германцу.

Он ловкими пальцами выпарапал из ложбинки шомпол и, дирижируя им, вскочил на журнальный стол и прокричал:

Вот пистолеты уж блеснули,
Гремит о шомпол молоток,
В гранёный ствол уходят пули,
И щёлкнул в первый раз курок.
Вот порох струйкой синеватой
На полку сыплется. Зубчатый,
Надёжно ввинченный кремль
Взведён ещё...

Я не сдержался, вскочил тоже. Сграбастал его, обнял. Кажется, я рыдал, не помню.

— Сашка! — орал я ему в лицо. — Сукин сын! Ты же гений! Гений!

— Я знаю, Митя! — кричал радостно он мне в ответ. — Знаю!

После мы стреляли по картам. Палили, пока не кончились пули.

— В тридцати шагах в карту промаху не дам, — к месту процитировал я, — разумеется, из знакомых пистолетов.

— Откуда это? Что-то знакомое...

Коньяк кончился, и я дал уговорить себя поехать в соседнюю деревню. Что было по дороге, не помню, кажется, я учил его водить машину. Кажется, мы въехали в канаву. В деревне, в местной харчевне мы подрались с какими-то дальнобойщиками, после пили с ними шампанское. Как долго продолжались безобразия, вспомнить не берусь. Я скупил все спиртное в баре и приказал угощать всех бесплатно. Народ прибывал, стало шумно и весело. Появились музыканты — бородач с гитарой и школьница с банджо. Цыганских романсов никто не знал, поэтому петь нам пришлось самим. Я спел пару вещей из раннего БГ и под конец выдал им Высоцкого.

— Нет, ребята, все не так! — рычал я, гремя струнами. — Все не так, ребята!

Притихшие вермонтцы не понимали ни слова, но глядели с восхищением. Домой нас привезли какие-то лесорубы на грузовике. Когда, обняв коробку шампанского, я ввалился в гостиную, то первой была мысль о белой горячке. Комната, набитая людьми, гудела от голосов. Самое жуткое, что я знал их всех в лицо.

У окна в углу Набоков и Лев Толстой играли в шахматы. Толстой был без бороды, на нем был китель артиллерийского офицера, он играл белыми. Антон Чехов, покуривая небрежно папиросу, листал книжное приложение к «Нью-Йорк Таймс». У пианино, спиной ко мне, стоял лохматый здоровяк и одним пальцем наигрывал сонату Шопена — си-бемоль минор, больше известную как траурный марш. Даже по затылку я узнал Салтыкова-Щедрина. На диване румяный Лермонтов о чем-то спорил с Достоевским. Федор Михайлович чесал бороду пальцами и хмурился. В углу, вытянув ноги в остроносых штиблетах, развалился Бунин. Бритый, как шар, Маяковский кричал и размахивал руками, тесня Ивана Тургенева к шкафу. Седой, как библейский пророк и с бородой, Тургенев морщился, но храбро возражал, повторяя: «Нонсенс, молодой человек! Нонсенс!» Бабель и Гоголь, на пару стоя на карачках у камина, пытались развести огонь. Некрасов, тощий как цапля, разглядывал на стене наши свадебные фотографии. Горький, согнувшись, огрызком карандаша писал что-то на клочке бумаги, пристроив его на колене. Александр Блок заглядывал ему через плечо и ухмылялся. Булгаков терзал мое радио, пытаясь что-то поймать, — в нашей глуши из-за гор и леса ловится лишь треск, да еще какая-то колхозная станция, крутящая только «кантри».

— Дорогой Михаил Афанасьевич... — я икнул, я хотел сказать ему про радио, но не успел.

Комната качнулась, наклонилась и вдруг поплыла куда-то вбок, с плавным, как отходящий поезд, ускорением. Пол вздыбился, я вцепился в плечо Булгакову, его удивленный глаз в монокле стал последним образом того странного дня.

7

Похмелье надвигалось чудовищное — я понял это за миг до пробуждения. Тушей мертвого кита мое сознание всплывало из липкой черноты небытия. Я весь состоял из жажды и стыда. В черепной коробке поселился чугунный шар — а вот для головной боли нужно было придумать новое название. Тело казалось завязанным в морской узел и затекло в самых неожиданных местах, причем одновременно. Я не мог пошевелить даже пальцем.

Воняло горелым луком. Разлепив левый глаз, сквозь муть я разглядел багровые поля, их пересекли черные полосы. Наверное, ад, — без страха подумал я. Другой глаз

не открывался, правая сторона лица горела, точно ее драили щетками. Где-то занудно скрипела ставня, хлопала и ныла снова.

Постепенно и без моего участия внешний мир приобрел очертания и вошел в фокус. Я лежал ничком, уткнувшись лицом в ковер. Судя по его расцветке, это была спальня.

— Ну ты и надрался, Митя, — встретила меня Ева, когда я дополз до кабинета. — Зачем так пить?

— Ради Христа... — взмолился я. — Не для того я развелся, чтобы снова...

Закончить фразу не хватило сил. Я упал в кресло, прижимая ко лбу пакет ледяного горошка из морозильника.

— Нет, я хочу просто понять, — не унималась она. — В чем смысл такого вот пьянства? Я пригласила к тебе интересных людей, хотела сделать приятное... Надеюсь, вот ведь дура! — тебе будет любопытно с ними побеседовать. Обсудить свои беллетристические проблемы... или, не знаю, про что там писатели беседуют...

— Не беседуют писатели, — простонал я. — Ненавидят они друг друга...

— Не знаю! — возразила Ева. — Вон Гоголь и Бабель как подружились. Да и ты с Пушкиным...

— Пушкин — гений. Пушкину что. Мы все ему по пояс.

Вспомнил, а ведь я с ним теперь на «ты». С самим А Эс Пушкиным!

— Слушай, — жалобно обратился. — Ты ведь, наверное, можешь меня...

— В смысле?

— Ну, облегчить муки души и тела, а?

— Аспирин, — отрезала она. — В аптечке.

— Немилосердно это... Ева.

— Не в моих правилах нарушать равновесие кармического устройства Вселенной.

Поощряя порок, ты способствуешь утверждению власти тьмы. Тем более, страдание усмиряет тело и воспитывает душу.

Я шепотом выругался.

— Не матерись, пожалуйста, — сухо сказала она. — Мне это неприятно.

— Знаешь, что...

Закончить я не успел, снаружи послышался шум мотора. Я приподнялся — во двор въехал здоровенный черный джип, похожий на роскошный катафалк. За ним другой, точно такой же. В Вермонте на таких не ездят, тут ездят на тракторах и грузовиках. А зимой на снегоходах и собачьих упряжках.

Споро, по-армейски, из машин высыпали молодцы в приличных костюмах серого цвета. Впрочем, серый — это не цвет, а градация черного. Или белого... Не успев додумать, я пошел открывать, но молодцы уже хлопали дверью. Каблуки уже гремели в прихожей и топали по коридору.

— Эй! Какого черта вы... — начал я.

Никогда в жизни меня не били в лицо так больно. Да, я дрался, но не часто. Несколько раз меня хлестали по щекам разные женщины. Оба раза за дело.

Очнулся я в гостиной, в кресле. От писателей остались беспорядок и кислый дух русских папирос. По моей комнате бесцеремонно расхаживали молодые мужчины, крепкие, как ротвейлеры. Один, рыжий, говорил в телефон.

— Да, Айдар Ибрагимыч, да... Тут он. Да нет, — он взглянул на меня. — Нет, не думаю... Нет, не похоже. Да, слушаюсь.

Он остановился напротив меня и протянул телефон.

— Это вас...

Деревянными пальцами я прижал теплую электронную дрянь к уху.

— Слушаю.

— Слушаешь? Очень хорошо! — мужской голос в трубке звучал отчетливо, связь была прекрасной. — Слушай внимательно. У тебя двадцать четыре часа. Завтра, ровно... (он явно поглядел на часы) ровно в одиннадцать сорок пять деньги должны вернуться на мой счет. Двести пятьдесят миллионов. Плюс к этому, в качестве штрафа, ты заплатишь мне еще двести пятьдесят миллионов. Итого — полмиллиарда. Усек?

— А...

— Никаких «а». В противном случае тебя будут убивать долго и мучительно. Недели две.

Отбой и гудки. Я протянул телефон рыжему.

— Спасибо, — зачем-то сказал.

Рыжий взял телефон, брезгливо вытер о штанину экран, убрал в карман.

Я добавил задумчиво:

— Странно... тут ведь нет мобильной связи.

— У нас свой спутник, — буркнул рыжий.

Его коллеги слонялись по гостиной. Один ковырял пальцем стену, из дырок от пуль торчал свинец. Другой, склонясь над столом, разглядывал шахматную комбинацию, оставленную Набоковым. Третий дремал, развалившись на диване. Четвертый уважительно изучал дуэльный пистолет.

Четверо, плюс рыжий. Пятеро. Я зачем-то пересчитал бандитов. Думаю, пятеро таких как я вряд ли бы справились даже с одним из этих физкультурников. Особенно с рыжим. Вот будь я прекрасной женщиной, да, будь я жгучей итальянкой или кареглазой французской блондинкой с томной грудью в тесном корсете... Да. Вот тогда бы один из них, скорее всего, тот, шахматист, вспыхнул ко мне страстью и, перестреляв товарищей, спас меня от лютых мук и страшной смерти.

— Гля, Штырь, какой мушкет!

Рыжий оглянулся, взял пистолет, вытянул руку и прищурился.

— Тяжелый, падла, — уважительно сказал, возвращая оружие. — Ты вот что, Лось, сходи принеси инструмент пока. Там, в багажнике он.

Я, вытянув шею, проследил в окно, как Лось спустился с крыльца, пересек двор. Обходя грязь и смешно перескакивая через синие лужи, добрался до первого из джипов. Открыл заднюю дверь. Вытащил из багажника алюминиевый чемодан. Красивая и надежная вещь — в таких киношники возят свою хрупкую технику. Металлический угол вспыхнул зайчиком. Где-то пропела птица, кажется, малиновка. Хотя я был уверен, что они вернутся не раньше апреля. Три ноты — еще и еще раз. Лось тоже услышал, он повернулся в сторону леса. Улыбнулся. Так и стоял, застыв в профиль с металлическим сундуком в руке.

— Я не садист, — тем временем доверительно сообщил мне рыжий. — Но я буду делать то, что мне приказали. Ничего личного. Просто работа.

Вот сволочь — просто работа! Я вспыхнул.

— Вы забыли добавить, — крикнул ему в лицо, — что я вам даже симпатичен и что если бы нам довелось встретиться где-нибудь в Коктебеле или Сочи, то мы бы...

— В каком Сочи? Что я — жлоб, в Сочи отдыхать! Сочи...

— А где же вы, убийцы, отдыхаете?

— Ну как... — он простодушно развел руками. — Испания. Или в Италии... На крайняк — Греция. Но только на островах, материк — помойка. Особенно Афины.

Мне тоже Афины не понравились — грязь, шум, толчея. Горожане озлобленные, вроде москвичей времен Горбачева. Помнится, взобрался на Акрополь, а там...

Лось вернулся с чемоданом. Передал рыжему. Тот, выставив колено, щелкнул замками и открыл. В пористой резине мышинного цвета лежали стальные инструменты, колючие и острые даже на вид. Ланцеты, скальпели, стилеты. Каждая хищная сволочь в своем уютном гнезде. Меня передернуло. К нам подошел любитель шахмат, тоже заглянул в саквояж.

— Черные выиграли? — спросил я.

— Ага. Мат Легалья. На трех легких фигурах. Правда, ход К:е5 Легаль делал при черном коне на с6, и противник мог выиграть фигуру, просто взяв коня на е5, а не получить мат после взятия ферзя на d1.

— Изящно, — сказал я.

— А то! Это вы играли?

— Не. Знакомые вчера заходили.

— Мне, кстати... — робко начал шахматист. — Мне ваш «Яблочный рай» очень понравился. Про женскую тюрьму...

— Я знаю.

— Мозговитая книга. А вот «Кремация» как-то не очень. Мрачно уж больно...

— Ну, жанр такой, — начал оправдываться я. — Антиутопия. Чего вы хотите?

— Извините... — он замялся, — Дмитрий... не знаю вашего отчества...

— Да чего уж там, — великодушно хмыкнул я.

— Вы мне книжку не подпишите? Мне, конечно, страшно неловко...

— Давайте-давайте, — поманил я рукой. — Давайте вашу книгу.

— Я сейчас! Один момент!

Шахматист выскочил из гостиной. Подбежал к джипу, распахнул дверь. Нырнул головой, выставив грязную подошву. Над машиной кружила малиновка и звонко повторяла: фью-и-ить, фью-ить, фью-ить. Точно звала кого-то. Птица выписывала занятные пируэты на манер летучей мыши. Взмыла в небо свечой, сделала ловкую восьмерку, после ринулась вниз. Перед самой землей вышла из пике и, точно нагадив на ветровое стекло, спланировала на крышу джипа. Оттуда перелетела и уселась на угол сейфа. Хлопая крыльями, прокричала свое фью-и-ить, фью-ить, фью-ить. Дверь сейфа плавно приоткрылась.

— Вот! — шахматист, вернувшись, протянул мне книгу.

Это была «Кремация». Второе издание, московское. С расколотой мраморной головой Юлия Цезаря на обложке. Молоток лежал тут же.

— Ну вам же она не нравится? — ехидно спросил я.

— Нет, почему... — застеснялся он. — Просто очень уж депрессивно как-то, вы понимаете, тут жизнь такая, а у вас и в книге...

— Ладно, — сжалился я. — Ручку давайте. Кому надписать?

— Хирургу! — усмехнулся рыжий. — От пациента. Ведь это он будет вас...

Рыжий, оттопырив короткие мизинцы, изобразил, что режет стейк.

Мне все-таки удалось убедить их вывести меня во двор. Рыжий осмотрел сейф снаружи, заглянул внутрь.

— Ну и? — спросил он. — Там пусто.

Малиновка, склонив голову, сидела на макушке сейфа и наблюдала за нами.

— Тем более, — не совсем логично ответил я. — Вот и замечательно.

Распахнув двери настежь, я сделал шаг и вошел внутрь сейфа. Вошел, как в кабину лифта. Рыжий и его ребята озадаченно следили за мной. Улыбаясь,

я повернулся к ним. Шахматист улыбнулся в ответ, остальные глазели хмуро и подозрительно.

И тут я с грохотом захлопнул обе створки. Замок клацнул в гулкой темноте. Эхо улетело куда-то ввысь, точно я очутился в бездонном железном колодце. Снаружи принялись дергать, трясти, после долбить ногами в дверь. Потом начали стрелять. Пули цокали и звенели, пули пели, словно серебряные молоточки. Баварская сталь была крепче танковой брони.

Звуки долетали приглушенно, как из соседней Вселенной.

Испугаться я не успел, но мне вдруг стало казаться, что темнота, непроглядная, точно сажа, начала сгущаться. Чернота становилась материальной. Вязкой, как смола. До этого мои представления о клаустрофобии были весьма расплывчаты — детские страхи, да невнятные сны. Пыльный чулан или сырой погреб, даже заброшенный подвал — это все не то: только теперь я ощутил, что испытывают похороненные заживо.

Мое горло сжала судорога, я хватал ртом воздух. Но воздуха не было, была чернота. Шершавая, как железные опилки. Я начал задыхаться. Хотел закричать и не смог. Я начал колотить по стенкам, пинать и бить кулаками в дверь. Это была настоящая агония.

8

Дверь открылась сама. Как в лифте, только бесшумно. Я выглянул — ни рыжего, ни его команды не было, исчезли и их черные катафалки. Впрочем, пропали не только джипы, испарился и сарай, и мой дом. Растаяла без следа и новенькая баня, построенная всего год назад местным мастером по имени Нилс Андерсен, веселым вермонтским скандинавом с руническими татуировками по всему телу. Банный теремок Нилс примостил на самом берегу нашей речки так, чтобы с крыльца можно было сигать прямо в воду. Теперь на том месте паслась чужая пегая кобыла, да пара незнакомых девок что-то полоскала на мелководье.

Я было направился к ним, но остановился на полпути — девки были голые. Совсем. Они заметили меня и оставили свои постирушки. Лошадь тоже повернула голову в мою сторону и недовольно зафырчала. Я смутился и помахал им рукой — всем, включая кобылу.

Девицы не ответили. Загорелые и поджарые, с обилием гнедых волос — на голове и в других местах, они походили на испанских нудисток. Они стояли по щиколотку в бегущих солнечных бликах, рядом на мокрых камнях лежала свежая шкура, тут же на отмели розовел анатомией лакированных мышц баран, с которого эту шкуру сняли. Вода болтливо журчала, кровь румяными нитями уплывала вниз по течению, над трупом животного жужжали изумрудные мухи. До меня дошло, что тут уже было лето, скорее всего, июль.

Я развернулся и быстро зашагал обратно. Трава, некошенная, почти по пояс, цеплялась за ноги. По опыту я знал, что не бывает беспризорных голых женщин — наверняка где-то рядом скрывались их мужчины. Способ рефлексивного теоретического мышления не подвел — со стороны березовой опушки, где мы обычно жарим шашлыки, приближалась тройка мужиков. Эти тоже были голые, но только по пояс; даже издали я заметил убедительный атлетизм их торсов — не дутые шары бицепсов качков-культуристов, а тугие жгуты мышц настоящих физкультурников. Шли бодро, двигаясь мне наперерез. Я побежал.

К индейцам я испытываю симпатию с пятого класса. Мое поколение, особенно его мальчишеская часть, души не чаяло в гэдээровских вестернах, снятых на пленэрах гористой Югославии. Простота сюжета диктовалась жанром: бледнолицые — поголовно мерзавцы (за исключением одного, голубоглазого блондина), захватывали земли простодушных индейцев. Белые против красных — та же знакомая формула вселенской правды, что вкручивалась в наше подсознание пионерской организацией. Белые — хитрые и жадные, красные, точнее, краснокожие — честные и храбрые.

Звездой немудреных киношек — на западе их пренебрежительно обзывали «red western» — был мускулистый Гойко Митич, бывший учитель физкультуры и каскадер-любитель из Белграда, решительный и симпатичный брUNET, больше похожий, впрочем, на грузина, чем на какого-нибудь могиканина или апача. Экзотический германо-югославский кинопроект стал одним из самых удачных пропагандистских трюков Варшавского блока. В области идеологического воспитания в духе пролетарского интернационализма Гойко Митич, этот сербский Соколиный Глаз, сделал больше, чем Маркс, Энгельс и Ленин вместе взятые.

Меня сбили с ног. Ловко связали ремнями, куда-то понесли. Даже вверх тормашками я безошибочно узнавал наш дачный ландшафт — за сосняком открылась лужайка, окруженная лесом, оттуда вытекал безымянный ручей, впадавший чуть ниже в нашу речку. На той лужайке, вытоптанной до желтой глины, и дальше до самого бора, рассыпалась деревня — конусы белых вигвамов, тотемные столбы, большое кострище, выложенное по кругу речными валунами с закопченными боками. Между двух тонких берез сушилась растянутая медвежья шкура. Тут же гроздьями висели кукурузные початки, — ядреная кукуруза с янтарными зернами, — такую последний раз я грыз в детстве у своей деревенской бабки на Украине.

Меня развязали. Я встал, отряхнулся. Принял, насколько ситуация позволяла, горделивую позу. Попытался вспомнить, что в подобных ситуациях делал мой югославский кумир. Главное — достоинство и спокойствие. И меньше слов — хао! — я все сказал, — и не более того. Я сложил руки на груди и повернул голову в сторону реки. Откуда-то вкусно пахло гуляшом.

Местные потянулись, первыми прибежали дети. Последним явился вождь. За ним брел шаман. У вождя, ладного мужика моих годов, крепкого и загорелого до медной красноты, из волос, заплетенных в косы, торчало длинное орлиное перо. Шаман был брит под ноль. Гладкий шар черепа, ровно выкрашенный в оранжевый цвет, лаково сиял и смутно напоминал речной буй. На шее среди бус цыганской пестроты из сушеных желудей, грибов и ракушек висел белый череп какого-то небольшого животного. Жители расступились, пропуская начальство.

Вождь остановился в двух шагах и не моргая уставился мне в глаза. В его лице было что-то монгольское — скуластость и раскосость, и никакого сербского обаяния. Зачем-то я вспомнил о путешествии на Гавайи: лет десять назад мы с женой отмечали какой-то юбилей и очутились на острове Мауи, где частный экскурсовод в подробностях рассказал, как закончил свои дни капитан Кук. Джеймс Кук. Да, разумеется, его съели. Но предварительно его побрили и выпотрошили, после, набив раскаленными докрасна камнями, зарыли в песок. Пока он доходил в яме, туземцы водили вокруг хоровод, пели песни и совокуплялись. Там у них на островах насчет этого дела все очень просто и сейчас. Впрочем, тогда я был женат. Но речь о другом — до конца путешествия я стал вегетарианцем, даже от жареной камбалы меня мучило.

Вождь смотрел мне в глаза и молчал. Молчал и колдун. Племя тоже молчало. С каждой секундой какая-то упрямая тяжесть все сильнее и сильнее давила мне на

плечи, сгибала мой хребет, мою шею. Незримые гири чугуном тянули вниз. Безумно хотелось сесть на корточки, скрючиться и зажать лицо между колен. Заткнуть уши, чтоб не слышать этой свинцовой тишины.

Я не вынес пытки: решительно прижав левый кулак к груди, я поднял правую руку.

— Привет тебе, вождь... — начал я баритоном диктора с Гостелерадио. — Вождь... Орлиное Перо.

Мне ничего не стоило назвать его Ослиным Хвостом или Семен Семенычем — говорил-то я по-русски. Тем же суконным тоном, словно читая сводки с фронтов, я представился. Зачем-то соврал, отрекомендовавшись Глебом Яхиным. Вкратце рассказал о себе. Мол, прозаик и лауреат, автор одиннадцати книг. Медный лик вождя оставался бесстрастной маской, но в глазах мелькнул интерес — он слушал.

Я продолжил. Процесс напоминал заклинание. Походил на магический обряд макумбы, на тибетскую мантру. Главное — не останавливаться, чем дольше я говорил, тем в большей безопасности себя чувствовал. Смысл значения не имел — никакого. От биографии я перешел к декламации стихов. Начал с Евтушенко.

Дай бог слепцам глаза вернуть
и спины выпрямить горбатым.
Дай бог быть Богом хоть чуть-чуть,
но быть нельзя чуть-чуть распытым.

Параллельно мой мозг судорожно пытался найти хоть какой-то козырь, который не могла не подкинуть мне наша многовековая западная цивилизация: ведь именно так разворачивается обычный сценарий общения с дикарями — огненная вода, быстрый огонь, разящий свинец — и ты уже полубог, сошедший на землю. Впрочем, бывали и исключения, вроде капитана Кука.

Дай бог быть тёртым калачом,
не сожранным ничьей шайкой,
ни жертвой быть, ни палачом,
ни барином, ни попрошайкой.
Дай бог поменьше рваных ран,
когда идёт большая драка.
Дай бог побольше разных стран,
не потеряв своей, однако.

Дикари слушали Евтушенко. Не сводя глаз с вождя, боковым зрением я видел пытливые лица воинов, морщинистых патриархов и седых скво. Щекастые молодухи, похожие на наших жгучих татарок, чернявая детвора с ободранными коленками — все глазели на меня. Племя, скорее всего, принадлежало к народу «абенаки», которые обитали на территории штата Вермонт, от поймы реки Коннектикут до самой канадской границы (ни Канады, ни границы тогда, разумеется, не существовало).

Прошлым маем меня пригласили на какое-то самодеятельное культурное мероприятие, которое проходило в этнографическом музее неофициальной вермонтской столицы Берлингтон. В гулком зале, украшенном неинтересными экспонатами — пыльные шкуры, бубны с линиям орнаментом, каменные ножи, — я рассказывал школьникам унылые истории из скучной писательской жизни, говорил о книгах, которые они не читали и никогда не читать не станут. Под конец меня подвергли изощренной пытке часовой экскурсии (для особо почетных гостей) с последующим просмотром десятиминутного диафильма. Что я запомнил? — да почти ничего!

Разве, что абенаки мастерили свои вигвамы из бересты, а зимой покрывали их медвежьими шкурами. В отличие от свирепых соседей ирокезов — кто бы мог подумать, что у них верховодили бабы! — у абенаков торжествовал патриархат. Мужчины охотились и ловили рыбу. Женщины племени занимались весьма изощренным огородничеством: на одном поле выращивали одновременно три культуры — кукурузу, по стеблям кукурузы вились бобы, а землю от сорняков защищали кусты тыквы. Называлось это принципом «трех сестер».

Еще я вспомнил, что после свадьбы муж и жена заплетали друг другу косички. Холостые ходили с распущенными волосами. Что еще? Да, мифология племени была населена обычной гурьбой злых и добрых демонов. Впрочем, не без сюрпризов: верховный бог великан Удзи-Хозо родился без ног, ползая по окрестностям, он прорывал долины и ущелья, громоздил утесы, от его пальцев остались борозды, по которым побежали реки. Титан-калека выворачивал горы, творя озера. Именно так появилось священное озеро Шамплейн, живописный голубой водоем размером с наш Байкал. Завершив работу над ландшафтным дизайном, Удзи-Хозо бескорыстно превратил себя в живописную скалу в центре озера. Гигантский камень, похожий на языческий монумент, и сейчас можно увидеть с набережной Берлингтона.

Чтоб не извериться во всем,
Дай бог ну хоть немного Бога!
Дай бог всего, всего, всего
и сразу всем — чтоб не обидно...
Дай бог всего, но лишь того,
за что потом не станет стыдно.

Евтушенко закончился. Я умолк. Моя правая рука, изображавшая что-то вроде тельмановского приветствия «рот-фронт», окончательно онемела, и я бессильно опустил ее. Вождь и племя молчали. Надежда на благополучный исход стремительно испарялась. С реки легко подул теплый, как дыхание, — не ветер, почти южный бриз; пузатые тыквы, сложенные старательной пирамидой, матово блестели рыжим воском боков, за ними тянулся плетень из белых березовых палок. На частокол, как крынки в украинском селе, были нанизаны человеческие головы разной степени провяленности — от гладких черепов, совсем не страшных своей фарфоровой декоративностью, до тошнотворно свежих экземпляров. Если бы у меня росли волосы на холке, то они бы встали дыбом.

И тут вождь заговорил.

— Твоя песня, бледнолицый, правдива, как звон ручья. Как полет орла над равниной. В сумраке ночи ты сумел забраться на вершину горы и разжечь там костер — ты указал заблудившимся дорогу — теперь они знают куда идти.

На деле его слова звучали полной абракадаброй (вроде «саноба наливи мдал низ галонг» и т.д.), но каким-то образом их смысл моментально доходил до меня — точно у меня в мозгу сидел синхронный переводчик.

— Но я же говорил по-русски... — промямлил я растерянно.

— После Великой Грозы дети Удзи-Хозо научились видеть сквозь шелуху слов.

— А как же я... сквозь шелуху? Я ж не дитя... Удзи-Хозо.

— Даже неразумная скво, разбив кувшин, может склеить осколки. Если ты наклонишься к воде, кто будет на тебя смотреть оттуда? Бледнолицые залепили уши воском, замазали глаза глиной; они задушили птенца Кита-Скок, который вылупился в их сердце. Черная плесень Кчи сожрала их души, гнилой орех они — скорлупа крепка, да под ней труха.

— Ну, я бы не стал так огульно...

— Не мои слова. Удзи-Хозо проклял бледнолицых. Великая Гроза убила их демонов. Их белый бог Крис-Джизу отвернулся от них. Хвастливый бобер Азэбан пытался перекричать водопад, но вода смыла хвастуна.

— При чем тут бобер? — мне стало жутко от его тона. — Я с уважением... всегда, с детства... Даже письмо написал Гойко Митичу. Рисунок свой послал — там Виннету на коне. Цветными карандашами, как сейчас помню... В пятом классе. Да и вообще я — русский. Хотя и белый, но почти индеец... Нам тоже, знаешь, как досталось — ого-го, мама не горюй! И немцы, и Сталин, потом олигархи эти...

— Глеб Яхин! — его глаза уставились мне в лоб. — Прими смерть, как воин...

— Какой на хер Яхин?! — перебил я. — Какой воин?! Я писатель! Виноградов я! Вождь явно разочаровался во мне. Племя угрюмо зароптало.

— Язык бледнолицего лжив, как у речного гада Ки-по-кули, — вождь поднял руку. — Хао! Я все сказал.

Он действительно произнес именно эти слова. Кивнул — и пара спортивных парней придвинулись ко мне. Шаман вытащил из шитых бисером ножен стальной тесак — обычный кухонный нож с эбонитовой рукояткой и широким лезвием.

Обычный? Да — для кухни двадцать первого века! Но не тут — в первобытном селе. На ноже колдуна было то же клеймо, что и на моем — «Близнецы» — лучшая сталь Германии из города Золинген. Именно таким предпочитал орудовать на кухне и я — резать мясо и рубить овощи. Солдаты Вермахта прятали нож с таким клеймом в сапоге, он считался самым надежным оружием в рукопашном бою.

Но даже не кухонный тесак — черт с ним, с ножом! — на шее шамана висел мой медальон! Медальон, который мне подарила Вера пять лет назад, во время нашего путешествия по России. Был мой день рождения, апрельское небо над Петербургом — мокрая лазурь — бескорыстно сияло, мы петляли по каналам, вышли на Мойку. У аляповатой церкви, прямо на парапете, торговали старой мелочью: царские монеты, ладанки, крестики лежали на траурных цыганских платках и на серых картонках. Вера наклонилась — смотри, сказала, указывая пальцем. Амулет с моим святым, Дмитрием, был испорчен — в центре, как от удара гвоздем, была вмятина. Это от пули, — сказал авторитетно старик с долгими седыми усами. И добавил — с первой войны еще.

Рванувшись, я сдернул с шеи колдуна амулет. Инстинктивно — ни мыслей, ни плана не было. Краснокожие оторопели, они явно не ожидали от меня такой удачи. Я пихнул шамана в грудь. Понесся в сторону реки.

Меня спасло, что они хотели взять меня живьем — это первое. Второй плюс был историко-географического характера: абенаки на протяжении веков жили среди дремучих лесов, часто непроходимых, главным средством передвижения у них была лодка — легкое каноэ из бересты, поэтому деревни свои абенаки разбивали у рек и озер. Гребцами они были отменными, а вот с бегом дела обстояли похуже.

Я мчался не касаясь травы. Летел не оглядываясь. Должно быть нечто похожее испытывает олень, уходящий от охотников, — эйфория, да, вот верное слово! В миг такой и умереть не страшно. Из-за диких яблонь сверкнула река, тот берег — стена соснового бора. На пригорке — сейф — черный квадрат дыры в малахите и ртуты.

Задыхаясь, добежал, рванул двери и нырнул внутрь. Захлопнуть их я не успел — темнота сейфа обрушилась, но тут же сменилась ярким светом. Точно, как в цирке, пробив заднюю стенку, я промчался насквозь и вылетел наружу. Вылетел и влетел,

да, прямо в свой дачный мир — двор, весна, грязь и нудный дождик. Черные катафалки — два джипа — стояли тут же, бандиты тоже.

— Вот он, гад! — заорал рыжий.

Я вывалился из сейфа и с разбегу грохнулся в снежное месиво. Бандиты бросились ко мне. Сразу все пятеро. Дальнейшее отпечаталось в моем сознании, как замедленное кино — эдакий балет, когда любое движение приобретает лебединую грацию и длится почти вечность.

Следом за мной из распахнутых дверей сейфа, точно свора гончих собак, выскочила гурьба краснокожих. Лай, вой и визг неслись впереди. Мускулистые и потные, люто чернобровые и белозубые, они, не теряя времени даром, сходу принялись кромсать бандитов ножами. Делали это азартно и с удовольствием. Рыжему вмиг снесли полчерепа томагавком. Раздались выстрелы, кто-то зашелся кровавым воем. Преимущество огнестрельного оружия в рукопашном бою оказалось весьма сомнительным — в этом я убедился наглядно. Голые дикари, вооруженные топорами и ножами, расправились с профессионально дрессированными убийцами минуты за три.

Конец битвы я наблюдал из-под машины. Мне удалось заползти под ближайший джип, оттуда я видел, как краснокожие добивали раненых. Босые пятки месили грязь. Красные ручейки текли в мутные лужи, розовые пятна расплывались в жиже талого снега. Потом ловко, как портовые грузчики, индейцы взвалили мертвых бандитов на плечи и гуськом — один за другим — исчезли в черной пасти сейфа. Я лежал под днищем машины, и мне даже не было страшно. Разжал кулак, в ладонь впечатался амулет со святым Дмитрием Солунским. Может, эта Ева из бутылки действительно права насчет имени: у меня, человека паталогически мирного, покровителем числится один из самых воинственных святых.

9

— На сто! На сто ходов просчитано! — орал я, как птица крыльями, размахивая руками. — На сто ходов у нее!

Она не спорила — спокойно ждала, когда я выдохнусь. Мудрая женщина. Утомился я быстро, минут через десять. К тому же следовало ожидать новых гостей от олигарха.

— Их не будет, — прохладно сказала Ева. Судя по ее тону, в своей страстной тираде мне удалось-таки здорово обидеть ее.

— Спасибо! Ну вот теперь я спокоен, — мой ор сменился сарказмом. — А то уж было впал в отчаянье. Но теперь...

— Заткнись, а? — и вежливенько добавила, стерва. — Пожалуйста. Новости посмотри.

Я открыл ноутбук. Кликнул на Би-Би-Си.

Начала загружаться главная страница, появился красный кирпич логотипа, — с нашим лесным интернетом нужно изрядное терпение, — картинки еще оставались пустыми квадратами, но заголовок прописался. Под шапкой «Сенсация!» строгой черной гелветикой было набрано: «Смерть олигарха. Убит тайный кассир Кремля». Дальше шла врезка: «В результате взрыва на своей яхте «Феникс» погиб Айдар Хусаинов, русский олигарх, один из богатейших людей мира (в списке «Форбс» он на сорок втором месте с состоянием в двадцать восемь миллиардов долларов). Взрыв произошел в результате попадания двух ракет, предположительно класса «Томагавк»,

выпущенных с неустановленного летающего объекта. Яхта находилась в Средиземном море и держала курс на Корфу. Айдар Хусаинов подозревался в связях с международными криминальными структурами, он считался доверенным лицом Кремля и был известен в кругах политической элиты под кличкой «кассир». Есть основания полагать, что именно через Хусаинова осуществлялся вывод капитала из России с дальнейшей легализацией его на Западе».

Пока я читал, появились фотографии: улыбчивый портрет покойного, его лондонский дворец в Кенсингтоне, знаменитая яхта олигарха, еще более знаменитый самолет — здоровенный «боинг», выкрашенный в русский триколор, с двуглавым золотым орлом на фюзеляже. Дальше шла коллекция гоночных автомобилей. Последним (теперь уже точно последним) приобретением олигарха стала гоночная трасса для машин класса «Формула-один» в Северной Баварии.

Дальше, более мелко, шел длинный список сокровищ и богатств, с указанием цен в фунтах стерлингов. Перечисление напоминало бесконечный прейскурант и начиналось с недвижимости. От поместий в Северном Эссексе, Сан-Тропе и Калифорнии до вилл в Подмоскowie. Я хотел промотать, но список не кончался. Яхты, футбольные команды, какие-то уникальные изумруды размером с кулак, яйца Фаберже, картинные галереи и кегельбаны. Даже свой личный аквапарк на своем личном острове в Адриатике.

По сведениям лондонской газеты «Сандей Таймс», покойный входил в список богатейших людей Англии и занимал второе место.

— После королевы! — я захлопнул ноутбук. — Потрясающе...

Встал, подошел к окну. Меня мутило. Неожданное избавление, спасение от неминуемой смерти — где же радость, я вас спрашиваю?!

По стеклу сползали капли дождя, оставляя кривые полосы. Погода снова испортилась, там снова шел дождь. Все было безнадежно — мышиное небо, дрова, сложенные в поленницу, ржавый бидон, забытый с осени топор, тоже ржавый. Сизые сугробы обреченно белели среди грязных луж, голый лес казался покалеченным и мертвым, мокрые палки веток уродливо торчали, как обрубки. Казалось, зима убила лес — никогда не набухнут почки, не проклюнется листва. Никогда.

Ева с безгливой жалостью смотрела на меня, так смотрят на больную дворняжку. Я бухнулся в кресло, взъерошил волосы, начал терзать глаза, мять лицо.

— Есть вещи, которые от тебя не зависят, — сказала тихо она. — Надо смириться.

— Это очень оригинальная мысль, — промычал я сквозь пальцы. — Такая свежая.

— Банальность истины не отменяет ее правоты.

— А вот это я просто хочу выколоть у себя на груди. Ты не против?

— Дурак...

— Ну-ну... — я сунул руку в карман. — А вот это что такое?

— Медальон. Сплав серебра. Методом чеканной штамповки нанесено изображение Дмитрия Солунского, христианского святого, покровительствующего воинам. В центре медальона вмятина от пули немецкого карабина, калибр...

— Да черт с ним, с калибром! Как мой медальон оказался там? — я махнул рукой в сторону окна. — В прошлом?

— В каком прошлом? — она, кажется, впервые растерялась. — В будущем... Митя. В будущем.

— Где?... — у меня не было слов, я промычал нечто вопросительное.

— Будущее. Элементарно — его ведь еще нет.

Она снова говорила высокомерно. Снисходительно, как с идиотом, который — один черт — ничего не поймет.

— Работать с прошлым слишком сложно, даже через примитивные «кротовые ходы». Нарушение топологии пространства, концентрация отрицательной энергии при использовании моста Эйнштейна-Розена — такая канитель!

Она продолжала нести какую-то тарабарщину, что-то про третичное пространство, про доплеровский эффект, про какую-то струну времени.

— Но ведь дикари? — промямлил я. — Краснокожие... Вождь... Шаман.

— Дикари? У вас такая вера в эволюцию! В прогресс! В поступательное развитие человечества!

— Может, и Дарвин — дурак?! И эволюции не существует?

— Митя! Не пугай меня — конечно, не существует! — она обидно рассмеялась, будто я ляпнул какую-то чушь. — Какая, к чертовой матери, эволюция? Вырождение — да! Регресс — абсолютно! Вы встречаете в джунглях дикарей. Вы обычно думаете, что они примитивны, а из примитивных людей начинают развиваться цивилизация и культура. Что скоро они изобретут колесо и через пару поколений построят ракету и полетят на Марс. Так? Но вы не понимаете главного — в большинстве случаев эти дикари являются потомками культурных народов. Которые уже летали на Марс.

— Но наука! Законы физики! Это же не гипотезы, это — истина!

— Боже! — простонала Ева. — Чудовищный наив! Истины, которые выявлены логическим путем, воспитанным на наблюдениях этого трехмерного мира, вовсе не являются истинами с точки зрения высшего сознания! Притча о слоне и трех слепцах!

У вас нет ни малейшего представления о реальном положении вещей...

— У вас?

— Да, у вас! Но главная беда — ослиное упорство! Нет ни малейшего желания понять! Хотя бы представить! Ты ж писатель, Митя! Так гордишься своей фантазией, в припадках эйфории считаешь себя чуть ли не гением, чуть ли...

— Неправда, — холодно оборвал я. — Никогда я не говорил...

— Но думал! Думал! — она отмахнулась несуществующей рукой. — И ты прав... Да-да, ты прекрасный литератор. Ведь я все перечитала! «Кремация» — просто шедевр. И ранние вещи, «Рай» и «Все певчие птицы» — потрясающе! Прочла даже ту первую вещь, как она... про художника...

— «Доспехи ангелов сотканы из дыма». Но он не художник, он в рекламном агентстве...

— А «Латгальский крест»? Роман мирового уровня! Нобелевского — без дураков!

— Погоди-погоди... — я наклонился к ней. — Какой крест? Балтийский? Я не писал про крест...

Ева отвела глаза.

— Ой! Гляди! — воскликнула с фальшивым восторгом. — Олень на опушке! Тот же самый! С белой... этой... звездой на лбу.

Я даже не повернул головы. Строго спросил:

— «Латгальский крест»? Чья это книга?

— Твоя.

— Ну и о чем же эта... моя... книга?

— Ну, знаешь, так сложно...

— А ты попробуй-попробуй.

— Там сюжет на нескольких планах развивается — параллельно. В прошлом, будущем и настоящем. Но настоящее происходит в будущем, поэтому...

— Бред!

— Почему — бред? «Кремация» ведь тоже так написана.

— «Кремация» — классическая антиутопия! А то, о чем ты говоришь, — это какой-то композиционный винегрет. На трех уровнях...

Я запнулся, осторожно спросил:

— А что ты там... про Нобелевскую премию, кажется — да? Нет?

— Ты ж говоришь — бред?

— Так ты можешь и..?

Она фыркнула и подмигнула — мол, пара пустяков.

10

Исполнение желаний!

Исполнение желаний — что может быть упоительней! Что может проще! Багдадский вор и Конёк-Горбунок, старик Хоттабыч и жар-птица, Мэри Поппинс и Мефистофель — с младенчества нас натаскивают, готовят к этому испытанию. Мы еще не знаем третьего закона Ньютона, но нам известна история незадачливого старика и его сварливой старухи — каким же олухом нужно быть, чтобы проворонить такой шанс! В детстве все просто — мороженое каждый день, летние каникулы круглый год, а на третье желание даже воображения уже не хватает. А вот в древней Индии жил слепой нищий, такой жалкий и одинокий, что местный бог среднего чина по имени Параджанья растрогался и решил исполнить его желание. Но всего лишь одно. И что характерно, в отличие от русского рыбака-пенсионера индус оказался на редкость сообразительным малым.

«Сделай так, о всемогущий Параджанья, чтоб в глубокой старости я мог любоваться своими внуками, которые вкушают яства с золотых блюд, сидя на террасе мраморного дворца с видом на прекрасный парк, где гуляют павлины, пасутся ламы, а в озерах плещутся тучные карпы».

Так вот — учись, рыбак!

Ровно четыре месяца назад, в самом начале декабря, я чуть было не сыграл в ящик. Гололед вермонтских дорог отличается редким коварством. Вдобавок мое высокомерие, столь свойственное русским, когда речь заходит о зимних морозах, водке и исторических катаклизмах. Да, конечно, я учился ездить на искалеченном «москвиче». А после еще пару десятилетий колесил по столичным и подмосковным улицам и переулкам, злым и мстительным, напоминающим порой фронтовые дороги не только ухабами, но и яростью неукротимых участников движения. Японские камикадзе по сравнению с московской шоферней выглядели тогда, как трусливые школьники.

Помню январские снегопады на Садовом и июльские ливни, чудесно превращавшие Трубную в Венецию, помню ржавый костыль, что, вылетев из-под колеса «краза», с хищным хрустом пронзил триплекс и застрял в пяти сантиметрах от моего лба — дело было где-то в районе Смоленской. Отскочившее (по вине нетрезвых механиков) на всем ходу переднее колесо, пробитый поддон картера на Можайке — моторное масло текло по асфальту, как черная кровь жертвенного быка. Помню тот открытый люк на проспекте Мира в крайнем левом ряду — помню-помню бессилие и отчаянье. Помню надежду и веру.

Фатализм моряка с каравеллы, покорная обреченность и наивное суеверие приклеивали к лобовому стеклу талисман — бумажную богоматерь, Николая-угодника или Иосифа Виссарионовича. Порой на одном стекле уживались все трое. Да, московские дороги, эта смесь нехитрой цивилизации и чистосердечного варварства, таили сюрпризы и предвещали приключения. По крайней мере, тогда, в конце прошлого века.

— К чему ты мне все это рассказываешь? — спросила Ева.

— «Блэк айс», — вместо ответа строго молвил я. — «Чёрный лед». Ты знаешь что это такое?

В то декабрьское утро, синее и звонкое, точно вырезанное из детского кино про малахольную Настеньку и всемогущего Морозко, я гнал в аэропорт — прилетала Вера. Необитаемое шоссе петляло через лес, взбиралось на сопки. Сверху распахивались открыточные просторы — белые утесы, заснеженные поля, стеклянные озера, — все чересчур красиво, чтобы не таить западни. Одно это должно было меня насторожить. Ага, как бы не так.

Спидометр показывал шестьдесят миль, я нажал круиз-контроль и врубил музыку на всю катушку. Пустая дорога шла под уклон. К обочине подступал промерзший лес, из сугробов стеной вырастали высоченные елки, все в белом инее, как засахаренные, от макушки до пят. Справа промелькнул труп оленя. Он лежал на краю дороги, выставив вверх мертвые ноги, точно сломанный конь с ярмарочной карусели. Ночной лесовоз, должно быть, сбил бедолагу.

Чудесная гармония утра, составленная из замерзшей красоты и несомненной логики бытия, внезапно дала трещину. Инстинкт, звериное чутье безошибочно уловило тот фатальный хруст. Мозг, как всегда, безнадежно запаздывал. Какая-то уверенная сила потащила машину влево. С плавной мощностью потока, влекущего лодку к водопаду, когда и весла, и молитвы уже бессильны.

Дальнейшее происходило в режиме аварийного авто-пилота: механические навыки (не тормозить, не крутить баранку, плавно направить машину в сторону заноса) и паника рассудка на грани истерики (этого не может быть! Неужели это конец! Нет, этого просто не может быть!). Теперь машину потянуло вправо. Именно тут до меня дошло, что я полностью потерял контроль. И в дальнейших событиях я буду принимать участие лишь как зритель. Ну и как жертва, разумеется.

— И ты знаешь... — я задумался. — В эту секунду на меня точно снизошло озарение... Точно я заглянул в тайный мир. Точно кто-то прошептал мне на ухо главный секрет мироздания...

— Только вот не надо утрировать, — Ева ухмыльнулась. — Какой секрет? Какого мироздания?

— Нет-нет! Seriously! Я осознал иллюзорность нашего контроля над бытием. Мы готовы признать случайность рождения и внезапность смерти, но между этими пунктами — мы хозяева жизни и властелины судьбы. Мы принимаем решения и выбираем направления. Мы!

— Какая дичь! — она отрезала. — Что там дальше было? Не отвлекайся.

— Дорога шла под уклон. Машину несло вправо. Там, за молодым ельником, всего в пяти метрах от обочины, лес обрывался ущельем. Другая сторона, седая от инея каменная стена, обломанным краем утыкалась в утренний ультрамарин неба. Слетев с асфальта, я понесся по снегу. Летел, с хрустом срубая молодые елки. Сучья били в лобовое стекло. С треском отлетело боковое зеркало и, как болид, унеслось

в пропасть. Из всех возможных мыслей мой заклинивший мозг выбрал одну — в аэропорт я, похоже, не успею.

— Ха! Типично, — констатировала Ева хмуро. — Ну дальше ясно — машина остановилась на краю ущелья...

— Ну не совсем на краю. Рассказываю, как было...

— Ну-ну.

— Через час меня вытащил проезжавший мимо лесовоз. У этих ребят цепи и тросы всегда под рукой. Заросший до глаз шоферюга был похож на Емельяна Пугачева в зеркальных солнечных очках. Из дикой гнедой бороды торчал тлеющий окурочек. Мой спаситель ткнул пальцем в асфальт и сказал раздельно, как пятилетнему:

— Блэк айс!

Взглянув на мой вашингтонский номер, покачал головой и уехал. Там, в Вашингтоне, снег выпадает в лучшем случае раз за зиму и тает уже к обеду.

Как контуженный, я обошел машину, изучая увечья. Бампер вдребезги, но фары целы, переднее колесо из круга стало овалом. В решетке радиатора застряли шишки. Царапины и вмятины были даже на крыше. Пахло паленой резиной и свежей хвоей. По стеклу янтарными слезами стекала смола. Я оглянулся на просеку, прорубленную моим джипом, меня передернуло. Во рту было солоно и вязко, щека изнутри надулась и пульсировала — я прокусил ее до крови.

— Ну и? — вздохнула Ева.

— Просто пытаюсь понять! — сорвался я. — Понять, как все устроено! Ведь был я на волосок от смерти, как пишут в романах...

— Хреновых романах, — вставила она.

— Неважно! На волосок — вот что несомненно! И кто решил не рвать этот волосок? Кто помиловал меня? И почему?

— Кто, почему — какая разница? Жив — и спасибо.

— Нет-нет-нет! Ты погоди, ты-то знаешь! Должна знать! — Я вскочил, снова сел, схватил бутылку с Евой, резко придвинул.

— Эй! Полегче!

— Должна знать! — Я уткнулся носом в стекло, бутылка запотела. — Тогда... там... на дороге, когда летел через лес... я понял, что от меня, от нас, ничего не зависит. Что свободная воля и весь экзистенциализм — чушь собачья! Самообман! Религия для интеллектуалов.

Я орал, она молчала.

— Понять хочу! Понять!! Кто и как? Или все это, — я снова вскочил, замахал руками, — всё это! Весь мир — бредовый кошмар идиота! Нагромождение случайностей! Непредсказуемое и нелепое! Но ведь кто-то сохранил мне жизнь! Кто-то не дал машине перевернуться, кто-то остановил ее на краю! Ни сломанных ребер, ни синяка, ни царапины! Кто тот великодушный, что помиловал меня? Даровал мне жизнь? Кто?

— Не ори! — оборвала Ева. — Это я.

11

Тот декабрьский день памятен еще одним событием — от меня ушла Вера. Моя жена. Бывшая — теперь это прилагательное стало привычным, и я могу произнести его даже вслух. Вот, смотрите: моя бывшая жена.

До аэропорта я не добрался, кое-как на трех с половиной колесах доковылял до ближайшей деревни. При бензоколонке на счастье был гараж, где долговязый

механик с черными клешнями, бакенбардами и усталым лицом джазового гитариста согласился привести в чувство мой покалеченный автомобиль. Увечья оказались не смертельны — разбитый бампер, оторванное зеркало, вмятины и царапины косметического свойства. Единственное, что требовало немедленной замены, был диск колеса, чудесную доставку которого мы ожидали с какого-то неведомого склада.

Мой джип беспомощно висел на подъемнике, механик вежливо рассуждал о местном климате — о прошлогоднем наводнении по имени Элис, августовском урагане (тот был без имени, но повалил не одну сотню елей по всей округе), о грядущих свирепых морозах — погодные катаклизмы в его пересказе напоминали библейские притчи о десяти египетских казнях. Гнев господень был отчасти оправдан — вермонтцы мне тоже казались почти язычниками — погода тут заменяла религию.

В гараже было холодно, воняло окурками и машинным маслом. В грязное оконце глядело синее небо. Только тут и сейчас мне вдруг стало по-настоящему страшно. Меня даже передернуло — механик вежливо сделал вид, что не заметил. Я попросил у него сигарету, хотя не курил уже лет пятнадцать.

Примерно тогда же, лет пятнадцать назад, я познакомился с Верой. Она встречалась с моим старым приятелем, Славиком Любецким. Тот даже называл меня «лучшим другом», но это потом, когда Вера ушла ко мне, и не в самом лестном контексте: «Мой лучший друг оказался мерзавцем». Их невнятный роман был мучителен для всех, включая меня: пьяный Любецкий исповедовался об эротических похождениях на стороне, каялся в неприятии концепции моногамии, считая себя (это после пятой рюмки) чуть не сексуальным миссионером, что несет лучшей половине человечества радость и добро.

— Ей! всю жизнь посвятил ей! — кричал он мне в лицо, называя женский анатомический орган матерным русским словом. — Памятника я достоин! Или бюста на родине!

— Триппера ты достоин, дорогой мой, — беззлобно урезонивал я собутыльника.

А Вера, с чисто женским коварством, в то же самое время пыталась повлиять на Любецкого через меня. Участливо я выслушивал и ее откровения — она даже плакала. Разумеется, я ее утешал. Мне приходилось плести какую-то чушь, оправдывая моего сладострастного приятеля, не мог же я в самом деле выложить ей, что он просто кобель. И что шансы на женитьбу близки к нулю.

Кстати, Любецкого я видел недавно, прошлым маем. Все еще спортивный, но уже плешивый, секс-миссионер катил детскую коляску по пятнистой от солнца аллее и пытался заигрывать с молодыми мамами в ярких платьях. Окликать его я не стал.

— Мы таких превращаем в камни, — перебила мои мысли из бутылки Ева. — После смерти. Знаешь, галька на пляже? Идешь вдоль прибоя, хрустишь камушками, а это все Славики, всё Любецкие...

— В камни? — я повернулся к Еве.

— Логичней было бы в свинью. И символичней. Но у свиньи на редкость насыщенная сексуальная жизнь. До шестидесяти оргазмов в день. И это у среднестатистической свиньи.

— Надо же...

— А камень — это тысяча мучительных лет бездействия. Почти вечность. Вечная мука.

— Но ведь у Данте прелюбодеи...

— У Данте! — фыркнула Ева. — Ты братьев Гримм еще вспомни! Кстати, твой Славик три года назад все-таки женился. На юристке из Нью-Джерси. Она отказалась делать аборт...

— Я ж говорю, видел его с коляской...

— Я в курсе, — перебила Ева. — В Центральном парке. Они живут на пересечении Амстердам и Сто одиннадцатой. Знаешь, где был большой продуктовый, стекляшка такая? Любецкий преподает английский для эмигрантов. При местной протестантской церкви. Платят копейки, но работа непыльная. К тому же полно бесхозного бабья.

— В камень, значит... — я задумчиво поскреб небритый подбородок.

— Ты мне лучше скажи, почему тебя бросила Вера?

— Бросила? Мы расстались по взаимному согласию. Мне казалось — ты сама все знаешь! — съязвил я, мне сильно не понравилась ее трактовка.

— А мне любопытна твоя интерпретация. Так сказать — личный взгляд. Жили-не тужили пятнадцать лет — бац! — и на тебе.

— И совсем не «бац»! — огрызнулся я и, зло топая, вышел из комнаты.

Пнул входную дверь. От солнца мокрый двор сиял, точно был залит ртутью. Снег исчезал на глазах. Талая вода звенела, журчала, капала с крыши в синюю лужу. Мелкие птахи пронзительно щебетали в голых ветках. На том берегу серый лес подернулся желтовато-зеленоватой дымкой. Там, в туманном мороке, таинственно зрела весна.

— Бац... — повторил я.

Не глядя под ноги направился к сейфу. Мне показалось, что он стал выше. Дверь была приоткрыта, индейцы явно торопились обратно. Я приложил ладонь к двери, черный металл нагрелся и был теплым, как тело. Надо мной, по-хамски каркая, пронеслась банда ворон. Не очень понимая, что делаю, я зашел внутрь сейфа и закрыл дверь. От яркого солнца перед глазами мельтешили круги, потом они растаяли, и тьма стала крошечной. Я зажмурил глаза, после открыл — разницы никакой. Попытался сосредоточиться.

Что значит — сосредоточиться? Это значит не думать ни о чем. Гораздо сложнее, чем может показаться: в нашей голове постоянно звучат десятки голосов, которые мы ошибочно считаем своим истинным «я». На самом деле это гурьба мелких бесов, которые своим галдежом отвлекают нас от возможности сосредоточиться. Мы похожи на пса, которому бросают сразу дюжину теннисных мячиков.

Сейчас я умудрялся одновременно думать о парадоксальности темноты как физического явления, что в сейфе пахнет жареными семечками (странно, да?), думал я и о Вере — тут мне удалось совместить нашу первую встречу, что-то эротическое и тот последний разговор в гараже (туда из аэропорта она доехала на такси); параллельно текли мысли об ужине, что придется тащиться в деревню за хлебом, свербела мысль о том, что сюжет вял и его надо как-то взбодрить, возник проклятый дантист, к которому я обещал заехать три месяца назад. И если бог существует, то почему так мало логики в жизни? Или он просто садист и извращенец? Сумрачной басовой темой всплыла тема смерти, ей вторила в терцию тема никчемности бытия, бренности славы и богатства.

Все тлен, все прах — подхватил могучий хор.

Да, прах — гудели чугунные басы, черные и страшные.

Оставь надежду, нет спасенья — звенели ангельские сопрано. Голоса уносились в хрустальное поднебесье межгалактического собора. Пробирало до мурашек — Вагнер, суший Рихард Вагнер. Полет валькирий и гибель богов.

Да и, конечно, — кто такая в конце концов эта чертова Ева?!

Я глубоко вдохнул. Еще. И еще раз. Голоса стали тише. Откуда-то потянуло

прохладой, точно от лесной речки. Неожиданно тьма тесного пространства раздвинулась — видеть я не мог, но ощутил это инстинктивно, каким-то неясным шестым чувством. Раздвинулась — совсем не то слово, ибо предполагает какие-то границы. Разверзлась — вот! Хотя и выпренно, но точнее не скажешь.

Бездна поглотила все — голоса, Веру и Вагнера. Даже дантиста. Всосала, как та гигантская воронка в Гольфстриме. Не осталось ничего, кроме ужаса, немого и холодного, вроде того, что накатывает под ночным бездонным небом или в пустом католическом соборе. Еще миг — и я сам исчезну в этой бездне. Пустота! Ничто!! Мне стало жутко. Уцепившись за страх, я удержался на краю бездны. Балансируя, ловким канатоходцем двинулся по гребню.

Бездна теперь не только ужасала, но и притягивала. Манила. Неожиданно мне открылся новый смысл — нас пугает смерть лишь своей бесконечностью, как эта вот бездна. Но ведь именно в бесконечности и заключается краеугольная идея вечности. Идея бессмертия. А мы-то пытаемся проникнуть в суть, используя наш инфантильный опыт, доморощенную науку, хромые теории и исковерканную религию. Маляр, пытающийся нарисовать радугу на небе.

Я понял: бесконечность — это не протяженность в одном направлении, это бесконечность направлений. Именно тут ключ и разгадка! Поняв суть бесконечности, мы поймем и все остальное!

Неожиданно, но неотвратно, как в добротном кошмаре, тьма сгустилась в тугую тучу, закрутилась смерчем и вытянулась в столб. Оттуда, из косматого веретена, упираясь в небо, выплыл бородач, похожий на библейского бога. Я задрал голову, моя макушка едва доходила до ногтя большого пальца его правой ноги. Похожее ощущение у меня было, когда мы как-то с Верой забрались на Мамаев курган к подножию бетонной женщины с мечом.

— Ты — бог? — гаркнул я ввысь. — Демиург? Иегова? Яхве?

— Бога нет! — проревел гигант. — Вы убили бога.

— Бог бессмертен! Вечен! Его нельзя убить!

— Он тоже так думал! — он басовито захохотал.

— Кто ты?

— Верховный жрец Картонной Луны!

— Что? Какой? Чего?

— Мне служат Римский Папа и Митрополит, все раввины и муфтии, ксендзы и пасторы. Все конфессии и секты! Каждая церковь — будь то костел, собор, мечеть — это мой храм! Храм Картонной Луны!

Могучая ладонь подхватила меня, подняла. Мне показалось, что он собирается сожрать меня. Огромный рот, точно вход в ангар, распахнулся — я увидел зубы и язык.

— Каким ослом надо быть, чтобы поверить во всеобщее спасение! — из его пасти пахло жарким смрадом. — Бог всех простит и пустит в Царствие Небесное! Конечно-конечно! Простит каждого, кто раскается, — еще бы! Всех маньяков и убийц! Главное — покаяйся! Простит Сталина и Ленина, даже Гитлера, и того парня из Алабамы, который коллекционировал гениталии своих жертв. В подвале нашли сорок семь склянок с формальдегидом, а младшей девочке было всего пять лет. И его, этого коллекционера, тоже в рай! Пусть только извинится и скажет, что заблуждался. И больше так не будет. А бог простит, ведь он добрый. Добрый до идиотизма! Ха!

— Ты — Дьявол? — задохнулся я. — Антихрист? Извини, не в смысле оскорбления, просто хочу понять...

— Понять хочешь?! — заорал он. — Смотри! Понимай!!

Внизу распахнулась панорама городка, я узнал изгиб реки. Площадь перед автостанцией — киоски и пивные ларьки, пестрые машины, автобусы — сверху площадь напоминала помойку. Сквер с чахлыми липами, клумбой и каменным солдатом. Крыши, крыши, еще крыши. Заброшенное кладбище на окраине. Йенспилс... А вон мой дом. Соседняя тюрьма белела меловым утесом с могучей кирпичной трубой. Если забраться на крышу нашего дома, то тюремный двор виден, как на ладони. Один раз, кажется, весной...

— Не отвлекайся! — гаркнул монстр. — Линда! Ее сожгли семнадцать лет назад в Даугавпилсе, в крематории. Печень и все такое... Погоди, а ведь ты даже не помнишь ее фамилии!

Он засмеялся. Фамилии я действительно не помнил.

— Озоля! — подсказал жрец. — Линда Озоля. Но это не важно...

Точно-точно, Линда Озоля, и семнадцать лет, как тебя нет. Да и сам я всего лишь коллекция осколков моей памяти — тех летних звуков — голубь царапает кровельную жесь, шарканье улицы, тюремный репродуктор. Губы липкие и горячие, от тебя пахнет сливочными тянучками, и мне кажется, что суть поцелуя в силе засоса. Линда. Лин-да...

— В чем суть христианства? — гаркнул жрец.

В силе засоса — чуть не брякнул я. Милая Линда — а в чем твоя суть? Губы превратились в пепел, ириски стали золой. Ты вся уместилась в глиняную крынку на пол-литра. А в чем моя суть?

— В искуплении! — крикнул я. — В прощении!

— Так! Отлично — продолжаем беседу! Суть христианства — вернемся к истокам. Бог — триедин, так? Разумеется, нонсенс, но продолжим. Не будем отвлекаться. Значит, бог, всемогущий творец, повелитель всего сущего, сам себя отправляет на Землю. Хорошо! А после разрешает кучке негодяев распять себя. Так? И все это для искупления грехов всего человечества — так? Гитлера, Сталина и того парня из Алабамы. Восхитительно! Короче, бог освобождает от грехов принудительно и без личного участия грешника в процессе искупления. Силком в рай! Так?

— Ну...

— Апофеоз идиотизма!

— Но...

— Ты — дикарь! Язычник! И ты в самом деле веришь, что бога можно найти в этих дворцах с позолоченными куполами? В душных залах, набитых золотом, иконами и прочим хламом? И для спасения души нужно-то всего лишь прийти, пробормотать какую-то ахинею типа «Отче наш» и воткнуть свечку? Для спасения души! Души!! Для вечного блаженства в райских кущах с ангелами и амброзией! Потрясающе...

Внизу декорация сменилась, там мерцали купола — золотые репки. Хвостики с крестами тянулись вверх, в фиолетовое небо. Золотые крестики наивно и беспомощно пытались достать до туч, но нет, не дотягивались. Неужели он прав? Две тысячи лет блуждания в потемках, две тысячи лет вранья и крови. Двадцать веков мы строим храм Картонной Луны. Нет... нет!

— В любви! — крикнул я. — Суть — в любви! Нет смысла, нет логики, но есть любовь! И в этом суть!

— Ладно... — выдохнул устало жрец. — Не веришь мне, послушай его!

Вдали что-то блеснуло, в темноте возник силуэт, стремительно приблизился и превратился в мулата средних годов. Мулат висел в воздухе, он был похож на ассирийца с небольшой курчавой бородкой, тугой, как мочало, и с серебристой проседью.

— Да, ребята, — ассириец подмигнул мне, впрочем, без улыбки. — Вы, конечно, напортачили...

Он опустился в невидимое кресло, закинул ногу на ногу и выставил босую ступню.

— Мы? — удивился я, разглядывая чумазую пятку. — Я?

— И ты, дорогой мой, и ты! Кончено! Ведь ты писатель! Писатель! Интеллектуал, казалось бы...

— И?

— Что и? — ассириец подался вперед. — Что и? Это я тебя спрашиваю «что и?».

О чем ты пишешь? Что ты чувствуешь? И что чувствуют твои читатели?

Он как-то быстро разозлился и совершенно на пустом месте. Я начал вежливо:

— Видите ли...

— Вижу! — оборвал он. — Вижу и знаю!

— Литература, как и любой вид искусства, вовсе не обязательно должна нести функцию...

— Кончай эту набоковщину!

— А вам Набоков не нравится?

— Нравится. Как стилист. А сюжеты — дрянь. «Камера обскура» или «Король, дама, валет» — язык божественный, а фабула — патока и пошлятина, и даже на сценарий мексиканского сериала не потянет. Пока читаешь — кайф, а закрыл книжку — алло, Владимир Владимирович, ну как же так?

Он укоризненно покачал головой и снова подмигнул мне.

— А ведь именно в сюжете смысл — понимаешь? Ведь я сам поэтому притчами говорил: человек словесные финтифлюшки забудет, а хорошая история непременно в душу западет. Образ — в нем сила! Помнишь про верблюда и игольное ушко? Хит на века! Или точная метафора! Лицемер гробу подобен позолоченному: снаружи красив, а внутри кости мертвые, смрад и мерзость. Важна и динамика повествования — вот смотри: И отделить ангелы злых от праведных; и ввергнут злых в печь огненную: и будет там плачь и скрежет зубов. Неплохо, а? Скрежет зубов! Но все равно главное — сюжет. История! Никакая изысканность формы не спасет текст, если фабула слаба.

— Он знает! — захохотал сверху жрец. — Беллетрист! Мастер слова!

Я не понял, кого монстр имел в виду — меня или ассирийца.

— Лишний раз напомнить не помешает, — ассириец подмигнул, — даже мастеру слова.

Похоже, речь шла все-таки обо мне.

— Но мы отвлеклись. Вернемся к теме, — он скрестил на груди мускулистые руки, коричневые, точно отлитые из горького шоколада. — Христианство. Дело в том, что я не планировал создавать общественную религию...

— Как?

— А вот так! Кружок, тайную секту, эзотерическую школу — половина из сказанного мной предназначалась лишь для узкого круга посвященных...

— Апостолов?

— Господи! Каких апостолов — учеников!

Он в сердцах плюнул в сторону.

— Каждое из моих изречений есть часть сложного практического учения. А учение в целом представляет собой оккультную или, если хочешь, эзотерическую систему самовоспитания и самоподготовки, которая вне оккультной школы теряет смысл. И нет ничего наивней, чем пытаться понять учение без соответствующей

подготовки. Без обучения, тренировки и достижения определенного уровня. Кем нужно быть, чтобы интерпретировать внутренние постулаты школы как правила поведения для всего человечества? Я никогда не учил, чтобы каждый, повторяю — каждый! — человек не противился злу, подставлял левую щеку после оплеухи по правой, отдавал последнюю рубашку... Это все исключительно для внутреннего пользования!

Ассириец говорил страстно, даже лоб вспотел.

— А они собрали все в кучу, — продолжил он, сердито пуча глаза. — Перемешали, добавили отсебятины и объявили это правилами общепринятой морали. Даже словечко придумали — христианская добродетель. А ведь и идиоту ясно, что человеческая натура противоречит этим нормам. Человек не то что соблюдать их, он понять их не может. Результат — ложь и самообман. Ханжество и лицемерие. Но ведь им это только на руку...

— Кому им? — перебил я.

— Работникам культа! Отцам церкви! Наместникам бога на земле!

— Ха! Кому-кому? Жрецам Картонной Луны! — гаркнул сверху великан.

— Именно! — подтвердил ассириец. — Вдумайся: христианское учение основано на Евангелиях, но весь порядок и уклад жизни христианских народов направлены против них. Возьми любую эпоху, любую страну... Я говорю — не собирай богатств земных, а они что делают? Говорю — возлюби ближнего, как себя самого. И что? Я тебя спрашиваю!

Я пожал плечами. Он разошелся не на шутку.

— Инквизиция! Крестовые походы! Ты скажешь — древняя история, да-да, тыщу лет назад, мрачное Средневековье... А ты не думал о том, что вся история христианской цивилизации — это история войн? История массовых убийств, публичных казней — сожжений, четвертований, коллективных распятий и сажаний на кол. Причем чаще всего убивают единоверцев, братьев во Христе! За две тысячи лет не было и дня, чтоб раб божий, помолясь, не выпустил кишки соседу. Резня две тыщи лет! Кровь, вранье и лицемерие! И все во имя торжества христианских добродетелей! Справедливости и братской любви! Двадцать веков!

Он размахивал кулаками перед моим лицом, я незаметно отодвинулся назад.

— Успокойтесь, — пробормотал. — Ну зачем так-то уж...

Говорить этого явно не стоило. Ассириец выпучил глаза. Точно задыхаясь, разинул рот с сотней сахарных зубов.

— Что-о?!

— Не надо так переживать, — промямлил я с глупой улыбкой. — Увы. Людская натура. К тому же все давно...

Я не мог найти слово, потом ляпнул:

— Устаканилось.

— Устаканилось?! — взревел он. — Ах ты, сукин сын! Устаканилось! Да я тебя... беллетрист поганый...

Конца фразы я не услышал. С молниеносной грацией Мохаммеда Али, с мощью стальной пружины и силой чугунного молота его правый кулак, описав красивую дугу, врезался мне в челюсть. Мир взорвался и погас. Пала крошечная тьма. Последнее ощущение: моя голова — круглый уличный фонарь, по которому кто-то со всей дури треснул палкой.

12

Уи-ик-квик-вик... Уи-ик-квик-вик... Проклятое колесо скрипело, занудно повторяя все те же три ноты. Должно быть, именно такие мелочи сводят человека с ума. Три ноты, три звука. Поворот — и снова. Уи-ик-квик-вик. Телега? Арба? Похоронный катафалк, набитый трупами? Дождь, черная глина, общая могила. Торопливый священник, карманная библия, пьяные могильщики бросают лопатами известь на трупы. Известь клубится и белым туманом встает из могилы.

Странное ощущение — лицо болело изнутри. Казалось, кости черепа раскалились докрасна и жгли мышцы и сухожилия. Прожигали до кожи. Особенно слева. Да, левая нижняя часть — челюсть, подбородок и скула — все это жарко пульсировало.

Сквозь веки пробивался свет. Деревянными ладонями я ощупал вокруг — шершавая сухая гадость. Горизонтально плоская, мягкая и неподвижная. Похоже на диван. Никуда, значит, не везут. Уже хорошо. Скрип трансформировался в птичью трель. Чертова фауна успешно имитировала несмазанную телегу.

Осторожно приоткрыл глаза. Точнее будет сказать в единственном числе — левый глаз не открывался. Поднес руку к лицу, немymi пальцами тронул щеку и чуть не заорал от боли. Даже на ощупь левая часть головы казалась вдвое больше правой. Там сконцентрировалась вся боль мироздания. Я застонал, стон перешел в вой. Стало полегче, и я огляделся одним глазом. Угол потолка с протеком в виде острова Кипр без обиняков намекал, что я лежу в гостиной. Окно было распахнуто, вместо голых сучьев там зеленели листья.

— Как... это?.. — проблеял я. — Уже... уже... весна?

Живи Набоков в Вермонте, он бы написал примерно так: мне нравятся эти места; потому ли, что зачин этого слова отдает тягучей терпкостью столь нелюбимого мной напитка, похожего скорей на микстуру от кашля своим застенчивым разнотравьем и влекущего снова в то мандариновое детство, простуженное, но радостное — елка у Корсунских, белая матроска, поцелуй в темной кладовке с привкусом нафталина и маминых духов (кажется, это были «Aidez-moi, s'il vous plaît»); потому ли, что его приткая весна тормозит мою вегетарианскую душу своей варварской неукротимостью, не знаю: но как я был рад очнуться ранним утром и топать в пудовых сапогах на босу ногу навстречу ручьям, шлепать по талому снегу, без шапки, с мокрой головой, подставляя лицо капели и солнцу!

— Ева! — простонал я. — Ева...

Прислушался. Ни звука.

— Преврати меня в Набокова и отправь в Швейцарию...

Никто не отозвался, и я пополз в кабинет.

— Ого! — в голосе Евы удивление явно перехлестывало сострадание.

Я хотел возмутиться, но челюсть не двигалась. Напоминало анестезию у дантиста.

Ева хихикнула, осеклась.

— Извини-извини, сейчас мы тебя починим. Нон че проблема, — почему-то перешла на итальянский. — Грацие! Лей э мольте джентиле. Ун аттимом!

Я зачем-то задержал дыхание. А ремонт действительно занял несколько секунд. К счастью — ощущение оказалось не из приятных: наверное так себя чувствует заливной карп. Голову и все тело стянуло клейкое желе, упругое как тугая резина.

Но боль ушла, я выдохнул. Провел пальцами по лицу. Все было на месте. Попробовал открыть рот — полный порядок!

— Слушай, тут уже весна всюю! Как я все прозевал?

Она не ответила. Мы помолчали. Я разглядывал свое отражение в стекле плаката с последнего концерта Джона Леннона в Мэдисон-Сквер-Гарден. За четыре месяца до смерти. Интересно, что он бы сейчас делал — Джон?

— Что там было? — расчесывая волосы пальцами, спросил я. — Жрец, храм, какая-то луна?

— Если ты сам не понял, объяснять смысла нет, — отрезала Ева. — В Швейцарию отправь...

— Что-что? — я сделал вид, что не расслышал.

— Ничего. Инфантилизм невероятный! Мне вообще кажется, что я тут с тобой время теряю... Ангельское терпение и то лопнет.

— Не понял...

— Вот именно, — с мрачным злорадством заключила она. — Вот именно.

За окном потемнело, там, похоже, собирался серьезный дождь.

Налетел ветер, упругим шквалом пригнул все деревья разом. Лес зашумел и испуганно присел. елки истерично замотали макушками. Осины, показав изнанку листьев, вмиг из зеленых стали пепельными. В верхнем углу окна растекалась фиолетовая чернота, она двигалась с севера. Далеко, чуть ли не в Канаде, ухнул гром. Могучее эхо покатилося, словно чугунный шар по крыше. В доме звякнули стекла.

— Шторм! — не скрывая злорадства, объявила Ева. — Библейских пропорций.

— Это ты? — укоризненно спросил я.

— Почему я? Думаешь, кроме меня некому?

Тьма за окном сгустилась. Лес почернел и превратился в мохнатое чудище, живое и страшное. Чудище выло, ворчало, ворочалось. Ветер трепал деревья, рвал листья, ломал сучья.

— В штате Вермонт объявлено чрезвычайное положение...

— Кто сказал? — я сел в кресло, лениво закинул ногу на ногу.

Я был в носках, один был с дыркой. В целом поза не произвела впечатления вальяжности, на которое я рассчитывал.

— Ты ж радио не слушаешь.

— Подумаешь — ветер.

— Нет, не ветер. Осадки в виде дождя.

Над елками, кувыркаясь и истерично каркая, пронеслась крупная ворона. Снова шарахнул гром, гораздо ближе. Я вздрогнул.

— Осадки... А у тебя тут, кажется, речка рядом? — ехидно спросила Ева. — Не боишься?

— Не боюсь. Ты что, думаешь — я полный идиот...

— Нет, ну почему полный...

— Перед тем как купить этот дом, мы просмотрели местный архив: за сто с лишним лет не было случая затопления. Ни одного случая...

— А что ж ты тогда так тряся зимой? Когда речку льдом закупорило? А?

Да, то было не самое приятное из воспоминаний.

— Не тряся. Просто следил за развитием ситуации.

— А-а! Мониторинг!

К вою ветра добавился еще какой-то звук. Он напоминал гул — плотный и ровный шум. Шум приближался, рос и постепенно превратился в рев.

— Что это?

Это был ливень. Вода обрушилась лавиной. Стеной.

Порой я склонен к преувеличению, иногда меня можно обвинить в излишней драматизации, но вот сейчас — истинная правда: дождя такой мощи я не видел в своей жизни.

Дальний лес размазался, его очертания слились с серым небом. Ближние елки стали плоскими, точно аппликация из черной бумаги. Лужайка перед домом быстро превращалась в пруд, еще торчал ежик травы, но в пять минут утонул и он. Деревянные лавки поплыли, ржавый мангал обреченно стоял по колено в воде. Полыхнула молния — пейзаж дрогнул и на миг стал мертвым негативом, вроде старых снимков из полицейской хроники. Тут же с оглушительным треском шарахнул гром. В звуке были мощь и ярость. Я непроизвольно выругался матом.

— Вот именно, — злорадно поддакнула Ева.

Щелкнув выключателем, зажег настольную лампу. Небесному безумцу с кувалдой моя идея насчет света явно не понравилась — следующий удар молнии вышиб пробки. Кабинет погрузился во тьму. Часы показывали двенадцать ноль семь. Полдень. Скамейки отчалили от мангала и неспешным караваном отправились в сторону леса.

— Поплыли! — с детским восторгом воскликнула Ева.

Ее слова я расслышал с трудом. Ливень колошматил по крыше, внутри дома стоял дробный гул, как в жестяном барабане. За окном уже плескалось полноценное озеро. Мангал тонул. Привстав на цыпочки, он в отчаянии выставил из волн лобастую крышку с кованым кольцом. Рухнула поленница, дрова дружной флотилией двинулись вслед за скамейками.

Я выскочил на крыльцо. С крыши водопадом низвергался ревущий поток. Волны уже бились о вторую ступеньку. Дальше, до самого леса, простиралась свинцовая рябь воды. Утонула клумба, утонула дорога. По серым волнам бродящими полосами хлестал ливень. Сарай вымок, почернел и не очень убедительно изображал из себя фрагмент венецианского пейзажа. Рядом антрацитовым обелиском сиял сейф. Моя машина погрузилась по самый бампер: я не очень разбираюсь в технике, но было ясно, что завести мотор вряд ли удастся.

Плюнув в дождь, я шарахнул дверью и вернулся в кабинет.

— Поговорим? — предложила Ева с хищным энтузиазмом.

— О чем? — рухнув в кресло, я вытянул ноги. — О чем?

— О ком. О Вере.

— Зачем? Ее больше нет. Все.

— Ты хочешь вернуть ее?

Вопрос был задан слишком в лоб, слишком кардинально, слишком откровенно — мне вдруг стало душно.

— Ты хочешь вернуть ее? — повторила Ева, точно вколотила гвоздь.

— Я хочу вернуть себя. Себя! Понимаешь?

— Не ори! — оборвала она и добавила почти ласково: — Вот ведь псих...

— Извини...

— Ладно. Ты, надеюсь, понимаешь, что наши возможности почти не лимитированы?

Я взъерошил волосы, сжал ладонями лицо. Мне было безумно жаль себя. Сладкая горечь, приторный яд. Самое искреннее сострадание — сострадание к самому себе — да, я упивался этим чувством.

— Нет, так дело не пойдет... — Ева была явно недовольна. — Не думала, что ты такой непонятливый...

Она строго посмотрела мне в глаза.

— Ну что, дать тебе последний шанс?

Мне было все равно. Пошли вы все к чертовой матери. Шарахнул гром, на кухне звякнули тарелки. К чертовой матери...

Голова моя внезапно налилась чугуном, тело отяжелело. Шум ливня стал глухим, каким-то ватным. Полки с книгами поплыли вбок, за ними отправилось окно. Словно мешок, набитый сырым песком, я медленно начал сползать со стула на ковер.

— К матери...

13

Я открыл глаза и увидел мертвую равнину, пустую и серую, точно покрытую мягким пеплом. Сверху висело плоское небо мышинного цвета. Было душно, как после летнего ливня, который не принес прохлады, а напротив, наполнил сумерки сырым жаром. Пахло теплой гнилью и мокрой землей.

На возвышении вроде кургана угадывались фигуры. Три — две мужские, одна женская, женщина сидела в кресле на тонких, высоких ножках, мужчины стояли с боков. Я знал — это сон и поэтому интуиция играла более важную роль, чем зрение: неразличимые в сумраке детали без труда дорисовывало мое воображение. Я не мог разглядеть лиц, но я уже догадывался об этих людях. Я сказал — людям?

Тот, что слева, был в костюме Арлекина, скроенном из пестрых лоскутов. Его шляпа напоминала шутовской колпак, украшенный серебряными бубенцами, такие же бубенчики сияли на его малиновых сапогах. Нет, не шут, — возразил кто-то в моей голове, — фокусник.

Подойдя ближе, я увидел в его руках четыре предмета — меч, пентакль, огненный шар и чашу с водой. Он ловко ими жонглировал. Четыре стихии, — сказал тот же голос, — ты видишь четыре магических символа в действии. Движения фокусника, полные тайного смысла, уверенные и легкие, казались игрой, пустой забавой. Но каждое новое сочетание символов сопровождалось неожиданным видением — то вспыхивала радуга, то с треском рассыпались искры, а то откуда ни возьмись вылетала стая изумрудных колибри.

— Для кого он так старается? — спросил я. — Где зрители?

— Ему не нужны зрители. Вглядишься в его лицо.

Лицо его постоянно менялось, словно одна маска превращалась в другую. От безумного калейдоскопа рябило в глазах, я не успевал разглядеть одно лицо, как оно тут же сменялось следующим. Кое-кто мне был определенно знаком — я узнал птичий клюв Данте, тараканы усища Дали, напудренный парик Моцарта.

— Ты понял смысл? — спросил голос.

— Да, — соврал я.

И я увидел другого, того, что стоял справа.

В рваном платье, грязный, он напоминал нищего. Попрошайку, юродивого — такие обычно ждут медяков на ступенях церкви. На плече бедолаги сидел крупный ворон и долбил его клювом в висок. В босую ногу впился скорпион. Другую обвивала блестящая гадюка, похожая на черный садовый шланг.

— Безумный, — подсказал голос.

Впрочем, я и без подсказки догадался, что у парня с головой нелады — он улыбался. Улыбался блаженно, как человек, обитающий в своем тайном мире.

— А что там в мешке у него? — спросил я.

Блаженный сжимал в руках тюремный сидор из драной рогожи.

— Меч, пентакль, огонь и вода.

— Как? — те же магические символы? Что и у Фокусника?

— Да. Только Безумный не знает, что с ними делать.

Я вгляделся в его лицо, рассчитывая увидеть калейдоскоп персонажей. Оно вдруг смазлось и превратилось в зеркало. Я смотрел на себя.

— Ты понял смысл?

— Да.

На сей раз суть была кристально ясна.

И я взглянул на женщину, что сидела между Фокусником и Безумным. Лицо ее скрывала вуаль. Трон, увитый плющом и диким виноградом, был украшен цветущей сиренью, жасмином и какими-то мелкими полевыми цветами, название которых мне неизвестно. Платье ее казалось сотканным из трав, на моих глазах клейкие почки раскрывались и выпускали новорожденные зеленые листья. Гудели пчелы, сновали пестрые бабочки, толстый шмель пытался влезть в сочную белую лилию. Кровавые маки размером с кулак раскрывали свои хищные влажные пасти.

Женщина подняла вуаль — я узнал ее.

— Ева...

— Царица, — поправила она.

— У тебя... — я запнулся. — Тело...

— Тело? — она улыбнулась. — Еще какое... Подойди ближе.

Округлыми гавайскими жестами она поманила меня. На меня повеяло утренним лугом, скошенной сладкой травой, я не думал, что когда-нибудь напишу такую пошлость, но от ванильного духа жасмина у меня закружилась голова.

— Ближе, — она взяла меня за плечи. — Ты что, боишься?

— Вот еще... С чего ты взяла?

Стараясь не потревожить пчел, пальцами я осторожно развел листья, раздвинул тяжелые маки. Из-под васильков и клевера мне в ладонь вывалилась теплая грудь с большим соском идеально круглой формы. Я сглотнул, во рту было сухо. На груди золотистой пудрой лежала цветочная пыльца. Не знаю зачем, я сдул ее. Ева притянула меня, медленно подалась вперед и приоткрыла рот.

Это сон — мысленно повторил я, — сон.

Дело в том, что я не изменял Вере. За все пятнадцать лет — ни разу. Возможности, безусловно, подворачивались, но не было желания. И еще с возрастом сформировалось понимание, мудростью не рискну это назвать, понимание того, что определенные поступки меняют тебя бесповоротно. После них жизнь не может оставаться прежней. Даже если никто о случившемся не узнает. Достаточно, что это известно тебе. Назовем это точкой невозврата.

— Сон же... — влажно выдохнула Ева мне в лицо. — Вот дурак...

Большим и указательным пальцами я взял сосок, слегка сжал.

— Ой, — вздрогнув, шепнула Ева. — Аккуратней там.

Мне на руку сел большой махаон. Жеманно развел крылья и снова сложил. Свет, огонь, грех: кончик языка совершает три шажка... — вот ведь сволочь, — невнятная ассоциация мелькнула и пропала. Сосок набух, пальцы уловили частый пульс. Точка невозврата осталась позади. Я закрыл глаза и подставил ей губы. Жаркий

и мокрый рот жадно всосал меня; я никогда не целовался с мужчиной, наверное, примерно так мы это делаем — страстно и властно. На грани с болью.

Русский язык коварен — при неограниченной палитре оттенков и полутонов для описания душевных мук и волнений он становится коряв и неуклюж, как только речь доходит до физиологии. По нашей доброй национальной традиции мы и тут впадаем в крайность: либо тебе парфюмерная жеманность, либо — подворотня.

Странно — я будто учился чувствовать заново. Мало того — у каждого чувства проявился свой цвет. Боль, например, раскрылась красным спектром, от сочно багрового до наивного колорита персикового бока. Где-то между оранжевым и алым боль перетекала в удовольствие, уходя в синь. Пыльно лиловый, словно виноград «дамские пальчики», цвет наполнялся ультрамарином, становясь глубоко фиолетовым. Бархатный пурпур казался бездонным, засасывал, как черная падь. Втягивал, как трясина, как топь.

— Ты все вспомнишь, — Ева выдохнула, от нее нестерпимо пахло скошенным лугом. — Вспомнишь и поймешь.

— Да, — пробормотал я в ответ. — Да...

Я не сопротивлялся — пошло все к черту и будь, что будет. К тому же мне это лишь снится. Сон цвета сапфира. Диковинный вымысел, порнографическая фантазия. Не совсем ясно, чей вымысел и чья фантазия, но на это тоже плевать.

Ева определенно знала, что делает. Уверенная нежность удачно сочеталась с неспешной страстью. Похотливые руки блуждали по телу, сладострастно стискивали мои тощие ягодички. Она словно раскачивала качели — не к месту вспомнился дурацкий детский стишок; стараясь попасть в ритм, я сжал ее потные бедра, на периферии сознания удивляясь их мускулистости.

— Вспомнишь и поймешь.

Ева подалась вперед, сипло выдохнув мне в лицо сиреню и скошенной травой, я неловко ткнулся и неожиданно проскользнул в мокрый пульсирующий жар. Кажется, я застонал или всхлипнул. С этого момента происходящее окончательно перешло в разряд фантазмагии. Гашиш и морфий — чушь. Рай и ад с треском столкнулись, сознание вспыхнуло и погасло — увы, невозможно описать то, что описать невозможно.

— Вспомнишь... — долетело умирающее эхо из параллельной вселенной.

Часть вторая

Надежда

14

Дом, где я родился, дальним своим боком упирался в стену тюрьмы. Тюрьма напоминала старую фабрику: шершавый темно-рыжий кирпич, щели окон с решеткой, в которые заключенные просовывали ладони, когда шел дождь. Толстая кирпичная труба курилась невинным дымком, мало отличавшимся от наших июльских облаков. Раз в три месяца труба раздражалась густым черным дымом и тогда жирная копоть оседала на тротуарах и мостовых, на листьях и траве. Впрочем, зелени в нашем Йенспилсе было всего ничего — дохлый парк с дюжиной хворых лип вокруг клумбы

с георгинами, среди которых скучал гипсовый солдат, выкрашенный серебряной краской. Раньше на его месте стоял латышский барон. Его имя — Родригас Латгальский, замазанное цементом, при желании можно было разобрать на гранитном постаменте. Замок барона сгорел за три месяца до моего рождения. Тогда там размещался наш местный «Дворец культуры» с буфетом, библиотекой и кинотеатром. В большом, «дубовом», зале устраивали городские торжества — отмечали годовщину революции и День победы, встречали Новый год — сначала утренник для малышни, а вечером, вокруг той же елки, гульбище для всех остальных. Свадьбу моих родителей праздновали тоже в «дубовом» зале. Именно той ночью замок и сгорел.

Мне едва исполнилось полтора, когда отец исчез. После мать плела какие-то байки и показывала фотографии, которые впоследствии оказались открытками. Думаю, врала она в первую очередь себе, я был лишь случайной частью аудитории. Тонкий шелк черного халата, тощее запястье, сигарета, аристократичность жеста неясного происхождения — все это сквозь дым, точно полузабытый кадр из старого кино с давно умершими актерами, да еще сладковатый дух портвейна ее поцелуев с примесью горькой копоты: то ли из тюремной трубы, то ли из той свадебной ночи.

Детство мое прошло на лестничных пролетах нашего подъезда. Ключ мне не доверялся сперва по малолетству, после по привычке. Всякий раз, ожидая мать, я опасался, что она не придет и исчезнет бесследно, как исчез отец. Иногда меня пускала к себе соседка по лестничной клетке Маркова, коренастая старуха с перебитым носом и запахом лука. Луком воняло все ее жилище — комната, перегороженная платяным шкафом, за которым обитал ее сын Толик, наш городской дурачок. Но и Толик Марков, и луковая вонь были все-таки лучше лестничного томления. Тем более соседка Маркова разрешала мне листать ее журналы — дореволюционную «Ниву», две стопки которой хранились под кухонным столом.

Журнал, судя по надписи на обложке, предназначался для семейного чтения. Эти семьи вряд ли проживали в городе Йенспилс — половина нашего населения сидела в тюрьме, вторая — охраняла ее. Наши горожан скорее всего не заинтересовала бы история возведения собора в Реймсе с приложением чертежей и старинных гравюр или биография американского изобретателя Эдисона. Не говоря уже про миграцию китов или подборку стихов некоего Гейне, женоподобного немца с бантом на шее. Впрочем, стихи немец писал неплохие, хоть и занудные. Я не поклонник поэзии, мне гораздо больше нравились отрывки из рыцарских романов Вальтера Скотта или пиратские истории писателя Стивенсона. Тем более с бесподобно детальными иллюстрациями, на которых кропотливый художник во всех подробностях изобразил мушкеты, мечи и кинжалы. Из журнала «Нива» я впервые узнал о подвесках королевы и замке Иф, о собаке Баскервиль и капитане Немо, о том, как выжить на необитаемом острове и как при помощи электричества воскресить мертвеца.

Вместе с луковым духом в мою душу входило осознание, что мир — это не наш трехэтажный барак, не тюремная труба в моем окне, не гипсовый солдат в сквере. И не заколоченный навечно после пожара баронский замок. Вселенная не утыкается на севере в пустырь, заросший лопухами, и не заканчивается на юге Еврейским кладбищем. И что есть люди, которые не только копят на ковер — и это лучшие из них, а остальные пьют водку, ругаются и бьют друг другу морду. Иногда, впрочем, и те и другие ездят на заводском «Икарусе» к озеру Лауке, на шашлыки. Такой пикник они называют «вылазкой на природу», где тоже матерятся, пьют водку и бьют друг другу морду.

В тринадцать лет, выбравшись через чердачное окно на крышу, я видел, как повесили человека. Эшафот стоял в углу тюремного двора. Моросил дождик, и

деревянный настил стал темным и блестящим, как старое железо. Приговоренный, тощий наголо бритый мужичок, не мог идти, его втащили по ступеням двое — Эдик Хрящ с третьего этажа и второй, кажется, с Красногвардейской. Палачом работал Люськин отец, дядя Слава. Люська жила на первом, и иногда мне удавалось подглядеть, как она раздевается. Тогда мне казалось невероятным везением, что она забывает до конца задернуть занавеску и долго бродит голая по комнате из угла в угол.

Дядя Слава принес деревянную лавку, что стояла у курилки — ржавой бочки, вокруг которой охрана травила анекдоты. Лавка шаталась, дядя Слава сложил газету, сунул под ножку. Потом залез на лавку и примерил петлю. Он не стал смазывать веревку мылом, как это делали палачи в романах Александра Дюма. У лавки приговоренный попытался вырваться, Эдик пару раз ударил его в солнечное сплетение, и тот согнулся пополам.

Все случилось обыденно и как бы между прочим. Дядя Слава сапогом пнул лавку, мужичок повис, раздался хруст, точно кто-то делил вареную курицу. Третий охранник, который, кажется, с Красногвардейской, вытер ладони о галифе и достал сигареты. Угостил двух других. Все трое сгрудились, будто договаривались о чем-то тайном, прикурили, закрывая огонь спички ладонями. Хлопнула дверь, из караулки вышел доктор с зонтом. У доктора была смешная фамилия — Куцый и дурацкие усы, как у Гитлера. Куцый поднялся на эшафот, сложил зонт и что-то сказал. Все четверо рассмеялись.

На той же крыше спустя полгода я, как выразился бы писатель Вальтер Скотт, потерял невинность. Меня совратила тюремная повариха. Жила она этажом выше, прямо над нами, звали ее Линда. Рыжая Линда.

Начался май, прошли бесконечные праздники, солидарность трудящихся похмельно перетекла в юбилей победы. Кто-то утонул в Лауке, кого-то пырнули ножом на танцах. Пацаны ездили в Елгаву бить латышей. Мочить лабусов. Юрке Скокову выбили два передних зуба, еще троих забрали в милицию, но сразу отпустили, поскольку менты там — все наши, русские.

Тюремный репродуктор три дня хрипел военные песни и наконец заткнулся. В обморочной тишине по синему небу неслись расторопные облака. Такие белые, они проплывали так низко, что с крыши казалось, что дом вот-вот всплывет в одну из этих сахарных гор. А еще если лежать на спине и смотреть прямо вверх, смотреть долго и не отрываясь, то весь мир вдруг переворачивался. И вот уже не облака, а сам дом резвым фрегатом врзался в синеву, бесстрашно рассекая несущиеся нам навстречу коварные льдины. Это была настоящая оптическая иллюзия самого высокого класса. Голова кружилась, исчезали крыша и дом, исчезали тюрьма и несуразный Йенспилс. Становилось немного жутко и весело.

Рыжая Линда появилась из чердачного окна. В белом поварском халате с плохо отмытыми пятнами ржавого цвета и в домашних тапках с помпонами. Под мышкой она сжимала скатанное в трубу тощее солдатское одеяло. Громокая кровлей повариха протопала мимо, не заметив меня. Она тоже смотрела на облака. Расположилась у трубы, вынула пачку «Примы» и спички. Расстелила одеяло, на мышинном сукне белела трафаретная надпись «из санчасти не выносить».

Линда скинула тапки, расстегнула халат.

Я вжался спиной в жесть крыши, как камбала в песок, я почти перестал дышать. До Линды было всего шагов пятнадцать. Я видел все. Ее спина и плечи были усыпаны конопушками, а волосы на лобке оказались еще рыжее, чем на голове. Она села, лениво потянулась, закинув за голову большие белые руки. Вместе с руками поднялись

две полные груди, округлые, с бледно-розовыми сосками. Два мраморных шара — я таращился до рези в глазах, не моргая. Сердце мое колотилось в кровельную жесть. Стук, усиленный мембраной крыши, мне казалось, разносился до самых окраин Йенспилса, подобно колокольному набату.

Линда взлохматила волосы, провела ладонями под мышками, понюхала пальцы. Потом зачем-то принялась мять живот и бока, прихватывая жирные складки. Закончив, она закурила, сплюнула табачную крошку и, растянувшись на одеяле, раскинула руки крестом. До меня долетел кислый запах «Примы». Я сглотнул, во рту пересохло. Внизу, наверное у Силеверстовых, зарыдал младенец. Соседка Маркова говорила, что у ребенка синдром Дауна, как у ее Толика. И что она-то уж в этих делах как-нибудь разбирается. В это время Линда выпустила в небо клуб дыма, выставила круглые коленки и медленно развела ноги. Золотистый пук на лобке вспыхнул в невинных лучах майского солнца, точно клубок медной проволоки. Лицо мое пылало, вывернутую шею свело, я боялся пошевелиться.

Линда глубоко затынулась, выпустила дым. Выставив руку, ловким щелчком выстрелила окурком. Бычок, описав дугу, исчез за краем крыши. От пота моя рубашка прилипла к спине. Повариха зажмурилась, мне показалось — задремала. Об этом можно было только мечтать. Я осторожно вдохнул, звук вышел сиплый, с присвистом.

В «Ниве», в этом целомудренном учебнике жизни для семейного чтения, эротика касалась деликатно, если не сказать — робко. Щекотливая тема возникала лишь в разделах живописи и скульптуры. Об этом журнал писал много, подробно растолковывал сюжеты картин, рассказывал про непростую жизнь живописцев и скульпторов. Но вот статуя Давида итальянского мастера Буонаротти цензуру не прошла, мраморные гениталии юноши строгий ретушер прикрыл фиговым листком. Плотоядный Рубенс был представлен скучными библейскими сюжетами, Тициан, Рембрандт и Гойя тоже выглядели занудными портретистами, изображавшими исключительно старух и нищих. Тогда, в тринадцать лет, моя осведомленность в сфере сексуальных отношений представляла собой коллаж из подсмотренного, подслушанного, невразумительного вранья старшеклассников да еще затертых серых фотокарточек, переснятых местными эротоманами из зарубежных порнографических журналов.

Нет, повариха не заснула. Линда лежала с закрытыми глазами, одну руку она закинула за голову, другой поглаживала живот. Ее пальцы добрались до лобка, она сонно поскребла рыжие кудряшки и соскользнула вниз. Чертов младенец продолжал орать. Облака над нами плыли вертикально вверх, перпендикулярно крыше. Линда издала урчащий звук. Как кошка, лакомящаяся сметаной. Я осмелел, чуть приподнялся и вытянул шею, чтобы улучшить угол обзора. О да! — теперь мне стало видно все — ее ладонь, сжимавшую низ живота, пальцы с розовым лаком, синяк на ляжке и даже румянец, проступивший пятнами на шее и груди. Ее большое белое тело покачивалось в плавном дремотном ритме, мне стало казаться, что я слышу эту мелодию. Тогда я был дурак и невежда, сегодня могу уверенно сказать — то был Равель. Шаманское бормотание барабанов, меланхолия алчных скрипок, сладострастный шепот кларнетов — чистая ворожба! Волны, манящие волны плавно катили одна за другой. Малиновый сироп — повариха качалась на тягучих волнах, плыла в медовом трансе. Ее царское тело, бесстыжее, словно выставленное напоказ, сочилось похотью. В жизни я не видел ничего упоительней!

По моему виску в ухо сползла щекотная капля. Зуд проскользнул в гортань,

безумно зашекетало с носу. Беспомощно захлопнув ладонью рот и зажав обе ноздри, я зажмурился и чихнул.

Чих вышел от души — крепкий и звонкий, как рык бодрого льва.

Земная ось заскрежетала, мир остановился. Болеро оборвалось на полуноте. Эхо от моего чиха еще улетало в синюю бездну неба, а Рыжая Линда уже стояла на четвереньках. Прикрывая локтем грудь, она пыталась дотянуться до халата. Ее глаза вперились в меня, испуг перешел в удивление, удивление сменилось яростью.

— Маука! Дырса сукат! — повариха угрожающе понизила голос и перешла на русский. — Ах ты... поганец! Паскудник!

Я съезился. Повариха выдала цветастую тюремную тираду, из которой я смутно понял, что мне грозит кастрация. Латышский акцент делал речь Линды еще страшней — таким манером в фильмах про войну говорили фашисты — эсэсовцы и гестаповцы в черных мундирах. Которых по традиции у нас играли прибалтийские актеры.

— Дрочило-мученик! Шпынь! Подглядывать взялся, сучонок недое...

— Не подглядывал я, — мне удалось выдать.

— Айзвериес! — рявкнула она по-латышски. — Чего ты там бормотаешь?! А ну поди сюда!

Я поднялся. Глядя в сторону, поплелся к ней.

Стоя на коленях, Линда застегивала халат. Подняла злое лицо и усмехнулась.

— Да ты ж с нашего дома! — повариха все-таки узнала меня. — Ты это... Сын Катьки-буфетчицы...

Я обреченно кивнул.

— Вот мамка тебя выпорот! Ремнем! — кровожадно пообещала повариха. — До мяса! Жаль, папки нет — тот бы просто голову оторвал!

— В Антарктиде он. На станции.

— Ага! На станции! — повариха развеселилась.

Я насупился.

— Сбежал, — буркнул. — Знаю. Врет мамаша про Антарктиду.

Повариха хмыкнула, хотела что-то сказать, но промолчала.

— Да и мамаша не выпорот, — расхрабрился я. — Ее дома почти не бывает. А когда дома — пьяная. Не выпорот. Нет.

Линда прищурилась, разглядывая меня, розовым ногтем почесала нос. Нос у нее тоже был в конопушках. А вот глаза оказались почти бирюзовые. Голубые в зелень. Сережки у моей мамы были такие — с бирюзой.

— А зачем на крыше? — спросила.

— Никого нет. Никто не лезет. Можно придумывать...

— Чего придумывать?

— Ну... — я растерялся. — Всякое можно придумывать... Про пиратские сокровища, про рыцарей можно... Знаете, какие истории бывают! Про мушкетеров, про индейцев! Или вот — офигенная история! Жил один моряк, кажется, в Марселе...

— Где?

— Ну, во Франции в общем. У него была невеста — Мерседес звали. Красивая — жуть!

— Ага! Видать та еще гусыня!

— Ну да! Так вот один мужик решил эту Мерседес отбить у моряка. Он написал в полицию донос...

— Вот дупель!

— Не перебивайте, пожалуйста! Моряка, значит, арестовали и посадили в тюрьму. Пожизненно...

— Ну твари — на всю железку! Выходит, один хер, что Франция, что...

— Но не в такую, как наша, — я мотнул головой в сторону тюремной трубы. — А в замке, что на острове Иф.

— Вроде Соловков...

— Там, на острове Иф, моряк познакомился с аббатом...

— Это кто?

— Ну вроде попа.

— Ерша гонишь, малец! У них попов не сажают!

— Ничего не гоню! Да и неважно, не в том дело! Короче, аббат этот рассказал моряку про сокровища, которые он спрятал...

— Ну и баклан, поп этот!

— Да он старый совсем! Рассказал и помер!

— Во облом! — повариха явно расстроилась.

— Не — все классно вышло! Моряк вместо мертвого аббата лег, его зашили в мешок и бросили со скалы в море...

— Ну вертухай, ну лопухи! А как же он, моряк-то? В мешке? Зашитый?

— Ну он же моряк! Он под водой пять минут, наверное, может просидеть! Он мешок разрезал...

— Фартово! А сокровища?

— Нашел! И вернулся в Марсель! Но под личиной графа Монте-Кристо. Чтоб никто его не узнал.

— Ясно! Ксиву слепил новую, короче.

— Ага. Вроде того, — я решил в подробности не вдаваться, тем более, что в урезанном журнальном изложении вопрос паспорта и прописки графа не обсуждался.

— Ну вернулся, значит, в Марсель и отомстил всем, которые его предали. Только Мерседес пожалел, хоть она и женилась на том гаде...

— Замуж вышла, — поправила Линда и задумчиво добавила. — Пожалел профуру. Любил, видать, крепко...

Мы замолчали. Линда стояла на коленях, задумчиво наклонив голову. На окраине города, где-то у Еврейского кладбища, забрехала собака. Ей ответила другая, хриплым басом. Я разглядывал свои драные сандалии из коричневого кожанамителя, облупившуюся краску крыши, трафаретную надпись на одеяле, все-таки вынесенном из санчасти. Скорее всего, самой Линдой. Она шмыгнула носом, сплюнула.

— Тебя как звать?

Я ответил.

— А лет сколько?

Я соврал.

Мы снова замолчали. Время остановилось. Потом Линда потрогала шею, точно у нее прихватило горло, откашлялась.

— Поди сюда, — тихо позвала повариха странным голосом, настороженным что ли. — Ближе... Да, ближе. Не укушу...

Ухватив за ремень, она притянула меня. Звякнула пряжка. Ловко, одной рукой, Линда расстегнула две верхние пуговицы. Рывком, вместе с трусами, стянула до колен школьные портки. Сердце мое ухнуло в бездну. Напоследок успел подумать о позорных сатиновых трусах.

— Точно пятнадцать? — подняв лицо, спросила повариха.

Я пискнул что-то в ответ и в ужасе зажмурился. Больше всего я боялся сойти с ума или умереть от разрыва сердца.

Потом мы просто лежали. Лежали бок о бок, сцепив жаркие потные пальцы, и молча пилились в небо. Экстаз мой щенячий сменился тихой радостью с оттенком сладкой тоски — будто я уже умер и угодил в рай.

Линда свободной рукой нашарила свою «Приму». Закурила. Едкий табачный дым смешался с запахом ее тела — бабий пот и горькая корка ржаного хлеба. Так пахнет баня, если на камни плеснуть светлого пива. Пару раз, не выпуская сигарету из пальцев, она дала затянуться и мне. Я вдыхал дым осторожно, стараясь не закашляться.

Она начала говорить, рассказывать про себя. Глядя на облака, которые равнодушно ползли на расстоянии вытянутой руки. Ее монотонный тихий голос — наверное из-за акцента, показался мне каким-то таинственным, почти сказочным — будто со мной беседовала русалка или инопланетянка. Я молчал и слушал. Одновременно я ощущал, что со мной творится что-то неладное. Страшное и восхитительное чувство — мне хотелось рыдать и смеяться, хотелось прижаться к этой большой рыжей женщине, прижаться до боли. Вдавить себя в нее, слиться воедино с белым телом.

Линда родилась в Латгалии, на хуторе под Крустпилсом. У синего лесного озера, окруженного корабельными соснами. В ручье водились раки, а к концу июня поляна перед домом становилась красной от земляники. Когда Линде исполнилось одиннадцать, отец убил мать — зарубил топором. Отцу дали пятнадцать лет, девочку отправили к бабке в деревню под Резекне.

— Я тот год совсем не говорила. В школе не говорила, дома тоже молчала. В классе думали, что я чокнутая, — Линда тихо присвистнула, покрутив у виска указательным пальцем. — А мне плевать. Чокнутая. Даже хорошо.

Она замолчала. Достала из пачки сигарету, плоскую, точно сплюсненную.

— Дед мой, он поляк, — Линда сделала ударение на «о». — Старик тогда был... Сколько тогда? Семьдесят или так...

Она разминала сигарету, шуршал сухой табак. Тихим, безразличным голосом она рассказала, как дед изнасиловал ее, когда они ходили по грибы в соседний лес. Дело было в середине сентября, начиналось бабье лето, они набрали две корзины боровиков. Вечером дед принес ей кулек конфет.

— Барбариски. Кисленькие, — Линда закурила, зажмурилась от дыма. — А другой ночью пришел опять.

Линда убежала от них.

У Плявиниса стоял цыганский табор, цыгане приняли ее, научили попрошайничать и воровать. Воровали по базарам и на рынках. Тырили из грузовиков и легковушек на бензозаправках. Линда быстро попала, ее отправили в Даугавпилс, в колонию для малолеток. Из ремесленных курсов она выбрала поварские. Другим вариантом было шитье.

К концу ее истории стало ясно, что я пропал окончательно. Не жалость и не сострадание, смутное новое чувство, которое распирало меня, вытеснило все остальное — здравый смысл в первую очередь. Я не просто согласился бы умереть за поварику, смерть за нее представлялась мне высшим наслаждением. Почти счастьем.

Вот так началось самое чудесное лето моей жизни. Истории о пламенной любви и возвышенных страстях из журнала для семейного чтения оказались правдой. Частью правды — «Нива» целомудренно скрывала главное. Пробел этот с охотой восполняла Линда.

Крыша стала нашим тайным раем — я имею в виду тот короткий фрагмент между яблоком и ангелом с горящим мечом. Сталкиваясь во дворе или на улице, мы даже не здоровались. Лишь обменивались загадочными улыбками. Линда приносила сигареты и солдатское одеяло, вонь сырой грубой шерсти пополам с дрянным табаком — эта комбинация и сейчас вызывает у меня эрекцию. Я выпрашивал у соседки Марковой журналы, мы валялись на колючем сукне и разглядывали картинки. Иногда я читал вслух. Выяснилось, что Линда по-русски читает, как второклассник. Не хочу говорить «невежественная», назовем это «культурной девственностью», моя Линда была как Чингачгук, как Дерсу Узала. Те тоже наверняка не знали, кто такой Шекспир или Бетховен. Думаю, именно моя доморощенная эрудиция и делала наши отношения гармоничными.

Конечно, не все так было празднично. Не все и не всегда. Иногда шел дождь, иногда она просто не приходила. Тогда я до ночи бродил по двору, сходил с ума и пялился в ее темное окно. Прятался в кустах чахлой рябины, среди ржавой арматуры детской площадки. Часто она возвращалась не одна. Желтый проем подъезда на миг освещал два черных силуэта, пружина скрипела, и дверь с треском закрывалась. Через минуту зажигалось ее окно, но скоро гасло и оно.

Я лежал на вытопанной траве, глотал слезы и колотил кулаками в убитую каменную глину детской площадки. Проклятая «Нива» оказалась права и тут: обратная сторона любви — ревность — была хуже пытки. Солнечные херувимы истекали кровью и гибли в малиновом закате.

Я бесновался. Придумывал изощренную месть, перебирал способы самоубийства. Репетировал страстные речи о любви и предательстве. Но на следующий день она появлялась в чердачном окне с одеялом под мышкой, как ни в чем не бывало бросала свое «Свейки!» и, прежде чем я успевал молвить слово, она уже затыкала мне рот мокрым горячим поцелуем с привкусом кофе и дрянного табака.

Закончилось счастье внезапно — в конце августа. Изгнание из рая всегда застает врасплох — как смерть или рассвет. Три томительных дня на крыше, мучительных вдвойне, ведь надвигались неумолимая школа, сентябрь и неизбежные дожди. К тому же всю прошлую неделю мы встречались почти каждый день.

Да, вот еще — накануне ночью мне приснилось, что я убил ее. Мою Линду. Она стояла на краю крыши и разглядывала горизонт. Я подкрался сзади и толкнул ее. Падая, она повернулась и сказала: «Ведь я твоя мать». И исчезла за краем крыши. Я услышал, как ее тело стукнулось об асфальт, но даже во сне у меня не хватило духу заглянуть вниз.

Проснувшись, я кинулся наверх. На чердаке еще спали голуби, я их распугал. Птицы носились между балок, поднимая пыль и грязь, хлопали крыльями. Паутина и перья лезли в рот и глаза. Почти наощупь, закрыв ладонями лицо — чокнутые сизари шли на таран, как камикадзе, — я выбрался на крышу.

Солнце только вылезало из-за замка, кровельная жесть блестела от росы, как ртуть. Я поскользнулся и упал. Грохнулся со всего маху и в кровь разбил локоть. На карачках добрался до края крыши — я точно помнил, где Линда стояла. Заглянул вниз. На асфальте между мусорными баками и ржавым «запорожцем» Кузьмина лежало тело. Сломанное, точно свастика, оно лежало ничком — мне показалось, я даже разглядел вишневое пятно, выползшее на асфальт.

Выскочил из подъезда, обежал дом. Перед помойкой пыхтел мусоровоз. Два тощих ээка гремели баками. Одновременно они повернули ко мне коричневые, цвета

копченной камбалы, лица. Один держал пустую консервную банку из-под тушенки и облизывал указательный палец. Я попятился, спрятался за угол дома. Прижался спиной к стене. Тарахтел мотор, гремело железо баков, зэки работали молча.

Наконец они уехали. Я подлетел к помойке, тела там не было. «Запорожец» стоял на месте, я задрал голову — дом мне показался высоченной башней, небоскребом. Зачем-то бросился к бакам. Срывал мятые крышки, лез в вонючее нутро. Потом ползал на коленях, пытаясь разглядеть на асфальте кровь. Ничего, кроме зловонной жижи, вытекшей из баков.

Как оказался у ее двери — не помню. Давил до боли в кнопку звонка. Звонок истерично гремел в пустой квартире. Потом я расслышал шаги. Прижал ухо к липкой коричневой краске. Звякнул замок. Дверь приоткрылась. В щель, перечеркнутую дверной цепочкой, я увидел кусок темного коридора и маленькую старуху, почти карлицу. Я ее не знал, в жизни не встречал.

— Кого? — карлица боком наклонила голову, стараясь получше меня разглядеть.

Я повторил. Она нерешительно открыла,пустила меня.

— Где она?

Карлица кивнула на приоткрытую дверь в конце коридора. Комната оказалось пустой до боли — окно, стол, стул. В углу — железная кровать с панцирной сеткой. На решетчатой спинке кровати, крашенной серебрянкой и похожей на кладбищенскую ограду, висело солдатское одеяло. Все — больше ничего.

Нет — вру. Еще был запах. Тот самый, ее запах. Я бережно втянул воздух, вдохнул, впусив в себя жалкие остатки Линды. Старуха толком ничего не знала. Плела что-то про город Сигулда, про какого-то Юрика. Ухмылялась. Мне даже показалось, что ей было известно про нас и про крышу.

— А что, может, и возьмут ее, — карлица снизу заглядывала мне в глаза. — В привокзальный-то. Коли по протекции.

Я снова и снова перечитывал трафарет «Из санчасти не выносить». Надпись постепенно приобретала некий новый смысл — тайный, который мне вот-вот должен был открыться. Карлица коготками царапнула мою ладонь, я вздрогнул и отдернул руку.

— Поранился, гляди-ка...

Рукав рубахи пропитался кровью и засох. Я посмотрел на ладони, точно видел их впервые.

— Надо промыть, а то заражение крови будет. Перекисью промыть ранку.

Эту «ранку» она произнесла как-то сладенько и похабно. Так, должно быть, монашки сплетничают о прелюбодеяниях мирян. Карлица неожиданно цепко ухватила меня за запястье. Я вяло потянул руку, старушонка оказалась на удивление хваткой.

— Ну-ка, ну-ка, — потянула она меня из комнаты. — Ну-ка пошли!

И тут меня осенило. Господи — как все просто и логично! От неожиданного озарения я застыл: Линда и есть карлица! Она превратилась в карлицу, чтобы проверить меня.

— Куда пошли? — пробормотал я. — На крышу?

— Зачем на крышу? — она захихикала, показав мелкие, какие-то рыбы, зубы.

Подошла вплотную, ее макушка едва доставала мне до подбородка. Сальные волосы мышиного цвета были стянуты в тугую дулю на затылке. Карлица расстегнула ворот вязаной кофты, потом еще две пуговицы. Я увидел застиранные кукольные кружева и белую кожу. Старуха сунула мою безвольную кисть себе за пазуху. Ладонь наполнилась теплым тестом. Я хотел закрыть глаза и не смог.

Что-то происходило с окном, вернее, со светом. Свет стал ярко-желтым, как кожура лимона, как она называется — цедра? Вот тоже идиотское слово — цедра! Тут только до меня дошло, что не свет, а воздух превратился в лимонную гадость. Цедра лезла в глаза, в рот, в ноздри. Я разевал рот, но вдохнуть не мог — цедра забила горло. Я задыхался.

15

Из больницы я сбежал на четвертый день, как только жар спал.

Температура доходила до сорока, санитарка говорила, что я бредил. Еще говорила про какой-то горловой спазм. Что еще бы чуть-чуть — и все. Утром приходила мама, принесла мне кулек барбарисовых леденцов. Да-да, именно барбарисовых! Понурая, как беженка, она молча сидела на конце кровати, там где на одеяле белела надпись «Из санчасти не выносить». Морщась, терла пальцами виски. От ее взгляда хотелось удавиться. Напоследок, задержав дыхание, ткнулась сухими губами мне в лоб.

До Сигулды я добрался на молоковозе. Латыш пустил меня в кабину и всю дорогу молчал. В кузове гремели пустые бидоны. Я тоже молчал. Шофер высадил меня на окраине, у маслокомбината. Я спросил, где железнодорожный вокзал, он махнул в сторону каких-то развалин. Только тогда я заметил, что у латыша нет большого пальца, а на его месте торчит розовая шишка.

Привокзальный ресторан открывался только в пять. Буфетчица сонно пожала плечами и снова уткнулась в книжку. Круглые часы над бутылками показывали четверть второго. В зале ожидания сидел сухой седой старик, похожий на какого-то великого русского писателя. У нас в школе они висели по стене, в рамах, под стеклом. Но точно не Достоевский и не Толстой. Наверное, Салтыков-Щедрин. Старик, в белой сорочке и военных сапогах, сидел прямо и не отрываясь пялился в здоровенную картину напротив. То была копия суриковского «Стеньки Разина». В лепном бронзовом багете картина едва поместилась на вокзальной стене и наверняка выглядела не хуже оригинала. Художник — не Суриков, копиист, добавил атаманову лицу страсти, разбойник у него стал похож на злого усатого кота. Скучные гребцы с физиономиями евнухов явно проигрывали рядом.

Я выскочил на пустую платформу. Август напоследок жарил на всю катушку. Кисло пахло теплой сталью. Спрыгнул на путь. Надраенные рельсы сияли, точно лезвия, и уходили в мутное марево. Причем в обоих направлениях. Надрывно звенели кузнечики. Воняло шпалами. Где-то варили смолу. Долетел голос — кто-то пел, я прислушался. Из зала ожидания донесся красивый тенор. Усиленный высоким потолком, тенор звучал все громче и громче. Старик пел про острогрудые челны.

Ресторан открылся, но ни официантки — две одинаково стриженные и неразличимые как близнецы тетки, ни администраторша — толстуха, похожая на гуся, ничего про Линду не знали.

— Может, она в «Дзинтарсе»? — предположил гусь. — Или в «Охотнике»?

— Не, не «Охотник»! Нет-нет! — затрещали близнецы одинаковыми голосами, точно их самих приглашали туда работать. — «Охотник» — шалман!

В «Дзинтарсе», роскошном кабаке с белыми колоннами и хрустальной люстрой, никто новой поварахи не нанимал. «Охотник» оказался стекляшкой, он располагался у начала канатной дороги и действительно был настоящим шалманом. В табачном дыму, который пластами плыл над столами, с грацией снулой рыбы перемешалась тощая официантка в черной мини-юбке и с подносом, заставленным в три этажа

блюдами и тарелками. Она, не дослушав меня, кивнула в сторону занавески. Я протиснулся меж столов, стараясь не потревожить публику — в основном мужчин преступного вида. За дверью с таинственной табличкой «Эпштейн» сидел лысый и очень загорелый еврей с невыносимо грустным взглядом. Он усадил меня напротив. Я сразу понял, что Линды нет и тут. Он начал расспрашивать, но мне не хотелось ничего ему говорить. Какой смысл? Усталость навалилась как-то вдруг, усталость, похожая на безразличие. Как это называется — апатия? Я сидел и царапал край стола, там отклеилась фанеровка и виднелись прессованные опилки. Стол, на вид такой деревянный, был сделан из прессованного мусора. Эпштейн ушел и вернулся с тарелкой. Внутри был суп красного цвета с желтыми глазками жира и торчащей куриной костью.

— Харчо, — трагично глядя в суп, сказал еврей.

Голода я не ощущал, но выхлебал харчо за пять минут. Еврей наблюдал за мной с таким лицом, точно я совершал хакари. Стало жарко, меня развезло — так бывает, если несколько раз глубоко затянуться сигаретой. Я тайком вытер руки о штаны и начал рассказывать. Рассказал про мать, про отца — точнее, про его абсолютное отсутствие, про пожар в замке. Потом про Линду. Оказывается, в моей памяти застряли мельчайшие подробности — все ее слова и запахи, цвет неба и шершавая нежность солдатского одеяла. Вспомнил и про стаи птиц, что носились над нами, почти касаясь крыльями наших голых тел. Мне совсем не было стыдно или неловко говорить о том, чему я научился. Как она, выставив острый язык, показывала, что им там нужно делать. Рассказал я и про сон, про ее последние слова.

Еврей нахмурился еще сильнее. Поглаживая полированную, как морской камень, голову, он мрачно глядел исподлобья. Смуглый, точно индус, он напоминал арабского колдуна или джина, которые вылетают из бутылки. Ему не хватало седой бороды, ну и персидского халата, разумеется. Я был уверен, что он уже вызвал милицию и за мной приедут с минуты на минуту. Но на это мне было тоже наплевать.

— На юге отдыхали? — зачем-то спросил я.

— В Гаграх. Санаторий, — он достал из металлического портсигара тонкую сигарету с золотым ободком на конце. — Питание трехразовое и свой пляж. Увы, галька.

Он скорбно покачал головой и щелкнул зажигалкой. Ко мне поплыл завиток дыма, в жизни не предполагал, что табак может пахнуть, как карамельные конфеты. Еврей затянулся и медленно произнес:

А иногда к реке спускались дети,
пытаясь разглядеть сквозь толщу вод
сокровища — и волны выносили
диковинные камни и монеты.

— Гейне? — наугад спросил я.

Милиция приехала через четверть часа. За эти пятнадцать минут Эпштейн успел мне сказать, что Линду я не найду. Но буду искать. Иногда находить в других обличьях. Разочаровываться, отчаиваться и снова искать.

— Что это значит? — я не понял ничего. — Какой-то бред.

— Ну да, бред, — хмуро согласился еврей. — Жизнь называется.

И добавил:

— Но главное — беги из Йенспилса!

16

Проклятый Эпштейн, как он все угадал! Именно оттуда, с той крыши, прошла трещина сквозь всю мою жизнь. Разумеется, из Йенспилса я удрал при первой возможности, в тот самый день, как получил паспорт. Сел на автобус, через два часа был в Риге. Устроился на консервный завод — шпроты ели? — я их коптил. Начал писать юморески в заводскую малотиражку — еженедельную газетенку (выходила по четвергам) с двусмысленным названием «Балтийский консерватор». Неожиданно стал местной знаменитостью — цехового масштаба.

Редакция занимала три стола в углу заводской библиотеки, я как-то мимоходом записался и за полтора года перечитал почти все. От Аксакова до «Японской поэзии». Тогда я наткнулся на дневники Джакомо Казановы, толстый том в малиновом переплете стал моей настольной книгой. Она и сейчас со мной, потеряя, с пожелтевшими страницами и фиолетовым штампом «Библиотека рыбокомбината № 2» на титульном листе. Каюсь — украл. Не мог не украсть. «Моя жизнь» Казановы — одна из самых увлекательных книг на свете. Но не эротические похождения и не дуэльные поединки, и не путешествия — Казанова добрался аж до Петербурга, и даже не знаменитый венецианский побег из инквизиторской тюрьмы, — нет, меня поразила житейская мудрость итальянца. На нечто похожее, но в примитивном, фастфудном варианте, я наткнулся позднее у Дейла Карнеги. Впрочем, сравнивать Казанову с Карнеги — это все равно, что вешать в одном зале Леонардо и Кукурыникова.

В Риге поначалу я обитал в общежитии, делил каморку с двумя крепко пьющими битюгами из цеха готовой продукции. Потом перебрался к Юлии Борисовне, библиотекарше. От нее к главреду нашего «Консерватора» Машке Гамус. Она училась на вечернем отделении рижского журфака и была похожа на крепкую греческую рабыню-танцовщицу с жесткими смоляными кудряшками.

Ни та, ни другая даже отдаленно не напоминали мою восхитительную рыжую Линду. Юлия Борисовна, близорукая и стеснительная, здорово разбиралась в литературе — особенно, скандинавской, а с Машкой мы были просто друзьями. Ну не совсем просто, но дружба в наших отношениях определенно стояла на первом месте. И когда мне стали приходить повестки из военкомата, именно Машка спасла меня от трех лет флотской службы.

Мы поженились (в значительной мере — фиктивно) и эмигрировали в Израиль. В Тель-Авиве оказалось жарко и влажно, как в Сочи. Так, по крайней мере, утверждала Машка, которая все детство отдыхала с родителями в «Жемчужине». Мы переехали к Мертвому морю, где работали на томатных плантациях. Потом всю зиму упаковывали апельсины. Жили в фанерном бараке и по ночам вместе учили английский. К концу смены перед глазами плыли рыжие пятна. Наши пальцы, кожа, волосы — все насквозь провоняло едким апельсиновым духом, который мне мерещился даже год спустя в промозглом Бруклине.

В Америке мы расстались. Машку полюбил развеселый негр-саксофонист, мускулистый гигант цвета зрелого баклажана, которого застрелили через пару лет во время гастролей где-то на юге, кажется, в Теннесси. К тому времени я жил с Мариной, русской художницей из Ист-Виллидж, бывшей москвичкой с зелеными волосами и кельтскими татуировками по всему телу. Живопись ее напоминала картинки из учебника биологии — пестрые бактерии под микроскопом. Вместе мы придумывали картинам названия типа «Неприятный разговор», «Где ты была вчера?», «На редкость

убедительная имитация оргазма». Денег не хватало, по ночам я подрабатывал сторожем в подземном гараже рядом с Мэдисон-сквер. Платили гроши, но зато меня никто не дергал, и я спокойно мог писать всю ночь напролет. Да, я продолжал свои литературные упражнения. Амбиции таяли, писательство постепенно превратилось в психотерапию.

Как-то душной июльской ночью тройка коренастых латиноамериканцев — кажется, это были пуэрториканцы — пробралась в гараж. Угрожая кривым тесаком — мачете и бейсбольной битой, они вытащили меня из стеклянной будки и заперли в багажнике одной из легковушек. Я слышал, как латиноамериканцы крушили машины, били стекла и колотили в жезл. Фары лопались с азартом новогодних петард.

В багажнике не хватало кислорода, под утро я потерял сознание. Меня нашли почти случайно, около полудня. В госпитале Святой Троицы, что на Ист-Ривер-драйв, в палату, которую я делил покалеченным крановщиком, по иронии упавшим в шахту лифта, приходили полицейские. Показывали наброски — фотороботы разнообразных бандитов. Рожи выглядели одинаково страшно, точно иллюстрации к книжке Ламброзо. Я никого не смог узнать, но вспомнил, что на шее одного из мазуриков были выколоты слово «Desperado» и маленькая ласточка.

Полицейские приободрились, младший детектив Пин (имя и должность я прочитал на пластиковой бирке, приколотой к груди) показал мне несколько фотографий. Бандита звали красиво, совсем как писателя Сервантеса, — Мигель. Фамилию, не менее звонкую, я не запомнил. Он оказался не просто шпаной, а погром в гараже не простым хулиганством. Мигель был правой рукой Хорхе Лоредо, банда которого безобразничала в районе от Юнион сквер до Сорок первой улицы. Занимались стандартным промыслом — рэккет, наркотики, контроль проституции. Подозревали Лоредо и в исполнении заказных убийств, в том числе и в резне на крыше ресторана «Хассельблат».

Терять мне особо было нечего, ну, разумеется, кроме жизни, и я дал себя уговорить выступить свидетелем обвинения. На программу по защите свидетелей рассчитывать не стоило, заманчивая идея стать неким Джоном Смитом где-нибудь в штате Висконсин умерла, не успев родиться. Полицейским — я видел — страстно хотелось взять за жабры этого Мигеля и его босса. Особенно жарко убеждал меня младший детектив Пин. Ее круглое лицо, все три дня бесстрастное, как китайская маска, неожиданно разругалось и оживилось. Я равнодушен к очарованию восточных женщин, вернее, был равнодушен до этого момента.

Суд над бандитами стал сенсацией местного, Нью-Йоркского, калибра. Особенно после того как в камере зарезали Мигеля. История стала напоминать третьесортный полицейский сериал, если не считать занятного факта, что Марина за время моей госпитализации успела сойтись с одноногим скульптором из Албании.

— Чего ты ожидал от белой бабы? Да к тому же с волосами цвета зеленки? — риторически поинтересовалась Пин и предложила мне перебраться на время к ней. За неполную неделю младшему детективу удалось кардинально изменить мое индифферентное отношение к восточным женщинам.

Суд подходил к финалу. Адвокаты бандитов, два высокомерных итальянца с напыженными прическами, сникли после того как бухгалтер Хорхе Лоредо начал давать показания. Свидетеля привозили в бронированном автобусе, его охраняли пять полицейских, а в зале суда он выступал в хромированной клетке.

Пару раз у меня брал интервью Первый канал для утренних новостей. В телевизоре я выглядел вполне убедительно, а легкий русский акцент, как сказал оператор Стив, придавал репортажу экзотический колорит. Именно славянский говор

помог мне заработать самые легкие деньги в моей жизни — телевизионщики стали приглашать меня дублировать русскоязычные репортажи. Чаще всего это были отрывки из новостей русского телевидения, иногда интервью. Человек начинал говорить по-русски, его приглушали, и тут вступал я со своим аутентичным акцентом. Тексты я читал по бумажке. Переводила их бывшая пианистка из Харькова, неряшливая толстая женщина со страшной фамилией Жмур. Даже в ее английских фразах слышались мне местечковые обороты. Жмур непрерывно ела, она приносила из дома какую-то пищу в пластиковых судках. Торопливыми хомячьими лапками она ела прямо из них, из этих омерзительных посудин. Ее жирный бюст был постоянно в крошках еды и пятнах жира. Да и переводила она примерно так же — торопливо и неряшливо, упуская смысл, добавляя отсебятину, зачастую игнорируя целые предложения. Слово «хамство» в ее английском варианте превращалось в «сексуальную распушенность с элементами генетической деградации».

Тайком я взялся редактировать Жмурову писанину. Пианистка учинила скандал, но поскольку в редакции по-русски понимали только мы двое, нам устроили независимую экспертизу. Случайным экспертом стала редактор из России Елена Щукина. Мы брали у нее интервью — в Нью-Йорке как раз проходила книжная ярмарка, и наш канал делал репортаж о русских литературных новинках. В результате пианистку уволили, а меня зачислили в штат на должность переводчика. К тому же мне удалось всучить Щукиной несколько рукописей — сборник рассказов и роман. Через год в Москве вышла моя первая книга «Все певчие птицы». На обложке радикально красного цвета художник изобразил...

Часть третья

Любовь

17

— Художник изобразил! — передразнивая, перебила меня Ева. — Да какая разница?! Ворон стаю изобразил он! Ну и что?! Разве это важно? Разве это я просила тебя вспомнить?

— А откуда мне знать, что я должен и чего не должен вспоминать? — рявкнул было я, но тут же осекся от чудовищной головной боли.

Не то слово — в череп словно забили полдюжины восьмидюймовых гвоздей, стальных, блестящих, в мизинец толщиной, — у меня таких коробка в гараже, нераспечатанная, совершенно непонятно для чего они — луну что ли к небу приколачивать?

В окно хлестал ливень. За окном угадывался лес — где это я? Ах да — Вермонт...

Я сидел на полу, вытянув ноги и сжав голову ладонями. Череп раскалывался на части. Сквозь боль в сознание вплыло какое-то блеклое ощущение, даже не воспоминание, а так — тень. Такое бывает с запахами — но причем тут огурцы? Укроп, черная смородина, листья, скошенная трава... Да, трава. Пчелы, махаон на руке...

— Слушай, — спросил тихо. — А что там было?

— Ничего, — отрезала Ева. — Сон.

Прямо уж так и ничего. Вспомнился пейзаж, безрадостная пустошь, два чудика — как она их назвала? — Фокусник и Несчастный? А между ними — она,

Царица. Ева. Сладострастная самка. Квинтэссенция похоти и порока. Но почему порока? Почему грех? Кто это решил? Жрец Картонной Луны?

Голову чуть отпустило. От ковра воняло малосольными огурцами. Осторожно, будто калека, я поднялся на карачки, кое-как встал. За окном плескалось море. Деревья — их нижние ветки и стволы утонули — торчали из воды, точно сказочные кусты небывалых размеров. Дальний лес казался зеленой стеной. По воде бродили настоящие волны, серые и рябые от ливня.

— Но согласишься, придумано ловко, — Ева сказала весело, точно продолжая какой-то разговор. — Хитро придумано!

— Ты о чем?

— Ну про грех. Про порок.

Как всегда, она подслушивала мои мысли. Я подошел к столу. Бутылка запылелась, я аккуратно дунул и протер стекло рукавом. Ева зажмурилась, рассмеялась. У нее был хороший смех.

— Спасибо! — подмигнула.

Если у тебя нет рук и ног, ассортимент жестов предельно беден — можно показать язык да подмигнуть. Вот, пожалуй, и все. Можно еще чихнуть, но я не припомню, чтоб Ева чихала.

— Ну посуди сам, — продолжила она. — Предположим, тебе нужно придумать религию. И чтоб без античной аморфности. Строгую! Действенный инструмент управления людьми. Чтоб была она как узда! Как стальные удила! Как строгий ошейник с шипами в шею! Такую вот религию. Ведь, собственно, в этом суть религии — контроль над человеком. Тут мы согласны, надеюсь?

— Ну...

— Гениальность концепции в том, что в основу христианства положена вина. Как абсолют. Причем виноват каждый. И даже не в момент рождения, а раньше, гораздо раньше — сперматозоид твоего отца, проникающий в яйцеклетку твоей матери — уже тут все виноваты смертельно. И ты — еще эмбрион, хоть и не больше головастика, но грешен, грешен, грешен!

Ева азартно фыркнула.

— Но главная прелесть даже не в этом! Да! — и оцени степень иезуитства! То, чем эллины или какие-нибудь римляне занимались с невинностью кроликов, получая от процесса такое же целомудренное наслаждение, как от еды, питья или спортивных упражнений, внезапно превратилось в одно из главных прегрешений. Постыдных, грязных — вроде воровства. Самая здоровая эмоция, ключ к продолжению человеческого рода, стала гнусной мерзостью, о которой можно говорить лишь намеками и заниматься исключительно под покровом ночи. Тихо и, желательно, под одеялом.

Довольная, Ева замолчала. Дождь звонко барабанил в жест крыши. Я поскреб колючий подбородок, спросил:

— Но кто это все придумал? Кто?

Ева выдержав паузу, просто ответила:

— Мы.

— Кто — мы? — я подался вперед. — Кто?

Без ответа.

— Кто? — начал злиться я. — Кто вы такие в конце концов? Инопланетяне? Ты можешь объяснить в конце концов?

Ничего — ухмылка и насмешливый взгляд.

— Черт тебя побери — кто? Кто вы?! — орал я уже в голос. — Потомки погибшей цивилизации? Дети богов? Секта безумных шаманов?

Злость и унижение плюс усталость и головная боль — я сорвался. Непростительно, но объяснимо. Она слушала, снисходительно ухмыляясь, — с таким лицом родители переживают скандал пятилетнего засранца. Вот ведь сволочь, да еще с таким превосходством!

— Ева! В конце концов это просто невежливо... — выкрикнул я истерично. — Унизительно, в конце концов!

— Унизительно! — она захохотала. — Господи... прямо до слез... Унизительно...

— Кончай ржать! Дура!! — взревел я и от души саданул кулаком по столу.

Что-то треснуло — то ли стол, то ли рука. Бутылка подпрыгнула, стакан с карандашами покатился и упал на пол.

— Ух, какой нервный! — с притворным испугом воскликнула Ева. — Руку не порань!

— Ты... ты... — от ярости я начал заикаться. — Ты — д-дурацкая башка! В бутылке! Ты кончай тут... Выкобениваться!

Последнее слово я выкрикнул пополам с бабьим визгом. Откуда взялся этот истеричный голос, эти базарные выражения? Генетика — это не только мамаша-буфетчица, копнешь глубже, а там и дикари, и людоеды.

— Вот именно! — Ева снова читала мои мысли. — Именно! Варвары! Особенно вы — русские! Лоск ногтем сколупнуть, а под ним — орда, зверье...

Уже не контролируя себя, я схватил бутылку — тяжелая, сволочь! — поднял над головой и со всего маху грохнул о пол. Зажмурился, ожидая взрыв осколков. Но ничего не случилось — бутылка тупо, как чугунное ядро, плюхнулась на ковер и снова встала вверх горлышком. Будто ванька-встанька.

Ева хохотала.

Я вернулся с молотком. Наклонясь, прицелился и с размаху долбанул в стекло. Молоток ударился и отскочил будто от стальной плиты. В воздухе повис тихий металлический звон — как от камертона. Бутылка крутанулась волчком и замерла, снова встав горлом вверх. На стекле не осталось даже отметины. Мои руки дрожали, молоток ходил ходуном. Я замахнулся, но раздумав, бессильно опустил руку. Молоток без звука упал на ковер. Как во сне.

Ева задыхалась от хохота.

Держась за стенку, я поднялся. Как пьяного, меня качнуло вбок. Ухватился за край стола. Я сипло дышал ртом, точно конь после скачки. Внутри все тряслось — вот так, должно быть, людей хватает кондрашка. Вот ведь сволочь — ну и духота! Вытер лицо локтем.

Поднял бутылку с пола, прижал к животу, как арбуз. Шатаясь, вышел из кабинета. Ева перестала смеяться.

— Не будь идиотом! — крикнула. — Стой!

Крыльцо превратилось в причал. Верхняя ступенька уже была под водой. Волны перехлестывали через край, гуляли по доскам террасы, как по палубе. В углу мокрой тряпкой лежала какая-то бурая гадость. Пригляделся — то был труп лисы.

— Ты что — чокнулся? Ведь любое желание... ну, почти... кроме там бессмертия и прочих глупостей. Деньги, слава — что еще? Ну? Ведь так славно было, а?

Я подошел к краю, порыв ветра хлестнул ливнем в лицо.

— Ну, погоди-погоди, — испуганно тараторила Ева. — Погоди! Давай поговорим!

Я ведь хотела, как лучше... Чтoб ты понял... Правда-правда! И если что... или обидела как... прости. Серьезно! Прости — слышишь?

Я слышал. Но знал, что отвечать нельзя. Нельзя ни в коем случае.

— Ну ты и кретин! — злобно выкрикнула Ева. — Дурак! Своими руками, а?

Она, похоже, поняла, что меня не переубедить.

— Ведь ты ж урод! Калека убогий! Никакой психоаналитик тебе не поможет! Ты хоть сам-то это понимаешь, ущербный? Ведь я хотела правду тебе показать, правду! И помочь! Нельзя же всю жизнь, как страус, голову... Нужно честно и до конца... И дело не в Линде той, и не в бабье бесконечном... У тебя ж вместо души — дыра! Пробоина размером с галактику! И никакой Линдой ты ее не заткнешь! Дыру эту!

Гром, мастерски разбитый на басовые октавы, шарахнул прямо сверху. Инстинктивно я присел. Гром ворчливо укатил за лес. Я выпрямился и, размахнувшись через голову, швырнул бутылку в воду.

Бросок вышел так себе. Бутылка вынырнула метрах в десяти. Мелькнуло белое пятно лица. Течение потянуло бутылку, сперва неспешно, как бы нехотя и лениво, после все быстрее и быстрее. Покачиваясь, точно оторвавшийся буй, она уносилась вдаль. То исчезая, то выглядывая снова, Ева в последний раз играла со мной в прятки.

— Дыра... — выдохнул я, садясь на мокрые доски. — Сама ты...

Штаны тут же промокли, мне было плевать. Нужно честно — вот тут она права. Честно и до конца. Мертвая лиса скалила зубы, будто ухмылялась. Я пальцем дотронулся до клыка, белого и острого, точно осколок фарфора. Честно и до конца. А если честно, то страшно. Вдруг вся жизнь окажется враньем и пустышкой. И все высокие устремления и поиски смысла не больше, чем пафосные фразы и театральные позы, цель которых незатейлива — ложь. Вранье. Себе и другим. Ну, конечно, себе в первую очередь.

Глухим раскатом бухнул гром. Гроза уползала на восток. Ливень наконец выдохся и превратился в унылый дождь. Небо, грязное и низкое, закрашенное серой краской, как борт эсминца, подернулось рябью, там появились прорехи, за которыми угадывался свет. Если ты, конечно, веришь, что там есть свет. Если веришь в солнце, в синее небо и прочую банальную чушь. В большинстве случаев — это вопрос веры. И не более того.

Что-то нужно было делать с мертвой лисой. Я поднял труп, тело оказалось совсем легким. Похоже, это был лисенок. У меня никогда не было собаки, я не мог даже примерно определить возраст. Вера говорила, что местные индейцы приручали лис, даже охотились с ними.

Что-то нужно делать с лисой. И что-то нужно делать с зеркалами. Ведь тут такое дело — в зеркале лицо с твердым подбородком и жесткой линией челюсти. Выражение решительности даже в горизонтальном положении. Женщинам такие лица нравятся, они говорят — вот, мужское лицо. Настоящее мужское лицо — говорят они. Что верно — все эти юные херувимчики и адонисы с их румянцем персиковых щек и томностью голубых глаз к пятидесяти годам превращаются в евнухов с бабьими рожами, белокурые локоны сменяет лысина, розовеющая сквозь предательский зачес. А у тебя — седоватый ежик, загорелая помятость и твердость подбородка. С таким лицом хорошо ночью спасать женщин, стариков и детей. Крушение поезда и чтоб дождь. Треск вертолетов и прожектора. Или что-нибудь тревожное в горах — лавина или обвал. Тут хорошо днем и чтоб много снега. Канаты лимонного цвета и стальные крючки и карабины. А после — репортеры, камеры, микрофоны — и никакого пафоса,

лишь усталый взгляд, улыбка и скромное обаяние. Или обаяние скромности. Приятно быть значительным, но еще значительней быть приятным. Шучу, разумеется.

Что делать с лисой? Лису нужно похоронить. Когда спадет вода. Точнее — если вода спадет. Задняя нога лисы вдруг дернулась. Или показалось? Нет, вот еще раз. Я плечом толкнул дверь, на кухне нашел полотенце. Взлохмаченную, но относительно сухую, завернул лису в свитер, толстый, в таких ходят исландские рыбаки и поэты в Челси. Получился неуклюжий кулек, из которого торчал острый нос с замшевой пуговкой на конце. Странно, почему у меня никогда не было собаки?

18

К рассвету вода начала уходить. Уходила тихо и незаметно. Я сидел на открытой террасе второго этажа, уткнув подбородок в мокрое дерево перил. Пейзаж, серый и мутный, как в фильмах Фрица Ланга про нибелунгов, нерешительно проступал из тьмы, невнятные объекты формировались из призрачных теней и предрассветного марева. Лисенок, завернутый в свитер, спал у меня за пазухой.

Мне казалось, что я нащупал ответ.

Под утро заметно похолодало, с минуту я не мог вспомнить, какой сейчас месяц. Было смутное чувство, что начало октября. Нет, наверное, все-таки еще лето, ну в крайнем случае — сентябрь. Сентябрь, точно. Год назад, прошлым сентябрем, в самом конце, мы были в Калифорнии, хоронили Вериного отца.

Мы застали старика живым. Впрочем, слово «живым» будет некоторым преувеличением. Он приходил в сознание и снова проваливался то ли в сон, то ли в бред. Врачи продолжали колоть лекарства, хотя ни о каком выздоровлении речь уже не шла. Лейкемия, у нас ее называли «белокровием», в детстве она представлялась мне таинственным и аристократичным недугом, на самом деле просто отключала внутренние органы, один за другим. Обыденно, как прижимистая хозяйка, что бродит перед сном по квартире и гасит лампочки — на кухне, в сортире, в прихожей — ишь, скоко киловатт нажгли в прошлом месяце! Да, примерно так — почки, печень, легкие... Самый действенный способ — переливание крови, всей крови и раз в неделю. Ведро крови каждые семь дней.

Я оказался рядом, когда он пришел в сознание. Разглядывал его жуткие руки, белые, с каким-то лимонным оттенком. Он учил меня играть в гольф лет десять назад. Иногда мы играли в теннис, у него была сказочная подача — хлесткая и мощная. Не думаю, чтобы я ему особенно нравился. Впрочем, тут без претензий — я сам себе не сильно нравлюсь.

— А, это ты... — сказал он с легким разочарованием, точно на моем месте ожидал увидеть архангела.

Мне удалось заставить себя взять в руку его кисть — холодную, а главное — легкую, как птичье крыло. Спросил какую-то глупость, вроде — ну как?

— Страшно... — ответил он просто. — Очень страшно.

Вся эта чушь про синие губы, запавшие глаза и прозрачную, как папиросная бумага, кожу оказалась правдой. Еще был жуткий кадык, острый, точно застрявший в горле камень. Еще — реденькая седая щетина. Я никогда не видел его небритым — он был настоящим джентльменом, Верин старикан, — крахмальные сорочки, туфли, ногти, часы на серебряном браслете. И еще он верил в бога. По-настоящему, без дураков, — не воскресные прогулки в церковь и молитвы по праздникам, а серьезно — он даже библию читал с карандашом, что-то выписывал оттуда в блокнот.

Так, должно быть, верили в бога Эйнштейн или Ньютон. Мне он как-то сказал — человек верит в бога вопреки доказательствам. Именно в этом суть веры.

И вдруг — страх. Мне-то казалось, дураку, он вприпрыжку побежит туда — к тем сияющим вратам.

После похорон мы вернулись домой, прилетели ночью. Битый час разыскивали машину на стоянке — ни я, ни Вера не помнили, где мы ее бросили. Я сел за руль, хоть прилично выпил в самолете. Шесть часов полета, получилось как-то само собой. В Вашингтоне стояла духота. Над городом в мутной дымке висела размазанная луна, воняло тиной. Отлив обнажил широкую полосу черной жижи, казалось, берег залит застывающей смолой. Я никогда не любил этот город, хоть и прожил тут шестнадцать лет. Зачем-то повторил эту фразу вслух. Вера не ответила. Даже не повернулась. Скосив глаза, я разглядывал ее профиль на фоне окна, за которым неслась ночная обочина. Да, дочь своего отца, раньше я не замечал сходства.

За всю неделю мы сказали друг другу от силы две дюжины слов. На мою последнюю фразу — я уезжаю в Вермонт — Вера просто кивнула. Точно я собирался выйти за газетой.

Прошло одиннадцать месяцев. Я в Вермонте. Простота решения оказалась обманчивой. Должно быть, старик был прав в главном — все дело в вере. И не обязательно в бога.

Лисенок проснулся и начал скулить. Я распахнул холодильник — упаковка пива, жгучий мексиканский соус, полбутылки белого вина. Я нырнул глубже — засохший сыр, пара подозрительных банок неясного происхождения. Комок фольги, который я не рискнул разворачивать. Тут же лежала буханка каменного хлеба. На дне масленки желтел кусок оплывшего сливочного масла.

Масло лисенку понравилось. Он азартно лизал его острым розовым языком, гоня масленку по кафелю кухни. За окном совсем рассвело, но утро не задалось — солнце едва проглядывало. Натянув резиновые сапоги, я громко протопал на крыльцо.

Вода ушла. Река, грязная и злая, шумно пенила мутные волны, унося вниз по течению мусор и обломанные ветки с яркой листвой. Ветра не было. Мокрые и темные деревья молча стояли в оцепенении, точно после обморока. Трава под сапогами жирно чавкала. С удовольствием шлепая по лужам, я прошел к сараю. Сейф исчез. Не веря глазам, я наклонился и потрогал ладонью траву. На том месте, где он стоял, ясно отпечатался прямоугольник, трава там была бесцветной и вялой. Будто мертвой. Осторожно, точно боясь кого-то испугнуть, я заглянул за угол сарая. Пусто было и там.

— Не, — возразил я неизвестно кому. — Чушь...

Невероятно, чтобы вода утащила такую тяжесть. Я рассеянно пожал плечами и пошел дальше. Берег был покрыт мусором, который обычно оставляет морской прилив, — щепки, камни, водоросли. Попадались пластиковые бутылки и смятые банки из-под пива. В сучьях яблони застрял изуродованный пляжный зонт — из комка белого и желтого брезента топорщились стальные спицы. Дальше валялась резиновая крышка от грузовика, еще дальше — белела рябым стволом вырванная с корнем береза. На опушке леса я набрел на гинекологическое кресло, приплывшее неизвестно откуда прямо с куском пола. Стараясь не вдаваться в символизм находки, я повернул обратно к дому.

Если бы у меня оставалось последнее желание — чего бы я пожелал? Мысленно перебрав варианты, пришел к выводу — ничего. Да, скорее всего, ничего. Желания сами собой разделились на две категории: карликовые и циклопические. Еще была

категория утопических, вроде бессмертия и мира во всем мире, но желания такого сорта выходили за рамки здравого смысла. О чем Ева в свое время предупреждала.

Я шел по опушке соснового бора. Прежние хозяева обнесли этот кусок земли колючей проволокой. То ли тут когда-то паслись их коровы, а может быть, овцы, то ли заграждение адресовалось лесному зверью. Проволока проржавела, деревянные столбы сгнили и поросли мхом. Моя русская память, не отягощенная сельскохозяйственными образами, тут же выдала две ассоциации — тюрьма и война. Как же они нас выдрессировали! Ничего, кроме окопа или вышки с пулеметом, в голову даже и не пришло. Я тронул пальцем ржавую колючку. Интересно, а о чем думала Вера, глядя на эту проволоку? Все три года я обещал жене разобрать ограду. Три с половиной. Я подошел к столбу, пнул сапогом в основание, под мхом оказалась труха. Столб, покачиваясь, повис на проволоке. Гниль! Да тут даже и инструменты не нужны, голыми руками можно. Ну и ногами, конечно.

Ржавая проволока легко ломалась, я без особых усилий выбивал ее из трухлявых столбов. Удар сапогом — от пинка столб разлетелся фонтаном рыже-зеленой трухи, точно дряхлый пень, еще удар, еще. Я вошел в раж, топтал и комкал проволоку, она топорщилась, норовила расцарапать лицо. Местами железо не сгнило, и под оранжевой пылью ржавчины скрывалась крепкая сталь. В азарте я не заметил, как порвал штанину, сквозь джинсовую тряпку на бедре проступило бурое пятно. Ах ты дрянь! Штаны совсем новые! Битва приобретала личный характер.

Ограда не сдавалась. Несколько раз я падал, но тут же вскакивал и снова бросался в бой. Рычал и плевался, как янычар-берсерк. Вдобавок к джинсам разорвал рукав куртки, вся одежда теперь была в земле, траве и ржавчине, пот тек по спине, по лицу, щеkotно лез в глаза. Руки, чудовищные, будто чужие, были липкими от крови и грязи.

— Дурак, перчатки бы хоть надел, — ласково проговорил знакомый голос.

Это было так неожиданно, что я застыл. Будто меня застучали за чем-то неприличным. Голос прозвучал совсем рядом, я оглянулся.

— Не туда смотришь.

Теперь голос доносился из леса. Я раздвинул кусты орешника, начал вглядываться в темень чащи. Там хихикнули.

— Я на секунду забежала — проститься. Мы расстались как-то не так... Нехорошо расстались.

— Прости, — буркнул я. — Нервы...

— Да я сама тоже... Ты извини, ладно?

Я пожал плечами и сел в траву, поглядел на руки. На правой ладони красовалась глубокая царапина в форме полумесяца.

— К тому же за мной последнее желание.

Я не мог припомнить, чтобы она обещала, но возражать не стал. Хотя одно, тем более последнее, желание — бессмысленно. Поэтому ничего умнее сигареты и не приходит в голову на эшафоте. Я поднял голову — надо мной плыли облака, незатейливые, будто нарисованные художником-примитивистом.

— А можно я на потом оставлю? — спросил.

— Конечно, — покладисто согласилась Ева. — Видишь, кое-что ты все-таки понял.

Да, кое-что. Процесс важнее результата — раз. Некоторые истины невозможно объяснить, до них можно лишь своим умом дойти, иногда доползти на карачках, на кулаках. Это — два. И третье, самое важное: последнее желание — оно вроде атомной

бомбы. Его нельзя использовать. Сила последнего желания не в исполнении, а лишь в возможности его исполнения. Эфемерное гораздо мощней материального. Инфантильная привязанность к предметной стороне мира отвлекает нас от понимания его сути.

— Молодец, — с материнской ноткой похвалила Ева. — Да, и еще: все гораздо проще. Как только тебе начинают вкручивать какие-то головоломки, будь то экономика, политика или отношения с бабой, так и знай — врут.

— А смысл жизни? А счастье? С этим как?

— Элементарно. Возьмем, к примеру, тебя.

Я настороженно выпрямился. Меня задел ее тон, легкомысленный и игривый — так болтают о чепухе, вроде скандала в малознакомой семье, где муж оказался гомосексуалистом, жена спилась, а дочь приняла магометанство и убежала с горнолыжным инструктором в Афганистан.

— Вот ты — человек творческой профессии.

Я кивнул, ожидая какого-то обидного дополнения. Но Ева перешла к сути и отчеканила:

— Люби, что делаешь. Делай, что любишь.

Я ждал продолжения, но она молчала.

— И все? — мне не удалось скрыть разочарование. Она фыркнула.

— Об этом я и толкую! Ты ожидал услышать наукообразную ахинею с малопонятными словами, которыми козыряют проходимцы, называющие себя философами и психологами.

— Нет... Но...

— Никаких но! Принцип устройства прост. Механика одна и та же. В основе всего — энергия. Энергия, переходящая из одного вида в другой. Любое творение — картина, симфония, книга — это результат приложения энергии. Энергии любви или ненависти. Можно писать любовью — как Моцарт, а можно страхом — как Шостакович. У энергии безумия свои оттенки: жемчужная — Врубеля или васильково-соломенная — Ван Гога. Злость и ненависть похожи, но у злости больше красного, ненависть оперирует в черно-сером спектре — Отто Дикс, например. Или поздний Гойя.

— А Дали?

— Дали — пижон. Ты еще Церетели вспомни. Мы же говорим о творцах, а не об имитаторах. Отсутствие страсти — то, что выдает имитатора. Страсть может быть буйной, вроде Рубенсовской. Или как у Делакура — помнишь его мавританский цикл? «Охоту на львов» или «Резню в Алеппо»? А может тлеть тихо, неприметно. Как у Вермеера или Рембрандта.

Она замолчала, я слизнул кровь с ладони и сплюнул. Тень от облака неслась по лужайке, точно кто-то наверху спешно менял декорации — яркий свет сделал все вокруг ярким и трехмерным. Вспыхнула мокрая трава, листья заблестели, как глянцевые. Луч продрался сквозь крону сосны и, угодив в пруд, рассыпался на сотню солнечных зайчиков. Вот уж точно — если тебе не нравится погода в Вермонте, просто подожди пятнадцать минут.

— Как-то так, примерно, — ее голос теперь доносился откуда-то сверху, я задрал голову, там плыло облако с голубой дырой в форме сердца. — Моментальная трансформация плоского и скучного в живое и радостное. Искусство в чистом виде.

Было слышно, что она улыбается. После добавила:

— И последнее...

— Что?

— Умойся. Смотреть стыдно.

Я кивнул. Поднялся с травы, отряхнул колени. Джинсы и куртка были безнадежно испорчены.

— Ну все, — сказала она. — Иди.

— Все?

— Все.

Смена декораций — солнце скрылось за облаком. По листве пробежал ветер. Сквозь шумный шелест с реки донесся крик утки.

— Ева? — позвал я.

Позвал так, на всякий случай. Прекрасно знал, что ее уже нет. Постоял с минуту, рассеянно разглядывая траву под ногами. Не знаю почему, пошел не к дому, а в сторону пруда. Каменные ступени спускались в янтарную воду, на верхней ступеньке грелись на мелководье мальки форели. Услышав шаги, они брызнули врассыпную.

Я стянул резиновые сапоги, правый носок был в крови. Должно быть, пропорол колючей проволокой. Раздеваться было лень, я осторожно ступил на скользкий камень, постоял, осмелевшие мальки вернулись, начали тыкаться в носки. Вода оказалась теплей, чем ожидал. Комнатной температуры, что называется. Шагнул ниже. Любопытный тритон, похожий на крошечного динозавра, плавным брассом обогнул мое колено и сонно застыл в сантиметре от поверхности. Зашел по пояс, потом по грудь. Вода пробиралась внутрь одежды, куртка надулась пузырем на спине. Ступени кончились, под ногами был песок. Я оттолкнулся и бесшумно поплыл на середину пруда. Скользил плавно, как это делают коварные аллигаторы в болотах дельты Миссисипи. Или там живут крокодилы? Никогда не понимал разницы.

Я лежал на спине, раскинув руки крестом. Две старые сосны, что росли на самом берегу напротив друг друга, смыкали надо мной могучие лапы. На ветках правой висели зеленые шишки, левая сосна, похоже, болела — шишек не было, нижние ветви превратились в сухие коряги. Над соснами синело небо и текли равнодушные облака, подо мной было три метра озерной воды. Ближайший сосед обитал в пяти километрах. До Нью-Йорка шесть часов на машине. Если без пробок. До Вашингтона — десять.

Я висел между небом и землей. Одинокий, никому не нужный, вздорный и не очень умный эгоист. Он парит — скажет поэт, болтается — поправит прозаик. На самом деле я погружался — одежда намокла, становилась тяжелей, и я постепенно начал уходить под воду. Тонуть.

Надо мной пронеслись две малиновки. Приземлились в орешнике и устроили там базар. Ни кустов, ни самих птиц я не видел, но знал, что орехи уже созрели. Или почти созрели — малиновки у нас соревнуются с белками, и зеленые орехи все-таки лучше чем никаких орехов. Нет, все-таки птицей я бы не хотел стать. Уж лучше аллигатором. Хотя, с другой стороны, полет. Но ведь наверняка осточертеет на второй день, будешь сидеть на ветке и смотреть телевизор — или что у них там вместо этого.

Я погружался. Пузырьки воздуха щекотно ползли по спине, находили лазейки в одежде и бесшумно выскакивали на поверхность. Одинокая лягушка деликатно пела в зарослях ириса. Он топорщился вдоль берега и волшебным образом расцветал каждый июнь сине-фиолетовыми кляксами, а сейчас напоминал простую деревенскую осоку. Глупую траву, непригодную даже на корм коровам. Вроде твоей писанины — всплыла в мозг ядовито сладкая мысль. Тут же стало тяготно тоскливо, жалость к себе растекалась по телу. Да-да, кому она нужна, твоя писанина? Нетрезвые мысли

циничного мизантропа. Выдумки, выдающие себя за истину. Ты хочешь человечеству открыть глаза, сразить каким-то откровением. Хочешь сказать страшную правду. Но при этом используешь фантазии и ложь. Мы все лжецы, но ты сделал ложь своей профессией. Ага, из любви к истине! Я вру ибо хочу правды! Хочу предупредить! Пророк и мессия! Дельфийский оракул! Да и кто сейчас читает книги? Ты сам уже почти перестал читать — когда ты последний раз был в книжном? Книги! Да что там книги — ты сам-то кому-нибудь нужен? Понимаю — жестокий вопрос. Но если не теперь, то когда? Вот сейчас, буквально через минуту, ты уйдешь на дно, и ведь ничего — слышишь, ни-че-го! — ровным счетом ничего в этом проклятом мире не изменится!

Лягушка выдала трель и замолкла, точно решила подслушать. Нет, это просто вода залилась в уши, и теперь кваканье доносилось, как от соседей за стеной. Ватная тишина — она напоминала прихожую, тебя выпустили, захлопнули дверь, и из-за твоей спины еще доносится слабый уличный гомон, но сейчас откроется другая дверь — главная. Ты сделаешь шаг... И как же прав был Гамлет, что только страх, лишь страх один удерживает нас... Да, кстати! А ведь я забыл спросить у Евы, как обозначить то желание — последнее, главное, — в голове же постоянно толпится армия глупостей — то пить хочется, то есть, то жарко тебе, то душно. Ведь так можно случайно захотеть какой-нибудь ерунды — ну лимонада со льдом, например, в знойный полдень, и ненароком, на какую-нибудь чушь это самое заветное желание и...

Плавню слетел кленовый лист. Слишком плавно для обычного кленового листа и явно нарушая законы тяготения, он медленно проплыл прямо надо мной. Ярко-красный, этот лист словно отклеился с канадского флага. Какой безнадежный, какой осенний цвет. Если бы высший суд приговор выносил цветом, то смертный приговор непременно был бы красным. В форме кленового листа.

19

Утонуть оказалось не так просто. В последний момент что-то сработало, какой-то инстинкт скорее всего. Икая, кашляя и сморкаясь одновременно, я выполз на карачках на мелководе и упал лицом в ирисы. Меня вырвало озерной водой и горькой слизью. Гортань саднило, точно я разжевал и проглотил стеклянный стакан. Прямо над ухом радостно застрекотал кузнечик, у нас они крупные и голосистые, что цикады.

Онемевшее тело постепенно приходило в себя, и меня начал колотить озноб. Я попытался встать. Сделал несколько попыток, берег пруда дыбился и качался, как палуба. Наконец удалось. Мокрая одежда, тяжелая и ледяная, липла к телу, на негнувшихся ногах я заковылял к дому. Оттуда доносился тихий скрип, он повторялся снова и снова, будто кто-то без конца открывал и закрывал старую дверь. Нет, должно быть, птица. Зубы мелко клацали, звук этот отдавался в мозгу и мешал думать. Перед сараем стояла машина, новенький трехдверный «форд» с вашингтонскими номерами. Скрип оборвался. Я остановился.

— Вера... — прошептал, улыбаясь, и пошел к крыльцу.

Она сидела на веранде в кресле-качалке и разглядывала меня с любопытством, точно не до конца узнавая. Я выпрямился и попытался придать походке неспешную грацию непринужденности.

— Ты... — она привстала, по лицу пробежала гамма эмоций от удивления до испуга. — Ты...

— Да. Пруд, — подсказал я, неопределенно махнув в сторону водоема. — Вода. Промок немного.

Вера медленно подошла, подкралась, точно боясь испугнуть — меня? Себя? Что-то незримое между нами? Взяла мою руку в свою, теплую, почти горячую. Приблизила лицо, вглядываясь в глаза. Она — высокая, Вера, почти одного роста со мной. От нее пахло кофе и еще чем-то вкусным, кажется, корицей.

— Ты одичал.

Я кивнул.

— У тебя лисы по кухне гуляют.

— Это знакомая лиса.

— Я ее отпустила в лес.

— Ничего. Потом вернется.

— Одичал... — Вера покачала головой. — Тебя нельзя оставлять одного.

Она обняла меня и крепко прижалась. Мокрый насквозь, с клацающими зубами, я стоял и улыбался, как дурак.

— Промокнешь... — пробормотал я. — Ты в ту пекарню заезжала, у заправки? Где булочки эти... с корицей...

— Да, горячие, — тихо, будто выдавая секрет, проговорила она мне в ухо. — Из печки прямо. Пойдем.

А после я лежал в ванне, в горячей воде, почти кипятке, и ел булку. Булка не успела остыть и была еще теплой, корица сыпалась в воду и плавала островками коричневой пылицы. Я не помню, чтоб получал такое наслаждение от незатейливой комбинации тепла и пищи. В приоткрытую дверь мне был виден потолок кухни, по сосновым балкам бродили огненные пятна. Вера вставала, гремела кочергой, и тогда на потолке вспыхивали рыжие зарницы. Иногда она что-то говорила — негромко, наверное, беседовала с огнем. Саму Веру я не видел, лишь величавую тень, что вырастала вроде тени отца Датского принца в первом акте трагедии. Я жевал булку и снова улыбался как дурак. Все было хорошо, все было просто здорово.

Я не стал ее спрашивать, почему она решила вернуться. Наверное, боялся услышать правду. Тут нужно соблюдать предельную осторожность. Я не защищаю ложь, даже ложь во спасение, по мне любое вранье порочно в своей сути. Просто иногда неведение представляется мне благом.

Мы лежали в темноте, лежали молча, но я знал, что Вера не спит.

— Жарко... — ее горячие губы щекоотно коснулись моего уха.

Я встал, распахнул окно. Обомлел, хоть и видел эту бездну звезд не в первый раз. Холодная ночь степенно втекла в спальню, я поднялся на цыпочки и вдохнул изо всех сил. Пахло дождем, мокрой травой, сосновыми иголками. И чем-то еще — такой свежий, такой знакомый запах. Невидимая река что-то сонно бормотала, изредка доносился крепкий стук упавшего яблока. Ковш Медведицы удобно расположился в треугольном вырезе черного леса. Если набраться терпения и пристально смотреть вверх, то можно заметить, как звездное небо плывет над землей. Движение это едва заметно, и тут нужно завидное терпение. Я поежился и, тихо ступая, вернулся в тепло.

— Осенью пахнет, — Вера повернулась на бок и прижалась щекой к моему плечу. — Яблоками.

Я лежал не шевелясь. Вера уже спала. Она уютным теплом дышала мне в ключицу. Мыслей не было, кажется, я улыбался. Было на удивление спокойно и хорошо. Я просто лежал и слушал, как в холодной темноте падают яблоки.

Кровать чуть качнулась и отчалила. Отчалила и легко заскользила в сторону

восхода. На горизонте проступило перламутровое сияние, там просыпалось солнце. Перламутр растекся и превратился в ртуть. Я дотянулся до весла и, встав на колени, начал грести. Рукоять весла, отполированная до теплого блеска, ладно сидела в ладони. Греб мерно — справа, слева. Справа, слева. Уверенные движения, без плеска, без брызг — еще бы! — ведь я был мускулистым гавайцем с шоколадным загаром и гирляндой цветов на шее. Из-за горизонта кто-то выдохнул розовым — нежно, так дышат на зеркало, — и тут же персиковая благодать растеклась ввысь, на полнеба. Море, безупречно гладкое, стало лазоревым. Вдруг кто-то качнул лодку — что за черт! Кто там — акула? Кит? Или сдуру налетел на риф? Еще раз! Еще!

Гавайский рай померк, я проснулся. Вера трясла меня за плечо. На полпути к реальности я уже понял, что случилась беда. Растерянной Вера бывает редко, бывает сердитой или серьезной, саркастичной или хмурой. Бывает злой, чертовски злой.

— Олень... — она неуверенно показала в сторону окна. — Что-то надо делать...

Я не сразу понял, что там происходит. На опушке, у самого леса, я увидел оленя. Мне показалось, что у него перебиты передние ноги: зверь мучительно пытался встать, но снова и снова падал. Движения напоминали конвульсии.

— Что... — пробормотал я. — Что с ним?

Олень дернулся и опять уткнулся головой в траву. Верины ногти впились мне в запястье.

— Проволока. Там проволока.

Олень запутался в колючей проволоке. Нашей колючей проволоке, которую я собирался убрать все три года. Олень попытался встать и упал снова.

Босиком, на ходу натягивая джинсы, я побежал в кладовку. На верхней полке, за пыльной коробкой с елочными игрушками, нашел холщовую сумку с инструментами. Вывалил все на пол. Среди отверток, гаечных ключей, беспризорных шурупов, гвоздей россыпью и прочего слесарного хлама нашел кусачки.

Процесс представлялся просто: поглаживая зверя по шелковистой шее и успокаивая ласковыми словами, нужно перекусить ржавую проволоку в нескольких местах — и все. И все?

Увидев меня, олень испуганно рванулся. Проволока впилась в горло, потекла кровь. Истоптанная трава уже была вся в красных кляксах. Я поднял руки, точно сдаваясь.

— Тихо-тихо... — шепотом проговорил я, зачем-то показывая оленю кусачки. — Вот — смотри. И не надо нервничать... Мы сейчас эту...

Зверь скосил на меня безумный глаз. Шарахнулся в сторону и снова упал. Осторожно ступая, я подошел ближе. Проволока стягивала грудь и передние ноги, из рваных царапин на животе и шее текла кровь.

— Ну как же ты так... — выставив кусачки, я почти дотянулся до проволоки. — Вот мы сейчас...

Олень захрипел и попытался лягнуть меня. Я отскочил, олень снова упал.

— Так дело не пойдет, — пробормотал я. — Лягаться не надо. Лягаться нехорошо...

Олень вытянул шею, снова захрипел.

— Он по-русски не понимает, — Вера неслышно подошла, она стояла за моей спиной. — Его надо усыпить.

— Точно! — я повернулся. — Как же я не догадался! Принеси мне пожалуйста мой арбалет и стрелы с наконечниками, смазанными снотворным зельем.

— Я серьезно.

— Вера!

— Не ори.

— Я не ору. Просто громко выражаю свои эмоции. Мы в глуши, в Вермонте! Лес! Дикий лес! Это ж тебе не канал «Дискавери»! Программа «В мире животных»! Глушь и дичь! Тут даже мобильной связи нет! Компьютер еле пашет. Телефон на проводе — девятнадцатый век!

— Должна быть какая-то служба. Не может не быть. Как в Вашингтоне или Нью-Йорке — «Контроль за животными».

— Вера! — взмолился я. — Какой контроль?! Тут из власти — один шериф на всю округу!

— Вот ему и позвоним!

Я смолчал, шумно выдохнул и отвернулся. Может, она и права. Все мои старания только напугали зверя, и он запутался еще туже. Я сжал бесполезные кусачки, пару раз клацнул в воздухе. Олень снова дернулся.

— Прости-прости... — я сунул кусачки в задний кармана. — Видишь — нету.

Выставил пустые ладони. Олень лежал на боку, вывернув голову, смотрел на меня одним глазом. От этого взгляда хотелось удавиться. Я и представить не мог, что во взгляде зверя может быть такая концентрация ужаса. Вот он — животный ужас в чистом виде. Смесь беспомощности, безумия и страха. Такие глаза, должно быть, у них на бойне. Стараясь не делать резких движений, я опустил на корточки. Карий глаз следил за мной неотрывно.

— Прости, видишь, какая беда приключилась, — я говорил ласково, тихо, как говорят с насмерть перепуганным ребенком. — Мы что-нибудь придумаем, как-нибудь тебя выручим... Ты, главное, не дергайся, видишь, как эти чертовы колючки тебя исполосовали... В кровь исполосовали.

Ярко-алые струйки стекали аккуратными полосками по боку. Как ленточки — так наивные художники Средневековья изображали кровь в сюжетах распятия и страстей. Малиновые капли идеальной формы блестели на мокрой траве, как рассыпанные бусы. Зеленый цвет является дополнительным к красному, находясь рядом, они создают максимальный контраст. А если их смешать на палитре, то получится серый. Цвет исчезнет — одна краска убьет другую. Но, может, те средневековые художники не были так наивны, как нам это представляется? Может, это мы движемся не в ту сторону? Ведь суть искусства не в копировании мира, а в создании своей — новой — вселенной. Пусть это всего лишь раскрашенная доска с тремя ангелами и одной чашей посередине.

Донесся шум мотора. Потом хлопнула дверь, я услышал голоса. Верин и мужской, хозяйский баритон, уверенный и обстоятельный. Я обернулся: через залитую солнцем поляну в мою сторону шагал шериф — шляпа, звезда, сапоги, я видел его мельком пару раз раньше — на дороге и в продуктовом. Он стоял за мной в кассу и держал в руках гигантский арбуз. Я еще пошутил насчет торговых отношений с Чернобылем. Он не понял, но засмеялся. У него был золотой зуб — передний. Единственный золотой зуб, который я видел во рту белого человека за всю мою жизнь в Америке.

Олень испуганно всхрипнул, совсем как лошадь, — он тоже заметил шерифа. Вера шла следом, прямая, крепко скрестив руки на груди, точно она продрогла. Только сейчас я обратил внимание, как она похудела. Вернее, заметил еще вчера, но то было в темноте и наощупь. Шериф молча приложил два пальца к шляпе, я кивнул в ответ. Мне всегда хотелось иметь именно такую шляпу — белый «стетсон» с

широкими, чуть загнутыми полями; я даже как-то примерял такую в магазине — там торговали ковбойскими аксессуарами — сапогами с хищными носами из крокодила, кожаными жилетами, ремнями с литыми бронзовыми пряжками и, разумеется, шляпами. Продавщица ахала — вылитый Пол Ньюмен, Вера уклончиво молчала, но я мельком заметил в зеркале ее лицо. Короче, шляпы у меня нет, что, пожалуй, к лучшему: вряд ли у меня хватило бы духу показаться в таком виде на людях.

Шериф присел на корточки рядом. Крякнув, скрипнув кожей португези и хрустнув коленными суставами. Ему было сильно за пятьдесят — крепкий мужик, загорелый, с большими, точно клешни, руками, наверняка охотник и рыболов, как пить дать суровый отец и строгий муж (но, несомненно, добрый дед), его уже лет двенадцать местные выбирают шерифом. Тут, в Вермонте, шерифа выбирают прямым голосованием сроком на четыре года. Меня поначалу забавляла подростковая наивность американцев в выборах — руководствоваться главным образом внешними данными кандидата. Со временем, однако, пришлось признать правоту такого подхода: ну посудите сами, ведь не может быть какой-нибудь очкастый ханурик дельным шерифом. Безусловно, бывают исключения, но они-то как раз и подтверждают правило.

Вера продолжала стискивать себя руками, она стояла чуть поодаль и, болезненно морщась, смотрела на оленя. Шериф тоже его разглядывал, но без особых эмоций.

— Пятилеток, — поднимаясь, сказал. — Хороший зверь.

— Мы думали, усыпить... — я тоже встал. — И...

Шериф оглянулся на Веру, что-то буркнув, отстранил меня рукой, как бы отодвигая в сторону. Расстегнул кобуру и достал пистолет — я как замороженный глядел на его вороненый армейский кольт седьмого калибра. Шериф шелкнул предохранителем, поднял руку и выстрелил. Я машинально повернулся к оленю. Пуля попала в лоб. В самом центре белого ромба чернела круглая дырка. Крови не было. Просто черная дырка. Звон от выстрела вернулся эхом, пахло порохом. Так пахнут новогодние хлопушки, кисло и горько. От этого дыма жуткий кашель.

— Разделить сможете? — шериф застегнул кобуру. — Или прислать кого?

Потом приехали какие-то люди, громкие и бородатые, на грузовике с мятым бампером. Мы ушли в дом. Вера сидела как каменная и неотрывно смотрела в огонь. Иногда вставала, подкладывала полено и снова опускалась в кресло. Снова стискивала себя до белых костяшек. Я блуждал по комнатам, изредка заглядывал в окно — мельком и против своей воли, будто за стеклом открывался вид в преисподнюю.

Мужики ловко разделались с проволокой, они курили и смеялись, после закинули оленя в кузов. Вера вздрогнула, этот звук мертвого тела о жечь мне вряд ли удастся так просто выкинуть из памяти. Я подошел к креслу, положил руки Вере на плечи. Огонь полыхал всюду, внутри расцветали пламенные пейзажи; рождались, наливаясь жаром, замки и башни, подвесные мосты, сияющие анфилады и пунцовые сады, а через минуту, с такой же легкостью все это рушилось и исчезало. Мимолетное чудо. Бескорыстная и никому не нужная красота.

— Чудо...

Вера произнесла невнятно, точно во сне. Не оборачиваясь, будто говорила сама с собой. Я молча смотрел в огонь. Она продолжила тем же ровным голосом:

— Даже простую белку увидеть — такая радость. А если оленя, то у меня на целый день настроение особенное...

Я застыл. Мурашки поползли по спине. А Вера тихо закончила:

— Словно маленькое счастье снизошло.

20

Мои отношения с правдой весьма запутаны — вроде отношений между супругами, которые несколько лет жили вместе, потом развелись, а после сошлись снова. И не просто сошлись, а поженились еще раз. Наверняка у тебя тоже есть в знакомых такие.

С правдой нужно обращаться осторожно. Как с опасной бритвой — сравнение банально, к тому же такими бритвами никто уже давно не пользуется, но от этого бритвенная сталь не становится менее острой. Может, именно острота стали и пугает нынешних мужчин; они ведь такие нежные, такие ласковые — ну просто лапочки.

Ради правды я готов пожертвовать многим — даже правдой. Она, моя правда, похожа на разбитое зеркало, где отражение мира истинно, но расчленено на фрагменты, вроде осыпавшейся на пол мозаики — вот ультрамариновый кусок неизвестного моря, вот чей-то глаз — карий и, скорее всего, девичий. Ага, а вот черный, как сажа, осколок безлунной ночи, а, может, это — тайный грех и, вполне возможно, что именно твой. Или мой.

Хочу сделать тебе подарок, предупрежу сразу — я его украл. Существуют вещи, без которых человеку живется худо — знаю по себе; и мой подарок — одна из таких жизненно важных вещей. Это — осколок давнишнего лета, фрагмент из девяноста дней, закрученных лентой Мёбиуса и потому бесконечных. Там нет начала и нет конца, смотреть это кино можно с любого эпизода. От этого удовольствие не становится меньше.

Это лето — особенное, это последнее лето твоего детства. Тут краски яркие, сочные и живые, это тебе не худосочная акварель — это живопись. Кадмий, стронций и лазурь. Никаких охр и умбр, выбрось свой коричневый марс к чертям собачьим. Цвет открытый, цвет дышит. Палитра — как у чокнутого Ван Гога, а не у какого-нибудь прусского меланхолика вроде Фридриха.

Это лето громогласное, никаких шепотков, оно орет во все глотку. Горланит, вроде четверки деревенских девок, румяных, подвыпивших, которым сам черт не брат. Шагают, взявшись за руки по полевой траве, по василькам. Отчаянно поют, красиво, но слов не разобрать. Похоже, про любовь.

А как оно пахнет, то лето! Никогда больше не будет такого духа у печеной на костре картошки, натеренной с соседских огородов. А уха на берегу закатного озера — вот это аромат! Как бы ты ни стал богат и знаменит, ни один ресторан мира не сможет предложить такого божественного яства из уклеек и пескарей. Не забудь и про кислую оскомину от яблок из колхозного сада, яблоки — чуть крупнее гороха, зеленые — вырви глаз, но добытые с риском для жизни и потому вкусней всех «джонатанов» на свете.

Оно, это лето, набито под завязку теплым ветром, что пахнет скошенной травой, гомоном утренних дроздов и звоном полуденных стрекоз, узорами бабочек, щекотным бегом божьей коровки по загорелой руке, брызгами до небес от прыжка с ивы — ведь она так склонилась над рекой специально для тебя. Раз-два-три! — и ты летишь вниз с невероятной выси, летишь почти вечно. И футбол до белых кругов в глазах, до потери сознания, когда после игры ты просто падаешь в траву, падаешь навзничь и раскинув руки, точно солдат, сраженный пулей снайпера. И гонки на великах сквозь лес — тропа виляет, сосновые корни питонами переползают твой путь, но ты мчишь со скоростью света. Ты — болид, метеор, кеды развязались, и шнурки

летят за тобой, как след от неистой кометы. Вот только жаль, что нет представителей из Книги Гиннеса, чтоб зарегистрировать новый мировой рекорд.

У тебя два друга, в их жилах течет кровь гордых индейцев, они храбрее королевских мушкетеров и благородней рыцарей Круглого Стола. Втроем вы каждый день спасаете человечество от страшных бед — вы останавливаете небывалое цунами и поток кипящей лавы из проснувшегося вулкана, разоружаете злодеев мирового масштаба, сражаетесь с пришельцами из других галактик и спасаете города от нашествия мертвецов. Фантазии ваши в миллион раз живей того, что взрослые именуют реальностью. Ваши крепости и замки, фрегаты и космические станции сотканы из тумана, но туман тем летом прочней кирпича, из которого построены школы, тюрьмы и казармы. Ваш союз, разумеется, тайный, туда не принимают не только плаксивых девчонок, но и вообще никого. Ну, может, за исключением Виннету или Робин Гуда. Тайные знаки союза выжжены солнцем на груди — это молния, звезда и стрела. На твоей груди — молния. Тот зигзаг ты аккуратно вырезал из пластыря, а после терпеливо лежал под солнцем — весь день и почти не шевелясь. До сгоревшего живота и облупившегося носа.

Сосновый бор, и березовая роща, и река, и заброшенное кладбище на окраине за огородами — все принадлежит только вам. Суть вещей и смысл жизни постигаются опытным путем. Лес оказывается не суммой деревьев, а ловкой иллюзией, сплетенной из изумрудных теней и солнечных пятен. И лесная тишина — сплошной обман, составленный из тысячи шорохов, шелестов и шепотов. На коре старой сосны можно разобрать магические символы, поняв их, ты станешь невидимкой или сможешь летать, как птица.

И когда костер превращается в грудку рубинов, а фиолетовый лес неслышно подкрадывается вплотную и дышит холодом в спину, наступает время страшных историй. Упоительных до мурашек. Жутких, как заклинания колдуна, зловещих, как заговор шамана.

— Черная Рука идет по твоей улице, — могильный голос звучит тихо. — Черная Рука заходит в твой подъезд. Черная Рука поднимается по лестнице. Черная Рука перед твоей дверью...

И ты понимаешь, что нет сил закрыть замок, нет воли даже пошевелиться. Ты — жертвенный агнец и спасенья нет.

Это лето — особенное, это последнее лето детства. Ты даже не подозреваешь, что ждет тебя после. Там, дальше, в неотвратимо надвигающейся взрослой жизни. Ты просто об этом не думаешь, тебе невдомек, что у слов «смелость», «дружба», «честность» может быть очень горький привкус. И что мудрость — ею так гордятся взрослые — больше похожа на мешок с острыми камнями, который тебе придется тащить на своем горбу до самого конца. Ты еще не знаешь, каким тусклым может стать синий цвет, и что зеленый с желтым — это не цвет июньского луга в одуванчиках, а окрас бортовой брони. Ты не понимаешь смысла слова «тоска», и тебе наплевать, почему уныние включено в список смертных грехов между прелюбодеянием и обжорством.

Это твое последнее лето, и поэтому запомни его как следует. В мелочах и деталях, со звуками и запахами. Впоследствии эта память тебе очень пригодится. Возможно, она даже спасет твою жизнь. Вернее, то, что ты, вопреки здравому смыслу, упрямо продолжаешь называть жизнью.

Евгения Бильченко

Друг мой рай

Второе рождение

Содрав метафор путаный моток,
Котёнок звука ластится к ладоням.
И лёгок слог,
Как пламенный мотор,
Как след когтей на морде лабрадора.

Укрывшись под трусливым: «Я шучу», —
Текут стихи сквозь ранки и подрамки.
И лёгок слог,
Как маленький Шевчук,
Когда пешком под стол ходил на танке.

Любовь саднит нежнее, чем беда,
Банальнее, чем фото в инстаграме.
И лёгок слог,
Как вещая гряда
Балтийских сосен с гнутыми хребтами.

Нескучный сад: старинная краса.
Чужой смартфон с заставкой из петуний.
И лёгок слог,
Как жалкая попса
О Ларочке на лавочке с Патулей.

Я помню их: святые лики сёл
Над чёрной бойней Запада с Востоком.
И лёгок слог,
Как писанное в стол,
Непойманное таинство восторга.

Не взят блокпост. Не установлен флаг.
И больно так, что хочется смеяться.
И лёгок слог,
Как поздний Пастернак:
Смертельная божественная ясность.

19 сентября 2017 г.

Сестра

Я праздную тризну, мешая с молитвами маты.
Как чёрная слива, безмолвием зреет округа.
Сегодня они полюбовно убили друг друга —

Два брата.

Я помню немного: как первому шила тужурку,
Как ткала второму кристальные чистые строки.
Славянская осень, не стой у меня на пороге:

Тут жутко.

И ночь мельтешит, заикается, кается зябким
Кислотным дождём, талой водкой, столовским компотом.
И падают листья калин и берёз на капоты

Хозяев.

Наутро я снова останусь и снова уеду,
Рывком застегнув штормовик на последние буквы...
А некий заучка напишет на стенке фейсбука:

«Победа!».

22 сентября 2017 г.

Дитя революции

Забившись в парку, озверев от рэпа,
Студентом без диплома и жилья,
Я продираюсь сквозь твоё отребье,
Карательная Родина моя.

Сквозь честный русский спирт,
Заморский пафос,
Сквозь дядечек, упавших мордой в Лувр,
На всякий случай лермонтовский парус
В газетку из-под рыбы завернув.

Старушечьей культёю пахнет обувь.
Игрушечной свободой дышит блог.
Ночами мне всё чаще снится обыск:
Искали Бога в письмах между строк.

Растяжкой трассы больно делятся сосны:
Им финская граница — визави.
В глубины личной Вологды я сослан
Бердяевским архангелом любви.

Попытка бунта, банта и лица —
Вчерашний сон, младенческая грязь...

Монарший мальчик, сняв меня с прицела,
В острог мне носит курево, смеясь.

28 сентября 2017 г.

Ближний

Вот такое хулиганское счастье:
Мамка-воля без восстаний и драк.
Я не знаю, как к тебе достучаться,
Друг мой грохот, друг мой гроб,
Друг мой враг.

Утрамбованы взаимным демаршем
Наши пули в капитальной горсти.
Я не знаю, как тебя одомашнить,
Друг мой ветер, друг мой лес,
Друг мой стих.

Что ещё тебе о смерти поведать,
Если ты о ней так много молчишь?
Говорю с тобою рифмой по венам,
Друг мой песня, друг мой стон,
Друг мой тишь.

Киммерийцы, печенег, хазары —
Все позарятся на наш каравай:
Ведь родимся мы с тобой только завтра,
Друг мой память, друг мой ад,
Друг мой рай.

13 октября 2017 г.

Праздник

Ты выходишь из Лавры, в лекцию слив слова.
Догрызаешь вкусняшки, скрытые в рукавах.
Устилая твой шаг, пружинит листва-трава.
Смотришь в небо. Оно — яснее, чем дважды два.
Козинаками пахнет жёлтая Покрова.

Ты выходишь из Лавры. Куришь по две-по три.
Бог смеётся: “Болван, о чём с тобой говорить?
Ты скулишь Ему: “Батя, пачечка — от зари
До зари, а потом я брошу, давай пари?”
Во сыром молоке барочный ковчег парит.

Ты выходишь из Лавры. Смотришь на мир вокруг,
Затолкав под пальто предательский громкий стук.
Ты спокоен. Ты — просто статуя. Ты без рук.
Твоё сердце давно не помнит, кто враг, кто друг.
Ты проходишь сквозь группы в хаки.
Твой шаг упруг.

13 октября 2017 г.

Вертинский

Что не стало Вальгаллою, будет Ладоею.
Над каналами рдеет листва патлатая.
Мы идём по Неве.
Мы почти подлатаны.
Нам внушил гуманизм экстремист из латекса.
Наши пальцы, голубушка, пахнут ладаном.

Как солдатский сухарь, разломали поровну
Бесноватую землю над чёрной прорубью.
Из барочных глазниц вытекают вороны
И чернильным портвейном плывут по городу.
Наши пальцы, голубушка, пахнут порохом.

Наигрались, намучались, набесились:
Позвоночник ломается от бессилия.
Разодрали ножом одеяло синее,
Разобрали на башенки храм Василия.
Наши пальцы, голубушка, пахнут силосом.

Эти запахи... Кухни, сортиры, ландыши.
Нафталин из парадной.
Кольцо из платины.
Ни черта не сбывается. Бог — расплатою.
Одноногие ходят дружить палатами.
Наши пальцы, голубушка, пахнут ладаном.

11—14 ноября 2017 г.

Владимир Березин

Расцвет жизненных сил

Из будущей книги

Человек этот маленький, да знает его всякий. В своем отечестве он не пророк — а в нашем не хуже иного дождя. В нашей стороне он хорошо известен — прожорлив да летуч, приходит неожиданно и исчезает, когда его хотят удержать. Воображаемый друг с невоображаемым убежищем на крыше.

Без него нам никуда не деться — он наш общинный герой, тотемный летающий объект.

Он порождает сюжеты не по своей воле — как Гамлет и Одиссей.

Он — в полном расцвете жизненных сил.

Комендантская дочка

Дают — бери, а бьют — беги.

Пословица

Глава I

Ефрейтор гвардии

Детство мое было самое обыкновенное.

*Князь Сергей Потёмкин. «Мемуар
об преобразовании России в царст-
вовании ЕИВ Александра II»*

Отец Малыша служил еще в те времена, когда у нас привечали любые иностранные фамилии. Тогда еще Пётр поднял кубок за шведских генералов, кои его, нашего Государя, научили воевать, а он их, де, отучит. Говорили, что один из плененных шведов и был основателем рода русских Свантессонов — так это или не так, не нам судить. Но старый Свантессон учил-учил русских да и вышел в отставку премьер-майором, женился и погрузился в провинциальную жизнь.

Малыш был записан в Семёновский полк еще в утробе матери, но в столицу не попал, так как отец застал его за изготовлением летучего змея из географической карты. Непонятно, что его разозлило более — то, что Малыш приделал хвост змея

Березин Владимир Сергеевич родился в 1966 году в Москве. Окончил физический факультет МГУ и Литературный институт им. А.М.Горького. Прозаик, критик. Автор нескольких книг прозы и биографических исследований. Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь» и др. Лауреат многих литературных премий. Живет в Москве.

прямоком к их бывшей родине, куда-то к Стокгольму, или же то, что Малыш из всех наук более понимал в свойствах борзого кобеля.

Столица в мыслях отца сменилась опасным Кавказом, а мусью, что учил Малыша площадному французскому языку, был прогнан. Однако это даже пошло на пользу Малышу, который еще не понимал, что слово *merde* — едва ли артикль в чужой речи.

Впрочем, мусью был не промах и на лужайке перед домом часто плясал с Малышом боевую пляску, размахивая саблей. Так и раздавалось:

— Ан-гард! Атанде! Я сказал: «Атанде-с»!

Ничего не подозревающий о своей судьбе Малыш смотрел, как его матушка варит медовое варенье, и облизывался на кипучие пенки. Он думал о том, как хорошо было бы жениться, а об учебе вовсе не думал.

Старый Свантессон сидел у окна и читал Придворный календарь, ежегодно им получаемый. Эту книгу он использовал и как рвотное, и как слабительное. Чужие награды и назначения чрезвычайно волновали его, но на сей раз он вскочил с кресла со страшным криком «Пора!».

«Пора!» — отозвалось в барском парке.

«Пора!» — и стая грачей с криками покинула обжитое было дерево.

«Пора!» — и крестьяне замерли в том положении, как если бы их спросили, отчего они не пользуются носовым платком.

Матушка Малыша уронила ложку в тазик с вареньем, оттого что поняла сразу: батюшка решил отдать Малыша в службу. Разлука вошла в их дом, топая страшными ямщицкими сапогами, следя талым снегом в комнатах.

Слово «Кавказ» тогда было чем-то страшным и одновременно притягательным. «Кавказ-з-з-з», — зудели барышни на балах, завидя молодого военного со шрамом, кавказские асессоры считались выгодной партией, на «Кавказе» деньги сами росли из земли, и туда полагалось ехать в случае несчастливой любви или карточного долга.

Но в душе юноши все было наоборот, ведь все блестящие надежды Малыша на жизнь в столице рушились! Вместо веселой петербургской жизни ожидала его скука в стороне глухой и отдаленной. Служба, о которой за минуту думал он с таким восторгом, показалась ему тяжким несчастьем. Но спорить было нечего.

На другой день поутру подвезена была к крыльцу дорожная кибитка, уложили в нее чемодан, погребец с чайным прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками домашнего баловства.

Родители благословили отпрыска. Старый Свантессон сказал: «Прощай, Малыш. Служи верно, кому присягнешь, слушайся начальников, за их лаской не гоняйся, на службу не напрашивайся, от службы не отпрашивайся; береги честь мундира». На Малыша надели заячий тулуп, а сверху лисью шубу. Поверх его спеленутого тела дядька Петрович запахнул медвежью полостью. Они тронулись в путь и ехали всю зиму.

Наконец, потеплело.

Кругом бушевала весна.

Когда кибитка достигла казачьих мест, Малыш вдруг увидел, как прекрасны женщины этого племени.

И то верно — праотец Иегуда ехал жарким днем на осле и заприметил по пути женщину с открытым коленом. Он захотел освежиться, и вошел к ней, и познал ее, а то, что женщина оказалась Тамарью, его невесткой, было случайностью. Таков, вероятно, был обычай всех путешественников, включая Малыша, ведь даже апостолам полагалось брать с собой от селения до селения девицу, причем о назначении девиц евангелист попросту ничего не говорит.

Радостно было юноше почувствовать под ногами не бледную пыль дороги, а синюю траву, примятую босыми ногами, распрямиться и вдруг понять, что вкусней всего — молоко с черным хлебом, нужней всего — самый крохотный угол на земле, пускай чужой, с этим помириться можно, сильнее всего — женщина, молодая, молчаливая.

Глава II

Полупроводник

В путь! В путь! Душа моя пела —
я ехал навстречу любви и славе.

Иван Баранцевич

Но не все дорожные размышления Малыша были приятны. Безотрадный вид степи от Черкаска до Ставрополя опечалил его. И немудрено — ведь он попал в географию императора Александра, как лик, уныние наводящий.

Император Павел сослал одного офицера в Сибирь за лик, уныние наводящий. Приказом императора лик был перенесен в Сибирь, откуда уныние его не было видно.

Император не мог править людьми с ликами, наводящими уныние. И нельзя весело править степями, вид которых безотраден. Каждая победа замрет в безветренной тысячеверстной тарелке.

Где-то текла холодная, свежая река. Там купаются, работают, там пасут стада. Здесь же — дикое поле, глотающее без возврата колья, черенки, брички и путешественников, глотающих пыльный воздух.

Обыкновенно жизнь числят по оседлым местопребываниям. Но стоит покатиться по дикому полю, и счет начинается другой: оседлости кажутся промежутками, не более.

Опытные путешественники советуют не брать с собою в такое путешествие более одной мысли, и то самой второстепенной. Путь не всегда избирается по своему желанию, но всегда расчислен по таблице под особым номером в собственно до него относящейся части — и это настоящее спасение. Самый бессмысленный подневольный путь, например путь арестанта, имеет свой номер и свою часть.

В Ставрополе, на дальней черте кругозора, путешественникам стали видны небольшие белые облака.

То были горы.

Дядька Петрович был запылен, ошарашен, пришиблен дорогою, даже понурая спина его была сердита. Малыш то и дело вытаскивал походную чернильницу и принимался записывать, обдумывать, покусывать перо. По дороге они с Петровичем успели поссориться несколько раз, ни разу при том не помирившись.

Наконец они достигли Екатеринограда. Здесь начинались оказия и конвой — далее дорога до Владикавказа была через Кабарду. Там они и сидели, на горах, люди со слишком прямой походкой, в темно-серых, почти монашеских хламидах — чекменях с газырями на ребрах.

А здесь была духота, пыль. Как брошенная старуха, стояла розовая, облупившаяся храмина: дворец графа Потёмкина. Сюда он сзывал ханов и беков, здесь он напаивал их дорогими винами и одаривал. Хань и беки пили и ели, потом возвращались к себе в горы и молча чистили ружья. Там их сыновья и внуки сидели и по сей день, а дворец был заброшен. Малышу указали место ночевки, откуда Эльбрус и Казбек были видны прекрасно.

Но Петрович уперся, и они остались в душной станционной комнате. Наутро Малыш с Петровичем миновали солдатскую слободку. Загорелая солдатка, подоткнув подол, мыла в корыте ребенка, и ребенок визжал. Толстые ноги солдатки были прохладны, как Эльбрус. Прошли. Солнце садилось. Горы были видны прекрасно. Становилось понятным, отчего у горцев так пряма грудь: их выпрямляло пространство. Направо были стеганные травой холмы, женские округлости холмов были покрыты зеленой ассирийской клинописью трав.

Петрович с тоской смотрел на дорогу, а Малыш смеялся без всякой причины.

Горы присутствовали при его смехе, как тысячи лет уже присутствуют при смехе, плаче, молитвах и ругани многих тысяч людей, при лае собак, при медленном мычании волов, при молчании травы.

Они ехали долго, как вдруг ямщик стал посматривать в сторону и наконец, сняв шапку, оборотился к Малышу: «Барин, не прикажешь ли воротиться?»

— Это зачем?

— Время ненадежно: горцы...

— Что ж за беда!

— А видишь там что? — Ямщик указал кнутом на восток.

Малыш отвечал, что ничего не видит, кроме белой степи да ясного неба.

— А вон-вон: это облачко.

Малыш увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил ему, что облачко предвещает непогоду, а в непогоду только горцы могут ехать. «Да и озоруют они», — прибавил ямщик.

Малыш слышал о тамошних горцах и знал, что целые обозы бывали ими обчищены. Петрович, согласно со мнением ямщика, советовал воротиться. Но ветер показался юноше не силен; Малыш понадеялся добраться заблаговременно до следующей станции и лишь велел ехать скорее.

Ямщик поскакал, но все поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем час от часу становился сильнее. Упал туман. Все исчезло, и они едва остановились на перевале, подле небольшой кучки людей, все как один, с кинжалами на поясе.

«Ну, барин, — закричал ямщик, — беда: горцы!»

Малыш выглянул из кибитки: все было ужасно. Кибитку окружили странные люди.

«Что же ты не едешь?» — спросил Малыш ямщика с нетерпением. «Да что ехать? — отвечал он, слезая с облучка. — Конец!» Ямщик был прав. Делать было нечего — конец. Конец был повсюду и ясно читался на лицах басурманов, заповивших дорогу. Вдруг прямо рядом с ямщиком возникла из недружелюбной толпы какая-то странная фигура. «Гей, добрый человек! — закричал ему ямщик. — Скажи, не знаешь ли, как нам выбраться? Возьмешься ли ты довести до ночлега?»

— Не гей, но это легко, — отвечал дорожный человек в косматой шапке. — Не бойтесь.

Его хладнокровие ободрило Малыша, уж решился, предав себя божией воле, готовиться к худшему, как вдруг человек сел проворно на облучок и сказал ямщику: «Ну, поезжай — во имя Аллаха, милостивого и милосердного!»

Тут ослабевшему от переживаний Малышу приснился сон, которого никогда не мог он позабыть и в котором потом видел нечто пророческое, когда соотносил с ним странные обстоятельства его жизни. Читатель извинит меня, ибо вероятно знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к предрассудкам.

Малыш находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония. Малышу казалось, что он еще не избежал опасности, но вдруг очутился в родной усадьбе. Откуда-то он знал, что папенька при смерти, но только открыв дверь, понял, что папеньку уж похоронили и он попал на поминки. Причем в их барский дом вместо соседей набилось всякое зверье — и полужуравль, и полукот, ярмарочный карлик-клоун, сделавший себе бумажный хвост из злополучного его, Малыша, змея, человек в костюме скелета и — в центре стола — их провожатый.

Тут явилась прекрасная барышня со своими родителями — видимо, знакомые папеньки из Петербурга. Гости затравленно озирались и хотели было уйти. Человеку в косматой шапке это не понравилось. Он вскочил и принялся махать кривой турецкой саблей, вмиг оборотя трапезную в покойничью. После этого он обнял застывшую от ужаса барышню и бережно сложил ее на скамью...

Рассудок Малыша чуть не помутился от такого видения! Но в этот момент они приехали на постоянный двор.

Все было тихо. Мирной татарин свой намаз творил, не подымая глаз.

Петрович внес за Малышом погребец, потребовал огня, чтоб готовить чай, который никогда так не казался Малышу необходим. Хозяин же стал говорить с провожатым на каком-то гортанном горском наречии.

Ничего было понять невозможно, кроме того, что хозяин выказывал гостю всяческое уважение.

Поутру, отправляясь в путь, Малыш решил что-нибудь подарить их попутчику. Зная, что вера не позволяет горцам употреблять вино, он достал из сундука прекрасный нож и вручил его спасителю.

— Помилуй, батюшка! — сказал Петрович. — Зачем ему твой нож? Он его продаст тут же или пуще — кого зарежет!..

— Это, старинушка, уж не твоя печаль, — сказал бродяга. — Твой господин делает мне подарок, его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться.

— Бога ты не боишься, разбойник! — отвечал ему Петрович сердитым голосом. — Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе: свой есть, да еще два — за каждым голенищем, а четвертый — на поясе.

— Прошу не умничать, — сказал Малыш своему дядьке.

— Господи владыко! — только простонал Петрович. — Нож! Дорогой! С перламутром!

Провожатый, впрочем, был весьма доволен подарком. Он проводил Малыша до кибитки и сказал с низким поклоном: «Спасибо, русский господин! Аллах наградит тебя за твою добродетель». Он пошел в свою сторону, а Малыш отправился далее, не обращая внимания на досаду Петровича, и скоро позабыл о вожатом, да и о ноже в перламутровых ножнах.

Вскоре Малыш достиг пункта назначения. Это была крепость под началом коменданта Лиговского, человека худого достатка, но благородного предками и даже, кажется, княжеских кровей.

Глава III

Черногорская крепость

Э, эх, эх, ох, ох, ох
Чёрная галка,
Чистая поляна.
Ты же, Марусенька
Черноброва!
Что же ты не ночуешь дома?

Солдатская песня

Черногорская крепость была небольшой, офицеров служило при ней мало. Вместе с комендантом проживало и его семейство — жена и дочь. Артиллерийской частью заведовал немец Иоганн Карлсон, сразу не понравившийся Петровичу своей развязностью. Малыш, впрочем, с ним сразу подружился, а проиграв ему сто рублей, подружился еще больше.

Комендантская дочь, девушка лет осемнадцати, круглолицая, румяная, со светло-русскими волосами, гладко зачесанными за уши, Малышу с первого взгляда не очень понравилась. Малыш смотрел на нее с предубеждением: Карлсон описал ему княжну Мэри, как все ее тут называли, совершенною дурочкою.

Но потом княжна вошла в его сердце, как говорят у нас пииты, — «нарезом».

Он даже сочинил ей на случай стихи.

Переписав их, Малыш понес тетрадку к Карлсону, который один во всей крепости мог оценить произведения молодого стихотворца. После маленького предисловия вынул Малыш из кармана свою тетрадку и прочел ему следующие стишки:

Ты, узнав мои напасти,
Сжался, Мэри, надо мной,
Зря меня в пределах части,
И что Малыш пленён тобой.

— Как ты это находишь? — спросил Малыш Карлсона, ожидая похвалы. К великой его досаде, Карлсон, обыкновенно снисходительный, решительно объявил, что песня его нехороша.

— Почему так? — спросил Малыш, скрывая досаду.

— Потому, — отвечал он, — что такие стихи достойны лишь Василия Кирилыча Тредьяковского и очень напоминают мне его любовные куплеты.

Тут он взял от него тетрадку и начал немилосердно разбирать каждый стих и каждое слово, издеваясь самым колким образом. Малыш не вытерпел, вырвал из рук его тетрадку и сказал, что уж отроду не покажет больше ему своих сочинений. Карлсон посмеялся и над этой угрозой. «Посмотрим, — сказал он, — сдержишь ли ты свое слово: стихотворцам нужен слушатель, как старому князю графинчик водки перед обедом. А кто эта Мэри, перед которой изысняешься в нежной страсти и в любовной напасти? Уж не княжна? Да и верно, кому еще тут писать».

— Самолюбивый стихотворец и скромный любовник! — продолжал Карлсон, час от часу более раздражая Малыша. — Послушай дружеского совета: коли ты хочешь успеть, то советую действовать не песенками.

— Что это, сударь, значит? Изволь объясниться.

— С охотою. Это значит, что ежели хочешь, чтоб молодая княжна ходила к тебе в сумерки, то вместо нежных стишков подари ей пару серег.

Кровь Малыша закипела. «А почему ты об ней такого мнения?» — спросил он, с трудом удерживая свое негодование.

— А потому, — отвечал Карлсон с адской усмешкою, — что знаю по опыту ее нрав и обычай.

— Ты лжешь, мерзавец! — вскричал Малыш в бешенстве. — Ты лжешь самым бесстыдным образом.

Карлсон переменялся в лице. «Это тебе так не пройдет, — сказал он, стиснув Малышу руку. — Но сперва пошалим».

И они пошалили, а потом опять пошалили, и потом снова, и в итоге Малыш проснулся наутро с больной головой и вкусом медной ручки во рту.

Глава IV Поединок

Дуэли у нас были делом обыденным. Они перемежались дружескими пирушками, да так, что молодые офицеры не всегда знали, обменялись ли они уже выстрелами или же еще нет.

Граф Каменский. «В память турецкой войны 1828 г.»

Прошло несколько недель, и жизнь Малыша в крепости сделалась не только сносною, но даже и приятною. Часто, несмотря на опасность, он путешествовал по окрестностям. Спустился в один из оврагов, называемых на здешнем наречии балками, Малыш как-то остановился, чтоб напоить лошадь; в это время показалась на дороге

шумная кавалькада: несколько дам в черных амазонках и полдюжины офицеров в неполковых костюмах, составляющих смесь кавказского с нижегородским; впереди ехал Карлсон с княжной Мери.

В крепости верили в нападения горцев среди белого дня. Вероятно поэтому Карлсон сверх солдатской шинели повесил шашку и пару пистолетов: он был довольно смешон в этом геройском облачении. Высокий куст закрывал Малыша от них, но сквозь листья его он мог видеть все и отгадать по выражениям лиц, что разговор был сентиментальный. Наконец они приблизились к спуску; Карлсон взял за повод лошадь княжны, и тогда Малыш услышал конец их разговора:

— И вы целую жизнь хотите остаться на Кавказе? — говорила княжна.

— Что для меня Россия! — отвечал ее кавалер. — Страна, где тысячи людей, потому что они богаче меня, будут смотреть на меня с презрением, тогда как здесь — здесь эта толстая шинель не помешала моему знакомству с вами... А ведь я страдал за свободу черни, и не будь мое сердце так горячо, не задавался ли я вопросом: «Можешь выйти на площадь? Смеешь выйти на площадь?..»

Княжна покраснела.

Лицо Карлсона изобразило удовольствие.

«Ишь, — подумал Малыш, — пара серег. Каков сам-то!»

Карлсон продолжал свое:

— Здесь моя жизнь протечет шумно, незаметно и быстро, под пулями дикарей, и если бы Бог мне каждый год посылал один светлый женский взгляд, один, подобный тому...

В это время Малыш ударил плетью по лошади и выехал из-за куста.

— Mon Dieu, un Chechenien!.. — вскрикнула княжна в ужасе. Чтоб ее совершенно разуверить, он отвечал по-французски, слегка наклонясь:

— Ne craignez rien, madame, — je ne suis pas plus dangereux que votre cavalier.

Она смутилась не то от своей ошибки, не то от дерзкого ответа. Малыш желал бы, чтоб последнее его предположение было справедливо. Карлсон бросил на него недовольный взгляд.

На следующий день княжна сама завела с Малышом разговор о Карлсоне.

Она говорила о людях, что страдают за свое желание нести свободу простому народу, и...

— Позвольте! — прервал ее Малыш, смеясь. — Это вы о Карлсоне? Да ведь его разжаловали за кражу подвод с вареньем из провиантских складов.

Княжна пошатнулась и убежала, прервав разговор.

Поутру к нему явился артиллерийский офицер с бумагой.

Это был короткий вызов или трест. То есть картель.

Малыш сразу все понял и отправился искать секунданта, но секунданта не нашлось — гарнизон был мал. Одни офицеры валялись пьяны, другие прятались от него. В итоге Малыш явился к утесу на крепостной вал вместе с Петровичем, аттестуя его как «доброе малое».

Они встали на узкую площадку рядом с откосом и стали целить друг в друга.

Пистолеты ахнули одновременно, и когда белый плотный дым рассеялся, Малыш увидел, что стоит на парапете крепости один.

Был ли Карлсон? Может, никакого Карлсона и не было.

Тело так и не нашли, как ни искали. Будто улетел куда-то Карлсон, скрылся из глаз и по-прежнему теперь подсматривал за Малышом.

В тот же вечер Малыш на прогулке ехал возле княжны; возвращаясь домой, надо было переезжать горную речку вброд. Малыш взял под уздцы лошадь княжны и свел ее в воду, которая не была выше колен; они тихонько стали подвигаться наискось против течения. Известно, что, переезжая быстрые речки, не должно смотреть на воду, ибо тотчас голова закружится. Как нарочно, Малыш забыл об этом предупредить княжну. «Мне дурно!» — проговорила она слабым голосом... Малыш быстро наклонился

к ней, обвил рукою ее гибкую талию. «Смотрите вверх! — шепнул он ей, — это ничего, только не бойтесь; я с вами». Ей стало лучше; она хотела освободиться от его руки, но Малыш еще крепче обвил ее нежный мягкий стан; его щека почти касалась ее щеки; от нее веяло пламенем. И все заверте...

— Или вы меня презираете, или очень любите! — сказала она наконец голосом, в котором были слезы. — Может быть, вы хотите посмеяться надо мной, возмутить мою душу и потом оставить. Это было бы так подло, так низко, что одно предположение... Ваш дерзкий поступок... я должна, я должна вам его простить, потому что позволила... Отвечайте, говорите же, я хочу слышать ваш голос!..

В последних словах было такое женское нетерпение, что Малыш невольно улыбнулся; к счастью, начинало смеркаться. Он ничего не отвечал.

— Вы молчите? — продолжала она. — Вы, может быть, хотите, чтоб я первая вам сказала, что я вас люблю?..

Она ударила хлыстом свою лошадь и пустилась во весь дух по узкой, опасной дороге; это произошло так скоро, что едва мог Малыш ее догнать, и то, когда она уж присоединилась к остальному обществу.

Но вечером жизнь Малыша омрачилась явлением Карлсона.

Карлсон явился в крепость весь помятый и обтерханный. Он, видимо, долго катился по склону, будто медведь, упавший с воздушного шара. В Тифлисе, говорят, заезжие циркачи надували монгольфьер теплым воздухом и заставляли медведя летать, да ничем хорошим это не кончалось.

С Малышом он более не разговаривал, и все общение их свелось к молчаливой игре в карты и такому же молчаливому распиванию кизлярки.

Чтобы хоть как-то разнообразить свою жизнь, он решил просить у батюшки благословения на брак с княжной, но тот только выбранил его в ответном письме, да хотел примерно наказать его дядьку за то, что тот не доглядел за дуэлью. «А ведь ты мог, — писал он Петровичу, — скотина, засесть с ружьем где-нибудь в кустах и метким выстрелом поправить дело, чтобы этот гадкий Карлсон не докучал более моему сыну».

Малыш не мог несколько раз не улыбнуться, читая грамоту доброго старика. Отвечать батюшке Малыш был не в состоянии и написал лишь матушке: «Душа моя рвется к вам, ненаглядная маменька, как журавль в небо. Еще хочу сообщить вам — дислокация наша протекает гладко, в обстановке братской общности и согласия. Смотрим на горные вершины, что спят во тьме ночной, и ни о чем не вздыхаем, кроме как об вас, единственная и незабвенная моя маменька. Так что вам зазря убиваться не советуем — напрасное это занятие.

И поскольку, может статься, в горах этих лягу навечно, с непривычки вроде бы даже грустно».

Но с той поры положение его переменялось. Мэри почти с ним не говорила и всячески старалась избегать его. Мало-помалу приучился Малыш сидеть один у себя дома.

Глава V *Шамильщина*

Вкушая, вкусил мало меда, и вот я умираю.

Первая Книга Царств, XIV, 43

Прежде чем приступить к описанию странных происшествий, коим Малыш был свидетель, нужно сказать несколько слов о положении, в котором находился Кавказ о ту пору.

Сия обширная и богатая земля обитаема была множеством народов, признавших совсем недавно владычество российских государей. Их поминутные возмущения,

непривычка к законам и гражданской жизни требовали со стороны правительства непрерывного надзора для удержания их в повиновении. Крепости выстроены были в местах, признанных удобными, и заселены по большей части казаками. Но казаки, долженствовавшие охранять спокойствие и безопасность сего края, с некоторого времени были сами для правительства беспокойными и опасными подданными.

Однажды вечером сидел Малыш дома один, слушая вой осеннего ветра и смотря в окно на тучи, бегущие мимо луны. Его вдруг позвали к коменданту, который прочел им важную депешу от начальства. В депеше говорилось, что страшный человек Шамиль собрал злодейскую шайку, произвел возмущение в кавказских селениях и уже взял и разорил несколько крепостей, производя везде грабежи и смертные убийства. Далее был приказ одного Шамиля схватить и на всякий случай повесить.

Страх и ужас наполнили сердца офицеров.

Солдаты, впрочем, не теряли надежды и приговаривали:

— Бог милостив: солдат у нас довольно, порошу много, пушки вычистили. Авось дадим отпор Шамилю. Господь не выдаст, свинья не съест!

По сему случаю комендант думал опять собрать своих офицеров и для того хотел удалить жену и дочь под благовидным предлогом.

Мэри вдруг сама явилась в каморку к Малышу — бледная и заплаканная. «Прощайте, Малыш! — сказала она со слезами. — Меня посылают во Владикавказ. Будьте живы и счастливы; может быть, Господь приведет нас друг с другом увидеться; если же нет...» Тут она зарыдала. Малыш обнял ее, и опять все заверте...

Но было поздно.

Шамиль пришел.

Потру из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре степь усеялась множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками. Между ними на белом коне ехал человек в черной черкеске и с обнаженной саблею в руке: это был сам Шамиль. Он остановился; его окружили, и, как видно, по его повелению, четыре человека отделились и во весь опор подскакали под самую крепость. Один из них держал под шапкою лист бумаги; у другого на копье воткнута была голова одного несчастного прапорщика, что отлучился накануне на охоту.

Ее перекинул он через частокол, и голова подкатилась к ногам коменданта. Горцы кричали: «Не стреляйте; выходите вон к Шамилю. Шамиль здесь!»

«Стреляй! — закричал старый князь. — Ребята! Стреляй!» Солдаты дали залп. Горец, державший письмо, зашатался и свалился с лошади; другие поскакали назад. Малыш взглянул на Марию Ивановну. Пораженная видом окровавленной головы, она казалась без памяти.

В эту минуту раздался страшный визг и крики; горцы скакали к крепости. Пушка заряжена была картечью. Комендант подпустил их на самое близкое расстояние и вдруг выпалил. Картечьхватила в самую середину толпы. Горцы отхлынули в обе стороны и попятились. Предводитель их остался один впереди... Он махал саблею и, казалось, с жаром их уговаривал... Крик и визг, умолкнувшие на минуту, тотчас снова возобновились. «Ну, ребята, — сказал комендант, — теперь отворяй ворота, бей в барабан. Ребята! Вперед, на вылазку, за мною!»

Комендант и Малыш мигом очутились за крепостным валом; но оробелый гарнизон не тронулся. «Что ж вы, детушки, стоите? — закричал комендант. — Умирать, так умирать: дело служивое!» В эту минуту горцы набежали и ворвались в крепость. Барабан умолк; гарнизон бросил ружья.

Комендант, раненный в голову, стоял в кучке злодеев, которые требовали от него ключей. Малыш бросился было к нему на помощь, но несколько дюжих иноверцев схватили его и связали веревкой.

Шамиль сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем была все та же черкеска с газырями.

Большая мохнатая шапка была надвинута на его сверкающие глаза. Лицо его показалось Малышу знакомо, да не до этого сейчас было: коменданта тут же, при всех, зарезали, как барана.

Очередь была за Малышом. Он глядел смело на Шамиля.

Но вдруг, к неопisanному изумлению, увидел Малыш среди горцев Карлсона, отчего-то обряженного в такую же черкеску, что была и у всех горцев. Он подошел к Шамилю и сказал ему на ухо несколько слов. «Кончать его!» — сказал Шамиль, не взглянув даже на Малыша. Над юношей занесли нож. «Не бось, рус, не бось», — повторяли ему губители, может быть, и вправду желая его ободрить. Вдруг услышал Малыш крик: «Постойте, окаянные! Погодите!..» Палачи остановились: Петрович лежал в ногах у Шамиля. «Отец родной! Ведь Бог един! — говорил бедный дядька. — Что тебе в смерти мальчика? Отпусти его; за него тебе выкуп дадут; а для примера и страха ради вели повесить хоть меня, старика!» Шамиль дал знак, и Малыша тотчас развязали и оставили. «Батюшка наш тебя милует», — сказал кто-то над ухом юноши.

Шамиль протянул ему ногу в ладном сапоге. «Целуй, целуй!» — говорили около него. Но Малыш предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению. Шамиль отставил сапог, сказав с усмешкою: «Мальчик одурел от радости. Подымите его!»

Наконец Шамиль встал с кресел и сошел с крыльца в сопровождении своих близких.

Ему подвели белого коня, украшенного богатой сбруей. В эту минуту раздался женский крик. Несколько разбойников вытащили на крыльцо княгиню, растрепанную и раздетую донага. Один из них успел уже нарядиться в ее душегрейку. Другие таскали перины, сундуки, чайную посуду, белье и всю рухлядь. «Батюшки мои! — кричала бедная старушка. — Отпустите душу на покаяние. Отцы родные, отведите меня к мужу». Вдруг она взглянула на двор и узнала своего мужа, лежащего в луже крови. «Злодеи! — закричала она в исступлении. — Что это вы с ним сделали? Свет ты мой, удалая солдатская головушка! Не тронули тебя пули турецкие; не в честном бою положил ты свой живот, а сгинул от горцев!»

— Унять старую ведьму! — сказал Шамиль. Тут молодой горец ударил ее саблею по голове, и она упала мертвая на ступени крыльца.

Шамиль уехал, а Малыш упал без чувств.

Глава VI *Незванный гость*

Каменный гость — сел и не уходит.

Пословица

Малыш пролежал довольно долго в беспамятстве. Когда он очнулся, то убедился в том, что местность вокруг него претерпела решительные изменения. Крепость, разоренная набегом, представляла жалкое зрелище. Малыш обнаружил комендантский дом разрушенным: крыша была провалена, дверь и столбы галерейки сторели, а внутренность огажена. Всюду лежали тела солдат и казаков. Где-то выли старухи.

Бывшие тут же два стожка сена были сожжены; были поломаны посаженные стариком-комендантом и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья и, главное, сожжены все ульи с пчелами. Вой женщин слышался в домах и на площади. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать.

Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воду нельзя было брать из него.

О ненависти к горцам никто не говорил. Чувство, которое испытывали все уцелевшие, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а недоумение перед нелепой жестокостью этих существ.

Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить страшными усилиями все с такими трудами заведенное и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или, противно религиозному закону и чувству отвращения и презрения к горцам, покориться им.

Малыш все стоял на одном месте и не мог привести в порядок мысли, смущенные столь ужасными впечатлениями.

Неизвестность о судьбе Мэри пуще всего его мучила. Малыш вообразил ее в руках у разбойников... Уже проданной в гарем... Сердце его сжалось... Малыш горько, горько заплакал и громко произнес имя любезной...

Малыш пришел домой. Петрович встретил его у порога. «Слава Богу! — вскричал он. — Было, думал, что злодеи опять тебя подхватили. Ну, батюшка Пётр Андреич! Верить ли? Все у нас разграбили, мошенники: платье, белье, вещи, посуду — ничего не оставили. Да что уж! Слава Богу, что тебя живого отпустили! А узнал ли ты, сударь, атамана?»

— Нет, не узнал; а кто ж он такой?

— Как, батюшка? Ты позабыл того человека, который выманил у тебя ножичек? Ножичек да с перламутровой рукоятью!

Малыш изумился. В самом деле, сходство Шамиля с провожатым было разительно. Малыш понял, что Шамиль и он были одно и то же лицо, и понял тогда причину пощад, ему оказанной. Малыш не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств: ножичек, подаренный неизвестному, избавил его от горского кинжала!

И тут его позвали к Шамилю.

Необыкновенная картина ему представилась: за столом, накрытым скатертью и уставленным блюдами, Шамиль и человек десять мюридов сидели в своих мохнатых шапках и цветных рубашках.

Разговор шел об утреннем приступе, об успехе возмущения и о будущих действиях. И на сем-то странном военном совете решено было идти к Владикавказу: движение дерзкое, поход был объявлен к завтрашнему дню. Все начали расходиться, и Малыш хотел за ними последовать, но Шамиль сказал ему: «Сиди, хочу с тобою переговорить».

Они остались с глазу на глаз.

Несколько минут продолжалось обоюдное молчание. Шамиль смотрел пристально, изредка прищуривая левый глаз с выражением насмешливости. Наконец он засмеялся, и с такою непритворной веселостью, что и Малыш, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему.

— Что, русский господин? — сказал Шамиль. — Струсил ты, признайся? Да и верно, был бы мертв, если б не твой слуга. Я тотчас узнал его. Ну, думал ли ты, что человек, который вывел тебя в безопасное место, был сам Шамиль?

— Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку.

— А коли отпущу, — сказал он, — так обещаешься ли по крайней мере против меня не служить? Отставка, отцовское имение, русские девушки с их косами, стоящие вдоль дороги в имение, добрая жена... Что еще нужно, чтобы встретить старость?

— Как могу тебе в этом обещаться? — отвечал Малыш. — Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя — пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник, сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда начальникам служба моя понадобится? Голова моя в твоей власти: отпустишь меня — спасибо; казнишь — Бог тебе судья; а русскому солдату всегда хотелось не сразу умереть, а так — помучиться.

Эта искренность поразила Шамиля.

— Так и быть, — сказал он, ударив Малыша по плечу. — Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь. А теперь иди спать, пришел час моей молитвы.

Глава VII

Разлука

«Так чем своей рукой вешаться, пойдем, — говорит, — лучше с нами жить, авось иначе повиснешь».

«А вы кто такие и чем живете? Вы ведь, небось, воры?»

«Воры, — говорит, — мы и воры, и мошенники».

«Да, вот видишь, — говорю, — а при случае, мол, вы, пожалуй, небось, и людей режете?»

«Случается, — говорит, — и это действуем».

Николай Лесков. «Очарованный странник»

Поутру Малыш пошел по Военно-Грузинской дороге, сопровождаемый Петровичем, который от него не отставал.

Во Владикавказе он явился к генералу, который ходил взад-вперед по комнате, куря свою пенковую трубку.

— Ваше превосходительство, — сказал Малыш, — прибегаю к вам, как к отцу родному; ради бога, не откажите мне в моей просьбе: дело идет о счастии всей моей жизни.

— Что такое, батюшка? — спросил изумленный старик. — Жалование? Как нет? Что, Малыш, могу для тебя сделать? Говори.

— Ваше превосходительство, прикажите взять мне роту солдат и полсотни казаков и пустите меня очистить Черногорскую крепость.

Генерал глядел на него пристально, полагая, вероятно, что Малыш с ума сошел.

— Княжна Мэри, дочь несчастного Лиговского, — сказал Малыш ему, — пишет ко мне письмо: она просит помощи; изменник Карлсон, перешед в магометанство, принуждает ее стать третьей женой.

— Неужто? О, этот Карлсон превеликий Schelm, и если попадется ко мне в руки, я велю его судить в двадцать четыре часа, и мы расстреляем его на парапете крепости! Но покамест надобно взять терпение...

— Взять терпение! — вскричал Малыш вне себя. — А он между тем женится на ней!..

Поутру он один отправился в Черногорскую крепость и добился свидания с Шамилем.

— Что ж? — спросил Шамиль. — Страшно тебе?

Малыш отвечал, что, быв однажды уже им помилован, Малыш надеется не только на его пощаду, но даже и на помощь.

— Слушай, — сказал Шамиль с каким-то диким вдохновением. — Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала кормилица. Однажды орел украл где-то зайчонка и унес его в когтях. Однако, устав в полете, сел на ветку огромного дерева посреди пустыни. Под это дерево пришел шакал и стал хвалить орла за то, что принялся кушать нежное мясо. Он хвалил его за зоркость и сметливость, явно рассчитывая, что орел разведет когти в стороны и скажет «Вах!»

— Нет, ты не джигит, — отвечал орел. — И все оттого, что я пью живую кровь, а ты жрешь падаль.

И орел, наевшись, стал подниматься все выше и выше, пока не приблизился к Солнцу и не сгорел от его жара. А жалкий шакал схватил то, что осталось от зайчонка, и был таков. Какова наша сказка?

— Затеялива, — отвечал Малыш. — Но жить убийством и разбоем мне не по сердцу. Впрочем, я съел бы не кролика, а сыру.

Шамиль посмотрел на Малыша с удивлением и велел накрыть стол.

Их ожидали казан, мангал и другие мужские удовольствия.

Вскоре Шамиль велел своим мюридам отдать княжну Малышу и выдать также пропуск во все заставы и крепости, подвластные ему. Карлсон, совсем уничтоженный, стоял, как остоленелый.

По дороге обратно влюбленные встретили две казачьи сотни и регулярный полк, что шли на Черногорскую крепость. Княжну отправили в город, а Малыш, обнажив саблю, помчался обратно.

Глава VIII

Милость и немилость

— Извольте оправдаться!

— Лучше смерть, чем объяснения, — отвечал шляхтич.

Николай Загоскин. «Белый орел, или Польское возмущение»

Уже в десятый раз ехал Малыш по этой дороге, но теперь ожидало его жаркое дело.

Произошел стремительный бой, и горцы бежали, забрав, впрочем, своих мертвецов. Тела изменников забирать было некому. Среди трупов Малыш увидел знакомое лицо.

— Это Карлсон, — сказал Малыш своему полковому командиру.

— Карлсон? Он жив... Казаки, возьмите его! Карлсона надобно непременно представить в секретную Владикавказскую комиссию.

Карлсон открыл томный взгляд. На лице его ничего не изображалось, кроме физической муки. Казаки отнесли его на бурке, испятнанной кровью.

Рана Карлсона оказалась не смертельна. Его с конвоем отправили во Владикавказ. Малыш видел из окна, как его усадили в телегу. Взоры их встретились, он потупил голову, а Малыш поспешно отошел от окна. Малыш боялся показывать вид, что торжествует над несчастьем и унижением недруга.

Шамиль же бежал, преследуемый Ермоловым. Вскоре все узнали о совершенном его разбитии (в который, впрочем, раз).

Но в тот день, когда Малыш собирался отправиться к своим старикам, из Владикавказа пришла секретная бумага. Малышу по дружбе дали ее прочитать: это был приказ ко всем отдельным начальникам арестовать его, где бы ни попался, и немедленно отправить под караулом во Владикавказ в Следственную комиссию, учрежденную по делу Шамиля.

Бумага чуть не выпала из рук Малыша. Совесть его была чиста; суда он не боялся; но мысль отсрочить минуту сладкого свидания, может быть, на несколько еще месяцев, устрасала его. Тележка была готова. Офицеры дружески с ним простились. Малыша посадили в тележку. С ним сели два гусара с саблями наголо, и Малыш поехал по большой дороге.

Во Владикавказе он был препровожден к допросу.

Его спросили: по какому случаю и в какое время вошел Малыш в службу к Шамилю и по каким поручениям был Малыш им употреблен?

Малыш отвечал с негодованием, что он как православный офицер и дворянин ни в какую службу к Шамилю вступать и никаких поручений от него принять не мог.

Через несколько минут загремели цепи, двери отворились и вошел Карлсон. По его словам, Малыш отряжен был от Шамиля шпионом и постоянно ездил между Владикавказом и Черногорской крепостью.

Малыш выслушал его молча и был доволен одним: имя княжны Лиговской не было произнесено гнусным злодеем. После чего он отвечал, что держится первого своего объяснения и ничего другого в оправдание себе сказать не может.

В последний раз Малыш увидел Карлсона в коридоре Владикавказской тюрьмы. Его недруг, шаркая, влачил свои ноги в оковах. Он усмехнулся злобной усмешкою и,

приподняв цепи, ускорил шаги. Малыша опять отвели в тюрьму и с тех пор уже к допросу не требовали.

На третий день его отправили в Сибирь.

Весть об этом не скоро достигла имения Свантессонов, в котором обитали престарелые родители Малыша и молодая княжна.

Княжна Мэри принята была его родителями с тем искренним радушием, которое отличало людей старого века. Они видели благодать Божию в том, что имели случай приютить и обласкать бедную сироту. Вскоре они к ней искренно привязались, потому что нельзя было ее узнать и не полюбить. Слух об аресте Малыша поразил все семейство. Княжна так просто рассказала его родителям о странном знакомстве его с Шамилем, что оно не только не беспокоило их, но еще заставляло часто смеяться от чистого сердца. Батюшка не хотел верить, что его Малыш мог быть замешан в черном деле.

Княжна в слезах собралась в Петербург.

На набережной, в первый день своего пребывания в столице, она встретила высокого прямого офицера. Он всмотрелся в ее отчаянное лицо, обращенное к дворцу, и спросил о цели визита провинциалки.

— О! Князь Лиговской! Помню его! Как часто в детстве я играл его Очаковской медалью...

Офицер обещал помочь добиться аудиенции при дворе.

И правда, по утра из дворца на Пески приехал посыльный. Он усадил княжну в пролетку и повез ее осенним городом.

Войдя в большую залу, княжна едва узнала своего вчерашнего собеседника.

Государь обнял ее — и прослезился. Так они простояли несколько часов. Княжна провела два дня с Государем и, наконец, он самолично выписал Малышу оправдательный аттестат.

Малыш был возвращен из Нерчинска и следующей осенью добрался до имения своего отца.

Тот встретил сына на ступенях барского дома.

— А все же учили тебя славно — учили и выучили. Мусью научил тебя махать саблей, а Петрович — обращению с народом. Учит и война, и женщина... Вот ты и выучился, стал из недоросля лишним человеком.

И старый Свантессон вложил в руки Малышу сбереженный в комод змей, сделанный из шведской карты.

Они плакали оба, а княжна склонилась на плечо Малыша.

Он, обняв жену за плечи, вдруг назвал ее по-русски:

— Маша...

Здесь прекращаются записки младшего Свантессона, вкратце нами пересказанные. Из семейственных преданий известно, что он оставил службу, и несколько лет спустя свершилось последнее свидание его с Шамилем. Малыш, проезжая с супругой через Калугу, внезапно увидел на городской улице Шамиля. Тот был окружен местными дамами более чем охраной. Шамиль узнал его в толпе и кивнул ему головою, однако Малыш отвернулся.

Марья Ивановна, как теперь звали все княжну Мэри, задрожала, но не произнесла ни слова.

В тот же день они поехали дальше, направляясь в свое имение.

Рукопись Малыша доставлена была нам от одного из его внуков, который узнал, что мы заняты были трудом, относящимся ко временам, описанным его дедом. Мы решились, с разрешения родственников, издать ее особо, приискав к каждой главе приличный эпиграф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена.

Издатель

Яйцо

Кокорев хмуро слушал капель. С другой стороны окна, на карнизе, сидел мокрый голубь и, склонив голову, тоже к чему-то прислушивался. Голубей Кокорев не любил и называл их летающими крысами. Весну он тоже не любил. Это было время тревожное и аллергическое. Весной он всегда болел, на локте вылезала неизвестная науке экзема, и тогда он чувствовал себя больным, как вот этот, к примеру, голубь.

И вот в очередной раз весна наваливалась на него, как хулиган в подворотне. На площадях выставили причудливые арки с лампочками.

Кокорев ходил мимо этих арок равнодушно.

Лаборантка Евгения Петровна бормотала у него над ухом об украденных деньгах, о том, дескать, что на это безобразие с лампочками деньги есть, а на науку не хватает. На науку всегда не хватало — к этому он привык.

Кокорев входил в лабораторию и принимался рассматривать на экране своих куриц. Он изучал куриц всю жизнь и защитил две диссертации с непроизносимыми названиями. Курица, как гласит народная молва, не птица, но Кокорев был орнитолог и человек строгих правил. Курица была птица, просто летающая недалеко, но главное, что его занимало в курице — неожиданная перемена пола. После стресса что-то менялось в их организме, и у куриц появлялись вторичные половые признаки. При отсутствии петуха курицы становились похожими на отсутствующего — жадными и драчливыми.

Но даже при этом жизнь их была куда радостнее, чем у Кокорева, каждый день, вернее, каждое утро возвращавшегося в пустую квартиру на окраине.

Впрочем, сегодняшний образец был не так весел — он был нарезан на кусочки, разложен на составляющие, и его гормоны превратились в вереницы цифр на экране. Кокорев знал, что происходит с курицами на птицефабрике — под такое ему давали гранты, но эта гормональная перемена не давала ему покоя. Перед ним проходили вереницы петухов, которые на самом деле оставались курицами.

«Двуногое существо без перьев, — так, кажется, определил человека Платон. А Диоген из Синопа ощипал живого петуха и пустил его под ноги Платону, — вспомнил Кокорев. — Но все, кто пересказывают эту фразу, забывают, что Платон прибавлял: “с плоскими ногтями и восприимчивостью к знаниям, основанным на рассуждениях”. Какие у петуха рассуждения? Он в суп не хочет, вот и все его рассуждения. Курица не умеет летать, а я три раза в год летаю на конференции — это ли не отличие? Летать самостоятельно я не хотел бы: что мне делать в этих проводах?»

Наконец Кокорев вышел из лаборатории и побрел к метро.

На площади, в ожидании праздника, поменяли экспозицию.

Сверкающие снегурочки в кокошниках исчезли. Теперь повсюду лежали разноцветные яйца.

«Точно, — вспомнил Кокорев, — скоро Пасха. Евгения Петровна принесет кулич и яйца».

На площадях и в скверах лежали эти гигантские яйца, будто волшебный луч прошелся по городу, увеличивая избранные предметы. Кокорев представил, как в каждом из них возникает жизнь, будто в кладке чужих.

На следующую ночь он снова шел через площадь и увидел полицейного рядом с яйцами. Ему объяснили, что русский народ — народ Книги, и более того, народ великой письменности. Оттого он стал писать на яйцах разные слова, вовсе не подходящие к празднику.

И теперь полицейский человек ходит вокруг яиц.

Днем полицейский куда-то исчезал, но идя ночью домой, Кокорев всегда видел

его. Иногда полицейский лежал на яйце, иногда сидел на нем. Ночи были холодные, и Кокорев все понимал.

Однажды Кокореву показалось, что полицейский изучает его, удаляющегося в сторону автобусной остановки, Кокорев несколько раз оглянулся. Полицейский смотрел ему вслед.

Весь следующий день он думал о полицейском и о подопечных ему идеальных формах.

Накануне праздника полицейский поманил его.

— Я давно вас приметил, — признался караульный в тулупе. — Вы смотрите на все это (он обвел рукой пространство) не так, как другие. Яйцами интересуетесь?

— Я с ними всю жизнь работаю.

Спешить было некуда, Кокорев закурил и приготовился к разговору.

— В пищевой промышленности? — спросил полицейский.

— Не совсем. Я птицами занимаюсь.

— И как там у них? — полицейский был, видно, философ.

— Сложно. Вот у моих пол меняется. Самки притворяются мужиками, — Кокорев специально сказал так, чтобы для полицейского выглядело понятнее.

— Скажите, — полицейский внезапно посерьезнел, — вы верите в идеального человека?

— Не очень, — вздохнул Кокорев.

— Я считаю, — продолжил полицейский, — нужно вовсе без женщин. То есть с женщинами, но человек должен рождаться из яйца. Яйцо — это идеальная форма. Не шар, замечу, а яйцо. Мы давно этим занимаемся. Вы восприимчивы к новым знаниям?

Кокорев заинтересованно посмотрел на собеседника. Сумасшедший полицейский — этого он еще не видел.

А полицейский, меж тем, стал рассказывать, что идеальный человек должен летать, как птица.

«Идеальный человек — это ангел, — подумал Кокорев. — Впрочем, ангелы, кажется, были бесполой. А я невосприимчив к знаниям, основанным на рассуждениях, потому что в конце каждого рассуждения ведущий говорит, что надо улыбнуться, ведь вас снимают».

— Вы же понимаете в скрещивании? Скрещивали своих птиц? Ведь не обязательно соединить живое с живым, можно и иначе...

Кокорев признался, что никого не скрещивал. И генетически модифицированная курица никогда...

— Не надо, ничего не говорите... — вдруг прервал свою речь полицейский и стащил шапку. Казалось, он прислушивается.

— Праздник завтра, — сказал он. — Видимо, началось раньше... Пора. Или не пора? Послушайте!

И он требовательно указал на яйцо.

Кокорев приложил ухо к яйцу. Там действительно что-то скреблось.

«А вдруг это искрит подсветка? Лампочки эти дурацкие. Сунешь туда руку, и как шарахнет! Может, это розыгрыш такой? Скрытая камера, все дела», — затосковал Кокорев.

— Вы в детстве смотрели мультики? — продолжал полицейский. — Помните историю про динозавриков?

Кокорев помнил — был какой-то страшный фильм про генетический сбой. И там маленькие динозавры сидели в яйцах, улыбаясь, но потом произошел генетический сбой, и скорлупа стала слишком толстой. И вот уже жители яиц не улыбались, они стучали в скорлупу, но все было без толку — выйти было невозможно.

Кокорев хотел сказать, что все было не так, но что-то ему помешало.

— Скорлупа оказалась слишком прочной, этого мы не учли. У вас есть что-нибудь тяжелое?

— Откуда у меня? У вас вот пистолет есть.

— Нет у меня никакого пистолета, у меня кобура пустая.

— Ну камень возьмите.

— Я не могу отлучаться от яйца. Рассчитываю на вашу помощь.

Кокорев отлучился к газону и принес ему сколотый кусок бордюрного камня.

— Бейте! Сюда бейте! — руководил полицейский.

Кокореву представилось, что стоит ему ткнуть яйцо, как полицейский засвистит, появятся из-за кустов его собраты, и Кокорева повяжут за покушение на искусство и градостроение. В лучшем случае выбегут корреспонденты со скрытой камерой.

Но все же он примерился и стукнул яйцо.

— Сильнее!

Кокорев стукнул сильнее, и яйцо треснуло с пластмассовым звуком.

Полицейский отпихнул его и уже сам отломил кусок скорлупы.

Внутри яйца обнаружился маленький человечек в позе эмбриона. Его вытащили из обломков яйца. Человечек был в одежде, а на спине его был ком, похожий на ворох полиэтилена на свежкупленном велосипеде.

— Это колесо, что ли? — спросил Кокорев в пустоту.

Никто ему не ответил, да и сам он увидел, что это не колесо. Это был небольшой пропеллер, будто на вентиляторе.

Полицейский бережно убрал полиэтилен и потряхнул человечка. Тот принялся ходить вокруг них, как новорожденный цыпленок.

— Вот оно что, — протянул Кокорев. — Он что, сейчас полетит?

Полицейский посмотрел на него, как на сумасшедшего:

— Да как же он сразу полетит? Он ведь маленький еще. Его учить еще надо.

Он взял человечка за руку и пошел прочь.

Кокорев нерешительно крикнул «Э-э!» в удаляющиеся спины.

Полицейский обернулся и, перейдя на «ты», бросил:

— Не надо, не убирай. Дворники уберут.

И парочка исчезла во тьме.

Скелет в шкафу

Малыш больше всего был озабочен тем, чтобы ему не пришлось жениться на вдове своего брата.

Брат был еще жив, жениться не собирался, но Малыш был давно предупрежден. Много лет назад его вызвала мать для серьезного разговора. Она рассказала об этой обязанности. Малышу это не понравилось, но мать прочитала закон Моисеев, который гласил: если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему.

С тех пор Малыш стал замкнут и прятался по углам их большого дома.

Как-то Малыш, играя, залез в шкаф. Про то, что шкаф — очень сложная штука, он слышал давным-давно — от дядюшки Юлиуса. Дядюшка Юлиус был психиатр и рассказывал забавные истории.

Малыш часто не понимал их, но мама, видимо, понимала и поэтому шаловливо била дядюшку Юлиуса по руке.

В общем, шкаф имел в этих историях какой-то особый смысл, и хоть Малыш и не понимал, какой, смысл этот представлялся очень важным. В тот момент Малыша больше занимало, как бы не проговориться о тех симпатичных приведениях в белых простынях, что он видит каждую ночь.

Он долго пытался, запутавшись в шубах, а потом выпал с обратной стороны шкафа.

Теперь он лежал в лесу, и над ним мягко кружился снег.

Из запорошенных зарослей вышли звери.

Малыш вспомнил старый детский стишок — там тоже были звери, что стояли у двери. Неладное что-то вышло с этими зверями, но что — память утаила. Эти звери тоже были странные — один был как огнегривый лев, а вот другой — глазастый вол. Третий был жираф, исполненный неги.

Малыш огляделся и увидел тропинку.

Тропинка, несмотря на то что была проложена в лесу, оказалась вымощенной кирпичом. Но Малыш и не такое видал в заповедниках и парках Швеции.

Он двинулся по этой дороге, решив, что любые приключения лучше старой вдовы безвременно ушедшего брата.

И приключения не заставили себя ждать.

Его покусали осы, потом его травили собаками, а хозяин придорожной харчевни накормил его тухлыми раками.

Последнее придало Малышу некоторую дополнительную скорость, и он достиг Нефритового Города. Башни этого города были решительно неприличны, впрочем, и стены его были весьма забавны.

Стража надела на Малыша очки сварщика и провела его в залу, где сидел какой-то коротышка с нефритовым жезлом. Это, судя по всему, был Повелитель Нефритового Города.

Повелитель спросил Малыша, о чем он думает, и тот отвечал, что думает о любви. Однако он не настоящий сварщик, и мало что понимает в любви.

Тогда Повелитель Нефритового Города открыл Малышу удивительную тайну: «Есть такое волшебное средство, что вызывает любовь: приворотное зелье, что называется “Выпей меня”. “Выпей меня” помогает пройти в любую дверь в заветный сад».

А потом Повелитель сам спросил юношу:

— А у тебя есть тайна? Такая настоящая тайна, вроде волос на ладонях?

— Я вижу мертвых людей.

— Счастливцев. Я вижу живых. Но у меня есть впечатление, что ты хочешь что-то попросить. Все, кто приходят сюда по тропинке, вымощенной кирпичом, что-то просят.

— И ты исполняешь?

— Ты с ума сошел. Я объясняю им, что Господь всех нас наказывает тем, что желания исполняются буквально.

— Ну, я думал, что не просто так... Я был готов что-то сделать... Пройти испытание... Ты мог попросить меня сложить слово «счастье» из четырех букв.

— Не будь пошляком, мальчик. Наша жизнь мирная, и залогом тому — нефритовый стержень в моей руке. К тому же я уже открыл тебе главную нефритовую тайну.

Малыш улыбнулся и пошел восвояси. Он вернулся обратно в лес, обнаружил вдруг реку, переплыл ее и тут же на берегу увидел медведицу. Она спала. Малыш схватил ее медвежат и побежал без оглядки на гору. И как только он добрался до вершины, навстречу ему вышел народ, подали карету, повезли в город и сделали царем.

Так он царствовал пять лет. А на шестой год пришел на него войной другой царь, и Малышу пришлось бежать, переодевшись сестрой милосердия. Наконец он вернулся на знакомую поляну. Там по-прежнему стояли лев и вол — изрядно постаревшие. Жираф уже спрятался в мраморный грот. Не глядя на них, Малыш залез обратно в шкаф и долго путешествовал среди висящих пальто и шуб.

Вдруг он наткнулся на скелет, который пробыл тут довольно долго. Малыш

присмотрелся и увидел, что скелет обут в кроссовки старшего брата. Действительно, это был Боссе. Малыш вздохнул: «Хоть мне и придется жениться на его вдове, зато есть чем помянуть мою жизнь, а тебе, костяной череп, и помянуть-то жизнь нечем».

Подвал — чердак

Подвал — первый этаж

Я всегда хотел попасть на крышу.

Сколько раз я садился в лифт, а крыши все равно не видел.

То сойду на пятом этаже, где живет известная всем Зина Даян. То выйду на шестом, где живет один профессор, чтобы поднести его жене пакеты из магазина. То на своем выйду, а это уже совсем удивительно. Даже кнопка последнего, шестнадцатого, этажа сожжена и выглядывает из своей дырки, как сгоревший танкист из люка.

Но вот прорвало трубы в подвале, и я решил сходить посмотреть на эту катастрофу. Катастрофы всегда привлекают, особенно когда они рядом, но не совсем уж на твоём пороге. Посмотрел — в подвале пахнет неважно: утробной теплотой и сырым бетоном.

Это ужас какой-то, что я вижу — это ад, а на крыше рай, там ангелы живут. Я давно хочу увидеть ангелов, и мне кто только не обещал их показать, да так никто и не показал.

В подвале обнаружился наш сантехник. Его зовут Карлсон, но он русский. Ничего удивительного, я знал одного Иванова, так он был еврей. Карлсон был всегда пьян, но дело свое знал — и в подвале уже сидел давно, и работа его почти завершилась. Сейчас он закручивал какой-то огромный кран.

Карлсон вытащил из сумки стаканчики и бутылочку.

Мы выпили, и понеслась душа в рай. Какие там ангелы, сами демоны отступили в темные сырые углы.

— А осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным? — спросил Карлсон. — Ибо хотя вы и не в значительном виде, но опытность моя отличает в вас человека образованного, к напиткам привычного. Осмелюсь узнать, служите изволили?

— Нет, я в институте учился... — ответил я.

— Студент, стало быть, или бывший студент! — вскричал сантехник. — Так я и думал! Зачем вам сугубый армейский опыт? А я вот отбыл-с.

Сантехник был пьян, причем давно, наши три рюмочки были вовсе не первыми сегодня. При этом мы все знали нашего сантехника, а он едва ли помнил жильцов в лицо и по именам. Так бывает.

— Милостивый государь, — начал он почти с торжественностью, — бедность не порок, это истина. Знаю я, что и пьянство не добродетель, и это тем паче. Но нищета, милостивый государь, нищета — порок-с. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в нищете же никогда и никто. За нищетой даже и не палкой выгоняют, а метлой выметают из всякого офиса, когда туда придешь наниматься. И отсюда питейное! Позвольте еще вас спросить, так, хотя бы в виде простого любопытства: изволили вы ночевать в подвале, на тюках стекловаты?

— Нет, не случилось, — отвечал я. — А что?

— Ну-с, а я оттуда. И всегда возникает дилемма: ночевать ли в сырости и тепле в подвале или же в холоде, но на сухом чердаке.

Действительно, на его комбинезоне и даже в волосах кое-где виднелись прилипшие волокна стекловаты. Как-то он был нечист.

Карлсон отхлебнул из бутылочки, не предлагая мне, и задумался.

— Пошли, — сказал вдруг Карлсон, поднимая голову, — доведи меня... Мне ведь на последний этаж надо, краны чинить...

— А нельзя ли меня на чердак заодно пустить?

— Да отчего же нельзя? У меня и ключ есть. Да что там чердак — мы и на крышу взойдем, если захотим! Ангелы, говоришь? Да у меня два ангела сидят на плечах: ангел смеха и ангел слез. И их вечное пререкание — моя жизнь.

Эти слова Карлсона обнадеживали, тем более что бутылочка его кончилась.

Мы поднялись по лестнице на первый этаж. Консьержка сразу высунулась из своего домика и посмотрела на нас неодобрительно. Очень неодобрительно посмотрела на нас она.

Будто цербер, посмотрела она на нас.

Но я быстро понял, что она смотрит только на меня, а Карлсона просто игнорирует.

— Малыш, — сказала мне консьержка. — Не ссы в лифте, я все вижу.

— А я и не ссу, — отвечаю, и отвечаю так легким шелестом, будто ангелы говорят с консьержкой. Только ангелы знают, кто сыт в лифте, а я не знаю. В лифте у нас действительно пахнет не очень. Прямо сказать, дрянь запах. Да и мокро, как в подвале.

Но консьержка уже не слушала меня и скрылась в своей клетке.

Первый этаж — третий этаж

В этот момент двери открылись, и в лифт вошли подростки, которые обычно у нас катаются вверх-вниз или ездят к друзьям на других этажах. По-моему, это именно они и сожгли кнопку, а также написали в лифте массу непонятных слов — отчего-то исключительно иностранных. Мальчишки стали хихикать, они прислушивались к нашему разговору, и было видно, что они хорошо знают Карлсона.

В сумке у Карлсона обнаружилась вторая бутылочка, и подростки загоготали, предчувствуя представление. А тот прихлебнул и решительно стукнул кулаком по стене.

— Такова уж жизнь моя! Знаете ли вы, дорогой товарищ, что я не только нынешнюю, но и будущую зарплату пропил? Детей же маленьких у нас трое, жена ходит убираться по новым хозяевам жизни, моет да пылесосит, потому что с детства к чистоте привержена. Разве я не чувствую от этого ужаса? Чем более пью, тем более и чувствую. Для того и пью, что в питии сем сострадания и чувства ищу. Не веселья, а единой скорби ищу... Пью, ибо сугубо страдать хочу!

Я понимал, что витиеватая речь нашего сантехника свойственна всем алкоголикам, которые стремятся пообщаться с малознакомыми людьми. Этим алкоголики, жаждущие общения, отличаются от наркоманов, которые никакой потребности к общению не испытывают.

— Ишь, ученый! — сказал один из подростков. — А че сантехником работаешь?

— Отчего? Отчего я отставлен от академии, как не мог был бы быть отставлен Ломоносов? А разве сердце у меня не болит о том, что я пресмыкаюсь втуне? Когда кто-то из ваших избил, тому месяц назад, а я лежал пьяненькой, разве я не страдал? Позвольте, молодой человек (обратился он уже ко мне), случилось вам испрашивать денег взаймы безнадежно?

— Да ясен перец, случилось.

— То есть совсем безнадежно, заранее зная, что из сего ничего не выйдет? Вот вы знаете, например, заранее, что сей человек, сей наиполезнейший гражданин, ни за что вам денег не даст, ибо зачем, спрошу я, он даст? Ведь он знает же, что я не отдам. Зачем же, спрошу я, он даст? И вот, зная вперед, что не даст, вы все-таки отправляетесь в путь и...

— Для чего же ходить?

— А коли не к кому, коли идти больше некуда?! Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Но нет, вот можете вы сказать сейчас, что я не свинья?

Подростки тут же начали хрюкать на разные лады.

— Ну-с, — продолжал оратор, солидно и даже с усиленным на этот раз достоинством переждав следовавшее в лифте хрюканье и хихикание. — Ну-с, я пусть свинья, звериный образ имею, а супруга моя — особа образованная и даже кандидат наук. Пусть, пусть я подлец, она же и сердца высокого, и чувств, облагороженных воспитанием, исполнена. А между тем... о, если б она пожалела меня! Ведь надобно же, чтоб у всякого человека было хоть одно такое место, где бы и его пожалели! А жена моя, жена хотя и великодушная, но несправедливая... Не один уже раз жалели меня, но... такова уже черта моя, а я прирожденный скот!

— Еще бы! — заметил, зевая, кто-то из подростков, но тут дверь открылась и они вышли.

Карлсон хотел прихлебнуть из бутылочки, но раздумал.

— Да чего тебя жалеть-то? — подумал я вдруг зло. И даже, кажется, сказал вслух, потому что Карлсон возопил:

— Жалеть! Зачем жалеть, говоришь ты? Да! Меня жалеть не за что! Меня распять надо, распять на кресте, а не жалеть! Но распни, судия, распни и, распяв, пожалей его! И тогда я сам к тебе пойду на пропятие, ибо не веселья жажду, а скорби и слез!.. Господь всех рассудит и простит, и добрых и злых, и премудрых и смиренных... И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и нам: «Выходите, — скажет, — и вы! Выходите, пьяненькие, выходите, слабенькие, выходите, скоромники! Дауншифтеры и сантехники, мздоимцы и неудачники, офисная плесень и бандитское стадо!» И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: «Свиньи вы! образа звериного и печати его; но приидите и вы!» И возглаголят премудрые, возглаголят разумные: «Господи! почто сих приемлещи?» И скажет: «Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего...» И прострет к нам руке свои, и мы припадем... и заплачем... и все поймем! Тогда все поймем!.. и все поймут... Господи, да приидет царствие твое!

Третий этаж — пятый этаж

Лифт вдруг встал на пятом этаже, но на площадке никого не оказалось.

Мы с Карлсоном выглянули, вытянув шеи, но кругом было тихо. Только выла за дверью одной из квартир оставленная в одиночестве хозяевами какая-то большая собака.

— Зачем же я похмелялся пивом? — задумчиво сказал Карлсон. — Нельзя так делать, да и пива всегда очень много выходит. Кстати, и пиво нынче такое, Малыш, что и цвета не меняет, проходя через человека.

— Это интимное, — невпопад сказал я. — Область материально-телесного низа. Я про это стесняюсь, хотя и честный, а то вот моя знакомая всегда прерывалась в разговорах по телефону, если там ей надо было пописать, или чо. Объясняла, что ей стыдно.

Вдруг послышались шаги, и Карлсон в последний момент просунул руку между закрывающимися дверьми. Двери больно ударили его, но в награду к ним в кабину ввалилась звезда подъезда Зинаида Михайловна Даян.

В руках у нее были три банана на одной веточке.

Задорные это были бананы, надо сказать. Но в руках у Зинки все превращалось в нечто задорное, все восставало и плодоносило.

Она принялась и весело посмотрела на нас.

— Что, алкаши, — уже? По случаю праздников или отмечая приход дождливых дней?

— Алчем пищи духовной, — смиренно отвечал Карлсон. — Спросите, почему мы алчем этой пищи, только когда напились этакой дряни? Вот нет бы ее алкать сегодня утром — когда я вышел в ветреную погоду. Ветер рвал парики и срывал шляпы. По небу бежали облака, как беженцы со своими пожитками. Природа сдергивала покрывало листвы, как подвыпивший посетитель — ресторанную скатерть. Наблюдалось буйство красок, и фореитор тряс бородой, как безумный. А ныне набухает дождь, вниз ли нам стремиться или...

— Да мне-то какое дело? — прервала его Зинка. — Я вверх поеду.

— К профессору? — брякнул я.

— Да хоть бы и к нему, — махнула рукой Зинка.

Пятый этаж — шестой этаж

Она нажала на кнопку, а я задумался об удаче профессора. Он был старый, больной, толстый и лысый. И — нате, кроме жены, у него была любовница. Да к тому же сама Зинка.

Но кто был я, чтобы говорить о нравственности профессора? Как-то случился в моей жизни чудесный разговор близ одного вокзала.

Там, за круглым столиком, я стоял с людьми, что были куда старше меня. Разговор их, тлевший вначале, вдруг стал разгораться, шипя и брызгаясь, как шипит мангал, в который стекает бараний жир с шашлыка.

Наконец один из моих соседей схватил другого за ворот капроновой куртки и заорал:

— А сам Пушкин?! Сам Пушкин? Жене — верен был? Скажешь, не гулял на сторону? Не гулял при живой-то жене? Утверждаешь? А за это руку под трамвай положишь?

И правда, рядом звенел по рельсам трамвай за номером «пять».

— А как на Воронцова эпиграммы писать, так можно, и тут же к жене его подкатываться можно? — не унимался тот худой и быстрый человек. — А Воронцов из своих заплатил за наших обжор в Париже! Из своих!.. И тут этот... И ты мне еще выкатываешь претензии? Мне?!

Еще дрожали на столе высокие картонные пакеты из-под молока, еще текло по нему пузырчатое пиво, но было видно, что градус напряжения спал. Снова прошел трамвай, а когда грохот утих, соседи мои забурчали что-то и утонули в своих свитерах и шарфах.

«Вот оно, умелое использование биографического жанра», — подумал я и до сих пор пребываю в этом мнении.

Меж тем лифт приехал на шестой этаж.

Двери открылись, и мы увидели профессора, который поливал огромный цветок, стоящий прямо на лестничной площадке. По всему было видно, что цветок не влезал в его квартиру и остался жить у лифта.

Профессор шлепнул Зинку пониже спины, и она захохотала.

«Три банана, три банана...» — пропел профессор тенором.

Они скрылись в бесконечном коридоре, уставленном каким-то не востребуемым строительным материалом, а нам осталась только пустая лейка посреди площадки.

Карлсон вдруг достал из сумки икейскую баночку с консервированными тефтельками и...

Шестой этаж — восьмой этаж¹

...и бросил тефтельку в рот.

Восьмой этаж — двенадцатый этаж

Карлсон продолжал говорить о влечении женщины к мужчине и влечении мужчины к женщине, а тефтелями со мной не делился. Но тут я вспомнил, что в кармане у меня есть недоеденный Тульский Пряник. Ведь Тульский Пряник — не просто пряник, он круче кнута. Тульский Пряник, Тульский Самовар и Тульское Ружье — вот чем Россия спасется. С нами Бог и Андреевский флаг, как известно.

Тульский Пряник в годину войны был больше, чем пряник. Я в школе читал повесть про одного бойца Красной Армии, что носил на груди, под гимнастеркой, Тульский Пряник — оттого фашисты его не могли убить. Все пули вязли нахрен в Тульском Прянике, и только когда фашисты в последний день войны подобралась к бойцу Красной Армии со спины, случилась неприятность. В этот момент боец Красной Армии кормил на берлинской улице Тульским Пряником голодную девочку, и фашисты выстрелили в бойца Красной Армии из кривого пистолета. Но и тогда у них ничего не вышло — потому что солдат тут же стал бронзовым и превратился в памятник. Впрочем, и девочка тоже превратилась из живой в тот же памятник — и поделом, что русскому — пряник, то немцу — смерть.

Что мне тефтельки Карлсона, когда у меня есть Тульский Пряник (ТП), который все равно что Тульский Токарев (ТТ)?

ТП — это вообще наше все. С ТП все выглядит иначе. Думаешь, что с жизнью то же самое, что и с полимерами, думаешь — край, никто не любит тебя и пригожие девки попрятались в окошки отдельных квартир... Ан нет, оказывается, рядом ТП.

Остроумному человеку, такому как я, ТП просто спасение.

Но пока спасение таяло у меня во рту, Карлсон разбушевался:

— У властных мужчин — длинные руки, а у их властительниц — длинные ноги, — вещал он. — Но Прокруст считал, что и то и другое — поправимо. Но я, сантехник Карлсон, остаюсь дилером Протагора, заверявшего, что «человек есть мера всех вещей существующих как существующих и несуществующих как несуществующих».

Но человека-измерителя, оратора, сообщающего об измеренном теле, часто волнует только эффект. Он может, говорят, прокрасться к береговой линии и прокричать в ямку, что у царя Мидаса ослиные уши. Это иногда приводит к обескураживающим результатам, но тоже является методом. Все дело в том, чего хочет оратор. Я вспоминаю, как посещал места, где воины ислама не брезговали свиной тушенкой, но бывал и по соседству, где смиренные православные миряне вели своих дочерей гордым воинам ислама — за ту же ложку тушенки, видал и тех, что склоняются к униатской облатке при остановке шахт, видел я и язычников, которым нечего сорвать с шеи — они ели тушенку просто так. Тушенка во всех случаях была сделана из давно мертвых советских свиней. Цвет макарон, ее сопровождавших, был сер, а жизнь непроста.

Человек слаб, и все дело в том, чтобы понять — пора ли кончить или все же нужно продолжать. Есть зыбкая грань между мудростью стариков и старческим безумием: я

¹ Когда я записал эту речь Карлсона, то она показалась мне ужасно неприличной, и я предварил ее словами: «Девушкам просьба эту главу не читать». Привело это к тому, что все только ее и читали, а ни в какие другие главы носу не совали. Это меня жутко разозлило, и я выкинул весь текст, кроме слов «и бросил тефтельку в рот».

иногда завидую летчикам, которых каждый год ждет обязательная медкомиссия и что ни день — предполетный осмотр. Непрошедший смотрит на небо с земли. Но специальность, связанная с водой и паром, накладывает на меня дополнительное обязательство — вовремя прийти и вовремя кончить. Мне скажут, что это нормальная мужская обязанность, а я отвечу, что нет, особая.

В жизни сантехника-философа нет медкомиссии, что даст тебе пенделя в сторону неторопливых шахматных боев на бульваре, но не дай мне Бог сойти с ума, ведь страшен буду, как чума — да-да. Тотчас меня запрут — да-да. Как зверька — да-да.

Кому ты нужен тогда будешь — со всей поэтикой старого советского животворящего граненого цилиндра, поэтикой закуски в консервной банке?

В сущности, Малыш, это следствие еще более давнего разговора — не помню с кем. Мне, правда, скажут, что все наши разговоры — продолжение разговора неизвестно с кем. Я соглашусь с этим, зажав жестяную вскрытую банку между ног, держа наготове ложку, — но... Тут остро встает проблема авторства реплик.

Кто сказал, что всякое животное после сношения печально? Кто? Аверинцев или Аристотель? Кто это там пел перед полным залом — ваш Миша Шишкин или Изабелла Юрьева?

И мы никогда не узнаем, кто придумал слова «шехерезадница» и «енот-потаскун».

Говорили мне, что на далеком полуострове Индостан есть специальное дерево с дуплом, в каковое каждый уважающий себя оратор должен крикнуть: «Император ел тушенку, словно свинья!» Существует, однако, вероятность того, что дерево это спилено и из него произведен деревянный истукан, которым подменили президента Ельцина, чтобы проще было продать мою Родину. Самого Ельцина ударили чем-то по голове, он потерял память и теперь дирижирует еврейским оркестром на свадьбах и похоронах. А вот истукан-то и правил столько Россией. Он и придумал серые макароны.

Сила истукана в том, что он обмерен и измерен, у него текел и фарес, и он точно совпадает с прокрустовым ложем ожиданий.

Поэтому Протагор и Прокруст, породнившись детьми, образуют новую семью. Их внук выбирает себе барышень, как говорят в рабочих поселках, — «под рост». Иногда — со смертельным исходом. Чу, кто это там прячется за гаражами? Вон тот, черный, курчавый, кавказец или грек, он уже на мушке... Три банана, три банана, три банана-а-а, путешествие к униженным и оскорбленным, преступление без наказания, братья Карамзиновы. Откуда нам известны все эти песни? Они сохранились, потому что по дороге, нащупывая босыми ногами разбросанные пуговицы, прошел простой русский пастух Ансальмо Кристоаль Серрадон-и-Гутьерра и срезал дудочку из лопухов. Когда он дунул в эту дудочку, оттуда полились песни Колобка. Песнь Первая, Песнь Вторая, Песнь Третья, Лебединая Песнь и Песнь Песней. Оттуда, нет — *оттудова* нам все о жизни и известно.

Об этом нужно все время думать — до полного удовлетворения. Поскольку журнал «Man's Health» говорит нам, что ежели бросить без удовлетворения, то всем кирдык, несчастье и аденома простаты.

Двенадцатый этаж — шестнадцатый этаж

— Вы что-то все время дергаете ногой, — прервал я сантехника.

— Напрасно я утром пиво пил, — заявил Карлсон. — Совершенно напрасно. Слишком много пива. Никуда я не пойду. Краны, крутитесь сами.

— Но как же с чердаком, — перебил я. — Там ведь ангелы, ангелы? Они живут в маленьком домике на крыше.

При слове «ангелы» Карлсон как-то встрепенулся и потянулся к ширинке.

Я понял, что он-то и есть сексуальный маньяк. Тогда я выбросил вперед кулак,

метя ему в нос, но сантехник уклонился, и я с размаху врезал кулаком по кнопкам панели. Лифт дернулся и будто подскочил. Затем он полетел вверх, как ракета с тремя бананами, что несли по тропинкам далеких планет добро, справедливость и польский социализм...

Больше я ничего не успел почувствовать, потому что в голове моей действительно запели ангелы.

Когда я очнулся, лифт уже не двигался. Я был один, никакого Карлсона рядом не было.

И тут я понял, что Карлсон ударил меня по голове. Со стоном я глянул на табло и обнаружил, что лифт стоит на первом этаже.

Двери открылись, и я увидел консьержку. А она увидела, что я стою в лифте рядом с вонючей лужей. Она даже ничего не сказала, нечего ей было говорить, к чему тут слова?

Поэтому я только завыл тоненько: «Юююююююю», — что означало, что все кончилось, кончилось навсегда, и крыши больше мне не увидеть никогда.

Семь лет в Тибете

Художник странствовал по Тибету седьмой год.

Его покинули все шерпы, кроме одного. Так же его оставил верный друг с долгой еврейской фамилией — художник пытался ее запомнить, да как-то она выходила все время по-разному.

Впрочем, фамилия самого художника была тоже не русской, а вовсе варяжской. Звали его Карлсон. Оттого он часто изображал на своих картинах варяжских гостей на тяжелых кораблях и норманнов, княживших в Киеве.

Но с некоторых пор его начали привлекать другие пейзажи. Превращение произошло с ним мгновенно и по неизвестной причине. Теперь он рисовал сиреневые и фиолетовые горы, закаты и восходы в стране, которую никогда не видел.

Наконец он выбил себе право на путешествие — впрочем, это было больше, чем путешествие. Это была экспедиция, хотя, правда, экспедиция с обременением.

В качестве попутчика, от которого нельзя отказаться, ему навязали бойкого молодого человека с еврейской фамилией, которую Карлсон тут же перепутал — в первый раз.

Звал он своего надзирателя и заместителя по имени, благо они были тезками.

А про себя именовал его просто — Малыш, за малый рост и резвость. Молодой человек был знатоком поэзии и расшибал бутылку из револьвера в пятидесяти шагах.

Он вообще оказался не промах — свободно говорил с персами по-персидски, с индусами по-индусски, а с шерпами на том языке, название коего Карлсон даже не желал знать.

Карлсон топтал горные тропы, а по ночам ему снились лазоревые и фиолетовые сны. Он видел острые пики гор, вытянутые камни, поставленные на развилках дорог, и статуи неизвестных ему богов.

Когда он, проснувшись поутру, переводил эти видения на холст, горные мошки залипали в краске и оставались в пейзаже навсегда.

Итак, даже Малыш покинул его. Малыш и раньше оставлял караван, чтобы вернуться через пару дней или неделю, а теперь пропал навсегда. Карлсон стал подозревать, что у него было какое-то свое, государственное дело, и он был нужен Малышу лишь для вида.

Но теперь он исчез со всеми своими вещами.

Однако Карлсон не ощутил болезненного укола от предательства.

На следующий же день после исчезновения Малыша Карлсон обнаружил

огромную пещеру в скале. Шерпа отказался идти за ним. Шерпа положил мешок с холстами и красками в свинцовых тюбиках и просто ушел — молча, не оборачиваясь.

Карлсон ступил в пещеру и начал спускаться по длинному ходу.

Трещал и чадил факел, свернутый из какой-то картины.

Когда он почти потух, лаз озарился светом.

Карлсон увидел огромный зал, заполненный тысячами бритых монахов.

В глубине этого зала, на возвышении, освещенный странным светом, лиловым и розовым, стоял огромный лингам.

Конец его терялся у высоких сводов.

И тут он услышал над ухом тихий голос Малыша:

— Коля?

— Ну?

— Помнишь, в 1912 году, в «Бродячей собаке», человек за соседним столиком послал тебя на ...?

— Ну...

— Так вот, ты пришел.

Обряд дома Свантессонов

Это было время, когда я женился во второй раз.

Жена моя была хоть небогата, но зато молода и хороша собой. Хорошо ощущая свой возраст, я хотел успеть насмотреться на прекрасное — хоть и без, может быть, полного обладания оным.

Я давно оставил практику, и мои литературные заработки были достаточны для того, чтобы увидеть мир сквозь пенсне, а не через прорезь прицела.

Мы с женой отправились в кругосветное путешествие, которое продлилось целый год.

Вернувшись в Лондон знойным летом, я обнаружил, что на новой квартире меня ждет письмо от старого друга. Стоя посреди оставленного рабочими мусора, я принялся его читать.

«Дорогой Ватсон, — писал мой друг. — Судя по тем заметкам о наших колониях, что вы пишете для литературного приложения к “Таймс”, ваши странствия близки к концу. И если вы читаете мою записку, то сегодня вы снова в Лондоне, и мое письмо не затерялось среди счетов за ремонт, который, право же, не вполне удачен. Возможно, вы захотите тряхнуть стариной и помочь мне в одном деле, впрочем, еще хотел передать...”» — далее следовали неуместные приветствия моей супруге.

Признаться, хоть я и был утомлен дорогой, но сразу же позвонил на Бейкер-стрит. Я знал, что мой друг не любит пользоваться телефоном, но так было быстрее.

Мне ответила экономка, которую, как я слышал, взял Холмс после той истории, что произошла с миссис Хадсон. Мы ничего не слышали о миссис Хадсон после известного дела о *хромом жиголо*, которое я тогда называл «Дело о резиновой плетке». Миссис Хадсон, право, не стоило бы обижаться и исчезать так внезапно.

Мисс Тёрнер оказалась говорлива, однако ее немецкий акцент был таков, что я не разобрал ни слова. Казалось, сейчас она порвет мембрану своим резким голосом.

На следующий день моя жена уехала к родным с визитом, а я отправился к месту, где прошло столько беспокойных лет и где я когда-то обрел новый смысл жизни.

Улицы были забиты автомобилями, а мальчишки-газетчики, вопя, продавали свежий номер бульварного листка.

Они кричали о войне в Китае, и я подумал, что на этот раз у нас хватит ума не вмешиваться.

Впрочем, воевали теперь везде — в Абиссинии и Монголии, кажется. Военная гроза набухла в Югославии, немцы заявляли претензии на чешские земли.

Мир в очередной раз сходил с ума, и я подумал, что прелесть моего возраста позволяет надеяться, что все это пройдет уже без меня.

Мне открыла дверь девица, на которой ничего не было, кроме кокетливого кружевного фартучка и белой накладки на голове. На ногах, Впрочем, были золотые туфельки. Сложением девица отличалась безукоризненным, но я привык ничему не удивляться и молча поклонился. Мисс Тёрнер проводила меня в комнаты.

Мой добрый Шерлок встретил меня, утопая в табачном дыму, как в подушках.

— Поглядите, что у меня тут!

Он держал в руках трость.

— Что скажете?

Я принял из его рук трость и всмотрелся. Надо было вспомнить все ужимки моего друга и подыграть старику. Поэтому я начал:

— Обладатель — явно врач. Тут написано: «На память от хирургов Абби-Роудской лечебницы». Кажется, на пенсии... Ну и решил навестить нас, чтобы сообщить о злодейском преступлении.

— Вы забыли, что тут следы какого-то животного. И это, я думаю, собака.

— Знаете, мне кажется, что я видел эту трость раньше.

— Мне тоже так кажется, но годы берут свое. Не помню ничего. Память ни к черту.

Тут зазвенел колокольчик.

В комнату к нам не вошел, а я бы сказал «впал» юркий тощий старик. Когда он заговорил, я понял, что неразборчивая речь мисс Тёрнер была сущей диктовкой священника в приходской школе по сравнению с этими звуками. Старик запинаясь, бормотал в нос, вскрикивал, выронил из кармана какую-то старую рукопись и, наконец, умоляюще протянул к моему другу руки.

— Ни-че-го не понимаю, — выдохнул я.

— Аналогично. Но ясно, что перед нами доктор Мортимер, он приехал с каких-то пустошей рассказать нам о древних легендах. Мы спасем кого-то и поедем в оперу слушать «Гугенотов», Впрочем, опоздаем ко второму действию и будем просто пить у камина.

Раздался телефонный звонок, но Холмс не обратил на него никакого внимания.

Доктор Мортимер подобрал с пола свою рукопись и произнес, уже обращаясь ко мне:

— Над домом Свантессонов тяготеет старинное проклятие. Древние боги выбрали первого из рода Свантессонов своим слугой, и теперь Свантессоны должны хранить специальный ключ, которым откроют дверь в египетской пирамиде.

— Мне знакомы эти истории, — усмехнулся я. — Это из романа с продолжением, который печатает какой-то заокеанский сумасшедший в литературном приложении к «Таймс», и редакторы часто просят сократить мои записки, чтобы ему досталось побольше места.

— Я бы не стал относиться к этому так иронически, — обиделся Мортимер. — Мой сосед, старый Свантессон, прочитав все это, с изменившимся лицом побежал к пруду близ пустоши, а наутро его нашли на берегу бездыханным.

— А кто-то поднялся, так сказать, из пучины вод?

Доктор Мортимер посмотрел на меня с укором.

Холмс же развеселился, запыхтел трубкой и велел мне подняться по лесенке к самой верхней полке и прочитать вслух 234-ю страницу справочника сквайров Йеллоустонских болот. Кряхтя, я поднялся на стремянку и достал эту книгу, но читать отказался — так мне хотелось скрыть одышку. Тогда он раскрыл книгу сам, и мы услышали короткую историю жизни Свантессона Дж.Г.П., наследника

одиннадцатого баронета Среднего Суссекса, члена Королевского общества воздухоплавания, путешественника и коллекционера антиквариата, автора книг «Вокруг света на воздушном шаре за 800 дней» и «Инвестиционные опыты, или Пятьсот миллионов господина Бегума», автора «Записок воздухоплавательского клуба» (тут Холмс зачастил), вдовца (тут Шерлок просто закончил перечисление «бла-бла-бла»).

— Что-то я слышал об этом... Или видел...

— Прекрасно! — воскликнул Холмс. — В нашем возрасте есть особая прелесть — мы всё уже видели.

Снова затарахтел телефон, мисс Тёрнер поманила Холмса, и он скрылся за портьерой.

— Итак, — заявил он, вернувшись. — Мой брат Майкрофт тоже настаивал, чтобы я поехал. Вы ведь знаете, что он теперь правая рука этого неопрятного толстяка, что метит нынче в премьеры.

— Это все партия войны, — вставил доктор Мортимер.

— Какой войны? — спросил я.

— Вас, доктор, никто не спрашивал, — прикрикнул Холмс.

— Меня?! — воскликнули мы хором.

— Вас обоих. Мало мы видели войн на нашем веку?

— Довольно много. И что вы ему ответили? — полюбопытствовал я.

— Есть предложения, от которых не отказываются.

— Даже если вас голого привезут во дворец к королю Георгу? Ну ладно, ладно, — завернутым в простыню?

— В простыню — это унижительно. Лучше вовсе голым. Но мне не хотелось бы повторять этот опыт — там ужасно дует.

Наутро мы выехали в Свантессон-холл, подобрав по дороге молодого Свантессона. Это был испорченный молодой человек, каковых много расплодилось после Великой войны. Он принадлежал к поколению, что пользовалось избыточным женским вниманием после того, как лучшие сыны империи пали под Верденом и на Среднем Востоке.

Наследник был одет будто попугай-малыш, но доктор Мортимер объяснил мне, что он приехал из Австралии и все антиподы там так ходят. Действительно, было в нем что-то изнеженное, как в кошке, что носят барышни в корзинках.

Покинув поезд, мы наняли машину, которая, звеня и подпрыгивая, понеслась по дурной дороге.

Казалось, наша компания покидает прекрасный мир современной цивилизации и погружается прямо в Средневековье. Освещенная скудным солнцем железнодорожная станция осталась позади, и теперь перед нами была серая и угрюмая местность. Ключья тумана летели через дорогу, лес сменился однообразными болотами. Там что-то ухало, раздавались вой и крики. Наконец показался замок, и вид его радости мне не прибавил. На высокой башне был установлен прожектор, но он мне казался глазом какого-то ужасного существа, что поминутно обшаривает своим взглядом окрестности.

Холмс был невозмутим и по приезде сразу завалился спать.

Наследник уныло бродил по замку и даже не удосужился поглядеть на мертвого дядюшку, который пока хранился в погребе.

За завтраком мы сошлись за длинным дубовым столом. Наследник пожаловался на жизнь, в которой претерпел множество лишений. Семья его держала в черном теле, и у него не было даже собаки. Вдруг он разрыдался и покинул нас.

Через некоторое время зазвонил колокольчик, и появилась жена дворецкого. Она прислуживала нам за завтраком. Сам дворецкий то и дело пробегал через залу с озабоченным видом, бросая на нас таинственные взоры — мне дворецкий сразу не

понравился. Мой жизненный опыт говорил, что все дворецкие — убийцы. И все время думаешь, что ты их где-то видел.

Холмс задумчиво курил, не притрагиваясь к еде.

Зато доктор Мортимер повеселел и ел за троих.

Когда мы разошлись по комнатам, я заснул, как только моя голова прикоснулась к подушке.

Следующий день показался мне таким же тоскливым, как и пейзаж за окном. Мы напились с наследником и развлекались стрельбой по воронам. Потом Холмс взял нас на прогулку, он хотел осмотреть место смерти прежнего владельца замка.

Оказалось, что это поле рядом с болотом. На краю поля располагался пожарный пруд, а рядом стоял гигантский ангар, в котором сэр Свантессон строил свой самолет (по рассказам доктора Мортимера выходило, что несчастный был помешан на полетах). Никаких признаков насильственной смерти на трупе не было обнаружено — он явно пал жертвой несчастного случая. Винт одного из моторов сорвался и пробуравил его тело.

Холмс не стал рассказывать, что уже получил по почте полицейский снимок этой трагедии. На нем несчастный Свантессон выглядел даже комично — со своим пропеллером в спине. Но информированность не всегда нужно демонстрировать, и я мысленно аплодировал другу...

Дворецкий показал нам все с ужимками завязтого чичероне.

Самолет был недостроен, хоть воздушный винт и вернули на место. Холмс поднял голову и увидел на кабине неровные буквы — мы поняли, что даже надпись на фюзеляже была недописана. Дворецкий, смутившись, пояснил, что старый лорд хотел назвать его в честь покойной жены Рейчел.

Весь оставшийся день Холмс бегал по усадьбе, как ищейка.

Мы снова напились с наследником, и теперь меня уже не пугали уханье и стоны на болотах. Тем более, доктор Мортимер объяснил нам, что это обычное явление, когда на поверхность вырываются пузыри скрытого внутри газа.

Добрый доктор прочитал нам описание довольно бессмысленного обряда посвящения, и наследник послушно повторял за ним слова. Затем на юношу надели коническую шапочку, и он поклялся в случае опасности для человечества установить внутри пирамиды то, что ему принесут другие посвященные.

Все с облегчением вздохнули и разошлись.

— Не нравится мне этот доктор Мортимер, — задумчиво произнес Холмс, когда мы остались наедине.

— Почему же?

— Не знаю, — ответил Холмс. — Пока не знаю. У него странная фамилия, что-то в ней отдает смертью. Вообще у меня сложные отношения со всеми, кто на «М».

— Ну, мне тоже кажется, что я его где-то видел, но это не повод. Знаете, Холмс, я ведь служил в Афганистане с прекрасным человеком, Себастьяном Морраном, он как-то вынес меня с поля боя. И тогда никакая буква «М» мне не мешала, а потом я стукнул его по голове рукояткой револьвера, его судили, чуть не повесили, и только тогда ваши опасения насчет буквы оправдались. Но кто настоящий Морран? Когда он был им: когда спас меня, или когда... — язык у меня немного заплетался.

При этом я разглядывал фотографии на стене, что давно победили в цене живопись.

С появлением простых фотографических аппаратов я тоже пристрастился к этому занятию, как ни мешали мне мои дрожащие руки старика. Я заметил:

— Люблю фотографировать детей. У жены есть дочь от первого брака, она чудесно вышла на снимке, когда в саду, на качелях...

— Знаете, Ватсон, я бы рекомендовал вам поостеречься.

— Чего?

— Того.

— Да как вы могли подумать?

— Я всегда думаю, но, увы, другие люди чаще всего говорят, не подумав.

Я обиженно замолчал, а Холмс уставился на стену с фотографиями.

Это были снимки француза Фавра. Старый Свантессон на них был изображен в корзине воздушного шара, затем на крыле старинного самолета, потом в кабине самолета поновее, и вот он уже стоял на траве, подпирая стропы парашюта.

На одной из фотографий я узнал дворецкого, что потешно запутался в веревках аэростата, на другой — доктора Мортимера, оказывающего дворецкому первую помощь.

Самая большая запечатлела огромный четырехмоторный бомбардировщик в ангаре — крылатый вестник смерти, который стал причиной смерти своего творца.

«Наследник вряд ли будет достраивать самолет, — подумал я. — Он вообще странный и что-то слишком часто по пьяни лезет ко мне целоваться. Впрочем, в Австралии, верно, принята такая фамильярность».

Вдруг мой друг стремительно подошел к фотографии, висевшей на стене, и быстрым движением закрыл все лица, кроме одного.

Я выдохнул:

— Вот так и поверишь в переселение душ.

— Да, недаром он был на букву «М», — это Мориарти.

— Но Мориарти мертв.

— Это сын Мориарти, Ватсон. И теперь нам предстоит понять, с какой целью нас сюда завлекли. Впрочем, и так понятно. Нам, вернее — мне, хотят отомстить... Это месть, и наверняка слово «Rache» написано не краской, а кровью. Я, кажется, это уже вам говорил, но не помню когда. В возрасте есть свои преимущества — вы тоже этого не помните, и я могу повторять остроты дважды.

— Все в мире повторяется дважды, — примирительно сказал я.

— Хорошая мысль. Вполне литературная. Кстати, вы заметили, что мы с вами похожи на двух героев Сервантеса?

— Я вовсе не так толст, Холмс.

— Это неважно. Я имею в виду, что все герои ходят парами — дон Кихот и Санчо Панса, у всякого Данте есть свой Вергилий, у этого... Забыл... Неважно. Помните, как лет десять назад какой-то бельгиец со своим товарищем, капитаном Гастингсом, приходили ко мне за консультацией? Я поймал себя на мысли, что они похожи на нас. Этот Гастингс так же простодушен, как и вы, а этот бельгиец с усами... Дурацкие усы у него были... Впрочем, это все пустое.

Все ходят парами, и все повторяется — тут заключена разгадка нашего сюжета, но я не могу пока понять, в чем она. Я, кажется, уже когда-то разгадал ее, но забыл ответ.

Вечером второго дня мы снова сошлись за обеденным столом и говорили о будущей войне. На обед был приглашен и сосед, мистер Хайд, коренастый человек средних лет, само лицо которого говорило, что большую часть времени он проводит на открытом воздухе.

Доктор Мортимер пересказывал нам новую радиопостановку.

— Представляете этих писак, что сочинили пьесу, в которой начинается газовая атака на Лондон, Британия гибнет, и только немногочисленные жители выживают в подземке? — горячился доктор Мортимер. — Живут там, как крысы... Как крысы!

Мне показалось, что он находит в этой картине какую-то поэтическую красоту.

— Победа будет определяться в воздухе, — вставил свое слово наследник. — Доктрина Дуэ...

Холмс согласился, но рассказал при этом остроумную историю про одного французского пилота, который в шестнадцатом году по ошибке разогнал свою же кавалерию.

— А вообще, врага нужно вбомбить в каменный век.

— Позвольте, — воскликнул Мориарти. — С женщинами и детьми?! Без разбора?

— Это бремя белых европейцев. Мы — силы добра, нам это позволено.

— Да какие силы добра! Помните Афганистан?

Я-то много что помнил об Афганистане, но тут даже дворецкий пожал плечами. Что-то и он помнил.

— Мы служим спокойствию.

— А кому нужно это спокойствие?

— Спокойствие наших границ обеспечивают Королевские военно-воздушные силы.

— Кстати, я решил, что хочу продать этот глупый самолет. Все равно он не летает, — вдруг сказал наследник. — На вырученные деньги проведу здесь электричество, телефон, центральное отопление...

Холмс посмотрел на него внимательно:

— И покупатель нашелся?

— Вот-вот придет. Прекрасная цена, отличные условия, увезет сам.

Холмс только покачал головой.

В этот раз прислуживал один дворецкий, и наконец, он принес жаркое.

— О! Наверняка у вас есть овцы, — занеся над тарелкой вилку, вдруг обратился к мистеру Хайду Холмс.

— Да! Две прекрасные отары.

— Скажите, не было ли у вас в последнее время проблем с ними?

— Точно. Несколько из них внезапно исчезли, но потом к моим приبلудились две новые. Я думал, что это овцы мистера Джекила, но он все отрицал, и я списал этот случай на ошибку в счете.

Доктор Мортимер в этот момент очень расстроился. Видимо, ему было неприятно, что его апокалиптические сценарии будущего нам оказались неинтересны, в отличие от овец.

Но я, однако, задумался о другом: не написать ли об этой жизни после газовой атаки роман с продолжением — жизнь в каменных склепах лондонской подземки, драки за еду и женщин, подземная империя. Морлоки.... Нет, про морлоков кто-то писал, но я уже не вспомню кто. Морлоки — и слово-то какое скользкое, как тропинка в здешнем болоте.

Правда, тут же Холмс наклонился ко мне и тихо попросил удержать всех присутствующих в столовой каким-нибудь разговором.

— О чем? — удивился я.

— Да о чем угодно. Хотя бы о Нюрнбергских законах.

Я исполнил его просьбу, и мы два часа спорили до хрипоты, да так, что нас разнимал дворецкий. Особенно усердствовал мистер Хайд — можно сказать, что он просто вышел из себя.

Холмс вернулся откуда-то довольный, но в порванных штанах.

Он снова отозвал меня в сторону и сказал:

— Теперь я почти уверен, что наследник — не тот, за кого себя выдает. Мне нужно съездить в местное почтовое отделение, где у меня назначена встреча, которая разрешит все мои вопросы. Помощи до завтра вам ожидать не от кого, но вы, Ватсон, уж держитесь тут. Кстати, как вас там называл этот бельгиец?

— Знали бы вы, Холмс, как меня бесит, когда иностранцы называют меня то Уотсон, то Ватсон, то и вовсе Хадсон.

Друг мой уехал прочь, а я стал думать, как занять себя.

В отсутствие Холмса я сам решил что-нибудь расследовать. Толчком к этому было то, что мы снова дегустировали с наследником виски.

Меня давно занимало, куда все время пропадает доктор Мортимер. Его лаборатория находилась в дальнем крыле замка, и я решил прокрасться туда тайком и понять, что за опыты он там ставит. Возможно, он вызывает умерших или световыми сигналами приманивает тех самых духов болот. На наследника я теперь не мог положиться, и взял с собой дворецкого — по крайней мере, я ничего не знал о нем дурного, кроме того, что он был дворецким.

Мы прошли длинным гулким коридором и наконец увидели свет в конце этого туннеля. Свет был синеватым и явно искусственного происхождения.

Дворецкий дышал мне в ухо, и что-то мне это все напоминало, но я не помнил что.

Я потянул на себя дверь, из-за которой струилось синее свечение, и вошел. Передо мной была типичная университетская лаборатория, но оборудованная в башне под стеклянным куполом. Два операционных стола под стеклянными колпаками, множество приборов, включая странное сооружение в углу. Да, такого я никогда не видел — из медицинского инструментария моей юности я узнал только огромную бестеневую лампу и мириады пробирок на столиках. Рядом с аспидной доской был зачем-то повешена огромная фотография овцы.

Никого в гулком помещении не было, однако я на всякий случай полез в карман за револьвером, чтобы встретить хозяина наготове.

Но тут в моей голове что-то взорвалось, и кафельный пол, стремительно приблизившись, ударил меня в лицо.

Я очнулся в тот момент, когда дворецкий заканчивал привязывать меня к столу ремнями.

Где-то я слышал это сопение, это тяжелое дыхание. Точно! Полковник Себастьян Морран дышал так сорок лет назад, когда тащил меня, раненого, после неудачной атаки на лагерь горцев.

— Это вы, полковник? — пошевелил я губами, и он кивнул мне, улыбнувшись.

Годы не прошли для него бесследно — то-то я не узнал его в старом дворецком.

С другой стороны ко мне подходили доктор Мортимер с наследником. Как я мог пить с этим негодяем — непонятно.

Я понял, что собралась вся шайка.

— Я не люблю, когда они кричат, — раздался голос доктора, и мне заклеили рот пластырем.

После этого они ушли — не то совещаться, не то просто помыть руки перед неведомой, но ужасной операцией. В этот момент я по-новому стал понимать слова «хирургическое вмешательство».

Внезапно в тишине, где-то сверху, раздался тихий треск стекла.

Через мгновение оттуда свесилась длинная веревка, и ее конец больно ударил меня по носу.

Как я и думал, по ней практически бесшумно спустился мой друг. Я хотел его предупредить, но пластырь позволил мне только промычать о грозящей ему опасности.

Из тьмы на Холмса бросились полковник с наследником, и последний в драке показывал чудеса ловкости.

Холмс применил столь излюбленные им приемы восточной борьбы «боритцу» и почти вырвался из рук злодеев, но в этот момент я почувствовал холодную сталь на своем горле и услышал голос доктора Мортимера.

— Не сопротивляйтесь, мистер Холмс, иначе ваш друг умрет.

Я подумал, что мы все равно умрем оба, но, скосив глаза, увидел, как Холмс покорно дал себя схватить. Его уложили на стол, стоявший рядом, и тоже начали привязывать.

— Знаете, в чем была ваша первая ошибка? — спросил мой друг невозмутимо.

— Ах, да, — ответил доктор Мортимер, — Я совсем упустил из виду: всегда надо напоследок поговорить. И в чем же?

— Вы пришли ко мне с тростью настоящего доктора Мортимера, который, очевидно, стал вашей жертвой. Но мне было видно, что вы лишь притворяетесь стариком. Вы молоды, Мориарти, — слишком молоды для себя.

Моррана я узнал сразу, только не подал виду. Однако и я сделал ошибку. Ватсон, тот, кого я принимал за сына Мориарти, на самом деле и есть Мориарти.

Я замычал от непонимания. Проклятый пластырь! О чем это Шерлок? О чем это он говорит?

Меж тем Холмс продолжал:

— Тот человек, Ватсон, кому вы тогда стукнули по голове рукояткой револьвера, попал на каторгу, сошелся там с безумным русским химиком Игорем и проникся его идеями воскрешения. Нет, конечно, в традиционном смысле он не мог воскресить Мориарти, потому что тело профессора было раздроблено на мельчайшие частицы волнами Рейхенбахского водопада, но от него осталось несколько зубов, выдернутых в прежние времена дантистом, образцы крови и слюны, которые он выкрал с Бейкер-стрит, и еще кое-что. С помощью этого сумасшедшего гения Игоря Морран построил клонатор. Да-да, там, за вами — клонатор, Ватсон. Ах, я забыл, что вы не видите, простите. Это устройство для выращивания людей из протоклеток.

Итак, полковник Морран мечтал воскресить своего старшего друга. Хотя у него были зубы и засохшая кровь, но в итоге злодея воссоздали из единственного волоса, оставшегося на шляпе. Теперешний профессор куда моложе своего прототипа, но гораздо опаснее.

— Все верно, Холмс, вы всегда были догадливы, — Мориарти заухал, будто марсианин.

— А несчастный лорд Свантессон пал жертвой интереса вермахта к новому бомбардировщику?

— И тут вы угадали, мой любезный враг.

— Угадал?! Вы обижаете меня. Я вычислил это! Это стало ясно, как только я узнал о его продаже. Германский агент Гофеншифер сегодня задержан близ замка. Он спрыгнул с парашютом неподалеку от имения леди Астор и пробирался сюда, чтобы угнать самолет и вывезти всю шайку на континент. Ведь я сразу понял, что творение лорда Свантессона вполне готово к взлету. К тому же любой любопытствующий мог убедиться (вы, кстати, Ватсон, отказались), поглядев в генеалогическом справочнике, как звали покойную жену Свантессона. Никакой Рейчел не было, ее звали Гертруда, а умирающий лорд хотел предупредить меня, что вы, Мориарти, хотите мне отомстить. Ведь «Rache» по-немецки — месть.

Я почувствовал, как задрожал скальпель смерти у меня на горле, но вдруг доктор-злодей отшвырнул его.

— Черт! Гофеншифер арестован. Но и это не помешает нам...

Мортимер-Мориарти стал мерить быстрыми шагами лабораторию.

Пластырь мешал мне, и в этот момент я вспомнил мимическую гимнастику, которую каждое утро проделывала моя жена перед зеркалом. Пара минут гримас, и пластырь отвалился.

Холмс продолжал:

— Потом я навел справки о наследнике, и сегодня из Австралии пришел подробный отчет — никакого наследника нет, и вообще, Ватсон, тот, с кем вы пили — женщина. Поэтому вы никогда не видели его одновременно с женой дворецкого.

— Женщина? Да она пьет как лошадь, — воскликнул я и тут же получил от наследника пощечину.

Фальшивый доктор Мортимер наконец остановился и произнес:

— Так или иначе, Холмс, ваше время кончилось. Наш век уже не век пара, а век дизеля.

— Жаль, тот мне нравился больше. По крайней мере, запах угля мне был более приятен, чем этот.

— Каскад остроумия! Знаете, все речи, которыми обмениваются герой и злодей — одинаковы. Мы с вами не первый раз выговариваемся перед публикой. После чего ваш доктор присочиняет к нашим откровениям что-то такое, отчего его читатели считают, что добро лучше зла. Но никакого добра нет, да и зла тоже. Да и какое вы добро, Холмс? Вы наркоман, упивающийся властью над людьми. В итоге такие, как вы, выпустят вожжи из рук, империя растает, как сахар в чашке, и ваши дети... Да какие у вас дети? Вы одно сплошное недоразумение. В вашем возрасте вас и убивать не надо... Впрочем, сейчас я начал бы с Ватсона — его, к примеру, можно сделать женщиной. Я не очень еще преуспел в этой процедуре, и тем это будет интереснее.

Мориарти взял новый скальпель в руку и сделал знак своей сообщнице. Она потянулась к выключателю. «Сейчас в мои глаза брызнет яркий свет, и все закончится», — подумал я. Мысль о превращении в женщину я отогнал. Иногда джентльмену лучше умереть.

В это мгновение я услышал тихий голос моего друга: «Постарайтесь закрыть глаза, Ватсон. Большую часть стекол на нашем пути я убрал, но могли остаться осколки».

Не понимая, к чему это он, я послушно закрыл глаза, и тут же услышал оглушительный взрыв. Меня подбросило вверх, и я почувствовал, что кувыркаюсь в воздухе над башней. Следом за этим небо треснуло, и надо мной с шорохом раскрылся купол парашюта. Через мгновение рядом со мной появился такой же купол, под которым болталась доска с моим другом.

Мы приземлились на поле неподалеку от замка, и сразу же передо мной возникло устатое озабоченное лицо в форменной шапке. Дохнуло перегаром.

— Шотландец, — сообразил я.

Солдат освободил меня от ремней. Рядом уже стоял Холмс и облегченно улыбался.

— Дорогой Ватсон, всю жизнь я клянусь не использовать вас в качестве живой приманки, и каждый раз нарушаю свое слово. Нельзя было позволить этим негодяям разбежаться, впрочем, и я был такой же приманкой. Простите меня, мой бесценный друг...

— Но как, черт побери...

— Я же говорил вам, что самолет покойного лорда Свантессона был совсем готов. В нем он применил остроумное устройство для спасения экипажа от падения вместе с летательным аппаратом: под креслами пилотов находился пороховой патрон, соединенный с парашютной системой. Мне понадобилась пара часов, чтобы установить их в лаборатории — ведь я понимал, что те два хирургических стола были предназначены для нас. Главное в этом плане было не двигаться: для этого пилоты сами привязывают себя к креслу, а нас с вами привязали враги, и довольно основательно. Еще я подсоединил запал к выключателю лампы над ними... Кстати, вы не помните, почему выключатель есть, а включателя нет? Какая-то тут тайна.

— Так они — немецкие шпионы? — перебил я Холмса. — Они хотели похитить секреты нового аэроплана?

— Это же элементарно, Ватсон, наконец-то до вас дошло. Но этот аэроплан — лишь часть разгадки. Главное тут, конечно, клонатор. Представляете себе устройство, которое может каждый день производить сто новых солдат? А сто таких устройств? Тысячу?

— А теперь клонатор погиб при взрыве?

— Надеюсь, да — как и вся шайка этих разбойников. Но я специально попросил Майкрофта прислать шотландских гвардейцев, и он меня прекрасно понял. Они из усердия разломают там все до основания, и никто не уйдет живым. Человечество, конечно, не избавится от идеи вырастить человека из пробирки, но это произойдет нескоро. Одним словом, мы с вами живем в страшные времена, когда ни в чем нельзя быть уверенным. Никому нельзя верить...

— Но вам-то можно?

— Мне — можно.

В лесу заухала сова.

— Да и совы — вовсе не то, чем они кажутся, — произнес Холмс задумчиво.

Наконец, он вздохнул и отряхнул щепки с платья.

— Но главное, — заключил Холмс, — я окончательно уверился в том, что все люди на земле парны.

— Да это учение об андрогинах, ему три тысячи лет.

— Нет, смотрите, Ватсон, мы с вами пара, дополняющая друг друга. Мориарти со своим снайпером — пара неразлучников, будто разноцветные попугайчики. Я однажды написал об этих попугайчиках целую монографию... Но я не об этом. Бельгиец с его глупыми усами парен своему товарищу. Мы все — будто повторение дон Кихота и Санчо Пансы — не обижайтесь, дорогой друг, я не знаю, что обиднее, и, кажется, это самокритичное именно для меня сравнение.

Кстати, обряд дома Свантессонов мне понравился — в нем есть какое-то полоумное веселье: ключ, египетские древности, конические шапочки... Пришельцы из болот... Вы бы написали про это роман «Тайна пирамид» и все такое. Одним словом, все сюжеты повторяются, и все мы — будто Диоскуры.

— Но Кастор и Поллукс были близнецами.

— Мы и есть близнецы-неразлучники. Кому-то из нас Зевс дал бессмертие, и он поделился с братом, и вот мы — то живы, то мертвы, потому что бессмертия на двоих не хватает. День жив один, а другой день жив второй брат.

— Это слишком сложно для меня.

— Неважно, это мне рассказывал один немец из Киля, он думал, что эта теория сделает переворот в физике. Теперь ему на пятки наступают другие безумцы, которые считают, что ничего узнать наверняка невозможно.

— Но мы так не похожи, я бы не стал припутывать к этому близнецов.

— Близнецы — это по части доктора Мортимера.

— Боюсь, нам нескоро удастся с ним поговорить.

Стоя у земляного вала перед Свантессон-холлом, мы наблюдали, как шотландцы ползут по приставным лестницам на стены. Звучали выстрелы и взрывы, гулко отдававшиеся в коридорах Свантессон-холла. Мистер Хайд с воплями гнал прочь своих овец. Шла обычная для британской провинции жизнь.

Холмс набил трубку табаком и перед тем, как воспользоваться зажигалкой, подаренной ему последним русским царем, заключил:

— Если бы я был глупым газетчиком, то сказал бы сейчас что-нибудь пафосное. К примеру, что скоро поднимется ветер и мы не досчитаемся многих.

— Холмс, вы это уже говорили — лет пятнадцать назад. Или двадцать — не помню...

— А, ну тогда можно. Хорошее — повтори, и еще раз повтори. Ветер, это будет холодный колющий ветер, и многие не выдержат его ледяного дыхания. Так хорошо?

— Звучит прекрасно.

— Знаете, все эти годы я тщательно скрывал от вас, что ненавижу оперу, но вот сейчас решил сам предложить: если мы поторопимся, то успеем... Куда-то мы должны были успеть... Эти наши обряды так утомительны.

— А, Холмс? Что?

— Отлично, вы тоже не помните. Давайте лучше просто посидим у камина! Едем скорее в Лондон!

Я кивнул, и мы пошли к станции, слыша за собой непрекращающуюся канонаду.

Ему двадцать лет

Он любил эту закрытую частную школу больше, чем дом. В доме все было неладно после того, как родители погибли. И школа заменила ему родителей.

Сначала ему говорили, что они погибли в автокатастрофе. Он придумал картину происшествия сам, исходя из звука самого слова. Слово «автокатастрофа» было длинное, оно шелестело и распадалось медленно, каталось на языке точь-в-точь, как «вольво» отца, — там, на северной дороге, когда отец попал в туман.

Но потом, когда он подрос, ему открыли страшную тайну — все было не так: родители сорвались с лестницы, когда полезли его спасать. Еще совсем крохотным Малыш забрался на крышу, и родители, увидев там мелькающее пятно его рубашки, полезли за ним.

Старая железная лестница не выдержала, и папа с мамой упали в мрачное пространство двора.

Малыш тоже упал — но только на верхний балкон. Боль удара вытеснила из сознания все обстоятельства этой трагедии и, как Малыш ни пытался, вспомнить он ничего не мог.

С тех пор ему иногда казалось, что призраки его родителей должны ему помогать. Но никто ему не помогал, и даже никто не являлся во снах.

А ведь он надеялся на то, что отец когда-нибудь сгустится из солнечного света и облаков за окном.

Малыш теперь был одинок, вернее, он жил с дядюшкой Юлиусом, переехавшим в их дом. Фрекен Бок давно вышла за него, и теперь они вместе пили коньяк по утрам.

В доме все было покрыто тонким слоем пыли, везде был запах тлена и разрушения.

А в школе, пусть там и был беспорядок, всюду царила жизнь.

Малыш прижился в школе и никогда не хотел уезжать из пансиона на каникулы.

Дядя Юлиус глядел мимо него, нос его был похож на фиолетовую картофелину.

— Это все оттого, что ты упал тогда с крыши... Если бы твоя бедная мама...

Это он говорил напрасно. В этот момент в Малыше просыпалась огромная крыса-ненависть, что скребла лапками по сердцу.

От этого чесался и горел шрам на виске, уже давно стершийся, едва видимый.

Он с отличием окончил следующий класс, и директор школы подарил ему волшебную палочку — игрушечную, зато с лампочкой.

Ехать к дядюшке Юлиусу не хотелось, и он задержался в пансионе на несколько дней.

В последний вечер он стал с тоской смотреть в окно и вдруг заметил, как чернота ночи сгустилась вокруг него.

— Папа?

— Я Карлсон, — сказала бездонная свистящая чернота. — Я Карлсон, живущий на Крыше. Мое имя обычно не упоминается, потому что я — это и есть ночной город, я — его дыхание и тревога. Я — темнота и вой полицейских сирен. Я — та кровь, что смывают дворники поутру с асфальта. Верь мне, ибо я — твой отец.

— Но мой папа...

— Нет, — сказала чернота. — Я твой отец. Все было совсем иначе. Тот человек

хотел убить твою мать, когда она тайком отправлялась ко мне. Он выследил ее и столкнул с пожарной лестницы. Он хотел убить и тебя, но я успел раньше. Верь мне, ибо я — Карлсон, живущий на Крыше. Возьми палочку — ту, что дали тебе в школе... Каким она светится огнем?

— Голубым.

— Так не годится. Потри ее. А теперь?

— Теперь — красным.

— Отлично. Теперь ты знаешь, что если хорошо потереть любой предмет, он никогда не будет прежним. Я научу тебя всему, — шептал голос.

И жизнь действительно перестала быть прежней.

Вскоре Малыш вернулся в свою школу и учился все так же прилежно. Только теперь он иначе относился к ночной темноте.

Слово «автокатастрофа» потеряло для него страшный смысл, и теперь всё, кроме его тайны, казалось ему не стоящим внимания.

Он легко мирился с существованием дядюшки Юлиуса. И с существованием всего этого мира — ведь мир был у него в кулаке.

Но вот дядюшка Юлиус не смирился с этими изменениями.

Когда Малыш снова приехал к нему, он усадил его за стол.

— Послушай, Малыш. Нам нужно серьезно поговорить. Раньше я не говорил тебе, но все это выдумки — мир вовсе не разноцветен. Он состоит из черного и белого. Он даже не состоит из оттенков серого — в нем есть только светлое и темное, черное и белое. И тебе предстоит выбрать одну из сторон.

— А в чем разница? — спросил Малыш.

— Да собственно ни в чем. На одной стороне есть печенье, а на другой их нет.

— Это мотив, да.

— Да, но на другой стороне есть фрикадельки. У одних — сэндвичи, у других — клизмы. На одной стороне блондинки, а на другой — брюнетки. Но с тех пор, как изобрели краску для волос, это различие пропало. Вот и все... Ах, да. У одной стороны мечи голубого цвета, а у другой — красные.

— А какие лучше?

— Не помню. Да и как один цвет может быть лучше другого? Но выбирать нужно.

— Зачем?

— Так повелось. Но ты не бойся, и там и там у тебя найдутся соратники, что быстро убедят тебя, что твой выбор единственно правильный. Наденешь белое, так будет вокруг белая магия, будешь вышучивать своих врагов и разбираться в сортах зеленого чая. Ну а коли наоборот, так нет худа без добра — будешь зарабатывать Черной магией, поставишь в прихожей пару чучел друзей и перейдешь на суп из мандрагоры. Будешь ходить в Черном. Черный — цвет хороший, немаркий.

Время тянулось, как леденец.

То и дело у Малыша снова горел и чесался шрам.

Он уже окончил школу и никому не раскрыл свою тайну.

Отец являлся ему время от времени. Теперь Карлсон постепенно обретал человеческие черты. Было немного неприятно смотреть на его шишковатую голову без носа, но Малыш справился с отвращением. Ведь это был его отец.

Он попробовал курить. Карлсон этого не одобрил, он сказал, что табак мешает наслаждаться тонким ароматом печенья.

И вот Малышу исполнился двадцать один год.

Было время совершеннолетия, которое ничего не изменило в его жизни.

Малыш пришел с вечеринки домой. Его ждала бессонная ночь и костер из спичек

в пепельнице. Он грел руки на этом костре. Вдруг из темноты протянулись другие иззябшие руки — руки отца.

Теперь он выглядел почти как человек, только носа по-прежнему у него не было. Да и по сути не было вовсе лица.

— Мне надо, чтобы ты мне многое объяснил. Я никому так не верю, как тебе. Мне сейчас очень хреново! Мне опять нужно делать выбор.

— В чем выбор?

— Цвета, — ответил Малыш. — Меня уже несколько раз вызывали в Министерство. Они говорят, что мне наконец нужно принять чью-то сторону — светлых или темных.

— А сам-то ты что хочешь?

— Не знаю. Темные мне не нравились с самого начала, но как только я всмотрелся в светлых, оказалось, что они ровно такие же. Но с темных какой спрос, а вот светлые, как я думал, должны быть лучше. Но они не лучше!

Голос Малыша задрожал от обиды.

— А ты чего ждал? Все дело в том, кто убедительнее рассказывает. Ты немного подрастешь и послушаешь, как рассказывают о разводе твои друзья — отдельно жены и отдельно мужья. И беседы в Министерстве Правды, которое у нас зачем-то называют Министерством Магии, по сравнению с этим покажутся тебе кристально ясными и непротиворечивыми. Но это не важно — перед тобой куда большая опасность: будучи ведомым страхом перед теми и другими говорить не то, что ты хочешь, а то, за что общество погладит тебя по голове, то, чем ты мог понравиться. Представляешь, как будет обидно, если все равно не понравишься? Это не пустяки, не житейское-то дело! Нет, говорить нужно то, что ты считаешь нужным, сынок, и если надо, написать это хоть на заборе.

— Но ведь тогда меня кто-нибудь разлюбит. На всех, впрочем, мне наплевать, но вот Гуниллу...

— Тем хуже для Гуниллы... Вернее, тем хуже для тебя. Но поверь мертвому отцу, а своим мертвым отцам верят все герои... Поверь: никаких присяг на корпоративную верность приносить не надо и уж следовать им — тем более. Нужно говорить во всяком месте то, что рвется у тебя из души.

— Да откуда ж я знаю, что у меня рвется? — Малыш чуть не заплакал.

— А это уж твое дело. Ты только пойми, что очень обидно будет узнать, что цвет этих светящихся палочек был неважен, а жизнь прошла в дурацких спорах — что лучше: красный или голубой. Ты будешь старый и больной, а всего-то утешения тебе будет то, что ты никого не обидел.

— Но что выбрать-то? Красный или голубой?

— Тише, — сказала чернота на месте лица, — нас тут много.

Малыш обернулся и увидел, что комната наполнилась странными молчаливыми гостями. Одни были в белых скафандрах, другие в серых плащах.

— Они живы? — спросил он.

— Не знаю, — ответил Карлсон. — Я могу показать только тех, кого убили раньше меня. Вот его, и этого, и этого.

— А ты? — спросил Малыш.

— Ну ты же знаешь.

— Я тоже хотел бы быть рядом. Я понимаю, что печеньки — это глупости.

— Не надо.

— А что надо?

— Жить.

— Да. А как?

— Сколько тебе лет? — спросил Карлсон.

— Двадцать один.

— А мне двадцать. Как я могу советовать?

Гамельнские музыканты

Близилося Рождество, и звери в хлеву как-то заскучали. Под нож не хотелось, а хотелось тепла и лета.

Но настоящий побег силен сообщниками, поэтому они сговорились с котом и псом.

Ну и с ослом, конечно. Осел тоже давно чувствовал себя неуверенно — его уже несколько раз обещали сводить в гости на живодерню.

А осел заметил, что никто из приглашенных на живодерню обратно не возвращается.

Так они и рванули — по снегу, до рассвета.

Когда в первый раз они остановились перевести дух, кот спросил, есть ли у кого идеи на будущее.

Идей не было — единственное, что всех утешало (и никем не было сказано вслух): никто не собирался никого есть. Правда, бывалый петух косился на пса — ему, петуху, рассказывали, что матерые берут с собой в побег корову, чтобы потом съесть. Но коровы среди них не было, да и у старого пса сточились все зубы.

Через несколько дней они нашли в лесу избушку, где жили разбойники.

Разбойников они быстро прогнали, да так, что те не успели забрать свое имущество.

Обнаружив среди него скрипку и барабан, осел предложил притвориться уличными музыкантами.

— А спросят нас: «Откуда вы?» — что ответим? — засомневался кот.

— Из Бремена! — ответил петух.

— Почему из Бремена? — спросил осел, потому что он был настоящий осел.

— Это единственное место, в котором никто из нас не был, — ответил мудрый петух.

Вооружившись музыкальными инструментами, они двинулись в путь. Первым им встретился озябший крестьянин, который отказался слушать музыку, и пришлось отобрать у него мешок с зерном просто так.

— Это зерно маркиза Барбариса! — крикнул крестьянин, но его никто не слушал.

Так же поступили и с другими встреченными путниками. Ослу это начинало нравиться, ведь он был настоящий осел.

Впрочем, все равнодушные к музыке путешественники кричали им вслед, что маркиз Барбарис — волшебник, и он-то с этим делом разберется.

Так они приблизились к огромному замку, и осел постучался в маленькую железную дверь в стене, потому что он был настоящий осел.

Им открыли, и тут звери поняли, что они попали в замок самого маркиза Барбариса. Маркиз оказался маленьким смешным человечком с уродливым винтом на спине.

У маленького смешного человечка росла синяя борода, что делало его еще смешнее.

Маркиз Барбарис весело посмотрел на них, да так, что петух потерял несколько перьев, пес прижал хвост, а осел повесил уши.

Один кот спросил жалобно:

— Нам говорили, что ты волшебник... А ты можешь превратиться в мышь?

— Могу. Только ведь ты, глупый кот, попытаешься ее съесть. Но ты не знаешь, что заплатишь за это своей жизнью. Эй, кот, ты готов съесть отравленную мышь? Погибнуть, так сказать, за други своя?

Кот попятился.

— Я даже готов превратиться в сено, да только во мне столько яду, что хватит на

десять ослов, — продолжил странный урод. — Но я могу предложить вам сделку. Вы поможете мне отвести кое-кого кое-куда.

— Кого?

— Детей. Детей, милые мои. У меня полный подвал детей, и они надоели мне хуже горькой брюквы. Что я ни делал, их не убывает.

— Даже...

— Да, я и это пробовал. Поэтому вы поможете мне их доставить в одно место неподалеку. А потом можете стать музыкантами, если захотите.

— Бременскими?

— Ну, уж не бременскими, во всяком случае. Назоветесь честно, по самому близкому городу. Что у нас тут ближе, осел?

— Гамельн, — сказал осел, потому что он был настоящий осел.

— Вот-вот, — согласился маркиз Барбарис. — И поскольку вам уже никуда не деться, я расскажу вам свою историю.

Давным-давно я подружился с крысами. Более того, я подружился с крысиным королем. Но за эту дружбу меня невзлюбила одна добрая фея. А вы, звери, верно, не знаете, что добрые феи куда страшнее злых. Ведь злую фею сразу видно: она сморщенная и вонючая — брызни на нее водой, и она сразу растает. А вот добрые феи все в блестках и шуршат платьями, как конфетными обертками.

Да только внутри они еще хуже, чем злые.

И вот добрая фея невзлюбила меня и превратила в дурацкое существо — в широких штанах на лямках, с пропеллером на спине и широко открытым ртом, в который дети совали все что угодно — от жевательных резинок до орехов.

Вы, звери, жевали чужие резинки? Впрочем, кого я спрашиваю?

И я прожил долгие годы в таком обличье — но фее этого было мало, она натравила на меня всех детей. И я играл на дудочке (я так люблю играть на дудочке), дети лезли ко мне, тормошили и тилибомкали.

Первыми от этого ужаса из города бежали крысы, я бросился за ними, но дети преследовали нас.

Наконец я обессилел и отстал от своих любимых крыс. Мне пришлось спрятаться в этой чашобе, в замке какого-то барона, которого я случайно съел вместе с вареньем. Пришлось, правда, договориться с Серым волком, чтобы он подыбал случайно напавших на мой след детей.

Но дети сами поймали Серого волка и расправились с ним. Теперь они живут у меня в замке, хоть и несколько притомились. Праздник непослушания всегда приедается.

Так вот...

На следующий день перед замком появился бродячий цирк. Осел прят ушами возле телеги, на которой кот показывал фокусы, пес плясал, а маркиз Барбарис летал над ними, как настоящий акробат под куполом.

Представление все длилось и длилось, и никак не могло закончиться. А когда телега медленно двинулась по дороге, дети зачарованно пошли за ней.

Мелодия была так себе, да и фокусы были неважные, но развлечений в замке было так мало, что все безропотно шли за телегой.

Маркиз летел впереди, показывая дорогу.

Наконец, они пришли в Гамельн.

Маркиз долго что-то искал, заглядывал в подвальные окна, пока, наконец, из одной дыры не выглянула молодая крыса. Она огляделась, пошевелила усиками и вдруг поцеловала маркиза Барбариса в нос.

Тут у маркиза отвалился пропеллер-крестовина, и он стал как-то выше ростом.

Дурацкие штаны на лямках превратились в прекрасный серый камзол, а на голове у маркиза Барбариса теперь была треуголка.

Он обернулся к непоротым и некормленным детям:

— Дети мои, — сказал он, — мы прощаемся. Я привел вас в Гамельн. Наши странствия окончены — вы дома.

Он, не выпуская из рук крысы, устроился на повозке, в которую по-прежнему был впряжен осел. Ослу все это нравилось — потому что он был настоящий осел.

Дети угрюмо молчали. Домой им не хотелось.

Наконец самый маленький из них, совсем малыш, вышел вперед:

— А ты обещаешь вернуться?

— Да не вопрос, — ответил маленький человечек. — Но сначала пусть к вам вернутся крысы.

Гражданская Тайна

Малыш очень любил, когда к ним приезжал дядя Юлиус. Вместе с дядюшкой Юлиусом в их скромную квартиру входили запах странствий и аромат приключений. Из его чемодана то выкатывался хрустальный череп, то выпадал слоновий бивень. Он был перепачкан алмазной пылью из Копей Соломона, а иногда Малыш замечал в волосах дядюшки Юлиуса отросток огромной лианы.

Однажды дядюшка Юлиус привез детям в подарок настольную игру «Обжиманжи», и они принялись играть в нее все вместе, хотя маме это и не понравилось. Дядюшка Юлиус вскакивал, снова садился и наконец вытащил огромное слоновье ружье и принялся палить в нарисованных зверей.

Сразу было видно, что у дядюшки Юлиуса была боевая молодость. Впрочем, и старость у него была беспокойная. Но, так или иначе, он любил детей, а они любили, когда дядюшка Юлиус рассказывал им сказки. И вот сейчас, когда дядюшка Юлиус вдосталь наговорился с взрослыми, выпил с ними питательной русской водки, он приполз в детскую.

— Ты любишь русскую водку, — печально сказал Малыш, разглядывая дядюшку. — Ты, кажется, вообще любишь все русское.

— Вздор и глупости. Я русскую водку не очень люблю, но у твоего папы больше ничего не было. Пустяки, дело житейское. А русских я не люблю, нет. Я ведь воевал с русскими, когда они напали на этих дураков-финнов. Я воевал с ними целых два месяца, пока не отморозил ногу.

— И ты их победил?

— Ну, сначала — нет. А потом они победили. Затем, правда, опять не победили, но теперь мы победили их всех окончательно и навсегда.

— Дядюшка, — попросила Бетан, — а расскажи нам сказку про Гражданскую Тайну.

Это было подло. Малыш знал, что это была любимая дядюшкина сказка, но только очень длинная. У дядюшки никогда не получалось досказать ее до конца. Бетан над ним просто издевалась, и Малыш захотел вмешаться. Но было уже поздно, дядюшка Юлиус начал:

— В те дальние-дальние годы, когда уже началась в Европе большая война, жил да был в меру упитанный человек Карлсон. И было у него отзывчивое сердце — летал он по свету туда-сюда: узнает, что в далекой Гренаде крестьяне решили отнять у добрых людей землю, отправляется Карлсон в Испанию и творит добро прямо в воздухе. Знаменитый художник Пикассо даже изобразил Карлсона на огромной картине «Герань»... Или «Вероника», впрочем, это неважно. Или собрались в Вене рабочие похулиганить, а Карлсон тут как тут. А как глупые поляки решили повоевать, так Карлсон полетел в Польшу. И вскоре тихо стало на польских широких полях, на зеленых лугах, где рожь росла, где гречиха цвела, где повсюду густые сады да вишневые

кусты. Гоп!.. Гоп!.. Ути-плют! Хорошо! Не визжат пули, не грохают снаряды, не горят деревни. Не надо никого пока расстреливать, не надо снаряды в погреба метать, не надо лес поджигать. Нечего коммунистов бояться. Некому партийные взносы платить. Живи да работай — хорошая жизнь! Хотя из Польши Карлсон вернулся раненым и с тех пор не чувствовал себя в полном расцвете жизненных сил.

Но однажды, дело было к вечеру, вышел Карлсон на крылечко своего домика. Смотрит он — небо ясное, ветер теплый, солнце в Норвегии садится. И все бы хорошо, да что-то нехорошо. Слышится Карлсону, будто то ли что-то гремит, то ли что-то стучит. Чудится Карлсону, будто пахнет ветер не цветами с садов, не медом с лугов, а пахнет ветер то ли дымом с пожаров, то ли порохом с разрывов. Был у Карлсона друг, один мальчик. Не знал про него Карлсон, что не любит тот частную собственность, а любит лишь социализм. Поэтому Карлсон ошибочно доверял другу догадки и помыслы, и иногда даже — деньги в долг, что уж совсем никуда не годится. Карлсон сказал этому своему другу об этих тревогах, а тот и не поверил:

— Что ты? — говорит фальшивый друг. — Это дальние грозы гремят за финскими лесами, это лапландские пастухи дымят кострами в тундре, стада оленей пасут да ужин варят. Иди, Карлсон, и спи спокойно.

Ушел Карлсон, лег спать. Но не спится ему — ну никак не засыпается. Вдруг слышит он внизу на улице топот, у парадной двери — стук. Глянул Карлсон, и видит: стоит у подъезда мотоциклист. Мотоцикл — черный, револьвер на боку — блестящий, фуражка — серая, а герб на ней — золотой. Сразу видно — финн.

— Эй, вставайте! — крикнул мотоциклист. — Пришла беда, откуда не ждали. Напали на нас из-за гор и рек проклятые комиссары. Опять уже свистят пули, опять уже рвутся снаряды. Бьются с комиссарами наши финские отряды, и мчатся гонцы звать на помощь братьев-шведов.

Сказал эти тревожные слова мотоциклист и умчался прочь.

Тогда взрослые полезли в сейфы и вынули свои карабины.

— Что же, — сказали взрослые, — много мы акций купили — видно, много дивидендов детям собирать. Спокойно мы просидели жизнь в конторах и офисах, но видно вам, друзья, придется за нас досиживать

Так сказали они, крепко поцеловали детей и ушли. А те, у кого детей не было, просто отдали ключи консьержке. Времени для сантиментов с консьержками у них не было, потому что теперь всем было и видно, и слышно, как гудят за лесами взрывы и горят за холмами зори от зарева дымных пожаров...

— Так я говорю, Бетан? — спросил дядюшка Юлиус, оглядывая ребят.

— Так... так, — ответила Бетан, потому что в этот момент изо всех сил лупила по игровой приставке и старалась не отвлекаться.

— Ну вот... День проходит, два проходит. А война не кончилась. Карлсон смотрит вдаль, весь день с крыши не слезает. Нет, не видать конца. Утром он снова увидел финского мотоциклиста. Только мотоциклист теперь усталый и мотоцикл у него поцарапанный.

— Эй, вставайте! — кричит. — Было полбеда, а теперь кругом беда. Много комиссаров, да мало наших. В поле пули тучами, по отрядам снаряды тысячами. Эй, вставайте, давайте подмогу!

Собрались кой-какие взрослые бизнесмены, вынули охотничьи ружья и ушли куда-то.

Но этот мотоциклист не забывал их дом. И в третий раз он приехал, и в четвертый, и в пятый. И в десятый приехал, а выглядел каждый раз все хуже, и мотоцикл у него был уже в полном беспорядке. В последний раз он появился и вовсе без мотоцикла, зато с перевязанной головой и рукой в гипсе. Зато он говорил, что все страны подписались биться с комиссарами: и Англия, и даже Франция, а уж про Германию и говорить нечего.

— Только бы нам, — говорит, — до завтрашней ночи продержаться.

Слез Карлсон с крыши, принес мотоциклисту напиток. Напился гонец и побрел дальше. Но видит Карлсон — улица полна народу, а никто финнам помогать не хочет. Снуют по улице, думают — кто о кредитах, а кто об ипотеке, а о красных комиссарах не думают.

Сел тогда Карлсон на крылечко, опустил голову и заплакал.

— Так я говорю, Малыш? — спросил дядюшка Юлиус, чтобы перевести дух, и оглянулся. Увидел дядюшка Юлиус, что не одни дети слушают его сказку, что бросила Бетан свою игровую приставку, а Боссе отложил журнал с голыми людьми. Увидел, что и родители Малыша стоят в дверях, слушают молча и серьезно.

...Но поднял голову Карлсон и закричал:

— Эй же вы, жители Вазастана! Вам бы только в ипотеку играть да кредиты просить? Или нам, шведам, сидеть дожидаться, чтоб красные комиссары пришли и забрали у нас частную собственность, волатильность и ликвидность?

Как услышали такие слова люди, как заорут они на все голоса! Кто в дверь выбегает, кто в окно вылезает, кто через парковку скачет. Лишь один не захотел идти воевать, потому что хотел социализма, но никому ничего он не сказал, а подтянул штаны и помчался вместе со всеми, как будто бы на подмогу.

Бились они от темной ночи до светлой зари. Лишь один фальшивый друг Карлсона не бьется, а все ходит да высматривает, как бы это комиссарам помочь. И видит этот малыш, что лежит у стены имени маршала Маннергейма, что привезли прямиком из Берлина, целая громада ящиков, а спрятаны в тех ящиках черные бомбы, белые снаряды да желтые патроны. «Эге, — подумал этот малыш, — вот это мне и нужно». И сговорился с комиссарами, что взорвет всю берлинскую маннергеймскую стену, а попросил за это только партбилет и орден Кровавого Сталина.

Выдали ему и то и другое, и стена взорвалась. Ринулись в провал красные комиссары.

— Измена! — крикнул Карлсон.

— Измена! — крикнули все его верные друзья, а что толку?

Уже налетела комиссарская сила, скрутила и схватила она Карлсона. Заковали Карлсона в тяжелые сибирские кандалы, посадили Карлсона в ГУЛАГ. И помчались спрашивать Кровавого Сталина: что же с пленным Карлсоном теперь делать?

Долго думал Кровавый Сталин, а потом придумал и сказал:

— Мы погубим Карлсона. Но пусть он сначала расскажет нам всю их Гражданскую Тайну. Вы идите, мои верные комиссары, и спросите у него:

— Отчего, Карлсон, бились с Буржуинским Гражданским Обществом и утописты, и коммунисты, и французы, и немцы, и русские, и (прости нас, Маркс) даже евреи, бились-бились, да только сами разбились?

— Отчего, Карлсон, и все тюрьмы у нас полны, и весь ГУЛАГ забит, и все милиционеры на углах, и все чекисты на ногах, а нет нам, коммунистам, покоя ни в светлый день, ни в темную ночь?

— Отчего, Карлсон, в моей стране, где так вольно все дышат и много всякого добра, люди норовят стать маленькими хозяйчиками? Почему, что весной, что осенью, подпольные ткачи-цеховики ткут неучтенную ткань, а подпольные портные-цеховики шьют модные костюмы? Отчего самые лучшие буфетчицы разбавляют пиво и строят дачи, а самые общительные рабочие не хотят жить в общежитиях, а хотят — в собственных квартирах? Нет ли у Гражданского Общества какого Гражданского Секрета?

— Нет ли у наших цеховиков чужой помощи?

— Нет ли, Карлсон, тайного хода из нашей страны во все другие страны, по

которому как кто захочет выбегает прочь, а обратно приносит линючие буржуинские штаны и коричневую иностранную газировку?

Ушли комиссары, да скоро назад вернулись:

— Нет, Кровавый Сталин, не открыл нам Карлсон Гражданской Тайны. Рассмеялся он нам в лицо да зажжужал оскорбительно.

Нахмурился тогда Кровавый Сталин и говорит:

— Сделайте же, мои верные комиссары, этому скрытному Карлсону самую страшную Муку, какая только есть на свете, и выпытайте у него Гражданскую Тайну, потому что не будет нам ни житья, ни покоя без этой важной Тайны.

Ушли комиссары, а вернулись не скоро.

— Нет, — говорят они, — дорогой наш вождь и учитель Кровавый Сталин. Бледный стоял, но гордый, и не сказал он нам Гражданской Тайны, потому что такое уж у него твердое слово. А когда мы уходили, то опустился он на пол, приложил ухо к тяжелому камню холодного пола и, поверишь ли, о Кровавый Сталин, улыбнулся он так, что вздрогнули мы, комиссары, и страшно нам стало, не услышал ли он, как шагает по тайным ходам наша неминуемая погибель?..

Тут дядюшка Юлиус оборвал рассказ, потому что папа Малыша принес вискаря.

— Досказывай, — повелительно произнес Малыш, сердито заглядывая дядюшке в лицо.

— Досказывай, — убедительно произнес раскрасневшийся Боссе. — Недолго уж.

— Хорошо, дети, я доскажу.

— Что это за ужасные буржуинские страны? — воскликнул тогда удивленный Кровавый Сталин. — Что же это такие за непонятные страны, в которых даже Карлсон имеет частную собственность и знает Гражданскую Тайну?..

— ...И сгинул Карлсон в недрах ГУЛАГа... — произнес дядюшка Юлиус.

При этих неожиданных словах лицо у Боссе сделалось вдруг печальным, растерянным, и он уже не глядел в журнал с голыми людьми. Синеглазая Бетан нахмурилась, а веснушчатое лицо Малыша стало злым, как будто его только что обманули или обидели.

— Но... видели ли вы, дети, бурю? — громко спросил дядюшка Юлиус, оглядывая приумолкших ребят. — Вот так же, как громы, зашелестели долговые расписки. Так же, как молния, засверкали платежные терминалы. Так же, как ветры, ворвались в покои Кровавого Сталина брокеры и менеджеры, и так же, как тучи, сгустились обязательства по кредитам. А видели ли вы проливные грозы в сухое и знойное лето? Вот так же, как ручьи, сбегая с пыльных гор, сливались в бурливые, пенистые потоки, так же, безо всякой интервенции, забурлила в стране Кровавого Сталина предпринимательская деятельность. И кончилось его время.

А Карлсона так и не нашли. Одно только радует — он обещал вернуться. А пока оказали ему высшую честь: изобразили его на деньгах.

Получают люди жалование — привет Карлсону!

Берут люди кредит в банке — привет Карлсону!

Расплачиваются по долгам — привет Карлсону!

А продают скауты свое дурацкое печенье на улице — салют Карлсону!

— Вот вам, ребята, и вся сказка, — и дядюшка отер слезу, выкатившуюся из глаза. Впрочем, все уже давно плакали.

Немецкий перстенёк

Карлсон пришел к Малышу накануне главного государственного праздника. Праздник был довольно странный — его никто не принимал всерьез, но все отмечали.

Нора Малыша проигрывала от вторжения нежданного гостя. Карлсон был высоким стариком в прекрасном костюме с искрой, а квартира, где жил Малыш, — обшарпанной квартиркой в Озерках.

Карлсон оттянул подтяжки Малыша и в знак особого расположения больно щелкнул ими по животу молодого человека.

Они сели за стол.

В ту минуту, когда небо вспыхнуло салютом, Карлсон сказал Малышу:

— Помнишь тот сверток, что тебе оставил дедушка?

— Дедушка?.. Ничего он не оставил. Он в крематории работал, место там не хлебное.

— ...Сверток. Помнишь его? Где он?

Малыш полез на антресоли за старым чемоданом и, отряхнув пыль, открыл его. Там лежал старый китель дедушки с тускло блеснувшими орденами, пакет с сушеной травой и сверток из белой клеенки.

— Знаешь, что там?

— Мне пофиг, — ответил Малыш. — Наверное — конопля.

— Не в пакете, глупый, — сказал Карлсон, разворачивая клеенку, — а тут, в свертке.

Там оказалось несколько перстней, кинжал с готической надписью и тускло блеснувшее золотом кольцо.

— Потрогай, — сказал Карлсон. — Видишь, какое холодное? Твой дед много лет назад стал владельцем этого кольца, что ведет свою историю от древних времен. Оно хранит еще холод древних проклятий.

— И че? — спросил Малыш нетерпеливо.

— И все. Нужно бежать, — и в этот момент Карлсон повалил его на пол, потому что стекло развалилось под ударом автоматной очереди. Наблюдая медленное падение осколков, Малыш в первый раз обрадовался, что не вставил новые пластиковые окна.

— Нет, не к двери! Нельзя! — остановив его, крикнул Карлсон. — Прыгай в окно, я задержу их.

— С тринадцатого этажа?

— Сейчас не до суеверий. Не хочешь прыгать, так лезь по трубе. Там во дворе стоят пять черных джипов, опасайся их. Впрочем, нормальный человек всегда опасается такой картины.

И Карлсон толкнул юношу к подоконнику.

Малыш шел вдоль трассы, ночь была черна, а дорога на удивление пустынна.

Поэтому он издали слышал треск мотоцикла.

Мотоциклист остановился рядом с ним, и когда он снял шлем, Малыш понял, что это молодая цыганка.

— За тобой гонятся пять призраков, — сказала она.

Малыш промолчал.

— Но в силах моего народа защитить тебя, — продолжила цыганка и посадила его на мотоцикл сзади себя.

Неделю он провел в цыганском таборе, когда, наконец, его позвали в шатер цыганского барона.

— Малыш, о тебе уже спрашивали. Правда ли, что у тебя есть нечто, что не принадлежит тебе?

— У нас у всех есть что-то, что не принадлежит нам, — дерзко ответил Малыш, обводя взглядом шатер, заваленный какими-то мешками.

— Ты мне нравишься, мальчик. Но всего печальнее, ты нравишься моей дочери. — Цыганский барон вздохнул. — Однако тебе придется бежать.

Ночью цыганка отвезла его на станцию, и они целовались до самого рассвета, пока Малыш не прыгнул на площадку товарного поезда.

В Вышнем Волочке поезд остановился, и Малыш ради конспирации пересел на электричку. Билета он не брал, и поэтому дернулся, когда увидел контролеров. Но тут же с изумлением понял, что один из контролеров — Карлсон.

Выглядел он печальным. Форма сидела на нем мешковато, а сам Карлсон был будто с похмелья.

— Сынок, — начал он. — Я должен открыть тебе тайну. Тот сверток, что у тебя в рюкзаке, хранит страшную тайну. Немецкий кинжал и эсэсовские перстни — это все ерунда. Главное — кольцо. Это Кольцо Нибелунгов. И ты должен уничтожить его.

— Бросить в жерло вулкана?

— Нет, так невозможно укротить его силу. Альберих наложил на него страшное заклятие, потому что над ним издевались дочери Рейна. А нет страшнее обиды, когда женщина издевается над стариком. Бойся этого кольца — оно попадало к разным людям, и каждому, кто не избавился от него, было несчастье.

Вот эрцгерцог Фердинанд получил кольцо, надел на палец и поехал отдыхать на юг. И там было ему несчастье.

Однажды оно попало к маршалу Тухачевскому, и ему сразу было несчастье. Но следовательно, который вел дело маршала Тухачевского, сразу же отдал кольцо настоящему немецкому шпиону — и ему было счастье: он умер восьмидесяти лет, имея хорошую пенсию. А шпион, впрочем, умер восьмидесяти двух лет, имея еще более хорошую пенсию. Дело в том, что он сразу же подарил кольцо фюреру. И он его никому не хотел отдавать, и было ему несчастье. После того как оно случилось, кольцо забрал Берия, и он тоже не стал никому его отдавать, и было ему несчастье. И твоему дедушке, работнику крематория, что нашел кольцо в пепле Берия, тоже было несчастье. Бабушка твоя, Царство ей небесное, всю жизнь его мучила...

А тебе предстоит отправиться в Москву и найти самое страшное место — Люблинские поля. Там ты найдешь Бездну Московской Канализации. Только она может проглотить кольцо, проклятое карлой Альберихом. Ты ведь, верно, знаешь, что все те нечистоты, что производит Москва, невозможно скрыть и очистить? Так вот, давным-давно, понимая, что они отравят все вокруг, Сталин велел прорыть особую линию метрополитена — «Метро-1933». Она была открыта раньше прочих линий, только была сделана не горизонтально, а вела вертикально вниз — туда, откуда нет возврата. А сверху над ней, для отвода глаз, были построены поля аэрации...

На этих словах Карлсон встал, оштрафовал Малыша и исчез.

Малыш приехал в Москву и тут же продал старинные перстни. Известно, что в Москве можно продать все.

Он отобедал шаурмой, похожей по вкусу на шаверму, и принялся искать карту. Но на всех картах вместо Люблино и Курьяново была либо наклеена реклама, либо вовсе было пустое место.

Наконец, он встретил полицейского. Тот сперва побил его, но велел прийти сюда же ночью. Молодой петербуржец пришел в назначенный час и встретил все того же полицейского, но доброго и ласкового. Тот рассказал Малышу, что когда в стране придумали полицию, много честных милиционеров, преданных старой вере в закон, ушли в подполье. Они вершили правосудие тайно, по ночам. Днем они были злыми полицейскими, а ночью — добрыми милиционерами.

И этой ночью полицейский-милиционер решил принять участие в судьбе Малыша. Милиционер сказал Малышу, что попасть в Люблино можно только под землей, и познакомил его с диггером.

Диггер был так стар, что оранжевая каска с его именем приросла к его седым волосам.

Диггер повел Малыша по туннелям метро — в действующих туннелях они жались к стенам, спасаясь от проносившихся поездов, а в заброшенных они видели толпы горожан, стремящихся к приключениям. Горожане сновали по туннелям вместе с подругами, детьми и мангалами с шашлыком.

Наконец они вышли на поверхность.

Кругом простиралось Люблино.

На них тут же попытались напасть гопники, и диггер юркнул обратно в канализационный люк. Малыш не успел за ним, но достал сверток, развернул и сразу же заколол одного из гопников немецким кинжалом. Остальные переменили отношение к Малышу и с уважением похлопали его по плечам.

Вход в Бездну Канализации находился под продуктовым магазином на улице Полбина. Откинув железную крышку во дворе магазина, Малыш оглянулся. Все дома были здесь низкорослыми, даже деревья, понимая неверность почвы, стелились по ней, как кусты.

Малыш сплюнул, и в этот момент перед ним появился Карлсон, на сей раз одетый в синий халат грузчика. В зубах у него была толстая папироса.

— Вот ты и добрался, мой мальчик. А не забыл про подтяжки?

— Не забыл, Карлсон.

И они начали спускаться в преисподнюю.

Сначала вниз вели честные бетонные ступени, будто на лестнице современного дома, потом их сменили ступени деревянные, а затем — стеклянные и оловянные.

Карлсон достал из кармана мобильный телефон, потыкал в него пальцем, и в сумраке подземелья задребезжала странная музыка.

— Это «Кармина Бурана», — ответил он, упреждая вопрос. — Эта музыка всегда должна звучать, когда происходит что-то важное.

И вот они оказались в огромной полости, где внизу что-то клокотало и булькало.

— Смотри, сынок, — сказал Карлсон. — Перед тобой величие человека и весь результат его жизни. Смотри, вот все то, чем кончаются человечьи поиски смысла — тут и первое, и второе, и третье. В смысле, и компот. Ты впечатлен?

— Не очень. Не знаю, как со смыслом, но дух тут больно тяжелый.

— Тогда доставай кольцо, не медли.

Малыш достал сверток и, размахнувшись, швырнул его в дыру.

— Вот так, вот так, теперь ты навсегда запомнишь этот день, вернее, это будет самым главным днем в твоей жизни, сынок, — перевел дыхание Карлсон.

И тут Малыш пнул его пониже спины, и старик полетел вниз, двигаясь так же быстро, как если бы у него на спине был пропеллер.

«Я тоже так считаю, — думал про себя Малыш, поднимаясь по лестнице. — Запомню сегодняшнее число, ясное дело. Хороший день, чо. Но какой прок с этого кольца? Это еще предстоит узнать, экая прелесть».

Спасенное кольцо приятно холодило карман, и он верил, что приключения только начинаются.

Маленький человек из большого фильма

Каждый раз, когда выходит в свет новый эпизод «Звездных войн», хорошо бы вспомнить печальную историю Майкла Карлсона, первого исполнителя роли робота R2D2.

История эта трагична, непарадна, поэтому о Майкле Карлсоне предпочли забыть.

Впрочем, и звали его иначе. Михаил Кац родился в Ленинграде, в сороковом году. Он жил на Литейном, в доме Мурузи и вполне мог бы быть приятелем Иосифа Бродского.

Но вот беда — Кац родился карликом. У Бродского в «Полторы комнаты» есть мимолетное описание какого-то мальчика, что, прихрамывая, спускается по лестнице навстречу. Может быть, это как раз и был несчастный Кац.

Маленький человек окончил восемь классов и устроился в труппу лилипутов. Его подбрасывали вверх и ловили акробаты, по воспоминаниям матери, он участвовал в номере «Вперед, к звездам!» вместе с другим лилипутом исполняя роли Белки и Стрелки. Из-за конфликта с одним из чиновников Ленконцерта ему пришлось оставить труппу. Кац был неводержан на язык и, несмотря на свое происхождение (мать была учительницей музыки, а отец — стоматологом), виртуозно владел «русской речью». В дальнейшем он еще не раз будет страдать от своей вспыльчивости. Воистину «язык мой — враг мой».

Далее в биографии Каца следует провал, кажется, он покатился по наклонной плоскости. Ходили слухи, что банда домовников использовала его для квартирных краж, спуская с крыши на веревке. Крохотный Кац открывал форточку, пролезал внутрь и открывал замки.

Впрочем, это все домыслы. Наверняка известно только то, что он уехал в Америку в 1973-м.

Там он и превратился из Михаила в Майкла — сперва жил в Нью-Йорке, а потом двинулся в глубь континента. Дальше следует какой-то невнятный скандал с Американской Ассоциацией Карликов (AAD), требование возврата денег, странная история с фиктивной свадьбой, в результате которой он меняет фамилию на Карлсон.

Затем Майкл Карлсон выныривает в киноиндустрии. Судя по всему, его фильмография невелика — три или четыре фильма ужасов, вроде бы даже порно и, наконец, звездная роль у Лукаса.

Майкл попал на «Звездные войны» случайно, подменяя заболевшего актера. Тот был еще меньше Майкла, поэтому жестяной корпус R2D2 нестерпимо жал Карлсону в плечах, крутящийся купол оставлял ссадины на голове и выдирает волосы.

Из-за всего этого Михаил-Майкл нещадно матерился. На съемках это никого не удивляло, но ближе к прокату его речь вызвала скандал. К тому же английский язык эмигрант знал неважно — в результате все, что говорил Кац, нещадно запикали.

Советский журналист Траратута, который брал интервью у Ирвина Кершнера, рассказывал, что имя Карлсона у всех вызывало раздражение. С его нелегкой руки, вернее, тяжелого языка, все актеры, что в других эпизодах исполняли роль R2D2, были лишены права голоса.

Сам Кац-Карлсон не успел насладиться триумфом саги — еще до премьеры он утонул. Газеты предполагали самоубийство — Майкл находился в депрессии, у него была цепочка конфликтов с Лукасом. Вторая версия намекала на то, что он отправился купаться пьяным: тут срабатывает известный стереотип «русский — значит пьяный». Но «русскость» Майкла несколько преувеличена.

Маленький человек, ленинградец, ровесник Аль Пачино, Брюса Ли и Иосифа Бродского, исчез в волнах Тихого океана. Пробирает дрожь, когда представляешь себе

этот путь: запах кошек в парадной дома Мурузи, нескончаемый дождь, лестница, поэт поднимается тебе навстречу, еще сохраняя на пиджаке запах чужих духов, — и грохочущий прибой, край чужого света, исчезновение.

Тело не было найдено, и иногда кажется, что пилот робота R2D2 просто отправился в очередной полет.

Ненила

I

Тронный зал был сумрачен и величествен. Там стояла прохлада — все оттого, что сложен зал был из огромных стволов, которые сплавляли по рекам с далекого Севера, а потом доставляли по Днепру.

Только боги вдоль стен были резаны из местного даждь-дерева. Здесь они стояли почти такие же, что и в общем капище, но предназначены были для правильного, то есть не общего со смердами разговора. Князь говорил со своими богами, а смерды говорили с простыми деревьяшками на берегу реки.

В народном капище «священное» дерево силы не имело, хотя тамошний Велесов кумир со своей книгой в руках и помогал урожаю, мать-земля Мокошь даровала плодородие и успех в женской работе, но все это было только совпадением.

Здесь, в прохладе дворца, были настоящий Велес и настоящая Мокошь, тут блестел в полумраке медным кругом солнечный бог Ярило и краснела охра на столбе, изображавшем бога огня Семаргла.

И у самого трона стоял столб с грозными чертами могучего Перуна, княжьего бога. Бог силы и войны, с колчаном в левой руке, а луком в правой, с молотом у ног, казалось, советовал что-то князю.

Князь сидел под ним на резном троне, зная, что мало отличается от смердов и настоящий Перун стоит вовсе не здесь. Князь сидел под образом, его замещающим, но эту тайну знали немногие.

И вот сидел на резном троне великий властелин, киевский князь, и слушал рабов своих.

И рабы его, в каких бы шелках ни ходили и каким бы золотом ни звенели их одежды, боялись его пуще лютой смерти. Они приходили быстро, говорили тихо и старались уйти скоро.

Вот и сейчас верховный волхв Бородун шел от князя. Он перевел дух — казалось, все прошло гладко и неприятности миновали. Но вдруг он встретил в зале молодого воина Крутобока.

Крутобок был встревожен, и они пошли рядом. Грохот сапог водителя княжеской дружины, обшитых бляхами, присоединился к мягкому шелесту кожаной обуви волхва. Крутобок нес князю тревожную весть: царь древлян со своими воинами вновь перешел границу киевских владений. Гонец прохрипел это перед смертью, марая кровью те самые сапоги с бляхами.

Теперь Крутобок торопился к князю за разрешением на войну. За правом на кровь, за правом вывести дружину из славного города Киева, что центр мира навсегда, и другому центру не быть.

Не может быть Киев осажден, неведома ему осада, и позор ее не мог допустить Крутобок.

Бородун выслушал воина и поспешил в истинный храм Перуна — спросить бога, что привык отвечать силой на силу, что покровительствовал военным походам и государственным делам. Бородун шел к нему с вопросом, кому выпадет честь

возглавить поход руссов. Крутобок, вернувшись от князя, томился в ближних залах, ожидая решения.

Он с детства мечтал о славе и знал, что это его главный день.

Но вот вернулся и Бородун. Слова его были медом для ушей воина. Избранник должен быть молод, не дело князя воевать самому, лучший из слуг пойдет на древлян. Бородун вошел в княжью залу совета, а Крутобок устался в узкую бойницу окна, огладил себя одесную и ошую. Киев лежал перед ним, прекрасный огромный город, утопающий в зелени, великий и знаменитый город, о котором Геродот писал как о новых Афинах.

До боли в пальцах обхватил Крутобок рукоять меча. Если выберет Перун его, значит, слава падет к нему на плечи мягким царьградским шелком, победа, в которой он не сомневался, будет сладкой, как южные сладости, что привозят купцы из восточных стран. Он уже представил, как сам князь выйдет встречать его из похода и, как водится, спросит, что ему хочется в награду. И вот тогда, вместо серебряных гривен и золота, вместо коней и рабов, он попросит главное сокровище княжьего дворца — юную Ненилу, рабыню дочери князя Волооки.

За этими мыслями и застала его Волоока. Она внимательно смотрела на него из-за деревянного столпа, а за ней, теребя свою расшитую ендову, стояла сама Ненила. Девушки уже знали о нашествии, потому что черная весть всегда летит быстрее вести белой. Но не только для простого народа древляне казались не самой страшной угрозой. На женской половине тоже говорили о них, но больше обсуждали не врага, а красоту дружинников князя.

Киевляне всегда били древлян, с этим никто не спорил.

Но Волоока щадила свою служанку — ведь Ненила была не просто рабыней, а рабыней из древлянского племени. Волоока снисходительно поглядела на свою спутницу, но потом перевела взгляд на Крутобока. Она не понимала, насколько ранил ее сердце красавец Крутобок, и вспыхнула, когда он обернулся. Забились, затрепетали девичьи перси, передернулись ланиты. Ответил ей Крутобок светозарной улыбкой, но вдруг Волоока проследила его взгляд.

Страшное открытие пронзило ее: Крутобок смотрел на Ненилу, выглядывавшую из-за спины княжеской дочери. Рабыня! Девушка лесов, где грязные волосатые племена поклоняются пням и болотным жабам! Выросшая среди мрачных обитателей берегов Припяти-реки и чудовищ окрестных лесов! Вот каков выбор Крутобока!

И румянец смущения сменился у нее на лице краской гнева.

Но поздно было молвить: в зал вошел князь вместе с главными людьми города. Новый гонец, еще в пыльном кафтане с вышитым враном на спине — знаком князей почты — пал под ноги князя. Пал он, как созревшее яблоко падает на мягкую землю осеннего сада.

Слова гонца были хриплы и тревожны: древляне оказались сильнее, чем о них думали. Их конница мгновенно смела пограничную стражу, и чужаки совсем рядом. Враг у ворот! Царь древлян Медвежат идет со своими мохнатыми воинами по Руси. Теперь он грозит Подолу, да уж и грозит самому Киеву!

Придворные вдохнули разом, и, казалось, в зале стало меньше воздуха.

Но голос князя был тверд и страшен, в нем была крепость Перуновой силы. Слова князя были тяжелы, как камни днепровских порогов, в них была смерть врага и величие битвы. И Крутобок очнулся только тогда, когда князь сделал призывный жест — о, да! Князь звал его. Перун снизошел на скромного русса. Старшие дружинники обступили своего начальника, радость и уверенность в победе наполнили всех...

Впрочем, нет — несчастная Ненила отступила в тень. Она вспомнила все: и то, как баюкала ее в детстве мать, и восходы на тихом лесном озере, и то, чего не знал никто во дворце. А страшная тайна Ненилы не была ведома никому — ни тому

дружиннику, который, перекинув ее через седло, увез из края родных осин, ни хозяйке Волооке, ни ее подругам.

А скрывала Ненила то, что была дочерью самого князя древлян Медвежата. И никакой радости не было для нее ни в победе Крутобока — ведь он не пощадит отца, ни в победе Медвежата — ведь тогда погибнет Крутобок. А страсть Крутобока не была для нее секретом, коль девичье сердце ответило взаимностью храброму киевлянину.

Кому молиться теперь — лесному богу Шишиге за победу отца? Принести белого петуха киевской богине Ладе, что ведает любовью и сочетанием тел и сердец? Или же просто плакать у окна своей светелки?

Не было ей ответа, и стояла она среди гула и радостного крика — словно в мертвой тишине.

В мертвой, мертвой тишине.

II

Крутобок пришел к капищу Перуна, чтобы совершить требуемые жертвы.

Пахло кислым и горьким дымом от чадающих жертвенников, сквозь отверстие в потолке таинственного храма струился мягкий свет, и пыль танцевала в этом луче загадочный танец.

Крутобок пал перед жертвенником, и жрецы покрыли его, как предназначенного к закланию агнца, белым покрывалом.

Сам Бородун вручил ему меч, которым добывали себе славу и богатство предки нескольких поколений руссов. Меч помнил всех людей, которых он убил, — помнил каждой щербиной и каждой вмятиной на лезвии — это был настоящий княжий меч. Этот меч наполнил крови вдосталь, и она проникла в его железное тело, как часть состава, намешанная великим кузнецом Сварогом.

Волхвы начали магический танец вокруг Крутобока, который вдруг подумал не о предстоящей сече, а о милом лице рабыни.

Путру дружина вышла из Киева на скорый бой. Всадники качались в седлах и пели протяжную боевую песню.

Прошел день, а ночью Ненила танцевала — но вовсе не так, как танцевали вокруг Крутобока волхвы. Девушки-рабыни шли хороводом вокруг княжеской дочери, что готовилась к еще не состоявшейся победе. Она верила в военный успех, потому что считала, что боги города сильнее богов леса. У Волооки не было и мысли, что Крутобок может погибнуть в битве, он вернется, ее Крутобок, и их соединение неминуемо. Она давно жертвовала Ладе — и из крови белых петухов, которых в ее присутствии резали волхвы, можно было составить целое озеро.

Иногда Волоока выхватывала печальное лицо Ненилы из лиц, что двигались в хороводе вокруг нее, и каждый раз княжья дочь решала, что ей привиделась страсть в глазах рабыни. И каждый раз она возвращалась к этой мысли. Это было невозможно... Но вдруг это именно так?

И вот, оставшись с Ненилой наедине, она сказала ей о смерти Крутобока в бою, будто бы принес об этом весть гонец на взмыленной лошади. Вскрикнула Ненила, закрылись древлянские глаза-озера, и рухнула она киевским снопом под ноги Волооке.

Брызнула Волоока в лицо своей рабыне водой из плошки под свечом и призналась в шутке.

Та молча рыдала, а Волоока замахнулась на нее...

И начала Ненила шептать прокушенными в горе губами свою тайну. Задрожало от этой тайны пламя лучины в крестце, пошла рябью вода в чашах...

Одна княжья дочь стояла перед другой, но все же не сказала Ненила главного слова, не дали ей этого лесные боги ее родины.

Надо было вытерпеть и побои, что там. Однако сдержалась Волоока — не дело

ей бить рабыню. Они не равны, и княжья дочь не опустится до того, чтобы ударить простолюдинку.

Волоока тучей нависла над девушкой, и били из этой тучи молнии гнева: Крутобока нужно забыть, выкорчевать из сердца и глаз, иначе Ненилу принесут в жертву Чернобогу, полетит ее душа с какой-нибудь вестью в царство мертвых.

А на третий день встретил народ Крутобока, вернувшегося с добычей. Вся огромная площадь перед княжеским дворцом была запружена народом. На ступенях крыльца стоял князь с Волоокой. Вокруг толпились волхвы, свита и стража. Поодаль стояли служки, среди которых пряталась Ненила.

Торжество началось шествием войска, зашлись в магическом ритуале танцовщицы, а на их персях уже звенели ожерелья, снятые с древлянских жен.

И вот ступил на нижнюю ступеньку княжьего крыльца Крутобок, ступил, попирая рассыпанные повсюду рабами цветы. Славу поет герою Киев, и сам князь делает шаг ему навстречу. А Волоока надевает на голову воина венок из магических ромашек, цветов терпкого запаха, что сочетают желтый цвет яриловой силы и белый цвет страсти Лады. Волоока ищет глазами Ненилу — такова женская месть во все времена. Ищет княжья дочь свою соперницу и находит: глаза Ненилы залиты слезами. Слезы струятся по щекам Ненилы, длинная белая рубашка уже намокла от этих слез.

Уж оглядывается на ее стан, облепленный мокрой рубахой, какой-то стражник, но ей все едино. Не видит от слез она триумфа своего любимого, а слезы те оттого, что видит Ненила другое: своего отца, бредущего в колонне пленных. Нет на плененном Медвежате княжьих знаков — ни магической звезды на рукаве, ни рун у ворота рубахи.

Лишь древний оберег, медвежий зуб, болтается на шее.

Сразу видно, скрыл он свое звание от победителей. Бросилась было Ненила к отцу, но показал он глазами, чтобы не выдавала она его.

И вот прозвучали те слова, которых ждал Крутобок: спросил князь о награде.

И услышал Крутобок в общем шуме тонкий голос, голос его любимой, голос, полный страдания и муки. Просил этот голос пощады пленным.

И вслед за этим голосом выдохнул Крутобок прямо в княжье лицо:

— Милости моим пленным!

— Милости! — отозвался сердобольный киевский народ, пощады прося для былых врагов.

Вождь древлян убит, и теперь опасность миновала, что ж не помиловать пленных?

— Милости, — рыдает Ненила.

— Милости! — вопят сами древляне, рушась в пыль перед князем.

Но вперед выступил старый волхв Бородун:

— Нет пощады людям леса, не имеющим страха пред богами Киева. Не должно быть им милости!

— Что скажешь, Крутобок? — говорит князь.

И Крутобок вновь смотрит в толпу рабов.

— Милости! — смело повторяет Крутобок, заложив руку за расшитый золотой тесьмой охлупень главного дружинника.

— Милости! — шепчет тысячный голос народа.

Старый волхв склонился в поклоне, но понятно, что ни он, ни Перун не простят Крутобоку этого выбора.

С древлян снимают путы и гонят прочь.

А князь бросает в толпу новую весть: он отдает свою дочь освободителю Киева.

— Слава Крутобоку! — кричит народ, и Киев рукоплещет воину.

III

Ночью, тихой ночью пришла на обрывистый берег Днепра Ненила. Ах, как была тиха эта ночь, лишь луна освещала поверхность воды, плакучие ивы и капище Перуна на высоком уступе.

Меж тем среди камней причалила к берегу огромная долбленая лодка. Несмотря на то что из тяжелого цельного бревна сделал ее княжий лодочник Коваль, это была самая легкая лодка в мире.

Но не ради забавы приплыли в ней люди — сурово были надвинуты на брови ирмосы и кондаки, лица скрыты бармами, а в руках у кормчего поблескивает Постник — знак высшей жреческой власти.

Перед тайным ритуалом, таясь от стороннего взгляда, выходят из челна верховный волхв Бородун, Волоока и несколько стражников ближнего круга. Медленно поднимаются они по тропинке в храм, чтобы получить согласие у главного бога киевской земли на брак Волооки.

Скрывшись за утесом, Ненила испуганно глядит им вслед. Не затем, чтобы сопровождать свою госпожу, она кралась по берегу, поросшему плакучими ивами и земляными орехами, — вовсе нет. Она ждет здесь Крутобока — вечером прибежал к ней мальчик, сунул в руку обрывок бересты с короткими словами, начертанными Крутобоком.

Зачем он вызвал ее сюда? Ведь это их последнее свидание, а завтра Днепр будет ей могилой. Бросится она с высокого холма в черную воду, навсегда простится с солнцем, что тут зовут Ярилой, а на ее родине — Золотуном. С тоской вспомнила она родной край — лучезарное небо, прозрачный воздух, наполненный запахом соснового леса, и кристальные ручьи посреди чащи. Нет, не суждено ей, рабыне, возвратиться в родные долины и рощи!

Наконец хрустнул под чьей-то ногой прибрежный песок. Между зарослей ивняка скользит чья-то тень.

«Крутобок?», — тихо шепнула Ненила, не веря себе.

Но нет, это был отец ее, несчастный князь Медвежат. Он вернулся за дочерью, потому что понял все, дрогнуло отцовское сердце, понял он и страдание Ненилы, простил и любовь ее к врагу.

Узнал он и то, что хочет она отдаться Крутобоку, а потом утопить горе в Днепре.

Поэтому снова прошел он сквозь заставы киевлян за дочерью, чтобы спасти ее от измены родным богам.

Печально посмотрела Ненила на отца, и он с ужасом увидел, что она готова отдать жизнь за сладостные секунды с Крутобоком.

Напрасно отец умолял ее, напрасно напоминал ей про гнев шишиг и леших, напрасно напоминал о долге древлянки. Ненила слушала его с ужасом — оказалось, что отец пришел не один, с ним в город прокрался отряд проверенных бойцов. Они пришли мстить, а вовсе не только для того, чтобы забрать Ненилу. И для этого Медвежат просил дочь склонить Крутобока к измене.

Ненила не могла вымолвить ни слова — слезы опять душили ее. Попало зернышко меж жерновов — и некуда ему податься.

И в этот момент они увидели на склоне Крутобока, который, не подозревая ничего, спешил на последнее свидание. Медвежат спрятался за куст, а киевский воин обнял Ненилу.

Оказалось, что он снова отправляется в поход, чтобы добить врага в его логове — князь древлян убит, и они сейчас слабы, как никогда. Влюбленный воин пообещал ей, что когда вернется, женится не на княжеской дочери, а на ее рабыне.

И тут Ненила раскрыла перед ним свою тайну. То, что она не сказала Волооке,

она открыла своему возлюбленному. Ненила позвала его с собой — они убегут в страну древлян и будут счастливы вдвоем. И если боги — неважно какие — судили Крутобоку быть мужем княжеской дочери, то пусть его женой будет она, Ненила.

Крутобок не смог сдержать вскрика: нет, ему тяжело и подумать об измене своим богам, князю и отечеству. Ведь завтра он снова должен вести дружину на Припять...

И тут же, только произнеся все это, Крутобок увидел в тени фигуру человека — еще мгновение, и тень скользнула в сторону. Медвежат, треща кустами, бросился бежать. Но не только этот треск раздался на берегу Днепра.

— Изменник! — закричал с вершины утеса старый волхв Бородун, подслушавший весь разговор.

— Изменник! — вторила ему Волоока.

— Изменник! — сжав зубы, процедили бывшие боевые товарищи воина.

Бросились они на своего начальника и скрутили его сыromятными ремнями.

IV

Плакала поутру в своей комнате Волоока, плакала и вечером. Жизнь пошла криво, будто сани со сломанным полозом.

И как вышла она в большой зал-мшеник, так увидела приведенного к отцу Крутобока. Ненадолго он задержался перед княжескими дверями, и за это время Волоока пообещала ему прощение, если он вытравит из своей души образ преступной древлянки.

Но Крутобок только смотрел в сторону, и Волоока поняла, что безразлична этому предателю.

Несмотря на это она прижалась ухом к маленькому окошку, в зал совета.

— Смерть ему! — услышала она голос Бородуна.

— Смерть ему! — услышала она голоса других волхвов.

— Смерть ему! — услышала она усталый голос отца.

Страшная смерть ждала предателя, и повели его на ночь глядя к прибрежному холму. Там Крутобока должны были живым замуровать в ласточкиной норе.

Но Крутобок был готов к той смерти — ведь гибель лучше бесчестия. Он мрачно слушал, как каменщики задвигают вход в пещеру известковыми плитами. Ему предстояла смерть в темноте и одиночестве.

Но вдруг он услышал стон у дальней стены каменного мешка.

Это была Ненила.

Она вернулась в Киев и решила разделить участь своего возлюбленного.

Крутобок укрыл Ненилу своей посконью, отороченной мехом осетра, и подложил под голову ворвань с посолонью. Однако девушка все равно дрожала в его руках. Не дрожь холода то была, а смертная дрожь. Обнимая Ненилу, Крутобок понял, что она ранена, истекает сукровицей, и вряд ли их счастье будет длиться долго.

И тут влюбленные поняли, что именно в этом и заключено мотовило счастья.

В этот момент над Днепром, уже миновав его середину, пролетала, медленно маша крыльями, печальная Птица-Карлсон.

КУБОК МИРА ПО РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Пётр Матюков

Мойдодыр—2017

* * *

ещё одна примета века
непредсказуемый разбег
фонарь находит человека
на длинной улице аптек

такой невыносимо тусклый
на белом свете жёлтый свет
такой невыразимо русский
в сугробе белом красный снег

ночь улица горит аптека
выходят люди со двора
и ты гадаешь есть ли где-то
Раскольников без топора

* * *

выходишь а на Земле тишина
слышно как двигается Луна
и погонщик вежливый армянин
кричит кати этот чёртов блин

мужики скрипят идут бечевой
хорошо если есть среди них живой
катится лунная голова
перемалывают жернова

а потом откуда-то вот те на
будто высвечивается в грозу
поперечный разрез бревна
у тебя в глазу

* * *

мы взяли четверо лопат
и вышли со двора
я поведу тебя копать
сказала мне сестра
сначала мы зароем гроб
что выставлен как есть
и горсть земли мы бросим чтоб
традиции учеть
но утром выроем назад
обратно отнесём
поскольку дети октябрят
согласны не во всём
мы будем рыть копать скрести
пенять своей судьбе
о Господи таких спасти
под силу лишь тебе

* * *

косматый и хмурый как старый волк
из автобуса в поле выходит волхв
глядит в поднебесье из-под руки
будто сила за ним
и за ним полки
но его окружает болиголов

и с какой-то неправильной стороны
на волхва сбегаются пацаны
он не спал
под глазами его мешки
а они читают ему стишки
но понятно ему хоть бы хны

чтобы дедушка слышал
какой-то шкет
потрудясь забирается на табурет
зажигает ярко
почти дотла
а у деда синие купола
туз крестовый
свинцовый кастет

пацаны не промах и метят в лоб
дед стоит столбом
как ушёл в сугроб
дрогнула страшная голова
достаёт мешок
налетай братва
только чур не толкаться чтоб

и пока налетают глядит на них
ни слезу ни улыбку не допустив
а потом как будто ищет ответ
он и сам взбирается на табурет
и кому-то
бормочет стих

* * *

они очнутся на опушке где-то
увидят старый крест прочтут поэт
под бульканье литрового пакета
покуда не закончится пакет

и вдруг они исполненные прозы
вернутся в мыслях в школьные места
их головы поникнут как берёзы
у старого забытого креста

и под внезапное ку-ку кукушки
водя в охрипшем воздухе рукой
один другому скажет кто там пушкин
а то и лермонтов отвечает другой

Мойдодыр—2017

на полуострове Таймыр у озера Таймыр
из землянки выглядывает Мойдодыр
Север не щадит офисных хомяков
но Мойдодыр не таков

он освоился в тундре как сииртя
постиг что рыбу не ловит айфон
ненцы поговаривают полушутя:
подземной старухе по нраву он

а почует нечистое говорит: да ну!
и натягивает тугой лук
злые духи боятся его потому
что не верят в чистоту рук

два раза в год
в Марте и Октябре
он наедается грибов и корней
устанавливает чучело на бугре
подписывает: Корней

потом бьёт в бубен из семи кож
оленьей кровью смазывает естество

кажется он куда-то там вхож
или что-то вхоже в него

кружит кружит
как предводитель слепых
семь потов сходит
семь бед
седьмой страх
кажется не бубен —
молоты и серпы
мелькают в его руках

и тогда появляется крокодил
в котелке с тросточкой
будто не уходил
курит папиросу по-турецки поёт
за ним паренёк с саблей идёт

и исчезают как путевой столб
а за ними другие до края Земли
ненцы приглядывают чтоб
Солнце не крали
море не жгли

утром не выдерживает батыр
а раньше хватало на несколько дней
садится у чучела Мойдодыр
обнимает его Корней

Манана Думбадзе

Леди Макбет Капрованского района

Рассказ

С грузинского. Перевод Владимира Маловичко

С самого начала хочу предупредить, что эта леди не имеет ничего общего ни с леди Макбет Уильяма Шекспира, ни тем более с леди Макбет Мценского уезда Николая Лескова. Это гораздо более прямолинейный персонаж. И по форме, и по содержанию она больше похожа на тюремную надзирательницу или на «мамашу» дешевого борделя: огромна, как гора, и угрюма, как грозное небо. От ее зловещего взгляда у любого капрованца, будь то мужчина или женщина, начинают дрожать коленки. Зовут ее, ко всеобщему удивлению, Леди.

Ее постоянно сопровождает на полуметровой дистанции небольшого роста мужчина. Заинтересовавшись чем-нибудь, Леди одним движением брови указывает малогабаритному сопровождающему: мол, пойди-ка узнай, что там происходит, и тот несется как угорелый к месту происшествия собирать информацию, мечется из стороны в сторону, и горе ему, если он что-то упустит и не доложит хозяйке о чем-то важном.

В подобных условиях малоразмерный провожатый выработал такие изощренные методы добывания информации, что мог бы заткнуть за пояс любого высококвалифицированного агента КГБ, поскольку надо быть иллюзионистом, чтобы в дышащем на ладан богом забытом Капровани найти что-нибудь, достойное внимания госпожи. Однако Тристану — так звали коротышку — всегда удавалось что-то отыскать (откопать, оживить), искусно упаковать, добавив изрядно отсебятины, и представить в выгодном свете. Леди все понимала, но кое на что вынуждена была закрывать глаза, раз уж местом ее деятельности был захудалый поселок.

Леди боялся весь Капровани. Это был особый страх, от которого человек способен броситься в объятия даже чудовища, если оно изъявит желание защитить его и определить ему место в жизни. Таких задавленных испугом рабов у Леди в Капровани было великое множество: одни приняли свою участь добровольно, другие принудительно. Главным увлечением Леди была охота на людей. Здесь она не имела себе равных.

Манана Думбадзе — переводчик, литературовед, публицист. Родилась в Тбилиси, окончила факультет западноевропейских языков и литературы Тбилисского государственного университета. Член Союзов писателей и журналистов Грузии, координатор по международным связям СП Грузии. Переводчик англо-американской литературы на грузинский язык.

Живет в Тбилиси. Предыдущая публикация в «ДН» — 2014, № 4.

— Что-то ты не нравишься мне сегодня, Тристанчик, ты явно не в форме, стареешь и теряешь нюх, придется тебя менять, — недовольно произнесла Леди.

— Еще не вечер, Леди, в Капровани жизнь начинается позже. Немножко потерпите — скоро развлечемся от души.

— Нет, дорогой, я не собираюсь ждать, вижу отсюда, что на набережной, на участке Кокайя, что-то происходит, а ты сидишь здесь и зубы мне заговариваешь...

— Так я как раз собирался тебе сказать, что во дворе Кокайя что-то происходит и что я хочу сбежать туда, разузнать в чем дело, — попытался оправдаться Тристан.

— Ну, давай, гони и принеси достоверную информацию. Слухи мне не нужны, понял?

Тристан быстрым шагом двинулся в сторону Кокаевского участка. Там и вправду затевалось какое-то строительство. В центре двора стояла небольшого роста женщина с золотистыми локонами и раздавала указания. На ее длинной шее красовалось ожерелье из мелкого искусственного жемчуга, а декольте ее черного платья немного превышало обычную глубину, что стимулировало воображение, позволяя представить себе красивую, упругую молодую грудь. Тристан с трудом слотнул комок слюны размером с кулак и хриплым голосом произнес:

— Привет новым соседям!

— Здравсьте, — не поворачивая головы, ответила молодая женщина.

— Ты, что ли, новая собственница?

— Нет, я не собственница, мы арендуем этот участок.

— Эти развалины? — насмешливо сказал Тристан и обвел взглядом поросшие мхом бетонные плиты, разбросанные у забора.

— Да, здесь мы поставим коттеджи, а вокруг я выстрою Эльдорадо.

— Эльдорадо, конечно, дело хорошее, — повторил незнакомое слово Тристан и, поскольку не знал его значения, предпочел сменить тему разговора: — А Роберт Кокайя здесь?

— Нет, здесь — мы. Роберт Кокайя сдал нам участок в аренду, и мы получили право на строительство. А вы кто будете?

— Мы — местное население. Мы тоже хотели построить здесь дом и ресторан, но не смогли уговорить Кокайю и местные власти. А вы кем приходитесь Роберту?

— Никем. Он сдавал участок — я его взяла в аренду. Я — арендатор, только и всего.

— Я так подробно расспрашиваю потому, что первый раз вас вижу. Как вас величать? — не унимался Тристан.

— Меня зовут Буба, Бубуся. Я намерена быстро закончить строительство и обязательно позову вас на открытие. Для всех местных будет бесплатная выпивка, потому что впоследствии они мне понадобятся: кто для уборки, кто на кухне, кто охранником.

— Деловая женщина, бог тебе в помощь! Если Тристан тебе на что-нибудь понадобится, только позови — я в момент прибуду и улажу все проблемы, — прихвастнул Тристан.

— Непременно понадобится, использовать местных гораздо выгоднее, приезжие только и думают, как бы что украсть да сбежать, — подыграла Тристану Бубуся.

— Ты права, Бубуся, использовать местных лучше по многим причинам, в том числе по причине предоставления им работы и, соответственно, небольшого заработка. Они непременно оценят это. Главное — не забудь про Тристана.

— Не забуду, Тристан. — Его имя она произнесла с особой мягкостью. — А сейчас я должна встретиться с кобулетскими рабочими, которые привезли бамбук для забора.

— Ладно, я пошел. Буду следить, как идут дела. Кто знает, вдруг пригожусь, — сказал Тристан и заспешил обратно, в крепость Леди.

Капрованская Леди, прикрыв глаза, лежала у себя во дворе в мексиканском гамаке, натянутом между двумя соснами. Трудно было понять, спит она или нет, потому что временами она ворочалась, скрежетала зубами, а один раз даже пыталась привстать. Можно было предположить, что во сне она вела ожесточенную битву то ли с грозным врагом, то ли с налетевшей стихией. Тристан опасливо присматривался. Спящая Леди представляла собой ужасающее зрелище. Надо сказать, что и в состоянии бодрствования она не ослепляла красотой, но могла претендовать на определение «представительная дама»: эдакая женщина-гора с длинными ногами и пышными бедрами, выющимися серебристыми волосами, ниспадавшими на широкие плечи, большими синими глазами... Нос, рот, уши — все у нее было крупным, но пропорциональным. Только руки длинные, как у обезьяны, так что она вполне могла, не вставая с гамака, надрать уши или дать подзатыльник Тристану, стоявшему в полуметре от нее.

Тристан присел на пенек очень осторожно, чтобы, чего доброго, не разбудить Леди, и сидел неподвижно, пока сам не стал клевать носом, а потом и заснул. Его храп разбудил Леди. Оттолкнувшись от земли, она разогнала гамак и ударом ступни сбила спящего Тристана с пенька. Спросонья тот не сразу сообразил, где он и что происходит. Но, вскочив на ноги и увидев перед собой Леди, успокоился: он в Капровани, дома.

— Не слабо ты хранишь и свистишь, перелетная птица, — заметила Леди.

Тристан не был родом из Капровани. Он был «внутренне перемещенным лицом» без роду и племени, прибывшим сюда из Абхазии. Ему было десять, когда он сбежал из леселидзевского детского дома и вместе с несколькими однолетками примкнул в лесу к застрявшим в Абхазии грузинским партизанам. Все они чуть не погибли на границе, после пересечения которой он отстал от них. Тристан брел вдоль морского берега, оставляя позади деревню за деревней, ночуя то на одном, то на другом пляже. В Григоleti, где его застала очередная ночь, устроился на ночлег в пустой палатке Квавилнарского кемпинга, откуда утром со скандалом, под угрозой применения швабры был изгнан уборщицей при жутком сквернословии с ее стороны. Не разбирая дороги, он бросился бежать и оказался на пути в Батуми. В Шекветилском сосновом бору выклянчил какую-то еду у укрепившихся там мхедрионовцев — кто мог отказать десятилетнему мальчику в подавании.

Кормить-то его кормили, но никто не спрашивал, откуда он, куда направляется, кого и где потерял. И не говорите, что в Грузии такого не бывает! Не верите — посмотрите фильм «На другом берегу» или почитайте Нугзара Шатаидзе. Правда, в отличие от шатаидзевского мальчика, Тристан (хотя нет уверенности, что это было его настоящее имя, вероятно, он сам себя так назвал) отца не искал и о матери не беспокоился, а уж происходивший грузино-абхазский конфликт его и давно не волновал. В детском доме, да и потом, ему было совершенно безразлично, какой страны он уроженец и какого племени сын. Его мысли сводились к одному: как бы выжить. Так он и вырос. Именно такой Тристан и попался в сети, расставленные капрованской Леди. Оба получили то, что хотели: повелительница — материал для воспитания покорного раба, а беженец — пристанище и работу, которая должна была вывести его на следующий жизненный уровень. Леди видела Тристана насквозь и постоянно держала на коротком поводке — в полуметре от себя.

С тех пор прошла целая эпоха. Тристан приближался к тридцати годам, имел сформировавшийся характер и жизненную цель.

— Ты разбудил меня на самом интересном месте, — прорычала Леди.

— Мне очень жаль, я и сам не заметил, как заснул, глядя на тебя. Какой-то странный сон мне приснился: путешествие по Африке.

— Лучше расскажи, что там у Кокайя, что они собираются строить?

— Кокайя сдал в аренду свой участок, а та красивая женщина (здесь Тристан допустил первую непоправимую ошибку) будет строить на нем коттеджи, как она говорит. А когда немножко встанет на ноги, обещает построить Олдирим.

— Какие коттеджи, что за «Олдирим», какая женщина? Я для чего тебя туда посылала? Чтобы ты наплел мне эту ерунду? Ну-ка, сейчас же изложи все толком, не то я такой олдирим тебе устрою — своих не узнаешь!

— Так это все, Леди, больше ничего там не происходит. Эта женщина сказала, что построит коттеджи, где местные будут работать и получать зарплату.

— Как зовут эту женщину?

— Буба, Бубуся, она тебе понравится, Леди. Похоже, толковая женщина: плохо отозвалась о приезжих и сказала, что с местными легче работать и что она собирается их трудоустраивать.

— А ты, видать, уже получил работу в Бубусином коттедже? — с ехидцей предположила Леди, но Тристан пропустил это мимо ушей и продолжил:

— Мужчин — охранниками, женщин — уборщицами (это была вторая ошибка Тристана).

— Уборщицей она, наверное, возьмет меня, а тебя, надо думать, охранником, — расхохоталась Леди. Она так долго и так громко хохотала, что у Тристана в жилах застыла кровь, бомжи, трудившиеся на ближайших помойках, перестали копаться в мусоре, а собаки подняли тревожный лай.

— Тебе кто посмеет такое предложить, Леди?! Речь шла о тех, у кого дырявые карманы, кто ходит вечно голодный и обалдевший от паленой водки.

— Дегенерат! Кому нужны такие в охране и что могут такие дуры убрать? Заруби себе на носу: она нацелилась на нас с тобой, да, на нас с тобой. Хотя, что касается тебя, наденет тебе на шею бабочку — и будешь ты декоративным эскортом. Ей нужен будет персонал с бабочками на шеях и перьями на шляпах!

— А где она тут таких найдет? — удивился Тристан.

— Как раз этот вопрос мы и должны выяснить с этой твоей Буба-Бубусей, пока она перья не распушила и глазками стреляет, — решительно сказала самой себе Леди.

— А я все-таки думаю, Леди, что она хорошая женщина, вот увидишь, она тебе понравится, — посмел вякнуть Тристан, хотя уже предчувствовал надвигающийся торнадо. Видимо, понравилась ему Буба. Но, заметив, что глаза Леди начинают наливаться кровью, почти беззвучно закончил: — Я так думаю...

Выпрямившись во весь свой гигантский рост, специально причесанная, с накрашенными губами, с красным шарфом на плечах, Леди решительно шагала в направлении «бесхозного» Кокаевского участка. Пальцы правой руки играли с незажженной сигаретой «Мальборо». В полуметре за ней семенил Тристан. Когда они подошли к участку, Тристан вырвался вперед и распахнул перед Леди калитку. Во дворе крутились двое рабочих — местные кадры, по заключению Тристана. Они вытаскивали из потрепанного минивэна прессованную солому и складывали ее в углу двора. Красивой женщины нигде не было. Только вокруг ограды копошились грязные бомжи

с болтающимися ниже талии брюками. В углу двора со стороны моря уже была собрана некая деревянная конструкция.

— Здорово, ребята, — фамильярно приветствовала всех Леди, вступая на кокаевский участок и шаря взглядом в поисках Бубуси. — Чем это вы тут занимаетесь?

При появлении Леди мужчины выпрямились, приосанились, подтянули брюки и выкинули «бычки».

— Приветствуем, Леди, — прозвучало почти хором.

— Ха-ха, для кого Леди, а для кого — госпожа Леди!

— Приветствуем госпожу Леди, — грянул по новой один смельчак.

— То-то же! Где хозяин?

— Хозяйка, — уточнил смельчак.

— Что, Роберт Кокайя хозяйкой стал? — рассмеялась Леди.

— Роберт — не наша хозяйка, госпожа Леди, Буба наша хозяйка, и она в палатке.

Я позову ее, если желаете, — предложил тот же смельчак. Остальные молча ждали. Леди двинулась к палатке, но вдруг остановилась и движением указательного пальца приказала Тристану позвать хозяйку.

Тристан слегка отодвинул шторку и сунул голову внутрь палатки. Леди, стоя посередине двора, закурила сигарету, осмотрелась, обнаружила сколоченные из досок стол и пять стульев и села на один из них, лицом к солнцу. На зов Тристана никто не ответил. Он увидел лишь смешного маленького пуделя. Леди жестом велела Тристану зайти внутрь. Пудель залился лаем, и вскоре из палатки вышли все трое: Тристан, Бубуся и ее белый пудель. Из длинного разреза в Бубусином платье при каждом шаге появлялась стройная женская нога, а из декольте выглядывала высокая упругая грудь. Тристан и Буба, весело переговариваясь, приближались к Леди.

— Здравствуйте, для меня ваш визит — большая честь, Леди... госпожа Леди (видимо, Тристан проинструктировал Бубусю, как следует обращаться к хозяйке).

— Здравсьте, здасьте! Запоматовала ваше имя. Тристан мне сказал, но имя такое странное, что я его тут же забыла...

— Бубуся, Буба, если так вам легче запомнить.

— Пусть будет Бубуся. Никогда не слыхала такого имени. Откуда вы?

— Я из Тбилиси, живу в сан-зоне, в поселении «Тбилисское море».

— Значит, вы тбилисская, а что это еще за Тбилисское море?

— Его называют морем, хотя на самом деле это всего лишь небольшое водохранилище. Тбилисцы берут из него питьевую воду, — весело растолковала Бубуся, как будто говорила с непонятливым ребенком.

— А что, там уже все коттеджи построили? — Первая стальная нотка звякнула в голосе гостьи.

— Ох, там уже столько коттеджей и яхтклубов понастроили, что меня туда никто не пустит. Вот я и приехала сюда, чтобы начать здесь свое дело; я намерена не только построить коттеджи, но и превратить этот участок в настоящее Эльдorado. Первой почетной гостьей на открытии будете вы, Леди... госпожа Леди, — неловко повторила Буба.

— Тристан, ты слышал, у них на Тбилисском море и яхтклубы есть. Оказывается, яхтклуб не только здесь, у двоюродного брата Луизы. Как его название?..

— «Шаурма», — подсказал Тристан.

— Да, клуб «Шаурма», бывала у них? — Теперь Леди обращалась к Бубе.

— Нет, не бывала, но обязательно схожу на днях, — пообещала Буба.

Леди не услышала ее ответа, да он ее и не интересовал, так как она напряженно искала в дальних уголках своего взбудораженного мозга новые вопросы на засыпку.

— Но Роберт Кокайя ведь строит ресторан на Тбилисском море?

— Роберта Кокайя я вообще не знаю. Аренду его участка устроил мне маклер. Его самого я никогда не видела. На Тбилисском море столько ресторанов, откуда мне знать, какой из них кокаевский, — ответила Буба (Леди усомнилась в правдивости ответа).

— А это поселение «Тбилисское море», или сан-зона, оно большое? — поинтересовалась Леди.

— Три ваших Капровани свободно поместятся, — с усмешкой ответила Буба.

Именно этого ожидала Леди: она получила вызов и теперь могла действовать.

— Значит, там тебя никто не подпустил к строительству коттеджей? Там не нашлось у тебя покровителя, и ты явилась сюда в надежде на Роберта?

Буба поняла, к чему ведет разговор Леди, и пожалела, что брякнула глупость, но не подала виду и попыталась исправить ошибку, оставив вопрос без ответа, будто она его не расслышала.

— Разболталась я совсем, позвольте я сварю вам чашечку кофе. Вам наверняка понравится кофе по-варшавски моего приготовления, — сказала она и направилась в палатку, надеясь, что, пока она будет варить кофе, Леди отойдет от обиды и успокоится. Сан-зонская Мата Хари отдавала себе отчет в том, что ведет спор на чужом поле. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Леди задала не относящийся к делу вопрос:

— «По-варшавски» это по-нашему значит «адмиральский кофе»? — Она посмотрела на Тристана, взглядом как бы интересуясь: тебя им еще не поили?

— Нет, Леди, это совсем другой кофе, я когда-то в Леселидзе пробовал такой. «Адмиральский» больше похож на «портовый», а Бубусин должен быть сладким, как сама Бубуся. Принцесса сан-зоны своими руками варит кофе Капрованской королеве, каково?! — неуклюже пошутил Тристан.

Бубуся не спешила выходить из палатки. Тристан нервничал, у него даже икота началась. Леди сидела тихо и смотрела в сторону горизонта. Все еще высоко стоявшее солнце светило ей прямо в глаза, которые уже сильно покраснели, но, несмотря на это, она не отводила взгляд.

— Ну вот, это и есть кофе по-варшавски моего приготовления, — сказала Бубуся, ставя на пенек рядом с пачкой «Мальборо» и солнцезащитными очками Леди красивую чашку. — Угощайтесь.

— Я же говорила, что это — «адмиральский». То-то я удивлялась, что за неведомый кофе, про который не знают на Черноморском побережье, пьют на Тбилисском море. Тристанчик, пей ты. Ты же знаешь, я такого не пью. — Леди таким образом давала понять, что отказывается от протянутой хозяйкой «трубки мира». Затем она встала, расправила плечи, выпрямила спину, распустила серебристые, стянутые в узел на затылке волосы, снова их закрутила, подошла к Бубусе на расстояние вытянутой руки, глубоко затянулась сигаретой и выпустила маленькие, сиреневого цвета колечки дыма прямо ей в лицо. Та не выдержала атаки, слегка покачнувшись и отпрянула назад. Леди, ни на что не обращая внимания, развернулась и медленным твердым шагом двинулась к калитке.

Чашка с кофе по-варшавски стыла в руках Тристана. Успев сделать лишь два глотка, он, в спешке пролив кофе на свою зеленую майку, поставил ее на пенек и бросился следом за Леди, которая уже покидала участок Кокайя. Она шла так быстро,

что Тристан сумел догнать ее только у того места, где двоюродный брат Луизы готовил и продавал шаурму.

— Нет, Леди, этот кофе по-варшавски точно не был «адмиральским». Зря ты его не попробовала, тебе показалось...

— Кретин, скажи спасибо, что я не вылила его тебе на голову. Об этом я отдельно поговорю с тобой. А теперь слушай: сегодня ночью на участке Роберта Кокайя мы должны устроить чиакоконоба¹. — Этот приказ она безапелляционно выдала Тристану, глядя на него налитыми кровью глазами.

У Тристана сначала запылал лоб, затем вскипели мозги, потом накалилось все тело, будто его ошпарили кипятком, и наконец отнялся язык.

— Найди коротышку Писклю, скажи, что устраиваем у Кокайя чиакоконоба и нужен пиротехник. Васке скажи, чтобы пригнал бомжей и что деньги на выпивку Леди даст — примчатся как миленькие. Этой ночью всем нужно быть на ногах, мы должны распугать кое-чьих ангелов-хранителей! — строго распорядилась Леди.

Тристан хорошо понимал, что она подразумевала. До настоящего народного праздника чиакоконоба оставалось еще почти три недели. После страшных девяностых того, что она имела в виду, в Капровани никто не устраивал. Местные не любили вспоминать те времена, но, когда требовалось пугнуть какого-нибудь чужака, пригрозить организацией чиакоконоба могли. А теперь, стало быть, пришел день реализовать угрозу. У Леди слова с делами не расходились.

— Я тебе, сан-зонская шлюха, такой праздник устрою, какого ты и во сне не увидишь. Ишь чего захотела — построить в Капровани «олдирим», твою мать! — сквернословила Леди. — Сегодня ночью узнаешь, кто хозяин твоей вожденной «олдирим»! Если это быдло не тряхнуть хорошенько, оно забывает, чей хлеб ест и кто есть кто в этой зоне... А ты, Бубуся-Мумуся, развлекись последний раз на моем поле, а потом чеши отсюда вместе со своим кофе по-варшавски. Чтoб тебе захлебнуться им на своем Тбилисском море.

У Леди от гнева пылали налитые кровью глаза, в горле застрял комок. Когда примчался Тристан в сопровождении кучки бомжей, она судорожно закурила свой красный «Мальборо».

— Леди, я всем все передал, всех предупредил, распределил обязанности. В полночь они как штык будут на участке Кокайя. У маленького Пискли руки чешутся. Он такой бах-бах собирается устроить, что Земля задрожит!

— Ну, держись, сан-зонская кукла! — зловеще произнесла Леди. — Все запомнят этот день, а ты в особенности. — Она повысила голос, обращаясь к Тристану. — Понравилась тебе Буба, да, несчастный любитель кофе по-варшавски? Вот дам тебе под зад коленкой вместе с ней — будешь хлестать его в сан-зоне. А ну, вали отсюда... слы-ы-ы-шишь? — взвыла она, глядя на луну.

Полная луна была такой белой и яркой, что даже испуганный Тристан мог пересчитать на ее поверхности все холмы, реки и озера.

— Боюсь, не получится у нас хорошая чиакоконоба в такую лунную ночь, уж очень светло, — робко заметил Тристан, посмев приблизиться к Леди на несколько сантиметров.

— Еще как получится! — пообещала Леди, втапывая в землю окурок «Мальборо», и, поддев носком, сыпанула песком в лицо Тристану.

¹ Чиакоконоба — языческий праздник, аналогичный славянскому празднику Ивана Купалы. В Грузии Чиакоконоба традиционно отмечают в среду на Страстной неделе. В этот день разжигают костры, огнем прогоняя злых духов.

Тристан зажмурил глаза и, мотнув головой, смахнул песок с лица. Бомжи, стоявшие у него за спиной, ахнули, а Леди горделиво проследовала в дом.

В сопровождении своей бомжовой свиты Тристан отправился к «Шаурме» уточнять стратегический план мероприятия.

Все должно было произойти неожиданно и быстро, чтобы Буба не успела опомниться, а опомнившись, не заподозрила Леди. А вот местное население должно было хорошо понять, откуда налетело цунами, но, понимая все, молчать. Для Тристана же успешное выполнение порученной ему миссии было шансом сохранить и упрочить свое положение рядом с королевой Капровани и дать понять всем и каждому, что он не бродяга без роду и племени, приблудившийся с «того берега» и цепляющийся за юбку Леди, а настоящий мужик. Короче, готовившееся действие было призвано принести большие «политические» дивиденды многим, и не в последнюю очередь — Тристану.

Тристан осторожничал, проявлял предусмотрительность. Каждый шаг он просчитал заранее, с учетом вероятных неожиданностей, которых не избежать в ходе подобной операции. Ближе к делу он снова явился к Леди, чтобы для подстраховки обговорить все детали.

— Леди, а если Роберт не простит тебя? Будет война, Леди, плохая война, такая, что камня на камне не останется. Сейчас Роберт войны не хочет, потому и не возвращается в Капровани. А ты хочешь войну, Леди?

— Кто не хочет войны? Роберт?! Ну, ты и безмозглый. А кто, по-твоему, эта Бубуся и для чего он ее сюда прислал? Все я вам должна разжевывать. Хочет он войны, очень хочет, но при этом мечтает остаться в белых перчатках. Вот он и подослал Бубусю, в виде пробного шара. Если мы это слопаем, он пришлет еще десять таких Бубусь и сам прибудет следом за ними, пока вы будете хлопать ушами.

— Нет, упаси Бог! Я так глубоко не подумал. Леди, ты права, нужно отделаться от этой женщины. И мы устроим это сегодня же ночью, напугаем ее до смерти к такой-то матери!

На этот раз Леди не сочла нужным что-либо добавить. Больше Тристана убеждать не было нужды, он готов. И свою бригаду заведет так, как того требовало дело — не такое уж трудное, кстати. Леди уже не волновалась, предвкушая свой триумф.

В ту ночь, как уже было сказано, над Капровани висела полная луна. Во всех дворах лаяли собаки, а у кокаевского участка, со стороны моря, бродячие собаки устроили коллективный вой на луну. Казалось, что все капрованские собаки организовали звуковую цепь для передачи сообщений, которая замкнулась в волшебное кольцо, и вся эта собачья какофония, обретя космическое звучание, вознеслась на небесную орбиту, где слилась с заклинаниями Леди. Но вдруг наступила зловещая тишина. Собаки залегли у кокаевского забора в полном молчании. Они лежали и ждали. Луна из молочной превратилась в серую, отбрасывая теперь на землю тревожный свет.

— Пора, пошли! — скомандовал Тристан. — Начинаем!

Дремавшие в «Шаурме» бомжи стали подниматься. Пискаля почти протрезвел и тащил за собой оборудование для большого бах-баха. На шорох разбросанного у кокаевского участка сена пудель Бубуси вылез из палатки и несмело, но как бы предупреждающе залаял. Потом он заметил две тени, зарычал на них и, осмелев, разразился уже громким лаем. Одна из теней кинула в пуделя заранее заготовленный камень. Собака жалобно заскулила. Проснулась Бубуся и высунула голову из палатки.

— Танго, домой, Танго, что там такое? Сейчас же домой!

Пудель валялся на земле, не в состоянии ответить ей хотя бы стоном. На его белом лбу расплзалась кровь.

— Тангуля, что с тобой, кто это сделал? — закричала Буба, озираясь по сторонам, но никого не обнаружила. Она вернулась в палатку за водой и ватой.

В этот момент прятавшийся среди деревьев Тристан сунул в рот два пальца и тихо свистнул. Лежавшие у кокаевского участка собаки вскочили как по команде и бросились в атаку. Те, что покрупнее, проломили забор, самые ловкие просто перемахнули его, а мелюзга пролезла в дыры под ним. В момент вся озверевшая свора окружила пуделя Бубы. Они лаяли, рычали и пытались приблизиться, но Танго героически оборонялся и не отступал, несмотря на то, что кровь из раны на лбу заливала глаза. Потом самая большая, седая собака, нечистокровная кавказская овчарка, отделилась от своры и как цыпленка схватила пуделя зубами за загривок. На страшный визг Танго из палатки выскочила Буба, подобрала на ходу прислоненную к забору палку и начала отчаянно отгонять собак, взывая:

— Помогите, люди! Фу! Фу! Убирайтесь отсюда! Люди, люди, помогите, убирайтесь отсюда, мерзкие псы, вот я вас! — орала она, размахивая палкой. Кавказская овчарка стояла над распростертым на земле Танго, вонзив ему в горло клыки и никак не реагируя на Бубусины угрозы. Остальные собаки стягивали кольцо вокруг Бубы, но не нападали, видимо, ждали сигнала предводительницы. Танго уже перестал стонать, овчарка не разжимала челюстей в ожидании смерти пуделя.

Танго терял кровь, собаки, окружив Бубу, рычали на нее. В отчаянии Буба так огрела одну из них палкой по голове, что та, отключившись, рухнула на землю, и, пока остальные не успели опомниться, ворвалась в круг и начала изнутри крушить свору палкой. Овчарка не отпускала Танго, который, увидев Бубу, издал такой душераздирающий стон, что сердце у Бубы сжалось, и она, потеряв всякий страх, напролом бросилась спасать своего маленького друга. Она ничего не видела, но почувствовав, что при очередном ударе палка попала во что-то твердое, замахнулась еще раз и ударила снова изо всей силы. Предсмертный стон Танго стоял у нее в ушах.

Немного опомнившись наконец, она увидела, как большая овчарка с поджатым хвостом покидала поле битвы, остальные собаки трусили за ней.

— Танго, Танго, ты жив? Иди ко мне, мой дорогой, — плакала Бубуся, поднимая окровавленного пуделя и заноса его в палатку.

Ощупав собаку, она убедилась, что одна лапа сломана, шея прокусана до кости, ухо порвано, но Танго жив. Им обоим невероятным образом удалось спастись.

— Продержись, мой дорогой, до утра, утром я отнесу тебя к врачу. Он обязательно тебя вылечит, до свадьбы все заживет! — причитала Буба. — Что же это было? Может, полнолуние так подействовало на этих псов? Кого ни спроси, все говорят, что они безобидные. Завтра же скажу Тристану, пусть разберется. А ты только додержись до завтра, мой маленький!

Она вспомнила, что где-то у нее была перекись водорода, нашла ее и продезинфицировала собачьи раны. Пудель, несмотря на острое жжение, словно понимая, что так надо, покорно подставлял Бубе разбитую голову.

Она взяла белую простыню, завернула в нее собаку, положила на пол и присела рядом. Белая простыня быстро покраснела, хотя перекись явно снизила интенсивность кровотока.

Мрачные думы не оставляли Бубу. Чувство страха терзало ее, и не зря. Она еще не знала, что это была увертюра, которая закончилась, и настало время основного действия.

Неожиданно во дворе прогремел мощный взрыв, Бубу отшвырнуло в угол палатки, она едва успела подхватить Танго. Затем последовало еще несколько взрывов, и палатка завалилась набок. Запутавшись в ее полотнищах, Буба с Танго на руках никак не могла выбраться наружу. Но когда ей, ползком, на коленях, все-таки это удалось, она остолбенела: перед ней стояла огненная стена, все кругом горело. Несколько секунд она не могла сдвинуться с места, но сообразив, что действовать нужно очень быстро, схватила палаточный брезент и завернулась в него вместе с Танго, выпростав только одну руку. Ею она уцепила бидон с водой, стоявший при входе в палатку, сорвала с него крышку и вылила воду себе на голову. Потом бросилась в сторону моря. Она бежала без оглядки и истерически звала на помощь. Никто не отозвался на ее крики. Тело маленького пуделя отяжелело так, что Буба тащила его из последних сил. Наконец, добежав до берега, она плюхнулась вместе с Танго на мокрый песок прибоа.

За один вечер они были спасены второй раз. Непонятным образом рядом обнаружилась палка, которой она била по голове большую собаку. Как она попала сюда? — подумала Буба и попыталась вспомнить, что же произошло. Что за пушка стреляла? Что за несчастье обрушилось на ее двор, который еще несколько часов назад она собиралась превратить в Эльдorado? Поднявшись на ноги, она взглянула в сторону двора.

Пожар был в апогее. В лунном свете особенно красиво пылали сосны, стоявшие во дворе. Бамбуковый забор и прессованная солома тлели, окутанные черным дымом. Интересно, что же там рвануло? Вроде бы ничего взрывоопасного у нее не было. Две канистры бензина? Но они же были закупорены. С берега моря Буба видела, как взбудораженный народ бежал к месту пожара: одни с пустыми руками, другие с наполненными водой ведрами. По-видимому, никто не слышал криков Бубуси, народ подняло на ноги гудение огня. Наверняка все думали, что Буба с пуделем сгорели в палатке, но подойти ближе не было никакой возможности. Поэтому люди выплескивали воду в сторону пламени просто для очистки совести: чтобы погасить такую грандиозную чиакоконобу не хватило бы и тысячи ведер.

— И вправду это какое-то Богом забытое место. Ведь надо же: половина леса сгорела, а никакого хозяина не видать. И где пожарная команда? — возмущались капрованские отдыхающие.

— А вы уверены, что это не поджог? — задал вопрос один из них. — Теперь на этом месте вырастет современная гостиница. Известный метод. В Цхнети и Багеби весь лес так извели.

— Мы вызвали пожарных, но они едут из Уреки, поэтому раньше утра не будут, — оправдывался один из местных жителей.

— А что я говорил: они договорились с пожарными! До утра не то что один участок, весь Капровани спокойноенько сгорит, — прошептал один отдыхающий другому.

За их спинами появились какие-то люди с наполненными ведрами, отодвинули их в сторону и начали поливать языки пламени водой.

— Да ладно вам дурака валять! — махнул рукой один из отдыхающих, повернулся и пошел восвояси. Его примеру последовали остальные.

Пожар уже сожрал все, что можно, и медленно угасал, вскоре он должен был превратиться в небольшой костер, через какой обычно прыгают дети. Буба тоже стояла теперь у забора и плакала. Кто-то из присутствующих заметил ее и радостно воскликнул:

— Смотрите, она жива!

— Лучше бы умерла, — мрачно пошутил сосед Роберта. — Весь убыток хозяин с нее теперь спросит и будет прав: это ее вина!

С десяток человек всю ночь крутились возле сгоревшего двора, но основная зрительская масса скоро разошлась по домам.

— Односельчане не смогли ничем помочь, спасти ничего не удалось... От кокаевского участка ничего не осталось, отныне грош ему цена, — докладывал Тристан, сидя в кресле Леди.

— А Бубуся спаслась? — спросила та.

— Спаслась. Ужасно рыдала, бедняга, соседи ее успокаивали, но одновременно намекнули, что Кокайя потребует с нее возмещения ущерба.

— Кто-кто?! Роберт?! Эта несчастная должна возместить ущерб такому негодяю? Это несправедливо! Думаешь, не сам Роберт организовал поджог? Хочешь, поспорим, что это его рук дело. Уверена на сто процентов! Что? Собаки подрались и перевернули канистру? И это не его собаки, говоришь? А та, большая как корова овчарка, которая задрала Бубусинога пса, разве она не Робертова собака? Бьюсь об заклад, это его люди натравили собак, а потом непотушенный бычок бросили в солому, пропитавшуюся бензином. Отсюда все и началось! — Так Леди быстро и подробно расписала Тристану сценарий пожара. Ему оставалось лишь красиво упаковать его и преподнести всему Капровани как правду. — Этот негодяй теперь хочет содрать деньги с Бубуси? Нет, дорогой, не бывать тому! Иначе для чего существуем мы, крепкие женщины? Еще посмотрим, чья возьмет и кто с кого и сколько сдерет денег, — говорила Леди, повеселев от удовольствия.

Тристан так согласно кивал в ответ на каждое слово Леди, что у постороннего наблюдателя и мысли бы не возникло, будто к последним капрованским событиям они имеют хоть какое-то касательство. О бомжах тревожиться не стоило: на халяву они так надрались, что забыли и где их лежища, не то чтобы помнить про какое-то чаакоконоба.

— Мы должны пойти к Бубусе и спросить, чем я могу ей помочь, — вдруг объявила Леди. У Тристана сначала глаза на лоб полезли, но потом, слегка тряхнув головой, будто хотел поставить на место мозги, он произнес — как декламировал:

— Ты сильная женщина, Леди! Кто может сравниться с тобой на белом свете? Благороднее и сообразительней тебя кто есть на Земле? Ты — само воплощение капрованской справедливости!

— Хватит разглагольствовать. Пошли. Мне не впервой помогать пострадавшим. Если я сейчас не позабочусь об этой женщине, гиены сожрут ее с потрохами (кого именно она подразумевала под «гиенами», не знал даже Тристан).

Вскоре они были на опустевшем уже пепелище. Лишь два-три местных жителя слонялись по нему в надежде что-нибудь найти. Бубы видно не было. Тристан спросил, не видели ли они хозяйку? Ему ответили, что какая-то парочка в роще уступила ей палатку, перебравшись спать в машину. Леди направилась к палатке. Буба сидела перед входом и при свете автомобильных фар смазывала йодом раны собаки. Ее лицо обрамляли те же светлые локоны, собранные на затылке, в вырезе того же черного платья угадывалась та же красивая молодая грудь, но теперь все это вовсе не раздражало Леди. Теперь от отчаяния и безнадежности, застывших в глазах Бубы, у Леди защемило сердце.

— Какое страшное несчастье пало на твою голову, бедная Буба. Чем тебе помочь, скажи? — Она раскинула свои длинные обезьяньи руки и прижала Бубусю к груди. — Не бойся ничего, я рядом и никому не дам тебя в обиду.

— Что ты говоришь, Леди, разве мне можно теперь помочь? Я такой урон нанесла Роберту, как после этого я посмотрю ему в глаза? Как смогу вернуть такой долг? — Бубуся разрыдалась.

— Нечего о Роберте думать! Какая твоя вина, если его собака перевернула открытую канистру, а кто-то подкинул непотушенный бычок? В конце концов, разве не твою собаку растерзали? Ты тут при чем? Если Роберт нормальный парень, пусть придет и поговорит со мной! У него, небось, этот участок сто раз застрахован, не удивлюсь, если он из пожара еще и выкачает приличные деньги. Я Роберта знаю как облупленного.

— Я очень боюсь. На этот участок я возлагала большие надежды! Даже свой маленький бизнес продала. А теперь осталась без гроша. Даже если Роберт ничего с меня не потребует, у меня ничего не осталось. И Тангулю моего покалечили, — снова всплакнула Бубуся.

— Собака от хромоты не умрет, ты о себе подумай. А лучше послушай меня. Плохого я не посоветую! И не оставлю тебя в палатке на произвол судьбы, я же женщина. Поживи некоторое время у меня, переведи дух, отдохни. Не нужна мне ни твоя квартиплата, ни плата за лечение твоей собаки. А когда к тебе вернется способность думать, в делах я тебе буду помогать. Покажем этим скотам, что может сделать женская солидарность. У меня на берегу, в Первом районе, есть участок, намного лучше, чем участок Роберта, иди и строй там свой Эрдоганы, — предложила Леди.

— Эльдорадо, — поправила Буба. — Эльдорадо.

— Ну, пусть будет Эльдорадо, что бы оно ни значило.

Буба и сама точно не могла объяснить, что такое Эльдорадо. Для нее это слово символизировало сад мечты, земной рай. Так она и сказала Леди.

— Правда? Тогда я построю этот рай, а ты — хочешь коттеджи в нем ставь, хочешь — Вавилонскую башню. Коттеджи Бубы в Эльдорадо Леди! «Леди-Буба-Ленд» — по-моему, прекрасная комбинация! А про Робертово болото забудь! — Леди расправила плечи, став и впрямь похожей на Капрованскую императрицу.

— Что ты говоришь, Леди... госпожа Леди? Это правда? Ты мне поможешь?

— Помощь — не то слово, я стану твоим партнером, официальным партнером, не как Роберт, который дергает за ниточки, прячась в кустах, черт его побери!

— У меня даже слов нет! Ты явилась мне, как Бог после потопа. — Буба с великой благодарностью взглянула на Леди и перекрестилась, а потом приложила руку Леди к сердцу и поцеловала ее.

— Ладно, ладно, не такая уж я святая, чтобы целовать мне руки, но рай все равно должна здесь построить я, потому что ты со своим Танго этого сделать не сможешь. — Леди расхохоталась так громко, что затухшие было угли чуть снова не разгорелись.

Ровно через неделю бригада под руководством Тристана доставила на прибрежный участок Леди высококачественный материал для строительства коттеджей. Танго, прихрамывая, бегал по новому участку. Бродячие собаки больше не приставали к нему, наоборот, они с опаской обходили участок Леди стороной: черт ее знает, эту Леди!

А Леди каждый день приходила на стройку, усаживалась в шезлонг, закуривала свой красный «Мальборо» и обозревала морской горизонт, пока Бубуся варила для своей благотельницы кофе по-варшавски.

Строительство земного рая шло полным ходом.

— Вот и завершилась моя последняя охота в Капровани, — шептала довольная Леди, в такт словам выпуская изо рта вереницу серо-сиреневых колечек дыма.

Татьяна Панкратова

Господин из Сан-Франциско

Рассказ

Погода с плюса на минус. Снег то выпадает, то тает, ветер противный, холодный, обжигает по лицу, и солнца совсем нет, все небо серое, такое же, как асфальт, и днем сижу со светом. Мама что-то рассказывает, я почти ее не слышу. А, да, про участки что-то.

— Теперь новое придумали, надо уточнять, подписывать границы дачи. А они у всех не сходятся. Еще и никого не найдешь. Кучу бумаг надо. Юлька-соседка ищет Лёшку Вознесенского. Мы ей подписали, этот мужик слева тоже, а Вознесенские же не приезжают совсем.

— Разве она с ними граничит?

— Я тоже удивилась, да, оказывается, полметра за нашей кухней.

Ей сказали в регистрационной палате, что если она не сможет найти соседа, надо дать объявление в газету, и если и тогда нет, то приложить копию объявления...

— Ну что за ерунда. У нас же был их домашний телефон. В той книжке старой, бордовой.

— Да где она, я и не помню. А потом, Юлька дурная же, она уже дала объявление. А еще, если она его найдет, хочет участок их купить.

— А они что, продают?

— Да нет, но она почему-то считает, что если будут продавать, то обязательно ей.

— С какой стати? Тогда уж нам. Мы же ближе, сто лет их знаем.

— Да ну ее. Я не стала ничего говорить. Но нам ведь все равно Лёшку надо искать, тоже на свой участок подписывать границы. А они, может, вообще за границей.

— Да нет, Лёшка-то здесь вроде. Это Женька где-то в Америке работает, он ведь МГИМО закончил. Я его видела, то ли в контакте, то ли в одноклассниках.

— Поищи его тогда.

Я нахожу его сразу, как сто лет назад находила в прятки. Он в Сан-Франциско, вице-консул в нашем консульстве, и интернет пестрит его заявлениями, какими-то интервью. Я пишу ему про участок, как сказала мама, он отвечает, добавляет в друзья. И смотрю тысячу его фоток, наверное, накопилось за полжизни. И те, что в Москве,

Панкратова Татьяна Борисовна родилась в 1985 году в городе Долгопрудный Московской области. Окончила Литературный институт им.А.М.Горького. Член Союза писателей Москвы. Живет в Мытищах. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

и в нашем маленьком мире — Протасово, и те, что там, в Америке, другая какая-то жизнь. Ситл и вегасовские казино. И тут же Германия, Мюнхен, Венеция, Чехия, Париж, американские пляжи, Манхэттен-бич и океан глубокий, бескрайний, как пропасть между нами, восход в Орегоне, Бруклинский мост, Нью-Йорк, пляж Санта-Моники, Голливуд, Дисней, Лос-Анджелес, Родео-драйв, калифорнийский закат, Спейс-Нидл, строительство новой мемориальной башни вместо сбитых 11-го, Эмпайр-стейт-билдинг, Уолл-стрит и статуя Свободы, Майами, Гавайи и праздники, друзья-компания, путешествия, выпивка, много друзей и выпивки, вечеринок, гулянок, как будто вся жизнь из них. И жена, где-то кольнуло, зовут, как и меня. И дочка. Я уже знаю, как зовут, я даже могу не читать подписи. У них так принято, называть в честь родных и самых близких, он в честь папы Евгений, а свою дочь назвал Ниной, в честь мамы. Когда мы играли с ним в семью, нашу дочку-куклу тоже звали Ниной, мы не сговаривались, это было понятно без слов.

Тетя Нина, его мама, с черными волосами и светло-голубыми глазами, как и у него теперь. Кажется, она преподавала испанский в МГИМО всю жизнь. Ее отец-министр, интеллигент в третьем поколении, а мать, Женькина бабушка Людмила Ивановна, вроде из простых, дородная русская женщина. И эта дородность, и какая-то почти необъяснимая русскость у них у всех. Наверное, потому на Женьке смокинг все равно не смотрится, как на русском здоровом мужике-крестьянине, собирается в сборку, перекашивается и будто сейчас разойдется по швам. Когда написала ему под фотографией, чего такой печальный взгляд в шикарном баре в Нью-Йорке, он говорил, это православная грусть, должно быть, та самая извечная русская тоска.

Тетя Нина всегда сажала цветы, только цветы и больше ничего, еще иногда клубнику детям, у них у первых был газон и все на европейский манер: ровные маленькие грядочки и никаких парников, выгребных и перегнойных ям, бочек, оврагов, ничего такого, чего полно было у нас. У них все было по-другому еще тогда. И сажала она в перчатках, и выглядела всегда, как с картинки: идеально уложенные волосы до плеч, шарфик на шее, всегда спокойная, всегда с улыбкой, добрая, веселая, она любила нас, детей. Придумывала нам игры. Всегда говорила с нами, как со взрослыми. «Ой, Аня, какие у тебя красивые брюки». Это про сиреневые лосины с металликом, было модно. Она на грядках, наклонившись. Я краснею: «Спасибо. А Женя дома?» Она кивает: «Наверху». И я иду в старый двухэтажный дом, со страшной винтовой лестницей без перил, у них и дом был не такой. Женька наверху играет в приставку, «Супер Марио» или «Танки», тогда только появились. Я могла бы не спрашивать. Наши дома стоят близко-близко, и в окна все видно. Он дает мне второй джойстик, и мы играем.

Их четверо в семье. Старшая Люся встречалась с моим братом, они собирались пожениться, и вдруг не сложилось, как-то глупо вышло, и отношения все оборвались, они купили дачу на Волге и сюда больше не приезжали, разве что Лёшка, второй после Люси ребенок в семье, привозил компании, построил баню. Он никогда не любил моего брата, ревновал Люсю к нему, подкалывал его, но нас, детей — меня, Женьку, Наташку — это их младшая девочка, — нас любил. Нам были и страшилки у костра, и песни под гитару, и шашлыки, и мороженое — тогда тоже только у них было, из-за границы в пакетиках, надо было замешивать и разводить с молоком. И нам казалось вкусно-вкусно. А еще был «Форт Боярд». Тетя Нина с Лёшей прятали подсказки, и надо было по ним найти ключ от буфета со сладостями. Женька был капитаном, мы носились по всему дому и ссорились лишь из-за того, кому достанется «Тик-так».

Отца их почему-то почти не помню, да, Женька в честь него Евгений, а отчество его никак не вспомню, он был полноватый, тихий, с небольшой залысиной на лбу, как бывает у мужчин в возрасте, а потом инсульт, его парализовало, и он почти все время сидел в кресле-качалке, накрывшись пледом, совсем тихо, мы носились по участку, бегали, кричали и как-то не замечали ничего, а он сидел и, мне казалось, немного с грустью улыбался, глядя на нас. А потом его не стало. Это было тяжело. Тетя Нина стала ходить в церковь. И, наверное, Бог помог ей все это пережить.

У них всегда такая дружная семья, самая дружная из всех, что я когда-либо знала. Когда Люся жила у нас, перед сном она всегда звонила домой, долго говорила с мамой и всеми по очереди, желала спокойной ночи, хоть и по телефону, но так тепло, искренне: спокойной ночи, Женечка, спокойной ночи, Наташенька, спокойной ночи, Лёшенька, спокойной ночи, папочка, спокойной ночи, мамочка. Всем, и даже собаке, ризеншнауцеру Нике, они всегда ее Никушей звали, доброй, с мокрой лохматой мордой и уже почти седой черной шерстью. Я так завидовала им, у них настоящая семья, где все друг друга любят, не то что мои разведенные, разъединенные, вечно обиженные, говорящие друг о друге только плохо. Мы с Женькой мечтали, что Люся выйдет замуж за моего брата и мы тоже поженимся. А мне казалось, что если они будут с нами, то и у нас будет такая же семья.

Они мне были как родные. Люся научила меня не бояться темноты, укладывала спать и говорила, что каждый раз мне будет сниться новая сказка. А Женька был принцем. Тогда у него были светлые волосы с выпрыгивающей челкой, озорная улыбка, прищуренный взгляд голубых глаз, и он сам был как из сказки, которую я сочинила сама для себя. И мы, конечно, должны быть вместе, мы вместе выросли, впервые влюбились. Разве может быть иначе? Казалось, все понятно без слов. В детстве все просто.

Мой брат и его сестра объявили о свадьбе, мы с Женькой обнялись крепко-крепко и сказали, что мы тоже поженимся, нам было, наверное, лет по шесть-семь. Они посмотрели на нас и засмеялись. Теперь все вместе ходили на наше лесное озеро, переплывали с Люсей его даже вдоль. У нас медвежьи озера в лесу, недалеко от участков по высоковольтной линии, километра четыре пешком, черное озеро и голубое, чистые, прозрачные, в окружении сосен, на машине раньше было не проехать, сейчас проезжают на джипах, стало грязнее, но тоже непросто добраться. А мы даже не на велосипеде, мы пешком. Туда приезжают с палатками, но местные налегке, с покрывалом и бутербродами. Мы сидим так вчетвером на голубом озере, и Люся говорит мне — переплывем вдоль, я еле переплыла вширь, но тут же подхватываю, соглашаюсь, но мне страшно. Брат любил пугать меня в детстве, когда заплывала на глубину, где темная вода и не видать дна, он говорил, там чудовище, которое схватит за ногу, и я уплывала на невероятной скорости. Говорила себе, да нет там ничего, а где-то внутри голос, а что же там тогда, вдруг там утопленник или огромная рыба, и было так жутко, что перехватывало дыхание. Мы плывем, нас подбадривают из лодок, кричат с берега. Уже на середине я ложусь на спину и смотрю на небо, голубое озеро, потому что небо в нем отражается, и облака плывут, и на спине совсем не страшно. На том берегу нам дают полотенца, какие-то незнакомые веселые ребята с палатками, гитарами и костром, а Люсе предлагают рюмку водки, она смеется и соглашается, выпивает залпом. Они зовут остаться. Но мы уходим к нашим обратно, по берегу. Холодно, ноги не слушаются от усталости, и пошатывает в разные стороны. Брат ругается на Люсю, Женька тоже надулся на меня.

По вечерам играем вчетвером в разные игры, в карты два на два, девчонки против

мальчишек, первый же кон мы с Люсей проигрываем. Играли на желание, и Женька, хихикая, говорит: скачите на одной ножке до калитки, мы честно прыгаем. Второй кон выигрываем. Я говорю: пусть они тоже скачут, но у Люси другое желание, тогда мне совсем непонятное. Она говорит, надо посмотреть на себя в зеркало и сказать, какой я красивый и хороший. Женька смеется: «И все? Да запросто». А брат отказывается наотрез. Теперь я понимаю, почему она придумала тогда это желание, хотела, чтобы он был увереннее в себе, но ему не с чего было быть увереннее, отец нас бросил. Мы уговариваем его сказать, но он не соглашается ни в какую, и Женька отдувается за него один. Нам все равно весело.

Вечером костер и страшилки. Теперь почему-то не помню ни одной, но было страшно, и мы сидели обнявшись под Женькиной курткой, и он, провожая, шутил — резко вскрикивал или как-нибудь пугал.

Обычно с нами ходила Наташа, его младшая сестра, она была пухленькая девочка, добрая, но еще маленькая, она не очень понимала наших игр и не могла за нами угнаться. Поэтому она часто где-нибудь застревала. Любила конфеты и могла умять их все одна. Мой дедушка ругался, но Наташу это и не смущало, и не останавливало. Поэтому мы чаще были одни. Я говорю: «Давай играть в мужа и жену».

— Давай, — соглашается Женька. — А как?

— Не знаю.

Я и правда не знаю, мои ведь развелись, когда мне было три. Но в фильмах я видела, что муж ходит на работу, а жена ждет его дома. И я говорю Женьке: «Ты иди на работу, а потом приходи». Он приходит.

— А что я должен делать?

— Ну, ты вздыхай!

И Женька старается, вздыхает. Я кормлю его ужином из крыжовника, смородины и ревения. Он ест и вздыхает: «Я так устал!»

— Что-то мне уже надоело так играть.

— Мне тоже.

— Наверное, мы как-то не так играем.

— А давай, я буду убегать, а ты меня догоняй.

— Давай.

И мы уносимся в круговорот вокруг нашего старого дома, тогда еще покрашенного желтой потрескавшейся краской. Женька меня поймал, и мы обнимаемся случайно, нечаянно прислоняемся щеками. Смеемся.

Женька рассказывает мне что-то интересное, должно быть, только вчера прочел в энциклопедии, он всегда так, с серьезным видом, и ему кажется, что это очень важно, я не понимаю, но делаю вид, что слушаю. И он все рассказывает мне о чем-то... Сейчас совсем не вспомню, о чем. Какие-то далекие страны, в которых никогда не буду, а он уже знал, что будет. Я тебе должен рассказать что-то важное, говорил он. Я выходила на крыльцо и слушала невероятные факты про Австралию и Южную Америку. А вечерами смотрели «Что? Где? Когда?», болели за Максима Поташёва, нашего любимого, он тогда был молодой и нам с Женькой нравился, а еще за Блинова, «Брейн-ринг» тогда тоже шел почти одновременно, мы щелкали с канала на канал. Они шли поздно, но нам с Женькой разрешали. Все уже спали, а мы сидели у него наверху, там почти не было мебели, большой матрас на полу, несколько стульев, телевизор на низкой подставке или даже без нее и маленькая лампа, то ли торшер, то ли ночник, не помню, мне кажется, тоже на полу, но нам всего хватало, и даже можно было бегать, скакать по этажу. Смотрели до самого конца и темноты, а потом Женька

проводил до дома. Наверное, смешно — проводил, если дома на расстоянии вытянутой руки, но фонарей нет, не видать ничего, и только на стыке участков возле мисок с молоком о чем-то фырчат ежики, мы боимся, чтобы не наступить на них, у сложенных дров между нашими домами Женька светит фонариком, но ежики не обращают на него внимания, у них серьезный разговор, несколько с одной стороны и несколько с другой, фырчат, ругаются, чуть не дерутся. Я забегаю в кухню, тогда они у всех у нас были отдельно от дома, открываю в темноте холодильник и в крышку лью холодное молоко, деревенское, из трехлитровой банки, за которым ходили с бабушкой вечером. Ежики пьют, больше не ссорятся, должно быть, хватило.

Идем спать. Я пробираюсь к бабушке, она не спит, ворчит, ты что так долго. Ложусь рядом и тут же засыпаю, даже про ежей не успеваю ей рассказать.

Утро солнечное, радостное, почему-то там, в детстве, все утра на даче такие, по комнате скачет солнечный зайчик, за открытым окном бабочки порхают разноцветные, яркие, усердные пчелы садятся на свежие только раскрывшиеся розовые бабушкины пионы, а стрекозы с синими и фиолетовыми брюшками жужжат, словно маленькие моторчики, кружат. Я выхожу на теплое рассохшееся крыльцо босиком.

На улице стол, покрытый клеенкой, на нем большая трехлитровая банка, это дедушка поймал крота и посадил его туда вместе с землей. А вокруг банки Женька с Наташкой. Крот раскапывает розовыми лапками землю и утыкается розовым носом-пяточком в стекло банки. Мы трогаем пальцами сверху его бархатную шерсть. Женька отстраняет нас с Наташкой. Смотрите, откусит палец. Женька всегда капитан, всегда наш главный, он старше меня на год, Наташки — на четыре.

Мы все время с ним соперничаем, соревнуемся, кто главнее. Он считал, что он мужчина и этим все сказано, я с ним спорить ни в коем случае не должна. Но потом мы мирились мизинчиками «миришь, миришь, миришь и больше не дерись, а если будешь драться, то я буду кусаться, а кусаться не при чем, будем драться кирпичом...»

Каждое лето я ждала его приезда. Ждала, пока он отбудет лагерь с английским уклоном и свой спортивный по плаванию. Приходили девчонки и ребята с других участков, звали меня гулять, но я не шла. Вдруг уйду, а он приедет. Он возвращался после своих лагерей, загорелый, уставший, и говорил, там было так скучно. Я хотел поскорее сюда.

У нас много лет, наших, счастливых, очень теплых, с всегда хорошей погодой, и еще немного осени. Когда уже прохладно, красивые мокрые листья и нет комаров.

Но потом мой брат поссорился с Люсей, он сам был виноват, он слишком ревновал, а она его все равно любила, он же — слишком гордый. В тот день приехал еще один сосед, Серёжка, он их возраста, в детстве дружили, он был с компанией, позвал их на шашлыки, брат отказался наотрез и ей запретил, а Люся пошла, он обиделся. Не спал всю ночь, заставил меня играть с ним в карты, выходило с попеременным успехом, а он все прислушивался и украдкой глядел в окно, что там происходит за участком Вознесенских, но от нас все равно не видать. К утру я уснула за столом. Люся уехала. И между нашими участками появился забор, которого никогда не было. И больше всего переживали мы с Женькой.

* * *

— Вот Лёшкин мобильный... Я сам еду в отпуск в Россию в середине июня, готов подключиться к этому вопросу, — он пишет мне по поводу участка.

Тон официально-деловой, профессиональный дипломатический, должно быть, он всегда так отвечает теперь.

Курсор мигает на экране, я открываю и закрываю окно сообщений. Я не хочу писать ничего. Но ведь что-то надо, хотя бы из вежливости, хотя бы из дипломатии.

Он другой, он совсем не принц, поправился сильно, и волосы потемнели. Это не мой Женька, с которым можно было бегать весь день, который плавал на скорость, был лучшим в спортивной школе и всегда обгонял меня кролем. Почти весь год школа с английским уклоном, потом лагеря с английским и плавание, нам оставался всего лишь месяц, но это была целая жизнь.

Мне хочется ответить: разве ты не помнишь, разве ты все забыл? В середине июня в Россию, в отпуск. Зачем? Ведь я же знаю, 16 июня у тебя день рождения, ты едешь к маме, к брату и сестрам, вы всегда дни рождения отмечаете вместе. Помнишь, как было весело тогда, в детстве?

— Да, конечно, спасибо. Я тоже в июне буду на даче. Вот мой телефон... Звоните. — Наконец-то выдавила из себя.

А хотелось обнять его, прижаться крепко-крепко, чтобы чувствовать его запах, родной, неповторимый, и как будто больше нет никаких проблем, ничего не страшно, Женька со мной рядом.

— Ой, это Женька, что ли? Нашла его, да? Где это он? — мама заглядывает в монитор.

— Да, вот Лёшин телефон дал. В Сан-Франциско он, консулом работает.

— Ну вот видишь, за кого надо было замуж выходить! А ты! Ой, там фотографии, дай посмотрю, очки сейчас надену.

— Да нечего там смотреть, мам. Всё, мне надо работать. Давай потом.

* * *

Они приехали в Протасово после обеда, и от них, как всегда, много шума. И мама в маленькое окошко кухни смотрит, кто там приехал. Говорит, Лёшка с компанией, как обычно.

— Мам, ну что ты все подсматриваешь? Не стыдно?

— А что, я просто посмотрела, кто там. Если Лёшка, пойду с ним поздороваюсь, поговорю, он к нам в прошлый раз приходил и в гости звал.

Я иду укладывать ребенка, работы много и дел невпроворот. Ну, приехали, и что, небось, будут всю ночь гулять. К вечеру распогодилось, последние годы лето всегда какое-то дождливое, холодное. В детстве почему-то так не было. Нам даже под проливным дождем было жарко, и бегали босиком, и целовались в шалаше. Наверное, нам было лет по десять-одиннадцать. Шли с озера, мокрые, уставшие, слепни облепляли и комары. Когда же уже этот дом? Мой брат несет Люсю на руках, а Женька несет мой пакет с полотенцами, едой и покрывалом, и немножко меня, я полулежу на нем, идем обнявшись, от усталости и говорить не хочется. И тут ливень, теплый, летний. Достаем покрывало, прячемся под него. Брат с Люсей бегут, кричат, догоняйте. Перескакиваем по старому гнилому бревну через ручей. И Женька говорит, переждем в шалаше. Мы недавно построили его из еловых веток. Лёшка нам помог, он в походы часто ходил и умел и шалаша строить, и костер разводить, и нас учил. Забегаем, там почти не капает, места мало, но так хорошо. «Замерзла?» Женька обнимает меня, растирает руками, пытается согреть, накручивает сверху полотенце. Сидим, прижавшись, сейчас кончится, говорит он, а дождь все шуршит. Теперь тепло и клонит в сон. Женька целует меня в губы, тихонько, осторожно, я целую его в ответ, просто по-детски, без всяких там языков и засосов, мы не умели тогда так, это был первый. Молчим и ничего

не говорим. Дождь прошел и снова солнце, идем как ни в чем не бывало. Я рву малину, а он дарит цветы. Такие синие, похожие на васильки. И мне кажется, теперь я даже слышу этот звук леса, кукующую кукушку, вдалеке стук дятла, свежесть травы, воду в лужах и маленьких прыгающих в траве лягушат, чувствую запах ели после дождя, и на шлепанцах мокрая грязь. Мы держимся за руки и улыбаемся. Нашли под елкой большой-большой белый гриб, один, но весь наш, не червивый. Бабушка сварит суп.

Бывают ли дожди у тебя в Сан-Франциско? Должно быть, там всегда светит солнце.

* * *

Сын с бабушкой, моей мамой, во что-то играют в саду. По работе доделала верстку. Муж звонил, сегодня останется в городе, у него четыре через два, чего каждый день сюда по пробкам мотаться, завтра приедет. Я иду пройтись по дороге к лесу. Моя бабушка раньше каждый вечер так ходила прогуляться. Не жарко, хорошо, еще солнышко, комаров нет или я уже их не чувствую. А может, я просто перестала быть для них вкусной. Раньше, в детстве, облепляли, и сына теперь, только выйдет, несмотря ни на какие брызгалки, едят, как долгожданное лакомство. Клещей я и вовсе не боюсь. Кристина научила меня их дергать, и я с тех пор дергаю и у бабушки, и у Женьки, и у собак. Главное, ногти подлиннее. Кристина — моя первая подруга, самая близкая, с крайнего участка, нам было по четыре года, мы тогда все вместе дружили. Я, Женька, она и ее сосед Вовка. А потом ее родители переехали в Израиль, и мы больше не виделись. Может быть, Женька мог бы ее найти по своим каналам. Я ему говорила, но мы не знаем фамилии, дедушки ее фамилию помним, а у нее же другая, по отцу.

Останавливаюсь у муравейника, у нас при входе в лес два. Один маленький, и там муравьи мелкие коричневые, а подальше большой с черными крупными. Они все время воюют, раньше мы любили смотреть на них. Трудятся, спешат, не замечают никого. Брели прутик, цепляли муравьишку и переносили его на траву, но он все равно бежал к своим. Мох мягкий, как бархат, на нем черника, еще не обобрали, собираю не себе, ребенку. А когда-то мы только в рот собирали, губы в чернилах и под ногтями. Земляники тоже полно. Сажусь на срубленную или упавшую сосну. Теперь таких деревьев много и мусора тоже. Лесников нет, и за лесом некому следить. По тропинке кто-то идет, шаги быстрые, такие знакомые, что боюсь обернуться.

— Привет.

Он говорит как ни в чем не бывало, как будто и не было этих двадцати лет.

Оборачиваюсь, смотрю на него, худой, не то что на фото, взъерошенный, в темных очках, дорогие джинсы и футболка, и куртка известной американской марки, и, как везде на фото, легкий шарф вокруг шеи на европейский манер. Модно. Зачем? На высоком русском Женьке он все равно смотрится, как ленточка.

— Здравствуй. Ты приехал? — глупо говорю я.

Должно быть, он шел с другой стороны. С его участка можно через лес тоже выйти на эту поляну. Только дорога там меж сосен петляет, легко заблудиться, мы раньше боялись, говорили, тропинка лешего.

— Да, на несколько дней.

— А где твои? — я имею в виду жену и дочь. Я видела их на фотографиях в интернете.

Но вместо этого он отвечает:

— Лёшка с ребятами на участке. За щепками послал. Шашлык хочет.

— А жена с дочкой? У тебя же дочка?

— Да. Нина заболела, решили остаться. Я только к маме и с друзьями день рождения отметить.

Я даже знаю без всяких вопросов. Он не хотел ехать один, сказал Ане, она ведь тоже Аня, как и я, что не поедет. А она уговорила, когда еще такая возможность. Хоть маму увидеть, ведь целый день на работе. И ночью и в выходные могут вызвать в консульство, из-за обеда выдернуть и даже из-под одеяла. Там и без одеяла спать можно, жарко. Но мы почему-то привыкли под, пусть простынь, или пододеяльник, или покрывало, но под.

— А ты как? В отпуске?

— Да нет, работаю просто из дома пока. Редактирую, верстаю.

— А, ну да, у тебя же по русскому всегда пятерки были.

Да, у меня пять по русскому и стертый до крови на сочинениях палец. А у него безупречный английский, который я никак. И говорить не могу, за что-то не люблю английский, может, за него.

— Ты чего в очках?

В нашем лесу во всем этом он будто не родной, какой-то чужой господин из Сан-Франциско.

— Привык. Извини, — снимает очки. — Лёшка говорит, что я к ним приклеился. Там без них никак. Я сначала обгорал сильно, а сейчас вроде уже не берет.

Да куда нам, он такой же белокожий, как я, и тут же весь красный, мы по-другому и не загорали никогда. Но тут, дома, такого солнца и не было. Это там пляжи.

— Как ты там?

— Хорошо.

Не будет же он мне говорить, как плохо, как устал и хочет домой, и что и дома теперь как будто чужой, и там чужой. Нет, все у него хорошо, у него всегда так. И я рада, что так. И жена идеальная, вместе учились, и сколько ждала, в Нью-Йорке ведь долго был один. Командировки, звонки по скайпу. А теперь вот в чужой стране, работы нет, пока нет, но он ведь найдет что-то для нее, вот только Нина постарше станет, а пока сиди жди, куда пошлют. И никаких выкрутасов. Все всё знают. В Нью-Йорке сначала была тесная маленькая квартирка, но и в ней им было хорошо, а теперь домик, и вице-консул, уже привыкла. Ради него. Как образцовая жена дипломата. И он, конечно, любящий, заботливый, для него семья всегда важнее всего.

— А ты?

— Да тоже вроде все нормально.

Что сказать тебе, когда хочется рассказать обо всем, что даже закипает внутри. Слишком много. И не могу ничего, кроме этих холодных отвлеченных слов, будто не о нем и не для нас. И он такой же. Мы больше молчим, наверное, наговорились слишком. Ты помнишь свой любимый фильм про Штирлица и разговор глазами, больше нам нельзя, больше нам не светит. Здесь совсем другое солнце. Это все у тебя там.

— Странно, сто лет не виделись. А встретились здесь, в лесу. Я вообще-то редко хожу сюда, даже не знаю, с чего вдруг сегодня. Лёшка тебя не хватится? Наверное, уже ищет. А щепки или что он там просил?

— Да нет, они там пьяные уже вдрызг, и без меня справятся. Лёшка, если надо, и трением костер разожжет, что, ты его не знаешь?

— А ты чего не пьешь?

— Вчера пил дома на дне рождения, а сегодня уже смысла нет, завтра самолет днем, да и за рулем я. Пойдем, до озера пройдемся.

Я хочу сказать, что до озера далеко, не могу, не дойдем, но ничего не говорю. Беремся за руки, как-то на автомате, по привычке. Я даже не понимаю, как...

— Как хорошо, что ты меня нашла.

Я хочу сказать, да это ведь не я, ты меня нашел, но, может, он имел в виду интернет...

— Здорово здесь. Как будто в детство вернулся.

— Лето какое-то хреновое. Уже несколько лет подряд. Холодное, дождливое.

— Ты еще хреновое лето не видела. В Циско хуже гораздо. Правильно Твен говорил, что самая холодная зима — это лето в Сан-Франциско.

Марк Твен его любимый. Или нет. В детстве был любимый, когда запоем читали с ним «Тома Сойера», и он все хотел быть на него похожим.

— Я думала, там жарко.

— Да, жарко тоже. Но океан холодный, и ветер с него ледяной, купаться нельзя, туманы все время, а в центре жара. Такая смесь непредсказуемая. Долго не мог привыкнуть. А теперь вроде уже все равно.

Да, куртка, очки и шарф поэтому, не столько даже из-за моды. И теперь ему все, что без ледящего ветра, — отличная погода.

— Но там красиво. Я видела фотографии. Морские котики, пляжи, кукольные домики, мост...

— Да, много есть красивых мест. Когда выходные, стараемся ездить.

Конечно, что же еще делать там. Смотреть страну, изучать особенности, колорит, местных... Можно и в Европу рвануть, и куда захочется. Чтобы сказать потом, как хорошо здесь в Протасово, в самом обычном лесу, местами замусоренном.

Только когда они у тебя, эти выходные? Говорит, сейчас редко. И мне не хочется больше ничего у него спрашивать. Хочется стоять просто так на мостике над ручьем, смотреть в глаза и обнять крепко-крепко. Мне кажется, я все про тебя знаю, и ты можешь не говорить ничего. Наверное, ты там наговорился на тысячу лет вперед.

Она красивая, худенькая, невысокая, с вьющимися волосами, загорелая, должно быть, там. На приеме в черном элегантном, идеально с тобой рядом. Добрая, терпеливая, с улыбкой. Тебе повезло.

Он прижимает меня крепко-крепко, будто боится, что убегу, исчезну, растворюсь в сан-францисском тумане.

— Странно, комаров нет. А раньше...

— У них просто пакт о ненападении с твоими американскими комарами. А потом, у тебя же неприкосновенность.

Улыбается, первый раз. Все та же непобедимая улыбка дипломата, всех примиряющая, которую надо носить каждый день, всегда. А у него она с детства, и главное, неподдельная, от души такая, искренняя. По нему сразу было понятно, что будет дипломатом. Не потому, что мама в МГИМО и дядя тоже, бывший и посол и посланник, участвовал в переговорах по разоружению и был переводчиком у Горбачёва с Рейганом, и кем только ни был, а дедушка министр, не потому что мамина надежда и способности к языкам. Он еще с детства налаживал дипломатические отношения, умел договариваться, добрый, справедливый, честный, кто же еще, если не ты. Тебя любили все соседи по даче, ты со всеми находил общий язык.

— Тебе ничего за это не будет?

— Нет.

— Или здесь они не узнают? Здесь даже связь не ловит, надо бежать на гору и подпрыгивать.

— Там всё уже знают.

— Тяжело так жить?

— Ко всему привыкаешь.

Он не скажет лишнего, я всё читаю по глазам, светло-голубым, как будто с наивным взглядом, с каким-то восторгом, как в детстве. Все самое трудное у тебя еще впереди, выборы, высылки и прочие дипломатические игры, скрытая война. Тебя не коснется, но переживать, улаживать, решать тебе. Я не буду тебе писать, буду смотреть на твои странички в сетях, и если ты ничего не пишешь, значит, все плохо, очень плохо.

— Ты знаешь, я думаю, скоро все изменится...

Он хочет сказать, и у нас здесь, но вместо этого выходит: «И у вас здесь».

Он там надолго. А без меня навсегда.

Целуемся, теперь по-взрослому, но так же тихо и нежно, как тогда.

Лёшка идет к нам навстречу. Кричит издалека: «Ну вот, мы его там ждем, а он здесь, день рождения без именинника все равно что брачная ночь без невесты. Где ветки? Тебя только за смертью посылать, — повернувшись ко мне: — Привет, Ань».

— День рождения у меня был вчера. Проваливай! — кричит в ответ Женька.

— Вот так со старшим братом, где твои дипломатические манеры?! — возмущается Лёшка в полусутку.

— Проваливай, пожалуйста.

— Обалдеть, я вам скажу.

Лёшка уходит, но долго еще будет подкалывать, до самого утра, говорить что-то вроде: «Здорово устроился. Если любовницу зовут так же, как жену, то и не перепутаешь». Но Женька привык, не будет отвечать, пошлет его мысленно куда подальше.

— Это как-то неблагородно.

— Из благородного у меня давно только имя осталось.

И правда, Евгений ведь означает «благородный». Улыбаюсь.

— Прости, что так вышло.

— Мне пора идти. Я даже телефон не брала, мама с Ванькой будут искать.

— Это сын?

— Да.

Он смотрит с тоской.

— Я провожу.

— Не надо. Иди, как пришел. Так лучше.

Я оборачиваюсь уже у муравейника, он стоит, смотрит, солнце садится, и он словно светится в лучах, будто нереальный, будто призрак, привидение, мечта из прошлого. Мне хочется побежать, обнять его и не отпускать. Мы могли бы быть... Но этого не будет никогда.

* * *

Я ухожу. Желаю тебе счастья там, ты там сейчас нужен и всегда будешь нужен, больше, чем мне. А у меня свое счастье, любимый муж и сын. И все, как всегда. Хорошо.

В Сан-Франциско сегодня малооблачно, без осадков, плюс 22. Самолет прилетит вовремя.

Все совпадения с реальными людьми случайны.

Джасур Исхаков

Леди Гамильтон

Рассказ

В кабинете было жарко натоплено, и пациент, сидевший в старом, с потертыми от времени подлокотниками, зубоучебном кресле, потел, неприязненно поглядывая на бормашину. Мама замешивала в резиновом мячике гипс и рассказывала подруге о том, как я ужасно закончил вторую четверть, с одними тройками, и что не надо было меня баловать и дарить часы. Я стоял за дверью, не решаясь войти в кабинет. Мама заполнила формовую ложку гипсом и осторожно засунула его в открытый рот больного, предупредив, чтобы тот не двигался и не глотал слюну. Воспользовавшись паузой, я вошел в теплый кабинет, маленький, но очень уютный. Поцеловал маму, сидевшую на высоком крутящемся стульчике рядом с больным. Ей сейчас было не до меня. Мамина подруга, лор-врач Фаина Львовна, курила, пуская дым в открытую дверцу печки.

— Ну что, троечник? Мама на тебя жалуется... — подмигнула она мне.

Я пожал плечами и сказал, что у меня не только тройки. По географии, истории и пению — четверки, а по рисованию — твердая пятерка.

— Да, — подтвердила мама, — рисует он неплохо. Рисует и поет! Охламон!

Человек в кресле вдруг заерзал, замычал что-то.

— Послушайте, больной, — прикрикнула на него мама, — сидите спокойно!

Больной вдруг замахал руками, лицо стало пунцовым, и на глазах появились слезы.

— Чего это с ним? — забеспокоилась Фаина Львовна.

Мама бросилась к нему и стала вытаскивать сломанный гипсовый слепок.

— Помогите! — закричала она. Вдвоем они вытащили обломки гипса.

— Да что же вы дергаетесь? — тяжело дыша, мама протянула пациенту дрожащими руками стакан с марганцевым раствором. — Я же вам сказала! Могли бы подавиться! А потом отвечай за вас!

Тот, отплеываясь кусочками гипса, прополоскал рот.

— Вы что-то хотели спросить? — нервно обратилась Фаина Львовна к больному.

— Так он что, художник? — показывая на меня пальцем, спросил человек.

— Еще какой! — Фаина легонько стукнула меня по затылку. — Айвазовский!

— Он должен меня выручить! — вытирая мокрый рот платком, заявил пациент. —

Джасур Исхаков родился в 1947 году в Ташкенте. Драматург, кинорежиссер. Автор рассказов и стихов, по его сценариям снято более тридцати документальных фильмов, шесть мультипликационных картин, ряд сюжетов для сатирического киножурнала. Живет в Ташкенте. В «ДН» публикуется впервые.

Понимаете, у меня художник запил, скотина! А на носу Новый год! Может, пойдешь к нам хотя бы на каникулы, а? — умоляюще обратился он ко мне. — Работа несложная, афишки там и оформление клуба надо закончить... — И добавил, повернувшись к маме: — И денег заработает!

Мама с подругой переглянулись.

— Извините, я не представился, — произнес человек в кресле. — Аскар Мурадович Мирзаев, директор клуба винзавода... Вы же знаете, он тут недалеко, на Переушке.

— Нет... Муж будет против... — неуверенно возразила мама, насыпая в мячик новую порцию гипса.

Фаина Львовна что-то шепнула матери.

— Вы не волнуйтесь, я создам ему все условия!

...На следующий день я еле дождался, когда кончится последний урок, и помчался на Переушку.

Клуб был неказистым одноэтажным зданием с забором, примыкающим прямо к заводу, откуда всегда тянуло сладковатым запахом бражки. Мы иногда ходили смотреть кино в этот клуб. Вестибюль с вечно отваливающейся лепниной был обклеен фотографиями артистов. В уголке — стойка буфета. Кинозал — с низким фанерным потолком, постоянно сырой, с широкими щелями в полу — был заставлен рядами скрипучих, черных от времени стульев. Плохо натянутый экран — в сталактитовых подтеках. Но все это забывалось, когда гас свет и из проекционной вырывался луч света, оживляя экран.

Когда Аскар Мурадович предложил мне поработать в клубе, первая мысль была о том, что я в любое время смогу бесплатно смотреть кино. Когда захочу. И одно это было счастьем.

Я вытер ботинки и вошел в вестибюль. В центре стояла голая елка, укрепленная в ведре с песком. Рядом, сидя на табурете, чертыхаясь, чинил гирлянду из разноцветных лампочек хмурый человек, как потом выяснилось, киномеханик Георгиади. Я спросил, как найти директора, и грек молча указал отверткой на дерматиновую дверь.

— О-о-о! А вот и наш новый художник! — радостно воскликнул Аскар Мурадович, когда я просунул голову в кабинет. — Заходи, заходи! Как раз вовремя... У нас тут совещание... Садись.

И он представил меня, назвав по имени отчеству. В комнате, кроме директора, было несколько человек: полная буфетчица, две уборщицы, кассирша и девушка лет семнадцати в красном свитере грубой вязки. На столе стояли коробки с новыми елочными игрушками, блестками и мишурой.

— До Нового года два дня, а мы и не чешемся! — строго продолжил директор. — Не готовы плакаты и лозунги, не оформлен фасад, вестибюль и зал... За сегодня и завтра надо все закончить... Генеральная уборка по всему клубу, чтобы блестело все! Заводчане должны почувствовать заботу и внимание... Надо создать праздничную атмосферу...

— Когда же мы успеем? — робко спросила одна из уборщиц.

— Надо будет — ночью повкалываете, не сахарные! — оборвал ее директор. — А тряпки из дома принесете. Всё! За работу, товарищи!

Он отпустил всех, кроме меня и девушки.

— Это Аля, мой секретарь и по совместительству методист, — представил он мне девушку. — Объем работы большой. Она тебе поможет. Идемте, товарищи, в мастерскую...

Зажав под мышкой рулон нового кумача, он повел нас через заледенелый дворик в «мастерскую». Отпер висячий амбарный замок, с трудом открыл дверку. Мастерская... Это была замызганная каморка со свисающей черной паутиной по углам.

На единственной табуретке, покрытой промасленной газетой, лежала недоеденная высохшая селедка и стояли захватанные матовые стаканы. В углу — чугунная печка с трубой, выходящей из окна наружу. Серые стены, видимо, использовались в качестве мольберта, на полу валялось несметное количество окурков, под колченогим столом — пустые бутылки. К стене прислонены замазанные планшеты афиш, портреты бывших руководителей в багетных рамах. На полках пылились какие-то бутылки, банки, коробки, засохшие кисти и пустые баночки из-под гуаши. В комнатке было холоднее, чем на улице, и вода в ведре замерзла до дна.

— Ну вот... — деловито сказал Аскар Мурадович. — Немного прибраться надо... Печку затопите, дрова найдешь... — Он вытащил из кармана блокнот. — Так, вот тексты для транспарантов, перепиши.

Я переписал два текста: «С Новым, 1961 годом!» и «Решения XXI съезда КПСС — в жизнь!».

— Это — первым делом... — уже в дверях строго распорядился директор. — А потом возьметесь за елку, — добавил, уже уходя.

Дрова были сырые, и огонь в буржуйке никак не разгорался. Аля в это время смахнула веником паутину из углов, собрала в мусорное ведро протухшую селедку, пустые бутылки и баночки, вытерла стол и застелила его газетами. Потом подмела и протерла полы. Огонь в печке наконец-то разгорелся, и каморка постепенно заполнилась теплом и уютом. Аля выпросила у директора старое потертое кресло с выгнутыми ручками и поставила его у печки. Устало села в него, подогнув под себя ноги, и сказала:

— Слушай, а классно, да?

За окном уже стемнело, и блики из чугунной печки играли на ее лице.

— Да, — согласился я, и в комнате повисла тишина. Пауза слишком затянулась, я отвел глаза от девушки, включил лампочку и стал раскладывать на столе красную материю.

Пока я рассчитывал, какой величины должны быть буквы на шестиметровых транспарантах, Аля заварила чай, нарезала хлеб и докторскую колбасу.

— Иди чай пить, — пригласила она.

— Да нет... Я сыт...

— Да что ж ты такой стеснительный! — засмеялась она и почти силой усадила к табуретке с едой. — Это нам директор прислал, бери...

Потрескивали дрова в раскаленной печке, за стеной слышалось уханье какой-то заводской машины. Мы ели директорские бутерброды, запивая горячим чаем.

— Ну, как успехи? — в комнату вошел директор, оглянулся по сторонам: — Молодцы, в божеский вид привели...

Он подошел к столу с пустым еще кумачом. Недовольно оглянулся на меня, хотел было сказать что-то, но Аля опередила его.

— Все нормально, Аскар Мурадович, завтра утром все будет готово!

— Вы что, ночевать здесь собираетесь?

Я пожал плечами:

— Если надо, останемся...

— Нет уж... — кашлянул директор. — Сегодня заканчивайте...

— Спасибо за колбасу, Аскар Мурадович, — поблагодарила Аля.

— Пожалуйста... — он еще раз удовлетворенно оглядел преобразившуюся мастерскую: — Еще есть проблемы?

— Аскар Мурадович, нам бы музыку... — хитро улыбаясь, попросила Аля.

— Возьми у Георгиади, — вздохнул директор и ушел.

Аля принесла старый патефон и стала разбирать пластинки.

— Во! «Брызги шампанского»!

Я накрутил пружину и поставил мембрану на пластинку.

...Кумач был расстелен на полу от угла до угла, и мы с Алей ползали на коленках,

раскрашивая его белой клеевой краской.

— Посмотри, как здорово! — сказала Аля, разглядывая текст транспаранта с другой стороны. — Тысяча девятьсот шестьдесят один — и вверх ногами тоже — тысяча девятьсот шестьдесят один! Надо же!

Из патефона с шипением звучал голос Шульженко.

— Интересно, каким будет этот год?

— Не знаю...

Наши головы были друг против друга, почти касались.

— Ты испачкался... — она вытащила платок, посплюнявила его и стала протирать мне щеку.

Я смотрел на ее лицо, такое близкое, влекущее. Заметив это, она улыбнулась.

— Тебе сколько?

— Пятнадцать, — соврал я, прибавив полтора года. В то лето я сильно вытянулся и, как оказалось, на всю жизнь.

— А мне в январе будет семнадцать!

Я чувствовал ее дыхание, ее неуловимый запах, сложенный из каких-то духов, помады, аромата волос и кожи. С трудом удержался, чтобы не дотронуться до белой шеи с колечками тонких волос возле уха.

...Мы шли по ночной улице, скользили по обледенелым лужам. Редкие машины обгоняли нас, пробивая фарами декабрьский туман.

— Когда же выпадет снег? — глядя в мутное небо, скорее, выразила желание, нежели спросила Аля.

— На Новый год, — уверил я.

— Откуда знаешь? — оглянулась она.

— Если ты хочешь, значит выпадет...

Аля улыбнулась.

На следующий день мы украшали елку, нанизывали на нитки кусочки ваты, развешивали «снежинки» под потолком.

Киномеханик включил свою гирлянду.

Проверять готовность клуба пришло все заводское начальство.

— Молодцы! — похвалил директор завода. — Поощрите людей, — отдал он распоряжение не в меру взволнованному Аскару Мурадовичу.

Когда они ушли, директор собрал всех в своем кабинете.

— Ну вот и замечательно! — радостно потирая ладони, сказал он. — Не подвели! Теперь еще задание, — Аскар Мурадович обратился ко мне: — После Нового года, с первого числа, будем показывать английский фильм «Леди Гамильтон». Сделай приличную афишу, фильм замечательный... Хорошо?

— Ладно, — ответил я.

— Хотите, посмотрим сейчас картину? — предложил грек.

В зале набралось человек десять — сотрудники клуба, случайно зашедшие зрители.

Мы с Алей сидели на самых лучших местах — в центре прохода.

Черно-белый исцарапанный фильм был с субтитрами, и уборщицы недовольно кричали:

— Вася, нельзя ли помедленнее? Читать не успеваем!

— Аля, почитай! — крикнул из окошка Георгиади.

Уборщицы и буфетчица поддержали киномеханика, и Аля стала читать титры. Я заворожено смотрел на экран, на красавицу Вивьен Ли и Лоуренса Оливье. А рядом звучал голос Али. Она читала громко, под самым моим ухом. Ей удивительно удавалось

передавать интонации актеров, особенно Вивьен Ли в роли леди Гамильтон. Я оглянулся: на лице Али мелькали отсветы от экрана...

Экран погас, фильм кончился. Включили свет.

Буфетчица Арина Ли, сморкаясь и вытирая слезы, сказала:

— Холосий фильм, зизненный. Только уз глусный осень!

— А Алька-то наша — артистка! — восхищенно посмотрела на Алю пожилая уборщица.

Тридцать первого я тайком от мамы вытащил из шифоньера ее летнюю широкополую шляпу и бегом направился в клуб.

Первым делом замазал старую афишу на деревянном подрамнике, разложил остатки гуашевой краски, нашел уголек.

Зашел к Але, которая одним пальчиком стучала на машинке приказы по клубу.

— Зайдешь?

— Как закончу, приду, — пообещала она, со звоном сдвигая каретку старого «Ундервуда».

В нетерпеливом ожидании я успел затопить нашу чугунную печку, раскидать на планшете надписи будущей афиши: «1-2-3 января новый фильм. Производство Англии. “Леди Гамильтон”. В главных ролях — Вивьен Ли и Лоуренс Оливье. Начало в 18.00».

Через час в мастерскую вошла Аля.

— Ну-ка, примерь! — развернул я шляпу.

Она надела шляпу и посмотрелась в осколок зеркала на стене.

— Ух, ты! — восхитилась она. — Мамина?

— Да, — ответил я. — Садись, буду тебя рисовать...

Подкинув в буржуйку поленья, поставил пластинку на велюровый диск патефона — «Грустное танго».

Аля села в кресло, откинула голову, как леди Гамильтон, и с большим удовольствием стала позировать.

Говорят, под гипнозом человек способен на чудеса. Люди вдруг начинают писать стихи, хотя никогда этим не занимались, предсказывать будущее, не имея понятия об астрологии и хиромантии... Так и я. Не знаю, под каким гипнозом я был в тот последний день уходящего года, но никогда больше я не смог нарисовать что-либо похожее на ту единственную в моей жизни афишу.

Предновогодний сумеречный день 31 декабря был, как везде, рабочим, но заканчивался раньше обычного. Сотрудники клуба спешили по своим домам, к своим винегретам и холодцам, в тепло домашних очагов, однако, услышав от грека Георгиади, что Альку нарисовали, столпились в мастерской. Оханьям и аханьем не было предела. Она и в самом деле была очень похожа на леди Гамильтон, особенно в маминой шляпе.

Георгиади не сказал ни слова, только крепко пожал мне руку.

Директор, нарушая законы, подарил всем, в том числе и мне, по бутылке вина. И хвалил меня, похлопывая по плечу, просил передать маме привет, демонстрируя всем новые коронки во рту.

Мы вышли на улицу.

Крупные, тяжелые снежинки падали на холодный асфальт и не таяли.

— Снег... Снег! — закричала Аля.

Она ловила мокрые снежинки в варежки и танцевала. На остановке подбежала ко мне и прошептала на ухо:

— Жалко, что ты еще маленький... Спасибо... За снег и за картину...

Она чмокнула меня в щеку и бросилась к уходящему трамваю.

— С Новым годом! — крикнула она с подножки, и трамвай, разбрызгивая с дуг электрические искры, поехал по темной заснеженной улице.

Дома вкусно пахло пирогами, апельсинами и хвоей.

Мама с Фаиной накрывали на стол. Фаина оглянулась и всплеснула руками:

— Что, снег пошел?

Я молча кивнул.

— Отряхни пальто... Что так задержался? — расставляя на скатерти тарелки, спросила мама.

— Работал... — сбивая с ботинок снег, ответил я.

Через два дня снег резко прекратился и сменился занудным дождем. Я подошел к клубу. Остановился. Господи, я же не добавил в гуашь клея... По афише стекали дождевые капли, смывая краску. Аля, леди Гамильтон, еле просматривалась на размокшем планшете.

В вестибюле меня встретил директор и, пряча глаза, виновато сказал:

— Знаешь, наш художник вернулся... Зайди в бухгалтерию, там деньги для тебя...

Немного, правда... — и он отвернулся.

Я бы не пошел в мастерскую, но там была шляпа, которую я оставил.

Аля сидела в кресле, подвернув под себя ноги. У патефона спиной ко мне возился с пластинками незнакомый человек. На табурете, покрытом газетами, — открытая консервная банка с килькой, блюдо с винегретом, полбуханки хлеба и два пустых стакана. Наполовину опорожненная бутылка вина стояла на полу.

Аля, увидев меня, резко поднялась из кресла, улыбнулась.

— Ой, привет... — сказала она, вдруг закашлявшись. — Познакомься, это Ренат...

Мой жених...

Человек оглянулся.

— А ты и есть... — назвал он меня по имени. — Молодец, хорошо нарисовал...

Присоединяйся, — указал он на табуретку.

Аля подошла ко мне.

— Ну, что ты в дверях стоишь? — протянула она ладонь.

Я спрятал руки в карманы.

— Шляпу не видела? — глядя мимо нее, спросил я...

Мама взяла деньги, всхлипнула:

— Твоя первая зарплата, сынок...

— Тут совсем мало...

— Какая разница? Обед на столе, иди умойся, ты весь мокрый!

— Дождь на улице... — пояснил я и пошел умываться.

Капли, попадавшие в рот, были солеными.

Ноябрь, 2007 г.

Сюзанна Кулешова

Мадлен

Рассказ

Начнем с того, что мы с Мадлен возненавидели друг друга, поставив наши подписи на заявлении о вступлении в брак. Мадлен — это не настоящее имя, но то, что в паспорте, — еще хуже. Не знаю, кому в наши дни может прийти в голову назвать дочь Наташей? Это же не имя, это — ярлык. Впрочем, я и сам пользуюсь ником, почему и каким, — неважно.

Пожениться нас заставили предки с обеих сторон. Мы спьяну перепихнулись на какой-то угарной вечеринке. Она что-то там не рассчитала и залетела. К этому времени на ней, как говорится, некуда было ставить клейма. Наверное, любой, кого она, как принято в нашей тусовке, называла братиком, мог рассказать о ней много забавного и даже анатомического. Вот и я тоже. Но влипнуть так любой, конечно, не мог.

Ее маман решила поставить точку в бесконечном беспределе дочери. И мои с ней согласились. Типа, я должен нести ответственность за свои поступки. Типа, им ужасно не повезло с сыном. Словно я товар, который они приобрели на распродаже, — он не соответствует заявленному качеству, но вернуть его нельзя по условиям акции.

Нам было по семнадцать.

Мы только что закончили школу. То есть это я закончил кое-как экстернат, а Мадлен требовалось сдать, наконец, эти чертовы ЕГЭ, на которые у нее просто не хватало времени. Почему, думаю, понятно.

Итак, без нудных торжеств и белых платьев, что, впрочем, нас обоих устроило, мы оказались вдвоем на съемной квартире, аренду которой в качестве свадебного подарка проплатила маман новобрачной. За три месяца. Пока мне не стукнет восемнадцать. А дальше я должен буду сам справляться с проблемой.

— Мы можем ничего не менять в своей жизни, — заявила мне жена, бросив в какой-то ящик ненавистное свидетельство нашей неловкости.

Я не был уверен в этом, но ее слова зародили надежду. Впрочем, напрасно. Уже на следующий день я застал ее в сортире, обнимающей унитаз. Нет, мы не нарезались

Кулешова Сюзанна Марковна родилась в Ленинграде. Окончила Горный институт по специальности «Палеонтология». Печаталась в журналах «Нева», «Аврора» и др. Лауреат литературных конкурсов. Живет в Санкт-Петербурге. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

накануне. Она вообще оставалась дома, сославшись на недомогание, а я бегал по друзьям, не поверите, в поисках работы. Скажете, что за идиотизм и кто так ищет работу?! Да откуда я знал, как ее искать вообще! Я не думал об этом никогда. Некоторые как раз и просветили, и рассказали про резюме и всякие сайты знакомств с работодателями.

Я пришел порыться в интернете, а она блевала и была не в силах ничего объяснить.

— Что вы хотите? — усмехнулся врач «скорой», которую я вызвал, испугавшись не на шутку. — Обычный токсикоз.

Ну, ничего себе — «обычный». Я, конечно, не совсем лох и знал, что баб тошнит от детей внутри, но чтобы так, словно она нажралась какой-то отравы или палёнки?! И, главное, это все вообще не проходило.

— Если так будет продолжаться, сдайте анализы. Быть может, придется прервать беременность, — ободрил меня доктор, прощаясь в прихожей.

Я возликовал!

Зря. Анализы были настолько ужасны, что врачи аборт делать запретили. Типа, это, может быть, вообще единственный шанс в ее жизни родить ребенка. Да и фиг бы с ним! Мне-то что! Но Мадлен была несовершеннолетней, хоть и замужней, и всем рулила маман. Кажется, она и мной рулила.

— Хорошо, — вялый голос супруги меня раздражал. — Я его, может быть, выношу. А потом заживем, как хотим.

Эти слова меня просто взбесили:

— Что ты лепишь?! Куда ты денешь своего выродка?! Ты будешь сидеть с ним день и ночь, потому что они не спят! Никогда! Они орут, жрут и гадят под себя!

Я уже все прочел в интернете и знал, что нас ждет. И меня волновало только одно — какого черта я не сбежал сразу, как узнал про беременность? Я вообще был, как во сне, но не мог прервать этот кошмар! Быть может, я думал, что предки будут меня по-прежнему содержать: кормить, одевать, давать карманные деньги? Ничего подобного! Я не думал ни о чем! Плыл, как говорится, по течению. А теперь орал на эту дурочку от нашей общей боли, от того, что все, что с нами произошло, это — правда, и мы больше себе не принадлежим. И нельзя просто встать и уйти, обо всем забыв. Я, по крайней мере, не мог.

— Ты понимаешь, что все деньги, которые я заработаю, если заработаю, мы будем тратить не на бухло, не на кино! Кино вообще забудь! Только по телику! Мы будем гулять в гребаном садике с долбаной коляской! И ты будешь толстеть и дурнеть!

Она вдруг заплакала. Я это видел в первый раз. Ее все за это и любили. В смысле всем нравилось с ней, потому что она никогда не устраивала этих бабских истерик. Всегда находила повод поржать, что бы ни случилось. А теперь вдруг зашмыгала носом и залилась слезами. Молча.

— Ладно. Не реви, — я отвернулся, не в силах это видеть, преодолевая желание обнять ее.

— Не могу, — всхлипнула она. — Я пытаюсь. Не получается. Прости.

Некоторое время я сидел, уставившись в стенку, готовый зареветь сам от безысходности и непонимания, почему все так. Слушал ее всхлипы.

— Мы его продадим! — вдруг выпалила она.

— Кого? — я не сразу понял.

— Выродка, как ты сказал, — она уже улыбалась и даже казалась хорошенькой.

У меня возникла мысль провести с ней веселенький вечерок. Ну, вы понимаете. Жена она мне или как?!

— Чудесная идея! — заорал я. — За это стоит выпить!

Она не успела отреагировать на мое предложение, у нее снова начался приступ рвоты.

— Никогда, слышишь, — шипела она минут двадцать спустя. — Не говори мне про выпить.

Ее снова рвало.

Тем не менее некоторое подобие романтического вечера мы все-таки провели, и Мадлен увезли на скорой с угрозой прерывания беременности.

Я сидел в приемном покое, раздираемый тремя чувствами: надеждой — она выкинет, и мы спокойно разведемся и забудем, по крайней мере я, это все; ребенок, если здоровый, реально стоит денег, которые мы с ней можем поделить пополам, мне бы хватило на подержанную иномарку — я уже все узнал; и мне было, не поверите, жалко Мадлен! Я вдруг почувствовал, как ей больно сейчас и страшно, мне самому стало жутко.

Когда врач вышел, я бросился к нему, вероятно без лица, или как там это выглядит.

— Спокойно, папаша, — доктор отшатнулся.

Я, впрочем, тоже. Слово, которое он произнес, шарахнуло меня своей непонятностью — это что? Уважение? Оскорбление? Обещание? Что?

— Ей придется полежать у нас некоторое время, чтобы угроза совсем миновала. Не переживайте. Все будет хорошо! А вы молодец! Обычно в вашем возрасте бояться иметь детей. А вы так беспокоитесь о жене и ребенке. Но потом, когда выпишем, будьте поосторожней, — он захихикал.

А я стоял и ничего не говорил в ответ. А что я мог? Начать ему объяснять, что я не просто боюсь — что у меня паника! Фобия! Мания! И шизофрения! Потому что я ужасно не хочу этого ребенка! И боюсь потерять его потому, что хочу получить за него бабло. Или не хочу?! Голова шла кругом.

Но на следующий день я был предоставлен сам себе и не пошел на назначенное собеседование. Мне даже показалось, что свобода вернулась. Да еще и не в квартире с предками, а на съемной. За которую я должен буду платить через несколько дней. Я позвонил потенциальному работодателю и слезно умолял перенести собеседование в связи с тем, что отвозил жену на «скорой». Меня послали. Я снова искал работу.

Когда через три недели нужно было забирать Мадлен из больницы, пришлось обратиться за помощью к ее матери. Слава богу, она привезла дочь домой, то есть к нам на съемную хату, и даже накормила чем-то.

Я стал курьером в какой-то фирме, особо не вникая в то, чем она занимается, и, чтобы заработать на аренду квартиры и жратву с витаминами для беременной, вынужден был брать как можно больше заказов. Целыми днями, иногда без выходных, я носился по городу и благодарил не знаю кого, что работа была! И мне уже было просто не до переживаний. В другом месте, где зарплата повыше, меня не взяли из-за незнания английского. И теперь я вставил наушники и слушал скачанный самоучитель. Мне казалось, что думать я уже тоже начинаю не на русском. Но, с другой стороны, я заметил, что занятые мозги успокаивают. Я как будто примирился с произошедшим. К тому же впереди маячило бабло.

— Потрогай, — проворковала Мадлен однажды ранним утром, когда я пытался продрать глаза и мчаться на заработки.

— Что? — не понял я.

— Он толкается.

Больше всего меня удивила блаженная улыбка, расплывшаяся по ее лицу, как недошитый разрез. Чему она так радуется? Но руку к ее животу протянул. С той стороны ее плоти, из ее нутра, что-то уперлось в мою ладонь. И это было ужасно! Я тут же вспомнил фильм «Чужой». Мне показалось, что сейчас ее живот разорвется и из него полезет на свет какая-то тварь. Я отдернул руку, подавляя тошноту.

— Клево, правда? — продолжала улыбаться Мадлен.

Я кивнул, чтобы не обижать ее, и как можно скорее удрал из дома.

Ее раздувало, как мне казалось, с каждым днем все больше. И у меня почти не возникало желания проводить с ней романтические ночи. Не понимаю, почему я перестал называть вещи своими именами? Почему я все больше старался подбирать слова и выражения, словно этот «чужой» внутри Мадлен мог меня слышать и это все могло ему навредить. Да если и так?! Кроме того, я пахал, и мне было не до романтики. И почему-то никак не получалось найти клиентов продать ребенка. Мне некогда, а Мадлен не искала. Когда я спрашивал: «Почему?» — улыбалась! И все!

— Может, ты вообще решила оставить его себе? — мой вопрос мне казался более чем уместным на сроке 32 недели. Я уже разбирался во всех этих подсчетах.

— Может, — потупилась она.

Это был реально удар грома среди ясного неба.

— Не понял?! А деньги?! — я пытался быть спокойным.

— Заработаем, — продолжала улыбаться Мадлен

Мне хотелось вывернуть ее наизнанку через эту улыбку, но я продолжал сдержанно:

— Кто, прости, зарабатывает? Я? То есть ты хочешь сказать, что мы вот так и будем жить? Семей с ребенком?! Я пахать, как мерин, а ты нянчиться со своим выродком?! Только не говори, что он и мой тоже! Мой, это если деньги делить!

Я специально старался ее оскорбить, чтобы согнать с лица ненавистную улыбочку, чтобы она обиделась, наговорила мне в ответ гадостей, дала повод не знаю к чему. Но она не изменила выражения лица, а только пожала плечами:

— Ты можешь уйти. Правда.

— Ну конечно! — все-таки сорвался я. — Я сейчас соберу свой шмот, выпорхну на улицу, исчезну, а ты будешь всем рассказывать, какая я сволочь, чтобы тебя жалели! Маменька разжалобится, домой заберет. Мои только и ждут, чтобы я оправдал их надежды быть скотиной! Наши все... — что наши все, я еще не придумал.

Она улыбалась:

— Нет. Я скажу, что прогнала тебя, что надоел, ну или как хочешь, я не знаю.

— А ему? — я указал рукой на огромный живот. — Что ты ему скажешь? Потом?

— Тебе не все равно? — она снова пожала своими равнодушными плечами.

— Все равно! — рявкнул я и стал собирать сумку.

Я пробежал два квартала, вспотел, замерз, снова вспотел и вернулся обратно.

Она сидела на диване, поджав под себя ноги, и вытирала заплаканное лицо ладонями, но снова улыбалась!

— Что ты хочешь? Просто скажи, что ты хочешь? — я действительно хотел это знать.

Мне это было важнее всего на свете сейчас.

И тут она не выдержала и захлебнулась навзрыд, как маленькая.

Не знаю, почему я вдруг кинулся к ней и прижал к себе, а этот, внутри нее, словно

старался меня обнять. Оттуда. И, черт возьми, я сам разрыдался. Мы так и стояли. Втроем. Она всхлипывала, а я повторял:

— Хрен с ним, пусть будет наш. Хрен с ним.

А он тихонько жался ко мне.

— Знаешь, — вдруг прошептала она. — Сегодня меня первый раз в жизни спросили, чего я хочу. По-настоящему. И это был ты. И это важно для меня, оказывается. Я думала, что мне все равно. А мне не все равно. Но ты не думай, что я хочу привязать тебя или как. Я не знаю. Я хочу... — она замялась.

— Ну, чего? — поторопил я. — Я же спрашивал. Да скажи ты, наконец!

— Только не смейся. И не злись. Я хочу, чтобы мы были семьей. Не думай, что я заранее все спланировала. Я захотела потом, когда на сохранении была, когда чуть его не потеряла. Я видела, как там, в палате, у одной девчонки мертвый родился, прямо в кровать, и у меня все перевернулось внутри. Но ты, если что, — свободен. Я придумаю потом что-нибудь ему про папу.

— Да?! — я еще не знал, что делать с этой информацией. — А что твоя маман тебе про отца говорила? Ты ведь не знаешь его?

— Ну что она могла говорить? Что он козел, конечно.

— Ты веришь? — это ведь не вопрос вовсе, а попытка оправдания всего мужского рода, она и ответила:

— Я не думаю об этом. Я ведь правду никогда не узнаю.

Я боялся, что она спросит про моего отца, который у меня как раз был. Что я смог бы рассказать ей? Что я для него пустое место? Побочный продукт даже не любви, а так, как у всех? Непредвиденные расходы? Несбывшиеся ожидания? Повод для разочарований? Предмет для манипуляций? Я не знал, кто я для него! Но он не бросил мою мать, обрюхатив, а жил с ней. По долгу? По привычке? Почему?!

Она не спросила.

Мне говорили, что все младенцы отвратительные. Не то слово! Маленький сморщенный червяк! Кровать! В ту его первую ночь дома я снова не понимал, зачем остался с Мадлен и ее ребенком. То, что он и мой, никак не укладывалось в голове. Этот багроватый засранец все время теребил ее грудь, которая, надо сказать, стала чертовски соблазнительной. Но не для меня! Мне не разрешалось притрагиваться! И да, все оказалось правдой: он орал, жрал и гадил под себя. Я спал на полу на кухне, чтобы выспаться и зарабатывать на прокорм этого чудовища и его мамы. Но теперь я был связан собственными обещаниями, и у меня не осталось никакой надежды на будущее. Кроме одной. Однажды они вырастают. И когда я отбуду этот срок, мы отбудем, и откинемся, будем еще достаточно молоды, чтобы жить.

Потом он заболел, я думал, что это конец света! Он не брал грудь, орал и был горячий, как батарея. Казалось, в квартире от него стало жарко. Один раз у меня промелькнула мысль: если он умрет, я не выживу. Я прогнал ее. Не полностью.

Врач сказал, ОРЗ. Ничего страшного. Абсолютно. Он касался маленького брюшка стетоскопом, а засранцу было щекотно, и он ржал. Я поймал себя на том, что мне обидно. Потому что, можно сказать, первый раз слышал такое ржание. И оно было не для меня. Когда врач ушел, я подошел к кровати и специально стал в нее улыбаться. Сначала меня изучали, но недолго. А потом эта рожица разорвалась такой улыбищей, что я понял: этот миг буду помнить, что бы ни произошло.

— Скажи «папа», — тихо попросил я и оглянулся, не слышит ли меня Мадлен.

Она что-то готовила на кухне, и я повторил попытку:

— Скажи «папа».

Он издал какой-то звук и смешно задергал руками и ногами, словно танцевал на спине. Ну конечно, подумал я, прошу назвать себя отцом, но даже в мыслях не называю засранца сыном.

— Сын, — прошептал я и снова оглянулся на кухню.

Малыш что-то взвизгнул и заржал. Но не так, как доктору. Особенно. Так можно только мне. Это было персональное ржание.

Через три недели он ползал по квартире и орал:

— Па-па-па-па!

— Слышишь?! — торжествовал я.

Мадлен улыбалась.

Я забыл купить молока, чертовски устал, и она решила сходить сама в круглосуточный за углом. Мелкий спал, я мог спокойно уставиться в телевизор.

Утром я позвонил ее матери:

— Мадлен, то есть Наташа, пропала, — прохрипел я.

— Вот сучка! Вся в отца! — проорали в трубку.

У меня не было сил ответить, как положено, я снова не понимал, что происходит.

— Надо заявить в полицию, что-то случилось, — продолжал я спокойным или даже отрешенным тоном.

— Пусть твоя мать сегодня берет отгул, я не могу! Я работаю, в отличие от вас! — рявкнула эта баба и отрубила вызов.

— Да, сынок. Испортил ты жизнь и себе, и нам, — начала моя мать.

Она уже второй год так со мной здоровалась. Отец не здоровался вообще.

— Ты придешь? — спросил я. — Мне нужно в полицию. Надо же искать.

— Возьми отгул! — повысила голос мать. — У меня дела!

С малым сидели по очереди наши девчонки из тусовки. Я не знаю, откуда, но они умели его и накормить, и успокоить. Но спал он только со мной.

Мамаша Мадлен забеспокоилась только через неделю, когда я уже перестал быть человеком. Человек что-то чувствует, хотя бы боль и усталость. Или страх. Я пахал, берег сына, искал жену, как мог. И был никем. И это меня спасло, когда нашли ее тело. Недалеко. В подвале. С зажатой в руке пластиковой бутылкой молока. «Не выпустила бутылку», — единственная мысль, которая вытеснила все остальные, застряла в голове надолго.

На поминках обе бабушки протянули руки к внуку, проговорили дуэтом:

— Давай сюда. Воспитаем.

— Навоспитывались уже, — отрезал я, прижимая к себе сына покрепче.

— Все началось с того, что мы с твоей мамой безумно полюбили друг друга, — начал я свою историю.

Он легко под нее засыпал.

Алексей Иванов

Страсть и ярость

Из цикла «Сванские рассказы»

Быки были старые, лобастые, с проседью и короткими, спиленными еще в молодости рогами. Видно было, что им нравилась эта работа: мчаться вниз по крутому желобу, чувствуя, как толстые стволы толкают упряжку вниз, все ускоряясь, пока быки, хрипя, упираясь мощными копытами, сбрасывая пену с губ, не начнут торможение именно там, где надо тормозить. Так поступают они всю свою жизнь, так поступали их родители и родители их родителей... Бычья упряжка для хозяина-свана почти то же, что сванская шапочка на голове (фаги), посох для старика, квелп (домашний очаг), медные котлы для варки мяса и нача, цепи над ним... Без хороших, выученных быков не будет хорошего хозяйства.

Быки любят эту бешеную гонку, в которой одно неверное движение — и смерть. Бревна, комлем уложенные на волокушу, несут упряжку, заставляя могучих быков оседать на задние ноги, упираться копытами перед крутыми виражами и мчаться дальше, коротко и победно мыча, когда самые страшные спуски пролетают, и над ними вздымается облачко пыли, будто только что пальнули из старинной пушчонки, спрятанной на втором этаже в родовой башне рода Шавлиани.

Утром, увидев специальное ярмо и волокушу, быки принимают гулко бить копытами в землю, задирают морды с коротким страстным мычанием, предвкушая яростный и страшный забег, в котором каждый надеется на себя и соседа в упряжке и знает, что ошибиться нельзя. Это заставляет сердце биться так, что бычьи глаза наливаются кровью, подойти к ним не решается никто, кроме хозяина. Но и тот подходил осторожно. Страсть и ярость — это то, что сваны усваивали и уважали с детства.

В это утро дядя Шалико разрешил Левану спуститься с их дровяной делянки по желобу, стоя на прыгающих комлях бревен. Когда быки выносили волокушу с бревнами вниз, в подлесок, где сваны собирались пилить дрова, Леван думал, что он умрет. Только что, глотая пыль и ошметки пены, летящей с бычих морд, он думал, что умрет от страха. Сейчас он был готов умереть от счастья. Он стал мужчиной! Настоящим сваном может быть только тот, кто пролетел вниз по желобу, крича что-

Иванов Алексей Георгиевич родился в Ленинграде. Автор трех романов, нескольких повестей и рассказов. Печатался в журналах «Звезда», «Аврора», «Нева» и др., книги выходили в издательствах «Лениздат», «Советский писатель». Живет в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2017, № 12, рассказ «Утоли моя печали».

то быкам, вцепившись в край волокуши и прыгая на оживших, взбесившихся бревнах. Теперь хотелось бежать и рассказать всем, как он бесстрашно летел вниз и ловко правил быками. Жаль, дядя Шалико запретил ему хвастаться. Леван думал, что это оттого, что дядя боялся бабушки. Та, перед тем как Шалико и Леван отправились к быкам, строго сказала:

— Шалико, ты помнишь, о чем я просила?

В ответ Шалико кивнул и косо глянул на Левана. Тот сразу догадался, о чем просила бабушка. Она боялась за старшего внука, за Левана. Сколько мальчишек если не погибли, то калечились на всю жизнь в этих страшных гонках по желобам.

Конечно, меньше, чем от лицври (кровной мести), но все же...

Внизу, в подлеске, где они собирались разделять стволы, Левана встретил дядя Вано. Младший брат Шалико. Они были странно похожи-непохожи, эти два брата. Высокие, с широко развернутыми плечами, загорелые дочерна. Но Вано — светловолосый, в рыжину, голубоглазый, улыбчивый. Шалико — черно-смоляной, остроглазый, со вспыхивающим, как у беркута, взором.

Вано перехватил быков, двинувших было к воде, ручью, журчащему в сторону Ингури, и надел им на морды, совсем как лошадям, торбы с зелено-желтыми початками кукурузы.

— Хотят пить! — сказал Леван, стараясь не показывать счастья, что разрывало его сердце.

— Пока нельзя, пусть остынут, — Вано ласково смотрел на Левана и гладил стальной коричневой ладонью шеи быков. Леван хорошо знал силу этой руки — иногда Вано давал подзатыльник мальчику, и всегда казалось, что тебя ударили по голове доской.

Снизу от домов поднимался человек, опираясь на посох. На палку, конечно, но держал ее, как старейшина (махши) держит посох.

— Для важности, — улыбнулся Вано. Он, почти не шурясь, смотрел на солнце, которое выплывало из холодных облаков, лежащих на Ушбе.

— Гамарджоба! (Здравствуйте) — по-грузински поздоровался человек. Он был мингрел, родом из-под Кутаиси. Георгий, хорошее имя. Этот мингрел Георгий недавно женился на одной молодой вдове из Бечо. Многие в Бечо думали, что вдовой ее сделал именно Вано. Или Шалико. Но это было не так.

Вано чуть повернулся в сторону мингрела Георгия и пробормотал что-то вроде: «Хоча ладарх!» (Добрый день).

— Пусть Бог (хиди) поможет вашей работе (хишдаб)! — этот Георгий думал, что хорошо говорит по-свански. Потому что сваны понимали его и никогда не смеялись. Из вежливости, конечно.

— Мадлобт! (Спасибо) — по-грузински ответил Вано, продолжая поглаживать вспотевшие бычьи шеи. Леван тоже кивнул:

— Ивасхари! — то же спасибо, но по-свански.

— Как идет работа? — Георгий с любопытством стал рассматривать четыре толстенных бревна, которые Леван отвязывал от волокуши. Редкие быки могли спустить с гор четыре комля. Чаше — два, три, а уж четыре... Нет, у Вано и Шалико были редкие быки.

Вано глазами показал на бревна, мол, смотри сам. Разве по ним не видно, как идет работа?

— Я вчера был там, — Георгий тоже взглядом показал наверх, на гору, с которой спустили бревна, — заготовил несколько штук...

Вано прикурил короткую сигаретку, он почему-то любил именно короткие, и прищурился от дымка. Если он попросит быков, то ему, как соседу, нельзя отказать. Но и просто дать своих быков нельзя, они не будут слушаться чужака.

— Я заготовил несколько штук, — повторил Георгий, глядя на Вано. — Вы случайно не перепутали бревна? — Он сказал «случайно» видимо потому, что плохо знал сванский язык.

— Мы случайно, — Вано вернул ему это словечко, — никогда не берем чужих бревен. И вообще не берем ничего чужого. — Это Вано намекнул на то, что у других соседей пропал белый баран. Такое бывало: бегал по горам, сломал ногу, волки, лисы, хоть и не зима, а могли закусить барашком. Но дети видели, как мингрел Георгий поздно вечером (не нашел другого времени?) возился во дворе с какой-то бараньей шкурой.

— А мне кажется, что случайно вы взяли те деревья, которые я спилил! — он оперся на «посох», как опираются на него махши.

Для важности, понял Леван. И еще для того, чтобы ловчее было ударить палкой, если Вано двинется в его сторону. Потому что Вано не будет терпеть оскорбления. Леван даже пожалел Георгия. Не то чтобы пожалел, просто тот хорошо умел играть на гармошке (а говорили, и на аккордеоне!) и обещал научить Левана этому искусству.

— А мне кажется, что ты вообще попал в Бечо случайно, — улыбнулся Вано, посасывая сигаретку, которая исчезала в его ладони.

— Я тебя прирежу! — видно, Георгию очень хотелось показать, что он никого не боится. Он швырнул посох в Вано, промахнулся и попал в быков. Те, как по команде, вытащили морды из торб и дружно стали стряхивать желто-зеленую кукурузную слюну.

Леван увидел в руке Георгия узкий нож, хотел крикнуть Вано или кинуться на Георгия, но дядя сделал только полшага вперед и вдруг резко ударил мингрела ногой в колено. Тот охнул, выронил нож и обхватил колено руками. Вано поддал нож ногой, повернулся и пошел в сторону дома. Быки коротко промычали, будто спрашивая, — а нам что делать? — и пошли за Вано, вывалив комли из волокуши.

— Дядя Вано, а почему ты не убил его? — Леван догнал его и схватил за руку, корявую и крепкую, как ветки тех гикори, что они спускали с горы.

— Так... — Вано смотрел вверх, где высоко-высоко мелькнула на травяной лысине горы фигурка Шалико. — Я обещал маме... — он вздохнул, переживая. Трудно выполнять такие обещания. Но нужно.

— А почему обещал? — Леван почти висел у него на руке. Дядя Вано! Трижды сидел в тюрьме из-за кровной мести и вдруг... Леван не верил, почему он оставил этого... Георгия, этого, который на гармошке...

— Мама сказала, — вздохнул Вано, совсем как быки, которые тащили волокушу сзади, — что уважаемый человек не может четыре раза сидеть в тюрьме.

— А три может?

— Три может!

Они шли молча, пока ни приблизились к загородке, которую Леван пол-лета плел из веток ивняка, росшего на берегу Ингури.

— А так хорошо бить ногой ты в тюрьме научился? — Леван с ходу перескочил через загородку. Уж слишком близко подошли быки сзади и слишком жарко дышали в спину.

— В тюрьме, Левчик, — сказал дядя почему-то по-русски, — ничему хорошему выучиться нельзя. Хотя и там живут хорошие люди.

Заир Асим

Прохладный рассвет безмолвия

* * *

Каждый упивается своим
одиноким, отчаянием или успехом.
Папа влюблён в дорогу,
строит дом смерти,
умалчивает о болезни.
Мама светла, как надежда.
Пью небесное кофе, смотрю в синеву,
не верю подмене весны.
Бывший бородатый сосед говорит:
«Я утратил дар речи, ел то, что давала земля,
в голове было солнце, а я мычал, как корова».
Он обрёл время, утратив зеркало.
Твердь твердит об одном:
вы для меня волна.
В родном отшельничестве речи
ягоды звуков, камни упорства.
Это мой сад темноты,
почва изгнания.

* * *

Забывшее время шахмат.
Города и речная вода
отражают быстрые лица,
память слаба, как запах.

На фотографии сна,
на подростковом ковре,
в клеточном календаре
чёрные побеждают белых.

Жизней много, игра одна.
Я в утренних джинсах,
у окна босоногие братья,
доска уже полупуста.

Свет живого нуля.
Бродят кошмары кошек,
фигуры имён, луна,
тихий квадратный почерк.

* * *

Бассейн, мерцание воды.
 Ночь, равновесие тайны.
 Тёмная чаша сада.
 В голове гнездится гнев.
 Приглушенный лай, шелест шагов,
 самозабвенная лоза намаза.
 Трудно говорить, когда слова
 перестают быть посредниками,
 проводниками подобий.
 Это продвижение в темноте
 с вытянутым лучом губ,
 так фонарик освещает
 узкую тропу смысла.
 Прохлада прямоугольной воды,
 дыхание живого стекла.
 Прозрачность, погруженная
 в безмятежность отражения.

* * *

вот старость жизнь остановилась	изгнания ослепшие слова
прозрачная как ткань воды	сознание скользкое как мыло
идти до кухни и обратно	бесплотна память и чиста
бесцельно говорить и забывать	я кто тебе я зеркало листа
одно и то же повторять	в закатном чае тает сахар
<i>ты ел ты дома был</i>	квадратный белый день стекла
<i>ты с мамой говорил</i>	я сплю уже мне ни к чему слова
<i>ты спал один ты ел</i>	уйгурские и русские любые
<i>когда ты женишься уже</i>	всё это звуки птичьего голоса
<i>ты ел поешь жута</i>	родные стены ближе всех родных
<i>чай пей ты дома был</i>	речь не моя уже
<i>ты с мамой говорил вчера</i>	прозрачнее глухонемых
<i>женись балам я мало</i>	

* * *

У слов нет связи с жизнью.
 Можно многодневно повторять,
 что слушаю шелест листвы
 открытого в лето окна,
 с болью утаивать музыку,
 иступленно смотреть
 в закатные лица родных.
 Бесповоротно вспоминать сон.
 Многое можно перечислить.
 Бесплотность дневного облака,
 выдох нейтрального цвета.
 Красный китайский фонарь,
 буёк неподвижной жары.
 Вещи не нуждаются в звуке.
 Почерк, темнота распада,
 воздух внутри земли,
 прохладный рассвет безмолвия.

Екатерина Баландина

Блеск и нищета куртизанов

Рассказ

Однажды на изгибе теплого, томного июньского вечера нежный ветер, не задерживаясь нигде по пути, даже не коснувшись лица юной незнакомки, стоявшей в зарослях иван-чая и рассматривавшей пасшихся неподалеку коров, принес в наш тихий красивый областной центр несказанное сокровище, настоящую жемчужину в пене человеческой суеты. Звали сокровище Арктур Степанович Ржанов, и прибыло оно из Свищёвска, небольшого промышленного городка на севере области. Если вы, мой дорогой читатель, представили себе высокого синеглазого брюнета, ловкого танцора, бесстрашного воина и галантного кавалера, то, увы, вы ошибаетесь (хотя имя вас и могло натолкнуть на подобные мысли): перед вами Добби, сэр. Да-да, то самое пучеглазое создание из «Гарри Поттера», но с небольшой поправкой. Если кто-то из вас увлекался в детстве приключенческими романами, то должен помнить об известном приеме барышников, суть которого состояла в том, чтобы вставить в лошадь соломинку и надуть несчастное животное до кондиционных размеров (насколько это действительно, не знаю — не проверяла). Так вот, если бы в того самого Добби вставить такую соломинку и каким-нибудь образом представить дело так, чтобы воздух шел только вверх, не расходясь в стороны, то тогда бы перед вами очутился через пару минут Арктур. За такой пикантной вывеской скрывалось не менее интересное содержание. Уже в седьмом классе малыш Ржанов понял, что он иной. Пока дураки одноклассники играли в футбол, учились, слушали музыку, читали книжки и дружно любили Галку Лялину из параллельного класса, Арктур купил блокнот с милашкой Пикачу и начал вести дневник. В нем не было ни слова о футболе, друзьях, походах в кино и Лялиной, это был дневник наблюдений за одноклассниками. Этот Нестор чужих пакостей, ссор или просто ошибок все трудолюбиво заносил в свой веселый блокнот с покемоном, а потом давал почитать учителям, нередко дополнив свои письма утешительной баночкой с соленьями. Конечно, не на всех это действовало. Но наш герой уже выбрал этот скользкий, но очень быстрый путь для достижения своих целей. Я знала Арктура, мы учились вместе. Уж не знаю, был ли у него в студенчестве его друг Пикачу или он променял его на что-то более мужественное,

Баландина Екатерина Васильевна родилась в 1988 г. в Иркутске. В 2010 г. с отличием закончила факультет филологии и журналистики Иркутского государственного университета. Преподает русский язык и литературу в школе. Живет в Иркутске. Ранее нигде не публиковалась.

но «метод дятла» крошка Ржанов применял и здесь. Мы относились к нему с легким недоумением, наша острячка Сашка Когтева дала ему прозвище «Озадаченная креветка». Действительно, Арктур все время носился по факультету с выпученными глазами, как какой-то неизвестный науке морепродукт, то ища новую жертву среди студенчества, то карауля преподавательские уши. Это опять же действовало не на всех. Но скользкий путь окончательно заманил Арктура в пучину обмана. Это если пафосно. Жарким летом 2010 года креветка поселилась в чертогах разума нашего университета. Для этого ему пришлось жениться на дочке проректора по АХР, за выпученного зятя уже проректору пришлось замолвить словечко. Мне искренне жаль было мужика (я про проректора). Но креветка Добби обрел достойную пару. Людочка была ровесницей Арктура, знатоком поэзии Серебряного века и стильной девушкой (хотя последние титулы она присвоила себе сама, а к поэзии, Серебряному веку и стилю имела такое же отношение, как баба Шура из Забайкалья к колумбийским наркобаронам). Люда обожала читать стихи, кутаясь в бархатную одежду, имя которой я, сибирская молодость, так и не узнала, или рассуждать о философии, вертя на пальчике жемчуга, опутывающие верхнюю часть Людочкиной тушки, как кокон. Когда я первый раз столкнулась с ней в гостях у кого-то из девчонок, я подумала, что зря получила высшее образование. Но не слушайте меня, это я из зависти, ведь экспонат из музея быта нашего города и морепродукт обрели друг друга. Через год появилась Даная. Не пугайтесь, это их дочка, вполне милый румяный ребенок, кидающийся камнями в голубей и радостно бегающий за воробьями, откормленными добрыми бабушками до состояния бургеров. Я встретила недавно Арктура, он почему-то не повзрослел, не изменился, казалось, что его заспиртовали. Он важно поздоровался, я открыла ему дверь в магазин, Добби прошел вперед. Пока мы стояли в очереди за колбасой, Арктур сообщил, что написал монографию. «А ты не промах!» — сказала я. Ведь я за это время ничего не написала, только научилась готовить борщ. И то его никто не ест. «Ты будешь знаменит, и я напишу твою биографию!» — пошутила я совсем уж тупо. Но Арктур раздулся: «Всегда была дурой». Я не обиделась. Но идея пришлась по вкусу. Ну и вот. Вуаля, начало положено. Может, когда-нибудь даже ЖЗЛку выпустят на основе моего труда. Значит, вы первые читатели аннотации к книге «Блеск и нищета куртизанов: Арктур Ржанов». Гордитесь, крошки.

Александр Вергелис

Летучий голландец

Рассказ

Пожалуй, ничто не снилось мне так часто. Ничто и никто.

Нельзя сказать, что он являлся мне во снах: это я приходил к нему — поднимался, едва касаясь перил, на самый верх, на четвертый этаж — к небольшому окну с видом на рыжие крыши и узкий двор, к старым коричневым дверям, густо облепленным кнопками звонков, испещренным фамилиями жильцов. Только теперь звонить не требовалось, возиться с ключами — тоже: в квартиру я не входил, она как будто вбирала меня в себя вместе с портфелем, тоже развоплощенным.

Душа ребенка легче воздуха: чаще всего я не шел по лестнице, но плыл над ней, и если попадались навстречу люди, то удивления не выказывали, хотя сами топали по ступеням в полном соответствии со школьными законами физики. Наверное, я мог бы не пользоваться лестницей вовсе, попадая в заветный коридор мгновенно и непосредственно, минуя эфемерные условности вроде дверей и капитальных стен, но подобие реальности бережно сохранялось — во всяком случае, на первых порах.

Эти сны начались вскоре после того, как мы переехали. Он не хотел отпускать меня. Он настойчиво напоминал о себе, создав в области сновидений силовое поле, которое неизменно притягивало мою беспризорно блуждавшую аниму. Из ночи в ночь я возвращался к нему, всякий раз заставая его в новом облике. Оставаясь стоять уступом на углу Невского и Мойки, изнутри он все менее походил на самого себя. Его окна и двери внезапно выходили на улицы и площади в других концах города, его комнаты и коридоры то расширялись до невероятных размеров, то превращались в узкие лабиринты, соединялись то с залами Эрмитажа, то с какими-то воняющими мочой парадными или обросшими сталактитами подземными ходами, уводившими чуть ли не к центру Земли.

Постепенно он населил эти пространства незнакомыми мне людьми, и я разговаривал с ними. Помню, какая-то неопрятная женщина в халате, выглянув из-за полиэтиленового полога, сказала мне с грустью: «Всё проходит, мой мальчик». Видимо, это он говорил со мной через нее, подчеркивая горечь этой истины двумя скорбными косыми морщинами по углам ее рта. Вместе с тем, он на что-то надеялся, то и дело посылая мне сигналы, которых я, впрочем, не понимал.

Вергелис Александр Петрович родился в Ленинграде в 1977 году. Публиковался как поэт, прозаик и критик в журналах «Аврора», «Волга», «Нева», «Звезда», «Знамя», «Дружба народов» и других изданиях России и зарубежья. Лауреат нескольких литературных премий. Автор книги стихов «В эпизодах» (2010). Живет в Санкт-Петербурге.

Со временем полиэтилена стало много — именно с занавесей из заляпанной цементом пленки и прочих зловещих атрибутов ремонта начались его печальные пророчества. Предсказывая свою горькую судьбу, он, словно кожу, сдирает с себя обои и штукатурку, обнажая рыжее мясо кирпичей, сносит собственные стены, обваливал потолки, выворачивал полы — словом, создавал в моем подсознании картины грандиозного разгрома. По знакомому коридору, как оккупанты, шастали строительные рабочие, они хозяйничали там, где годами теплилась наша жизнь, там, где посередине длинного, загибающегося огромной подковой коридора, между двух исходящих жаром и чадом коммунальных кухонь, располагался центр мироздания — большая круглая комната с видом на проспект, мутную речку и дворец, еще зеленый, еще не вернувший себе изначальный розовый цвет.

Поговаривали, что туда, в графское палаццо, из дома вел подземный ход. Утверждалось, что в тоннель, прорытый под речным дном, можно было попасть, спустившись по винтовой лестнице. Но лестничная шахта была нарезана на кладовки — узкая круглая кладовочка была и у нас. Я мечтал проделать дыру в полу и спуститься вниз, к подземному ходу. Об этом хорошо было мечтать, устроившись на широком подоконнике и глядя на Мойку, по которой медленно плыли из Ладоги первые льдины. Подземный ход, конечно, вел к несметным сокровищам. Сокровищами был напичкан и сам дом. Во всяком случае, когда у соседей стали ломать старую печку, оттуда посыпались бриллианты, наскоро завернутые в газету. Видимо, купцы Елисеевы или кто-то из их челяди все-таки думали вернуться в этот дом, к роденовским статуям, которые, если верить очевидцам, стояли на лестницах. Пожалуй, единственным, что осталось от былой роскоши, было позолоченное бра над телефонным столиком в коридоре.

Хорошо было выйти в коридор вечером, когда никого там не было, чтобы представить себя одиноким странником, идущим по улице придуманного города — старые буфеты и шкафы, выдворенные из комнат и толпившиеся у дверей, своими контурами напоминали уступы средневековых башен и фахверков. А бра над черным эбонитовым телефоном светило в полумраке таинственно и ненастояще, как в театре. И это-то нравилось больше всего — видеть себя заблудившимся в театральных декорациях.

Да, эти сны начались после того, как мы переехали. Хорошо помню последнее свидание с ним здесь, в яви. У меня был ключ, после уроков я последний раз в своей жизни поднялся по ступеням, предпочтя не парадный — с Мойки — подъезд, а черный — со двора — ход. Путь из незабвенной двести десятой, с той стороны проспекта, что при обстреле наиболее опасна, был короче через арку на улице Герцена, ныне — снова Большой Морской, через раздваивающийся и ветвящийся, как лабиринт, двор. А выйти я планировал уже через парадный — на набережную, на Невский, чтобы с моста оглянуться на квадратики окон — на четвертом этаже, слева от колонны.

В последний раз отперев облезлую, когда-то белую дверь, я на мгновение оторопел, ничего не узнав: вместо маленькой прихожей с двумя дверями я увидел большую круглую комнату с длинным шрамом от снесенной перегородки. Когда мама вышла замуж, эта комната была рассечена на две полукруглые дольки, как кофейное зерно.

Эту роскошную жилплощадь получил дед — еще до войны. Здесь он жил холостяком, сибаритствовал, за чтением романов поглощая колоссальное количество шоколада — как будто предчувствуя, что совсем скоро главным блюдом его меню будет вонючий студень из столярного клея (кусочки этой гадости чудом дожили до конца блокады и долго таились в утробе буфета). Сюда после Победы перспективный

инженер-мостовик привел невесту, сюда принес новорожденную дочь. Сюда же, через несколько лет после его смерти, принесут из роддома меня.

А ведь ничего этого могло и не быть — тщетно маскируемое социальное происхождение и отцовская расстрельная статья открывали перед ним сияющие колымскими снегами перспективы, и даже не знаю, что было хуже: схватить лагерную десятку или остаться в городе, на девятьсот с чем-то дней превратившемся в филиал преисподней. А ведь и он мог, как сотни тысяч других, но как-то ведь держался, а смерть между тем курсировала по огромному коридору бывшего елисеевского дома, заглядывая в соседние комнаты — например, к одной театральной чете, мужу-актеру и актрисе-жене, знатным охотникам-крысоловам: глава семьи со сноровистостью изумительной, с азартом сумасшедшим выслеживал тощих, тоже обезумевших от голода тварей — по-индейски ловко метал остро наточенный ножик, а жена уже бежала, готовила сковородку. Крысятина не спасла, а возможно, наоборот, погубила обоих, семья слугителей Мельпомены покинула этот дом навсегда, а одинокий инженер-мостостроитель остался и дождался, наконец, январского грома, салюта над Невой и дыма от полевых кухонь. Он очень старался ради меня, он был чертовски силен, и даже когда все кончилось, он разрешал себе совсем чуть-чуть, всего несколько ложек того божественного военно-полевого супа, и всякий раз отползал в сторону — чтобы усохший, сжавшийся в комок желудок мог постепенно вспомнить прежнюю жизнь. Другие — менее терпеливые — умирали, наевшись в последний раз.

В этой комнате с видом на вечный Невский проспект прожило три поколения, если считать и меня. Странная комната, круглая. Уже потом я прочитаю в случайно подвернувшейся книжке со странным названием: «Комнат было много, и комнаты тоже казались безумными. Они были нарезаны по той не обоснованной здравым смыслом системе, по которой дети из тонко раскатанного теста, почерневшего в их руках, нарезают печенья — квадратом, прямоугольником, перекошенным ромбом... а не то схватят крышку от гуталина и выдавят ею совершеннейший круг». В таком вот круге, правда, не идеальном (гуталиновая банка упала со шкафа и примялась), да к тому же разрезанном надвое перегородкой обитали мы, а когда-то до нас, до деда с его шоколадом, например, могла топить буржуйку разломанными подрамниками мадемуазель Котихина, она же Щекотихина, «ученица Рериха, по внешности — индусская баядера», как будет прочитано в той же книжке.

В тот день, в день последнего свидания наяву я долго сидел на подоконнике и смотрел в окно — как раньше, когда из одеял и подушек здесь устраивались логовища для чтения Жюль Верна и наблюдения за миром. Мутно-зеленая Мойка лежала в граните, как молоки в селедочнице. По дуге моста скользили игрушечные «Волги» и «Жигули», изредка перекатывались желтые «Икарусы», ползли, скребя железными щетками по асфальту, похожие на немецкие каски мусоровозы. По существу, это окно выходило на центральную магистраль Земли, на каменную ось этого мира, гарантировавшую его вековую прочность. По вечерам вдоль главного меридиана расцветали белые бутоны фонарей на серебряных цветоножках, включал свою цветомузыку Дом книги — его стеклянный шар вспыхивал то оранжевым, то красным, то синим. Когда укладывали спать, по потолку, как листки бумаги, скользили прямоугольники света — от фар. После переезда на Фонтанку, в дом с окнами во двор, я долго не мог привыкнуть к вечерней тишине и темноте.

Никогда не понимал, почему взрослые так мечтали об отдельной квартире. Я бывал в отдельных квартирах — маленьких и скучных. Горячая вода в кране, телефон в комнате, лифт и прочие блага цивилизации — разве это преимущества, разве об этом можно мечтать? Но, Боже мой, где еще можно покататься на велосипеде по коридору, поиграть в прятки, таясь в сумрачных закутках, слушая биение собственного сердца

в темных кладовых, среди пахнущих парафином лыж, велосипедных колес, таинственно мерцающих банок с соленьями? Где еще можно понаблюдать за множеством людей, послушать их перебранки? Где еще есть кто-то, подобный грузчику по фамилии Эпштейн, который бледным призраком шествует в туалет босиком, и штрипки его голубых кальсон волочатся по полу? Мы крадемся за ним, давясь со смеху, повторяя каждый его шаг, мы делаем ставки, в какой из двух клозетов он свернет — в большой или маленький? И где еще можно поболтать с замечательным человеком, добрейшим в мире пьяницей, Дядьсашей (здорово, тезка!), своими седыми благообразными космами напоминающим художника или профессора из кино. У Дядьсаши легко стащить папиросу из пачки «Беломорканала». Всё это так хорошо, что даже мамину тоску по горячей воде понять невозможно.

Горячая вода добывалась не без приключений, усилиями отца, рыскавшего по дворам в поисках топлива — главным образом, старых ящиков. В банный или, точнее, «ванный» день, ждать которого приходилось неделями, в большой комнате без окон растапливали с треском высокую, черного цвета колонку — топились она долго, и, выключив в ванной свет, можно было наблюдать за таинственной жизнью запертого в топке огня. Память об этих «помывках» пропитана еловым духом горящих дров, хвойным ароматом советского шампуня и душистым запахом черного дегтярного мыла.

Две наши полукомнаты вмещали в себя невероятное количество гостей, стекавшихся со всего Ленинграда, без конца хохотавших, певших под гитару, остававшихся за полночь. Горой возвышалась бабушкина фирменная буженина, дышали жаром огромные — в полстола — пироги. В металлическом ящике с крутящимися катушками оживал страшный голос: «Парус! Порррвали парррус!»

Здесь же, в доме, каждый день свистели пули, рвались снаряды, пернатый Гойко Митич потрясал томагавком, а в вышине, над фасадом, огненной нитью светилось родное слово — «Баррикада». Жившие под этой вывеской для простоты, не затрудняясь указанием адреса, говорили: в «Баррикаде». Афиши, намалеванные плакатной гуашью, вход с угла Невского и Герцена, выход — на Мойку, в дымчатый мираж ленинградского вечера. Там, у входа, бывало, звенела копеечная складчина, покупался билет — один на всю ораву, и выбранный по жребию посланец садился на самом заднем ряду, чтобы незаметно проскользнуть по длинному узкому коридору к выходу, откинуть дверной крюк и впустить остальных.

Когда-то кинотеатр назывался «Светлая лента», немые фильмы крутили там под треньканье таперов, а одного, остроносого, тонкогубого консерваторского студента, говорят, уволили, и поделом — музыка не должна отвлекать зрителя от экрана. И вообще, кого тут только не было, в этом доме: и лишний человек Евгений захаживал пить шипучий нектар веселой вдовы с кометой на этикетке, и сочинивший его Александр Сергеевич, и другой Александр Сергеевич, тоже сочинитель, и Федор Михайлович здесь что-то читал. А уж тех, серебряных, и не сосчитаешь, их-то тут было в избытке — жили, голодали, холодали, тачали сапоги из ломберного сукна, шили блузы из мебельных чехлов, превращали сушеную морковь в чай, а воблу — в обед из двух блюд, рассуждая у общего рукомойника о Логосе, ощущая себя пассажирами корабля, плывущего в неизвестность. Да, именно кораблем был этот дом, ничем иным он и не мог быть — не даром же именно здесь поднимал свои алые паруса бывший моряк с грустными глазами. Здесь по качающейся палубе ходила маленькая поэтесса с огромным бантом, и будущий ее муж Жорж, и друг Жоржа, тоже Жорж, и именно отсюда, с этой исхоженной поэтическими каблуками палубы, из мраморной елисеевской бани, где порхали на потолке амурсы, где длился и длился роденовский «Поцелуй», выхватили левиафановы когти косоглазого конкистадора! Пуля для него была давно отлита, и теперь мне кажется, что и он, и все остальные бывавшие или живавшие здесь

тоже являлись мне во снах, или, точнее, я — являлся им, вечно населяющим этот дом, этот корабль, который сам давно стал призраком, тенью, Летучим голландцем. Разумеется, только в области сновидений возможны эти сближения. Пока здесь и сейчас бодрствует кипучая повседневность, там, вне времени и пространства, продолжается дивный сон, и мы, наверное, там отчаянно спорим: я — почтительно, хотя годами уже старше его, этого храбреца, охотника на львов и женщин (в том августе ему было тридцать), он — должно быть, не без снобизма, наставительно. Он, разумеется, морщится, когда я говорю о советских праздниках, но для меня главный день в году — конечно, Первое мая...

О, Первое мая! С утра в доме праздничная суета, раздвинутый стол покрывают тяжелой белой скатертью. А Невский тревожно пуст, проезды с набережной перегорожены милицейскими машинами, слышны гулкие лающие голоса, с раскатистым эхом несущиеся из матюгальников: «Давай-давай-давай-вай-ай-ай!». Мы всматриваемся туда, где в весеннем мареве сходятся, растворяясь, линии домов. Что, идут? Нет, еще не идут. Голуби садятся на карниз, скребут когтями по жести, урчат — тоже ждут зрелища. Нет, еще не видно. Но вот вдали появляется красная полоска. Потом синяя. Дальше — пестрая масса голов, транспарантов, воздушных шаров. Как вражеское войско, с развернутыми знаменами наступает демонстрация. В гуще тел катятся, как осадные орудия, передвижные стенды: Кировский завод, Пролетарский завод Невский... Сотысячеголовый человеческий поток медленно пожирает проспект. Трещат барабаны, надывается медь оркестра. Откуда-то — то ли с высоты Александрийского столпа, то ли с самого неба несется голос: «Да здравствует.... Слава... Ура...». Эхо рвет на куски слова, ветер разбрасывает их по крышам. Хочется открыть форточку и тоже крикнуть: «Ура!».

Демонстрация под окнами бушует, как одесское незабвенное море. В толпу хорошо что-нибудь швырнуть — огрызок яблока, комок пластилина или кубик. Однажды это была металлическая заводная лягушка. В другой раз — большой загнутый серпом гвоздь. Старший брат умеет делать бумажные бомбочки, наполняемые водой. Можно сотворить и «капитушку» — водой наполнить воздушный шарик. Ребята посерьезнее готовят «ежика» — утыканный заостренными спичками или даже швейными иглами пластилиновый ком — это супероружие предназначено для поражения громоздких, шевелящихся над головами демонстрантов сооружений из воздушных шаров. А можно просто запустить мирный бумажный самолетик, на треугольных крыльях которого карандашом нарисованы красные звездочки, а на фюзеляже написано: СССР. Мы живем в самой лучшей стране. А Первомай — лучший праздник, потому что это день моего рождения.

Особенно хорошо помню тот полдень, когда я, по родительскому недосмотру, без куртки, в одной рубашке сбегая вниз по выщербленной, вымытой по случаю праздника парадной лестнице — на набережную Мойки, открыв дверь, стою, оглушенный медью труб и тысячью голосов, майским воздухом, от которого норовит выпрыгнуть сердце, и кажется, что вот-вот полетишь. Мне уже семь лет. Осенью — в школу.

Наевшись пирожных и обильно, до бурления в животе залив их «Буратино» и «Колокольчиком» (вот она, жизнь!), выкатываемся на набережную. По Мойке плывут воздушные шарики, на них уже идет охота — разноцветные мишени расстреливаются из проволочных рогаток. А там, дальше...

Но хватит, хватит! Память, молчи! Возвращайся в тот день, в день последнего свидания с круглой комнатой, пустой и ободранной, но еще своей. Мне двенадцать. Собственно, детство кончилось, начинается отрочество. Я останавливаюсь на мосту и оборачиваюсь: два квадрата у колонны — *наши* окна.

В тот день мне казалось, что я совершил предательство. Но нет, всему свое время, тогда я его еще не предал, я предаю его позже. А пока я из года в год плыл над его лестницей и бродил по его коридорам в своих снах, которые росли и усложнялись вместе со мной, переставая быть детскими. Я возвращался и возвращался сюда, на борт Сумасшедшего корабля, пока не совершил свою измену.

Мои любимые мертвецы, я покинул наш общий дом навсегда, я позволил уничтожить его, а значит, я предал и вас. И вас, Серапионы, и тебя, маленькая поэтесса. И Федора Михайловича, и двух Александров Сергеевичей, и лишнего человека Евгения, и вдову Клико с ее кометой, и любителя шоколада инженера-мостостроителя, и себя самого, маленького, сидящего на подоконнике и смотрящего на Невский проспект, думающего, кем стать, и еще не знающего, что стать придется предателем.

Мне было лет двадцать, нет, больше... Он был весь опутан зелеными сетями — как кит, попавшийся в огромный невод. Это даже обрадовало: наконец-то и до тебя дошли руки, теперь и тебя подлатают, подмажут, подкрасят, и ты будешь как новенький. Я шел по Невскому и вдруг через прореху в строительной сетке увидел край пустого, без рамы, окна, а в нем — бирюзовый кусочек неба... Я долго стоял и смотрел, как будто не понимая, что внутри там уже ничего не было, там не было ничего, во что уперся бы мой взгляд — ни стен, ни потолков — там было пусто — дом был выскоблен, вычищен изнутри. Остались только внешние стены, все его изумительные внутренние извивы, все эти странные комнаты превратились в горы битого кирпича и штукатурного крошева. Нет дома, есть только выведенная изнутри оболочка, посмертная маска.

Нет и двора, по которому я каждый день шел в школу и из школы мимо полукруглого флигеля екатерининских времен, который теперь существует только на случайно сохранившемся рисунке одного художника — флигель тоже снесли. Знающие люди говорят, это нужно было для того, чтобы освободить место для огромных железобетонных столбов, а на них — водрузить исполинскую чашу — иначе старые стены не выдержали бы. Вот и его не миновала она, общая чаша.

Там, наверху, теперь бассейн. Говорят, купающиеся прямо с воды могут наслаждаться видом на Невский.

А может быть, в этом что-то есть? Да и что я мог сделать? Как мог я остановить это?

Я мог бы написать статью. Несколько статей. Много статей. Засыпать ими газеты. Написать письмо, сотню писем и разослать их тысяченачальникам и начальникам над тысяченачальниками. Мог бы устроить бунт. Поднять восстание. Приковать себя к ковшу экскаватора. Объявить голодовку. Толку бы, конечно, не было. Писали, просили, требовали — другие. И — ничего. А может, и был бы толк, кто знает?

Нет, я что-то даже начал: в ящике письменного стола среди прочего мертворожденного до сих пор лежит пачка бумаги под напыщенным заголовком — что-то об утонувшем Сумасшедшем корабле. Эта стопочка измученных шариковой ручкой листов — мое единственное жалкое оправдание перед ним — кораблем, ставшим призраком, тенью самого себя, летучим голландцем, так легко пересекавшим границу яви и сна и вот теперь навсегда покинувшим пространство реальности.

Ничто, ничто не снилось мне так часто, как он.

А теперь он не снится.

Иван Волосюк

Не при делах

* * *

Зови меня домой — голодного, босого,
кричи до хрипоты, а всё-таки зови!
Мне снилось, что парад планет не согласован,
Венеру бьёт ОМОН, а Марс лежит в крови.

На кухне газ горит — мирок из песни Цоя,
а где-то Южный Крест, Корма и Паруса.
«Сынок, иди домой, она того не стоит», —
но я всю жизнь отдам за эти полчаса.

Я должен угадать полуночные знаки:
над шахтой «Чигари» звезда ползёт впотьмах,
а где-то пацанов бросают в автозаки,
но я — не при делах, опять не при делах.

* * *

Моими собеседниками были
евреи обрусевшие. Они
меня несли, пока не уронили,
потом вернулись — подняли с земли.

Останется не гул в магнитофоне,
не «Синтаксис», не томы ЖЗЛ,
но черепашка-ниндзя на картоне,
которую я выиграть сумел.

Не важно, с кем ты просыпался, — страшен
сам переход из пробной темноты,
которую, как панцирь черепаший,
не перебеёшь, не одолеешь ты.

И если нет ни Альфы, ни Омеги,
а только смерть, и прах, и вещество,
тогда зачем зимою столько снега
и столько тишины на Рождество?

Сонет

В.К.

Будь Кеплером, гуляя в снегопад,
Коперником на детской карусели,
и ты поймёшь, что звёзды говорят,
таят слова и знают дни недели.

Будь Дарвином и каждого вьюрка
добавь в друзья, узнай по форме клюва,
а мне оставь созвучья языка,
мне всё равно — где Таганрог, где Тула,

Самара и Саратов — всё одно,
я здесь с Тмутараканью заодно,
и, кажется, душа остекленела,

поговори со мной сейчас — скажи,
носил ли Бог под мышкой чертежи
за тысячу веков до Шестоднева?

Александр Феденко

Муха

Рассказ

Тяжелая ноябрьская муха, изведя себя на жужжание, лениво завалилась вбок, влетела Петру Ильичу в нос и умерла.

Отдохлого насекомого в носу сделалось щекотно, Петр Ильич чихнул, и мухи не стало вовсе.

— Душа моя, ты болен! — отозвалась Вера Александровна, жена его.

— Счастье мое, я совершенно здоров.

Воспоминания о мухе были избыточно натуральны, и Петр Ильич чихнул еще раз.

— Нет сомнений, ты болен, — утвердилась в своей правоте Вера Александровна.

— Веронька, это всего лишь муха.

Он опустился на пол, желая найти покойницу, но не нашел. Вера Александровна приложила руку к прохладному лбу Петра Ильича.

— У тебя жар — вот и мухи в глазах.

Супруг огорчился настойчивым непониманием и вздохнул, тем протестуя.

— И дышишь ты натужно, — продолжала Вера Александровна. — Тебе нужен покой, душа моя.

Петр Ильич настойчиво возразил самым категорическим вздохом, чем усугубил свою участь («Покой, покой, полный покой!»), позволил уложить себя на выпуклую гобеленовую софу, сразу осоловел и, утолившись обещанием «чутко отдохну — и на службу», уснул.

Сон его был тревожен и, как виделось Вере Александровне, даже лихорадочен. Она беззвучно присела напротив софы и наблюдала, не смея побеспокоить супруга и все более страшась столь внезапно явившейся болезни.

Петру Ильичу снилась гигантская черная муха. Она холодно смотрела на него неподвижными сетчатыми глазами. Этот взгляд был невыносим таившейся в нем непостижимой нечеловечностью. Петр Ильич попятился, споткнулся и начал неторопливо, вязко тонуть не то в карамельном сиропе, не то в оплавившемся свечном воске. Муха, казалось, тоже тонет вместе с Петром Ильичем, и это странное гибельное единение усугубляло ужас, внезапно она поползла к нему сквозь липкую

Александр Феденко родился в 1977 году в Барнауле. Прозаик, сценарист, член Союза писателей Москвы, автор сборника рассказов «Частная жизнь мёртвых людей». Публиковался в литературных журналах «Октябрь», «Юность», «Дружба Народов». Живет в Москве. Предыдущая публикация в «ДН» — 2016, № 9.

трясину, нутужно вытягивая из нее огромные лапки, медленно, но неотвратно приближаясь. Петр Ильич зажмурился и в страхе закрылся руками. Руки и даже веки вязли в тягучем сладком воске, и, прежде чем сомкнулись глаза его и стало темно, он успел увидеть распахнувшуюся над ним мохнатую мерзостную пасть.

Петр Ильич проснулся в испарине и уставший.

— Как ты себя чувствуешь, душа моя?

— Отвратительно, — признался Петр Ильич, тревожно моргая и озираясь, — эта муха сведет меня в могилу.

Вера Александровна помрачнела и ушла звонить врачу.

Антон Антонович — верный друг семейства, доктор — прибыл к вечеру.

— Жулик ты, Петр Ильич, натуральный жулик и симулянт, — сердился он. — Не ожидал, никак не ожидал от тебя такого фарса, — Антон Антонович сделался хмур. — Выходит, накануне, когда я обедал у вас ухой и кулебяками, ты только выдавал себя за здорового, меж тем как уже был окончательно болен. Оказывается, ты и меня, и Веру Александровну за нос водил. Жулик.

— Антон Антонович, я же здоров и чувствую себя первостатейно. Напрасное, пустое беспокойство Веронька учиняет. Муха вдруг в ноздрю залетела — я и чихнул, будь она проклята.

— В ноздрю? В какую еще ноздрю?

Петр Ильич задумался, припоминая с какой ноздрей случилось несчастье — с левой или с правой.

— Болезненный жар у него, Антон Антонович, — вмешалась Вера Александровна. — И мухами с утра бредит. Ну откуда им быть, когда зима на носу? Месяц тому, как с первыми морозами все, слава тебе, Господи, передохли.

Петр Ильич принялся опять оправдываться, но, видя как неприятны и даже мучительны супруге его возражения, умолк и только вздохами намекал о своем здоровье. Невысказанная скорбь непонимания превращала вздохи в хрипы, и, слыша их, Антон Антонович делался задумчив, а Вера Александровна — мрачна.

— А с аппетитом, с аппетитом у нас что? — Антон Антонович внезапно отвернулся от Петра Ильича и обратился к Вере Александровне.

— У вас? — удивилась она, но поняла и поправилась, — ах, простите, Антон Антонович, Петр Ильич ничего не ест. Даже и не обедал.

Обед Петр Ильич действительно проспал, а когда проснулся, Вера Александровна, огорченная и выбитая из себя его болезнью, ничего не предложила, сам же он, видя сколь велико смятение жены, не решился беспокоить ее.

Вера Александровна пообещала скорый ужин и вышла из комнаты.

Петр Ильич, воспользовавшись ее уходом, начал было опять пересказывать трагическое недоразумение с мухой. Антон Антонович слушал вполуха, хотя и кивал. Вдруг крепко схватил больного за нос, повертел его, покрутил, осмотрел и скривился. Отпустив, вымолвил «вот тебе и весь сказ» и, не проронив более ни слова, устался на босые ноги Петра Ильича.

Взгляд его выражал безнадежность.

За столом Петр Ильич молчал и почти не ел. Он потянулся было к блюду с бужениной под клюквенным соусом, но Антон Антонович преградил ему путь зажатым в руке только что безупречно обглоданным бараньим ребром и возразил в смысле недопустимости столь неблагонадежной пищи.

— Брось, Петр Ильич, сейчас же брось! Какой ты, однако, жулик, натуральный жулик. Довел себя до черты и хочешь переступить. Запомни: ничего жирного, жареного, копченого, печеного, перченого, соленого тебе, Петр Ильич, отныне нельзя. Нельзя!

— Чем же ему питаться, Антон Антонович?

— Моркови, Вера Александровна, дайте ему пареной моркови.

Чтобы не искушать Петра Ильича неосмотрительно расставленными по столу соблазнами, Антон Антонович утвердил перед собой блюдо с бужениной, в него же сложил оставшиеся бараньи ребра, щедро покрыл соусом, придвинул закуски и налил рюмку водки. Зацепил вилкой кусок олюторской селедки и показал ею на штоф.

— Это дело — тоже... — он выпил. — Нельзя!

Зажмурился и, не закусывая, налил снова.

— И селедку нельзя? — подал голос Петр Ильич.

— Селедку, — Антон Антонович закусил, — селедку — особенно.

Он самоотверженно избавлял стол от искушений, после каждой рюмки подчеркивая, что его собственное здоровье тоже не железное, но пока позволяет ему обильно жертвовать собой, исключительно ради Петра Ильича.

Вера Александровна принесла пареную морковь. Петр Ильич лениво тыкал в нее, не решаясь есть, обреченно приподнимал и давал соскочить с вилки обратно.

Антон Антонович пытался направить трапезу по другому, менее трагическому, руслу, рассказывая забавные случаи из своей врачебной практики.

Утром следующего дня Петр Ильич встал отдохнувшим.

— Душа моя, как ты себя чувствуешь? — Вера Александровна с беспокойством смотрела на него.

Петр Ильич сиял.

— Первостатейно!

— Завтракать будешь?

Петр Ильич желал завтракать.

Он жутко проголодался, но радостное предвкушение близкого насыщения было омрачено возникшей перед ним тарелкой перловки, приготовленной на воде. Скрывая отвращение — каша оказалась даже и без соли, — Петр Ильич вяло жевал предложенное.

Скулы на гладком, упитанном лице его за минувшие сутки сделались острее, пусть и на самую ничтожную малость, заметить которую было невозможно, но Вера Александровна сразу уловила эту новую худобу.

И худоба, и так же подмеченный упадок аппетита Петра Ильича изрядно огорчили Веру Александровну: болезнь, несомненно, прогрессировала.

Петр Ильич же после дня отдыха и легкого голодания с новой силой ощутил в себе жизнь и торжество здорового организма и засобирился на службу, однако, встретив наполненный смиренной мольбой взгляд Веры Александровны, остался.

Работу свою он не то чтобы любил, но умел находить в ежедневном опостылевшем паломничестве неприметные радости, делавшие паломничество сносным. Служебный день Петр Ильич начинал чашкой чая, да покрепче, продолжал у Матвея Романовича пожеланием тому первостатейного здоровья да разговорами, что кругом все смерть как проворовались — хуже некуда, но если ничего не делать, то может и обойдется, а то и наладится, иначе же точно рухнет, заглядывая в секретариат — справиться: не слышно ли чего, Асечка из секретариата изображала, будто строит ему глазки, это

доставляло чистый младенческий восторг Петру Ильичу, и он уходил довольный жизнью и улыбался встречным.

Проведя трудовое утро в таких прелюдиях, к полудню Петр Ильич возвращался до своего рабочего стола, садился, придвигал бумаги, бросал случайный взгляд в окно, припертое глухой стеной соседнего дома, удивленно всхмыкивал, вставал, хватал пальтецо английского кашемира и шел обедать с Матвеем Романовичем. Всякий раз в одно место — вареничную в тупичке, что за углом.

Изрядно отобедав, взяв и соленых рыжиков под перцовую, и маринованного чеснока, и сметаны — обмакивать в нее вареники, которых брал в избытке, под все те же разговоры о неминуемом самообустройстве отечества, Петр Ильич возвращался из тупичка прежним путем, снимал плащ, садился, придвигал бумаги, в замешательстве смотрел на них и отворачивал взгляд в окно. Вдруг утвердительно кряхтел и шел напрямик к Матвею Романовичу пить чай под хмурые взоры встречающих.

Должности Петра Ильича достоверно никто не знал, что затрудняло у коллег постижение истоков проникновенной уважительности к нему, несколько несоразмерной с ведомой им деятельностью. Уважительность эта была растворена в конторском воздухе и особенно среди руководства, Петр Ильич даже дважды висел на «Доске Почета». В том смысле, что сразу две его фотокарточки были там наклеены. Одна, по центру, в чесучевом костюме, с платком из кармана, игривой искрой в глазу, хотя и довольно засиженная, другая наоборот — почти свежая, в черном гороховом галстуке, с пузатыми беспомощными щеками, в левом нижнем углу. Почему и отчего так получилось, никто не припоминал, а сам Петр Ильич был слишком скромнен, чтобы распространяться.

Были у него в достатке и недруги, и завистники. Многие, особенно из молодых, неискушенных, видели ущерб для большого канцелярского дела в круговерти чаепитий, хождений, заглядываний и подмигиваний Петра Ильича. Они даже не прочь были обратить надуманный ими от той круговерти ущерб в собственный прок, высывая наружу нарочитое рвение, отказываясь от чаев, обедов, возводя усердие на небывалый пьедестал. Но всякий раз оказывалось, что дела пошли криво и не туда. Начальство искало причины упадка, шло по следу, и след приводил к пьедесталу. Усердных выгоняли взащей, приговаривая «учились бы делу у Петра Ильича». Впрочем, у тех, кто учился, тоже мало что выходило, ибо видя форму его канцелярского уклада, они лишены были постижения внутренней полноты его деятельности, которая казалась им пустой.

Сидя над холодеющей перловкой, Петр Ильич вспомнил отобранную у него служебную круговерть с полагающимся к ней вареничным тупичком и, оторвав взгляд от серых холодных завалов, размазанных по фарфоровому краю, отодвинул тарелку.

К вечеру заехал Антон Антонович, Вера Александровна подала жаренных в сметане карасей. Перед Петром Ильичом на столе вились паром биточки из моркови и плавился на свету словно из медовых сот выпеченный морковный же пирог — видя тоску мужа, Вера Александровна всей душой желала напотчевать его самыми вкуснейшими блюдами среди тех, которые еще допускались медицинской наукой. Антон Антонович похвалил биточки и переел из них более половины, не забывая и карасей. Петр Ильич не стал есть вовсе.

Он придвинулся к Вере Александровне и прислонился к ней. Она отложила вилку и тоже придвинулась и прислонилась. Так они и сидели оба — прислоненные, глядя с глубоким умилением и признательностью на Антона Антоновича.

— Ты жулик и подлец, Петр Ильич, натуральный подлец, — восторженно говорил доктор, — из скверности, исключительно из скверности доводишь себя до фатальной черты, когда мы с Верой Александровной тащим, из всех наших скудных сил тащим тебя, как выкинувшегося на берег кита, обратно в море, ты же держишься за эту чертову черту всеми своими китовыми зубами.

Он впился в голову объединенного карася, с душевным наслаждением высосал ее, осмотрел остов и взялся за следующую рыбину.

— Я ведь уже и с профессором говорил про твою болезнь, Петр Ильич, и не с каким-нибудь. Ты, небось, думаешь, он жулик и проходимец, и зазря профессором зовется, и просто так с портфелем ходит?

Антон Антонович налил и сразу выпил.

— А вот и нет! Просто так с портфелем не каждый ходит, и не всякий профессор — жулик, этот сто собак съел на твоей болезни, — он налил еще, — а то и все двести.

Антон Антонович закусил холодцом с горчицей, и слеза вылезла у него из глаза, протекла по ловко вылепленному лицу и скрылась в усах.

— Прогноз, говорит профессор, прогноз в твоем случае самый положительный. Так что не надейся, будто тебе удастся перемахнуть за черту. Даже не помышляй.

Вера Александровна, прижавшаяся к Петру Ильичу, неприметно вздрогнула.

— Антон Антонович, дорогой, а может быть в больницу, под докторский присмотр?

Слова эти дались ей тяжело, с великим внутренним беспокойством произнесла она их. Ей ужасно было и представить, что Петр Ильич окажется где-то там, в белых холодных палатах, таких чужих, тоскливых, без нее и без ее хлопотливой опеки. Да и само согласие Антона Антоновича с необходимостью перевезти мужа в больницу выдавало бы серьезность положения, которое безмерно страшило бедную женщину. О себе она думала меньше всего, но и собственное одиночество в отсутствие Петра Ильича не могло не вызывать печали в трепетной душе ее.

Антон Антонович уверил, что необходимости в этом нет ни малейшей, что положение Петра Ильича хотя и скверно, но имеет самые оптимистические перспективы, и умеренная диета и домашний покой вот-вот принесут свой прок. Он принялся вдруг рассказывать поучительный врачебный эпизод: одному особо мнительному больному по случайности вместо аппендицита отрезали руки, что нередко бывает, когда не имеешь характера перешагнуть сомнения и довериться медицине и оттого дергаешься под ножом, но сразу же исправили обратно, да самую малость напутали — вместо прежних рук пришили чьи-то посторонние ноги, а пока выясняли, чьи ноги, пациент упер из ординаторской две пары ботинок и бежал, обнаружили его по характерным следам уже под Кисловодском и даже догнали, только поздно было — помер он. Вскрытие показало: вроде как от аппендицита. Антон Антонович подвел мораль под безысходность предрассудков и заключил, что ежели кто медицине не верит, то и лечить такой сомнительный организм смысла нет — один убыток выйдет.

Петр Ильич, чувствуя недостаток сил внутри себя, вернулся к гобеленовой софе и лег.

Из столовой к нему пробирались ароматы стола и негромкий, ускользающий разговор Веры Александровны и Антона Антоновича.

— Не смейте, не смейте, Вера Александровна, даже думать об этом! — густой

шепот, подхваченный запахом жареных карасей, проник в комнату и окутал Петра Ильича.

— Мне тяжело видеть, как он мучается, — отвечала Вера Александровна.

— Я понимаю, понимаю, — уверял Антон Антонович, гремя графином. — Но такие мысли, которые вы говорите, недопустимы. Недопустимы!

Еще долго Антон Антонович звенел стеклом, успокаивая Веру Александровну. Петр Ильич уснул и не слышал, как доктор ушел. Вера Александровна проводила гостя, оглядела опустевший стол, прошла в комнату Петра Ильича, присела на край гобеленовой софы и принялась гладить его проступившие жилами руки, запутавшиеся в голове прядки первой седины, защетиневшиеся за два дня щеки. Она прижалась к нему. Но Петр Ильич спал.

Ему снилась Вера Александровна, медленно идущая по черному, местами изрытому полю куда-то вдаль и прочь и тревожно, с нарастающим отчаянием зовущая его. А он бежал за ней, но она отдалялась, отдалялась и никак не догадывалась обернуться и приметить, что он тут, рядом, только протяни руку. Петр Ильич увидел ровную белую — словно приснеженную — дорогу чуть в стороне, бросился бежать по ней — «теперь уж догоню», но она обернулась липкой лентой для мух, ноги его оказались схвачены ею, он подался вперед, упал, дорога намоталась вокруг него, облепила и сжала со всех сторон белым, непроницаемым.

Проснулся Петр Ильич от запаха лука.

Кто-то щупал его, тянул за щеки, разжимал рот, вертел уши и тыкал в нос чем-то холодным, как мороженная треска.

Петр Ильич раскрыл глаза и увидел лицо, все в белом, закутанное и с поварским колпаком на макушке. Петр Ильич огляделся: солнце стояло высоко, день близился к обеду. Поварской колпак оказался докторским. Луком пахло от марлевой повязки, прикрывавшей лицо.

— На что жалеемся? — спросила повязка.

Петр Ильич удивился, заметил стоявших тут же в почтительной неподвижности Антона Антоновича и Веру Александровну. Антон Антонович поспешил сообщить, что закутанное лицо в колпаке — профессор, тот самый, наевшийся собак на болезни Петра Ильича. Наружу торчали одни только глаза его — темные, ничего не выражавшие.

— Муха, — сообщил Петр Ильич, глядя в них.

— Муха? — не понял профессор.

Голос Петра Ильича был слаб, и профессорское лицо нахмурилось, видимо, от необходимости прислушиваться. Петр Ильич заметил эту хмурость, отчетливо проступившую вдруг из-за повязки, забеспокоился, что плохо объяснил, отчего стал говорить еще невнятное.

— Я здоров. А муха померла — тут и чихнул.

Профессор не выразил чувств в связи с печальной вестью о мухе и лишь внимательно рассматривал вылезшие скулы Петра Ильича, сделавшиеся огромными глаза, перевел темный взгляд на костистые подрагивающие пальцы рук, наконец — на вылезшие из-под пледа худые босые ноги. Дальше ног рассматривать было нечего, и профессор так и стоял долго и задумчиво, уставясь на них.

— Если бог даст, — он повернулся и посмотрел прямо на Веру Александровну, — то три дня. Впрочем, маловероятно.

Вера Александровна, уже понимая выпущенный приговор, еще думала отгородиться:

— Что даст? Какие три дня?

Но не было стены, которая б заслонила от понятого, и Вера Александровна упала раньше, чем профессор обрушился обухом на нее:

— Умрет раньше, чем в три дня. Впрочем, и трех не проживет.

Петр Ильич видел все опять словно в воске, как в том сне: Вера Александровна падала, падала, падала, и падение никак не прекращалось, Антон Антонович дотянулся до нее сквозь пролившуюся густоту и успел подхватить, и посадил на стул, придерживая.

— Может, все-таки в больницу?

— Теперь уж поздно. Впрочем, и сразу не помогло бы.

Профессор наскоро собрался и уехал, даже не отобедав.

Петр Ильич ждал, что анекдот вот-вот закончится, все догадуются, что он здоров, и обрадуются, и все пойдет еще лучше прежнего: и служебная круговерть, и вареничный тупичок, и грибная солянка по воскресеньям. И жизнь полноводным благоухающим потоком вернется в их дом и смоет морок из глаз Веры Александровны.

Но скорбь и предчувствие смерти вокруг него были самыми настоящими. Воздух комнаты был залит воском, осыпающаяся яма под софой росла. Вера Александровна сама сделалась чуть жива от охватившего ее необъяснимого фатального ожидания. Петр Ильич видел, как ожидание высасывает жизнь из нее, но всякая попытка уверить Веру Александровну в своем здоровье сказывалась на ней разрушительно. Она хваталась за увертывающийся прутик надежды, начинала выбираться по нему из пропасти на насыпь, которую Петр Ильич возводил, но все одно: прутик надламывался, она падала с отвоєванной у отчаяния зыбкой возвышенности в еще более глубокую пропасть, куда не доставал свет вовсе, и кругом стояла одна только тьма.

— Ну зачем, зачем он мучает меня этими ложными надеждами? — вопрошала она у Антона Антоновича. — И сам так мучается.

— Скоро, скоро все прекратится. — отвечал он. — Бог милостив.

Петр Ильич, слыша их разговоры, отступался с объяснениями, которые доводили и без того ужасное состояние Веры Александровны до края, за которым не оставалось ничего.

Отступаясь, он закрывался от ямы под софой и оборачивался на пронесшуюся жизнь. Судьба столкнула их в весьма затрапезной манере: только что вышедший на службу молодой Петр Ильич прогуливался по рынку и вдруг увидел среди суповых наборов из костей, мрачных залежей ливера и свиных копыт чудесный кусок говяжьей вырезки, он ухватился и потянул... Вырезка не сдвинулась. Изучив причины столь странной неподатливости, Петр Ильич обнаружил не менее чудесную ручку, схватившую вырезку за другой конец и тянущую ее к себе. Проследив путь далее, он рассмотрел и саму Веру Александровну, юную Вероньку. Оценив расстановку фигур, Петр Ильич понял, что позиция его выигрышная и что вырезку дамочке не удержать. Но неведомая сила заставила его внезапно отпустить кусок первостатейного мяса, извиниться и отступить. Девушка несколько не смутилась и контрибуцию приняла. Петр Ильич проводил взглядом чудесное видение и спешно покинул поле битвы, но скоро вернулся с незабудками в одной руке, копченым осетром в другой и, расспросив мясника, помчался догонять растворяющуюся в базарной толпе Вероньку.

Сейчас, на краю софы, и та вырезка, и та девушка, и тот счастливый день, и сам Петр Ильич стали недостижимыми, неумолимо исчезающими.

Ухаживания Петра Ильича были неловкими, вызывавшими не столько романтические чувства, сколько улыбку, даже умиление. Веронька ответила на них не сразу, но, ответив однажды, растворилась в Петре Ильиче навсегда.

Детей у них не вышло. В ком из них крылась причина — узнать они не пытались, решив, что как бы ни складывалась судьба, отныне она одна на двоих и отделить одного от другого уже невозможно. Антон Антонович, с юности друг Петра Ильича, доктор, повидавший разное, всячески намекал им обоим и каждому по отдельности, что для медицины это пустяк и нужно только заняться, но они пропускали слова его мимо, и тот, хоть и долго оставался настойчив, но бросил досаждать. А со временем их взаимная нежность и вовсе стала всем окружающим казаться такой удивительной, что нелепо и предположить было, будто их внимание друг к другу окажется нарушено кем-то еще. Бездетность Петра Ильича и Веры Александровны стала несомненным замыслом providения в глазах людей, близко знавших их.

Стремительный уход Петра Ильича казался им невыносимым и чудовищным.

В центре стола находился поднос с золотистым, глазуревым от запекшегося жирка поросенком, фаршированным гречкой и грибами. Яблочко во рту его сморщилось и выпало, а рот так и остался удивленно открытым. Бесчисленные посудины с птичьими паштетами, сыровялеными колбасами, солеными груздями, маринованными арбузами, блинами и драниками, икрой красной и черной, капустой квашеной с брусникой и без, жареной, вяленой и копченой рыбой заполняли собой все остальное пространство. Над этим благоухающим полем возвышались масляною горою в отдельном блюде вареники всевозможных начинок. Если где и оставались свободные проплешины, их Вера Александровна извела соусниками, сливочниками, пиалками с мясными, грибными, сырными и ягодными соусами и подливами. Чего тут только не было.

Вера Александровна поставила перед Петром Ильичом рюмку и села рядом.

— Ешь, душа моя, — сказала она. — Ешь, что захочешь. Антон Антонович разрешил.

Антон Антонович налил водки в рюмку Петра Ильича, после налил и себе, поднял, да так и замялся, не зная что говорить. Начал городить витиеватый долгий тост, приложил «многих лет и крепкого здоровья», сконфузился, смолк и вдруг тихо заплакал.

Петр Ильич притронулся к кушаньям. Поднял водку, понюхал и отставил. Помедлил, словно не решаясь просить о неудобном, но все же поворотил голову к Вере Александровне и, не глядя на нее, вымолвил:

— Веронька, счастье мое, сделай мне моркови... Пареной.

Вера Александровна не сразу, но вышла и скоро вернулась с морковью.

Петр Ильич съел ее всю.

Антон Антонович так и сидел, не выпив и не выпустив водки.

Доев, Петр Ильич накрыл свою полную рюмку куском черного хлеба и вышел.

В воскресенье с утра пошел снег.

Петр Ильич побрился. Чесучевый костюм оттенка выдохшегося шампанского, много лет висевший без дела, поскольку давно стал тесен и узок и не давал ни встать, ни сесть, ни выпрямиться, ни наклониться, пришелся впору. Петр Ильич пижонски

воткнул в нагрудный карман несколько линялый, но еще яркий, в аляпистом многоцветье, платок, оглядел себя и остался весьма доволен.

Вскоре потянулись гости. Они приходили по несколько человек, подолгу расшаркивались в прихожей, отряхивались, стараясь негромким шумом обнаружить свое присутствие, приглушенно переговаривались. Подталкивая друг друга, появлялись в дверях гостиной, замирали и умолкали.

Петр Ильич сидел поодаль, полуотвернувшись к окну, и смотрел на падающие белые хлопья, на неумовимо исчезающую под ними черную землю.

В центре на табуретках стоял дубовый, медового лака, гроб.

Вера Александровна не выходила из своей комнаты, сил ждать неминуемого у нее не осталось, и она слегла.

Антон Антонович занимался хлопотами.

Среди толпившихся провожающих кто-то наступил на другого, тот зашипел, Петр Ильич невольно обернулся и увидел их всех. Лица, набухшие подчеркнутым соболезнованием, смотрели на него в недоуменном ожидании. Где-то позади них раздавался голос Антона Антоновича: «Вытирайте ноги, господа! Вытирайте ноги».

Петр Ильич искал среди них Веру Александровну, любимую Вероньку, но напрасно. Чадили свечи, было душно. Провожающие сопели, прикладывали ко лбам зажужжанные серые платки, крестились и смотрели, смотрели на него, бормоча неразличимые причитания.

Петр Ильич заметил Матвея Романовича, обрадовался — хотя бы он здесь, поднялся и двинулся навстречу. Бормотание стихло, неумовимый ужас пополз по лицам, они подались назад. Петр Ильич остановился в растерянности, чувствуя слабость и даже тошноту. Он сделал еще шаг. Ужас пришедших стал отчетливым, надломил их лица. Матвей Романович тоже подался назад, его лицо осыпалось и потерялось в общей гряде.

Петр Ильич отвернулся, угодил взглядом в гроб, дотянулся до него рукой и оперся.

Кто-то, наверное, все тот же Матвей Романович, сказал только:

— В добрый путь, Петр Ильич, в добрый путь. Не поминай лихом.

Петр Ильич покосился набок, помутнел, залез внутрь и лег. Глаза его устало закрылись.

Толпа издала вздох облегчения и начала расходиться.

Уже стояла ночь, когда Вера Александровна поднялась остатками своей жизни, прошла в гостиную, прижалась к Петру Ильичу. Ее взгляд, губы, пальцы нежно бежали по его лицу, по глубоким морщинам, худым скулам. За последние дни она и сама высохла, провалилась в черную яму, стала исчезающей в сумерках тенью. Жизнь начала убывать из нее.

Вера Александровна долго нависала над мужем, прощаясь, иссушенный организм перестал превращать ее горе в слезы, и горе оставалось внутри, заполняя собой все части человеческого нутра, которые находило. Когда заполнять стало нечего, Вера Александровна тихо упала. Антон Антонович перенес ее и, вернувшись, надвинул крышку на гроб.

Петр Ильич очнулся от тряски. Добирались долго, на разъезженной дороге его подбрасывало, кидало в темноте, било о тесноту. Нежный шелковый подбой и

чесучевый костюм не смягчали ударов, и Петр Ильич подумывал даже вылезти, но представляя, сколь нелепо будет выглядеть, не решался.

Тряска вдруг прекратилась. «Наконец-то, — пробурчал Петр Ильич, — приехали». Гроб дернуло, его выволокли из катафалка и поставили. Слышались глухие, могильные голоса, разобрать их было нельзя. Каждый возглас, крик, всхлип и даже каждое движение людей снаружи проникали внутрь потусторонними шорохами, скрипами. Петр Ильич пытался понять их, угадать обронившееся слово, увидеть эту последнюю суету. Вцепляясь в звуки, он жаждал больше всего и пуще всего боялся уловить плач Веры Александровны, но не различал ни ее, ни чей другой знакомый голос. И даже собственное дыхание превращалось в неузнаваемый, не похожий на человеческий стон.

Гроб приподняли, и он мягко заколыхался в пустоте. И Петр Ильич увидел далекий узкий немного покачивающийся лоскут облачного ноябрьского неба, летящий навстречу снегу. Лоскут, сжимаемый со всех сторон черной мерзлой землей, ускользал, отдалялся, становился все уже, уже. Петр Ильич потянул к нему руки, но руки уперлись, небо исчезло, облепило темнотой, гроб мягко ткнулся в дно могилы, и всякое движение прекратилось.

Застучали редкие комья, звуки перестали быть таинственными и сделались отчетливыми, понятными и невыносимыми в своей ясности, Петр Ильич ударил в крышку, но она не поддавалась, он ударил еще, начал биться в нее всеми своими жилами и костями, закричал.

— Я живой! Выпустите меня!

С той стороны ему отвечали лишь размеренным стуком бросаемых комьев.

— Я живой! Живой! Живой! — кричал Петр Ильич. — Я живой...

Стук вдруг исчез, надежда вспыхнула, потащила за собой, Петр Ильич перестал биться, ожидая, что сейчас его достанут, поднимут. Но раздались тяжелые частые удары — могильщики взяли за лопаты. Звук земли становился все тише, тише, и вскоре стал вовсе неуловим. Через щели между досками повеяло сыростью и холодом.

Евгений Шкловский

Обида

Из цикла «Доктор Крупов»

— Зачем вы это сделали, Антон Павлович? — тихо спросил и тут же глаза в сторону.

Скромный, ласковый человек, приблизительно его возраста. Обычно во время шумных, веселых журфиксов у Кувшинниковых он держался отдельно или составлял компанию хозяину дома, скучноватому, доброму доктору Кувшинникову, уединялся с ним в другой комнате или в кухне. В «Попрыгунье» он был выведен как доктор Коростелёв, коллега одного из главных героев — доктора Дымова. Густые, темные, жестковатые на вид волосы, которые он постоянно ерошил пятерней, немного фатовские усики. На самом деле — талантливый художник, пейзажист и анималист, чьи рисунки регулярно украшали журнал «Природа и охота». Он и с Левитаном тоже был дружен, но как-то умел примирять в себе обе дружбы, несмотря на всю двусмысленность ситуации в доме Кувшинниковых: роман Левитана и жены доктора Софьи Петровны ни для кого не был секретом.

Чехов догадывался, что привело к нему этого застенчивого, смущающегося человека. Даже забавно, как тот мнется, не решаясь признаться в цели своего визита. Только такому сумасброду, как Левитан, могла прийти в голову эта дикарская идея. Как был подростком, так и оставался. Неужто и впрямь думал, что Антон согласится? Или обычное позерство? Хочет показать себя бесстрашным рыцарем? Надо сочинить что-нибудь с подобным сюжетом — про дуэль, тут много узнается про человека, причем не только про дурь, но и про отношение к себе и к другим, к жизни и к смерти.

Что поделаться, обидчивы люди.

Иные, правда, обидчивы больше, чем другие. Он что, не знал этого? Знал прекрасно, тоже, случалось, обижался, причем серьезно, с долгим последующим эхом, отзывавшимся на отношениях даже с самыми близкими. А уж как обижался старший брат Александр, особенно если был под мухой, а выпивал частенько, даже и запойно. Вот он тогда любое неодобрительное или просто ироническое словцо в свой адрес принимал как оскорбление, чудачил, исчезал, прятался, пускался, словно

в отместку, во все тяжкие... Правда, от него, от Антона, он критику принимал — молча, потупив глаза, словно провинившийся школьник, выслушивал наставления.

Они все, и старшие, и младшие, что говорить, уважали Антона, причем даже больше, чем отца, который своими нравоучениями мог запилить до смерти, а то и руку тяжелую приложить (читать отца нужно!). С Антоном же считались, как будто чем-то были ему обязаны, а может, и побаивались его острого меткого языка, смешного прозвища, от которого потом не отскрестись, пристального ироничного взгляда...

Обидчивость, она от чего? По большей части, от уязвленного самолюбия. Из детства чертополохом растет или из отрочества, от всяких мелких притеснений и унижений... Такого они с братьями нахлебались в детстве сполна, и именно от отца, чья строгость была деспотизмом и тиранством, иначе не назвать. Подолгу выстаивать на коленях в церкви или целый день киснуть в темной холодной конторе — это ли не наказание? А ему приходилось неоднократно, потому как папаша, человек амбициозный, но типичный неудачник, пытался торговать, держал лавки с товарами. Однако с людьми и с финансами высокочтимый Павел Егорович явно был не в ладах, все его начинания неизбежно рушились, принося только хлопоты, долги и огорчения. Ну и на детях отзывалось, потому как на ком еще и отыграться да власть показать? Конечно, это травмировало, оседало в глубине души, и потом, проявляя к состарившемуся отцу уважение, Антон не мог до конца избавиться от нехорошего, недоброго, мучившего его самого чувства.

На обиженных воду возят... Как бы там ни было, из себя он обидчивость пытался вытравливать. Еще и этим жизнь, и без того нелегкую, портить? Со временем, кажется, удалось. Может, и не полностью, но все-таки. Да ведь и не подобает писателю-юмористу, сатирику, нередко задевая других насмешкой, самому впадать в амбицию при каком-нибудь пустяшном недоразумении или даже чем-то более серьезном. Если уж обижаться, то на жизнь вообще, на природу, которая создала человека таким несовершенным, зависимым от ее капризов, а главное, смертным существом. Ему как доктору это больше чем кому бы то ни было известно, даже и о самом себе по части здоровья... Не повезло или, как индусы говорят, карма? Можно ведь за это обидеться на весь свет: почему я? за что?..

Странные, странные люди!

Обиделись даже те, кто в рассказе лишь мимоходом помянут, в перечислении — все эти артисты, чтецы, музыканты и прочие... Ведь про них там ровно ничего, так, абсолютно походя. Их-то что зацепило? Ладно, главная героиня, верней, Кувшинникова, у той какие-то основания есть, раз узнала себя в Ольге Дымовой. Хотя тоже не очень смахивает, он редко делает персонажа похожим на прототип, обычно меняет черты, причем существенно, блондина делает брюнетом и наоборот, как в случае с Левитаном-Рябовским, худого полным, ну и так далее. И по возрасту они там совершенно разные. Ольга Дымова молода, Рябовский старше ее, тогда как в случае Кувшинниковой и Левитана все иначе.

Впрочем, какие-то штришки все равно остаются — что правда, то правда. В манере речи, жестах, особенностях поведения. Совсем уйти от прототипа трудно, да он и не хотел, ему важно чувствовать родство персонажа и конкретного человека, образ должен подпитываться соком реальности, иначе характер теряет жизнеподобие. Когда пишешь, перед глазами поначалу маячит именно прототип, живо, ярко, но мало-помалу бледнеет, характер начинает обретать новые краски и оттенки, как бы отделяется, отслаивается от источника, а потом и вовсе начинает жить своей

самостью. И все происходит как в действительности, но по-другому, а это другое и есть главное.

Как автор, он всегда старался ступать, подать картину максимально объективно, показать правду каждого характера в соответствии с его внутренней логикой. Это острая тема, над которой он не раз размышлял, потому что здесь есть даже толика мистики, к каковой он, впрочем, совершенно не склонен. Сколько раз в каком-нибудь персонаже, собранном из черт и свойств разных людей, вдруг возникал характер настолько живой, да еще и со схожими линиями судьбы, что сам только диву давался. Потом кто-нибудь из читателей неожиданно спрашивал: откуда вам известно про меня? С искренним удивлением спрашивали, но вроде без особого недовольства и тем более обиды.

Конечно, никакая не мистика, и медиумом он себя, в отличие от некоторых слишком самонадеянных коллег, не считал. Но что случается, то случается. Хоть интуицией это назови, хоть как...

Тут же — обида, да еще какая!

Ожидал он этого или нет? Скорей, все-таки нет. Люди узнавали себя по каким-то незначительным деталям, по ситуации, в которой они, верней, персонажи, выглядели так, как, вероятно, им не очень хотелось. Со стороны все выглядит иначе. Молодая, эмансипированная женщина, вне всяких условностей, коллекционирует знаменитостей, буквально охотится за ними, очаровывается и очаровывает. Живет же она с трудягой-мужем, практикующим доктором, который преданно и самоотверженно любит ее и закрывает глаза на происходящее в их доме. Дама порхает, муж тянет воз... Между тем у дамы роман с известным художником, который дает ей уроки живописи, берет с собой на этюды в дальние поездки, однако со временем начинает ею тяготиться, заводит интрижки с другими женщинами. Унижения, выяснения отношений, ревность...

Короче, все по старой, как мир, схеме. Как ни крути, подобные житейские ситуации — общее место... А общее место, даже если ситуация не лишена драматизма, это все равно скучно: слишком все натоптано, банально...

Правда, сами участники событий чаще всего этого не замечают (или не хотят). Сколько таких общих мест довелось ему видеть, да и самому отдать дань. Но вот от чего не мог удержаться, так это от усмешки. Общее место, шаблонность всегда отдают пошлостью, к чему он особенно чувствителен. Еще хуже, если у человека нет чувства юмора, тогда совсем беда. Именно такие люди слишком уж серьезно к себе относятся и потому склонны к обидам. Или много воображают о себе, что прямиком ведет к неврозам, психозам и тому подобному.

Чтобы создать определенный образ, приходится какие-то черты отсекают или ослаблять, другие, наоборот, усиливать. Да, ему не по душе такая развеселая, безапелляционная, эгоистичная жизнь, какую вела его героиня Ольга Дымова, сиречь Софья Кувшинникова, пусть она даже трижды талантлива по сравнению с пустышкой, выведенной в рассказе. Женщина праздника, а не будничной, полной забот и хлопот жизни. Она недурно одевалась, умея из ничего соорудить какой-нибудь экстравагантный наряд, могла и унылое жилище преобразить во что-то необычное. Все у них в казенной квартире, предоставленной доктору по полицейскому ведомству, было с претензией на роскошь и изящество, и только приглядевшись можно было догадаться, что под коврами якобы турецких диванов скрыты ящики из-под мыла с брошенными на них матрацами, а на окнах вместо занавесок простые рыбацкие сети.

Собирались у них обычно по воскресеньям, бывало разгульно, но и занято — беседовали об искусстве, спорили о картинах, спектаклях, музицировали, пели, атмосфера абсолютно раскованная. Супруг же участие в этом обычно не принимал. Его крупная фигура возникала в дверях где-нибудь ближе к полуночи, в одной руке вилка, в другой нож, громким голосом торжественно возвещалось: «Пожалуйте, господа, покушать!» Софья Петровна бросалась навстречу, обхватывала ладонями его голову и восторженно восклицала, словно не видела целую вечность: «Димитрий! Кувшинников! Господа, смотрите, какое у него выразительное, великолепное лицо!» Мужа и гостей она чаще всего называла по фамилии, здоровалась тоже своеобразно — сильно, по-мужски встряхивала руку собеседника и, продолжая удерживать в своей, отодвигалась на некоторое расстояние, а затем, пристально оглядев человека с головы до ног, нисколько не тушуясь, делилась с окружающими впечатлением: «Правда, он напоминает древнего германца, только еще грубее?» или «Посмотрите, Левитан, в нем что-то грёзовское».

Долготерпение, кротость доктора, заискивающего перед женой и потакающего ее капризам, несмотря на ее завихрения, весьма смахивали на юродство. Что ни говори, а по-мужски как-то неправильно. Понятно, любовь слепа, но ведь не настолько же, не настолько...

Чехов изредка бывал на их журфиксах, но, видимо, плохо скрывал свое отношение к хозяйке. Может, потому и отношения с Кувшинниковой никак не складывались...

И все-таки что ж так Левиташу завело? Ведь поди узнай его в Рябовском, только что «томный», как не раз называл Чехов приятеля с его вековой иудейской печалью в глубине больших темных глаз. Да еще шаблонная фраза «я устал», которой тот сначала меланхолично пленял женщин, вызывая к их сочувствию и жалости, а потом с легкостью отправлял в отставку. Или так уязвило, что в Рябовском нет ни его вулканического темперамента, ни замечательного, великого талантища, а только томление и душевная скука, толкающие к мимолетному флирту и беглым романам?

Левитана действительно неудержимо влекло к женщинам. Красавец-брюнет, вольный художник, неуравновешенный, экспансивный, он был способен публично броситься на колени перед приглянувшейся дамой и тут же объясниться ей в любви, а мог и тягостную сцену устроить, легко впадал в хандру, грозился убить себя. В своей неукротимой страстности бывал он очень хорош, да и у женщин пользовался неизменным успехом. Но бывал и смешон, потому как и взрывы темперамента тоже могут становиться шаблоном, расхожей манерностью и в итоге — все той же пошлостью.

Чехову, однако, было ведомо, что связь Левитана с Кувшинниковой довольно серьезна: эта на первый взгляд взбалмошная и легкомысленная дама была не просто его ученицей, причем небездарной, но, что существенно, вроде бы даже по-настоящему любила его, окружала материнской заботой и готова была для него на многое, даже терпеть его мимолетные увлечения, как терпел ее собственные муж-доктор. А Левитану с его чувствительной натурой, с его нежной, тоскующей еврейской душой это было просто необходимо — внимание, ласка, забота, тепло, какие может дать только любящая женщина.

Ах, Левиташа, Левиташа!

Ведь не без чувства юмора человек, а такая реакция. Эх же они еще недавно забавлялись, сойдясь в Бабкине, чего только не выкамаривали. Бывало, в летние

вечера облачались в бухарские халаты, мазали лицо сажей, накручивали чалму, Антон с ружьем выходил в поле по ту сторону реки, Левитан выезжал туда же на осле, спешился, расстилал ковер и, как мусульманин, начинал молиться на восток. Вдруг из-за кустов к нему подкрадывался бедуин и палил из ружья холостым зарядом. Бац, бац... Левитан падал навзничь. Совсем восточная картина.

А то, бывало, судили Левитана. Антон — прокурором, специально для чего гримировался, Киселёв, другой приятель, судьей. Оба наряжались в шитые золотом мундиры. Антон, как прокурор, грозно произносил обвинительную речь, все буквально помирали от хохота.

Дурили, одним словом. А про флирты с местными и наезжающими в гости барышнями, которых кто-то метко прозвал «антоновками», и говорить нечего, тоже своего рода состязания...

И все-таки не случайно Исаак оставался бобылем, как и он, несмотря на все свои бурные романы. Такое понимание, какое он ждал от женщин, просто невозможно, душа все равно одинока, тем более душа художника. Не раз толковали об этом. Левитан горячился: его этюд — это воздух, синяя дорога, тоска в просвете за лесом, это он сам, дух его. А если женщина этого не видит, не чувствует, то кто же они? Чужие люди! И о чем с ней тогда говорить?

Вот только способна ли душа так слиться с другой душой? Сомнительно!

И все-таки Чехов почему-то сочувствовал не своему без меры влюбчивому приятелю, а мужу Кувшинниковой. Легкокрылость этой дамы, внешне не слишком привлекательной, хотя и недурно сложенной, ее беззастенчивость, ее, по сути дела, равнодушие к самому близкому, любящему человеку, говоря по правде, злила. Не так они, Чеховы, дети богобоязненного отца и заботливой, покорной ему во всем матери, были воспитаны. Если чего и ждали от женщины, то именно семейственности, верности, бескорыстной самоотдачи.

Сам Чехов, увлекаясь кем-то и добиваясь близости, постоянно замечал в себе это скучное, но неистребимое патриархальное начало. И если увлечение грозило перерасти во что-то большее, то невольно примеривался к семейной жизни: как могло бы все устроиться... Хотелось, чтобы жена была похожей если не на мать, то на сестру Машу.

Антон всегда ощущал ее ненавязчивое, но, что говорить, согревавшее домашним теплом присутствие. Она толково вела семейные дела, справлялась с самой трудной работой, была непривередлива и мягка. А главное, не стесняла его свободы, не отвлекала от творчества. Конечно, и ей были присущи обычные женские слабости или, так сказать, настроения, однако умела смирять себя, особенно если это касалось любимого братца, к тому же знаменитого писателя. Он это ценил, но и, признаться, довольно эгоистично этим пользовался.

Машу вполне можно было назвать красивой — правильные черты, милое доброе лицо, внимательные ласковые глаза... Она притягивала к себе мужчин, угадывавших в ней именно великодушную, щедрую женскую природу. И что существенно, она всегда оставалась самой собой, без всяких артистических закидонов, без натужного кокетства и театрального ломанья, что часто демонстрировали окружающие барышни, хоть Кувшинникова с ее жеманным придыханием «но все равно вы милый...» или та же славная Лика Мизинова, чье очарование в какой-то момент странным образом оборачивалось манерностью. Все бы ничего, да только отношения с ней, порой весьма близкие, постоянно грозили перерасти в мелодраму.

Театр, театр... Он всем не давал покоя. Даже и ему. Человеку свойственно желание быть другим. Писателю это доступно в большей мере, чем кому-либо. Да ведь и литературу читают по той же причине — прожить чью-то еще жизнь, насытиться еще чьим-то опытом, чьими-то переживаниями. Сцена тоже давала такую возможность. Но одно дело — театр, другое — жизнь. Легко было заиграться. К тому же театр нередко начинал вытеснять естественность, оборачивался декламацией, пустозвонством и опять же пошлостью, что заслуживало только пародии. Если бы он сочинял пьесы, то непременно комедии...

Чего-чего, а в Маше, по счастью, жеманства почти не было. Неслучайно и друг Левиташа на нее глаз положил, строил куры и даже, кажется, всерьез собирался сделать предложение. Не он один, впрочем. Но Маша всегда в таких случаях осторожно оглядывалась на брата: что он по сему поводу думает, а ему и не нужно ничего говорить, достаточно быстрого, исподлобья, чуть насмешливого взгляда.

Наверно, не прав он был, и даже не только в отношении любвеобильного живописца. Всякий раз срывалось — именно по Машиной, ну а если копнуть чуть глубже — по его воле. Нет, явного деспотизма Антон не проявлял, и тем не менее. Да, ему было удобно рядом с ней, как и с матерью, у которой она унаследовала домовитость и хозяйственную сноровку: навести чистоту, приготовить, разобраться со всеми делами, в том числе и по его поручениям. Ведь могла осчастливить кого угодно, но главное — сама стать счастливой.

Хотя что это — счастье? Верил ли он в его возможность? Среди окружавших редко встречались по-настоящему счастливые. Да и способен ли обрести его развитый, культурный, ищущий человек? И нужно ли?

Впрочем, это уже отвлеченные вопросы. Важней как-то обустроить свое внутреннее хозяйство, собственную душу, научиться бескомпромиссной честности. Вот уж поистине не простая задача! Он ставил ее прежде всего перед собой и, увы, признаться, не всегда оказывался на высоте.

А что отношения даже между людьми близкими по духу могли легко портиться из-за каких-то нелепых, глупых, никчемных обид — конечно, очень грустно. Бог с ней, с Кувшинниковой, не слишком она его заботила, обиделась и обиделась. А вот разрыв с Левитаном серьезно огорчил. Исаака он искренне любил и живопись его ставил очень высоко. Другого такого чудесного художника, настолько тонко чувствовавшего русскую природу и умевшего передать ее очарование, наверно, не было.

Так и не решился тишайший Алексей Степаныч сказать ему то, что собирался. Хватило ума и здравого смысла. Или Чехову удалось его разубедить? Он умел спокойно, чуть глуховатым баском, как бы разговаривая с самим собой, объяснять самые сложные вещи, а в данном случае всю абсурдность ситуации, которая, собственно, и яйца выеденного не стоила и уж тем более таких радикальных выводов, на которые мог быть способен только такой невротик, как Исаак Ильич. Дуэль, пистолеты — какие мальчишеские глупые забавы! Правда, иногда с печальным, необратимым исходом. Бедуином — пожалуйста, а вот дуэлянтом, со скользким от пота пальцем на взведенном курке... Это уже не бабкинские игрища.

Господи, какие они все-таки дети! И забавно, и жаль всех до слез.

Как бы там ни было, жизнь продолжалась, надо делать свое дело — и лекарское, и литературное. Литературное — даже прежде прочего. Столько сюжетов теснилось в голове. Пусть обижаются, коли угодно. На каждый чих не наздравствуешься.

А Левиташа, пройдет время, остынет, одумается. Они нужны друг другу. Милый человек, дай ему Бог здоровья!

КУБОК МИРА ПО РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Майя Шварцман

Под токованье птицам отдан сад

* * *

Под токованье птицам отдан сад,
но силу тока не назвать в амперах.
Пуская за разрядом вновь разряд,
искрит гортань, оправленная в перья.
Рукоплеща без устали, с утра
звенит бузинник, музыкой пронизан,
орешника пульсирует кора,
внимает дом, вибрируя карнизом.

Колоратур и трелей череда —
куда там окарине и гобою —
свиваются над крепостью гнезда,
короне уподобившись; любое
гнездо — отчасти нимб, венец, кольцо
из тёрна с дёрном, символ постоянства.
На дне его покоится яйцо
округлой оккупацией пространства.

Под замкнутой сферической кривой,
слабей луча и звука невесомей,
колышется и спит под скорлупой
одна из самых странных анатомий.
В укромном уголке, где все углы
закруглены, лежит и дремлет, зрея,
не смерть Кощея на конце иглы,
но маленькая певчая трахея.

Майя Шварцман родилась в Свердловске (Екатеринбурге), окончила консерваторию. Работает в оркестре Европейской филармонии и ансамбле «Papaepo». Постоянный автор сайтов Belcanto.ru и Oreanews.ru. Автор нескольких книг. С 1990 г. живет в Бельгии. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

И как постичь, что этот сонный плод,
набор сыря — желток, белок, канатик,
немногим позже бойко запоёт,
вспорхнув на клён в какой-нибудь Канаде,
что вызреет таинственная связь
меж вязкостью и связками, сквозь стенку
проклюнется, взлетит, оборотясь
миниатюрной кузницей акцентов:

мембрана, наковальня, язычок,
удары молоточка, блеск и россыпь.
И если он когда-то на плечо
доверчиво присядет и попросит
за чик-чирик в туннеле декабря,
подай ему, — всего-то крошки грошик.
Пусть свищет вечно, воздух серебра,
пернатый бессеребреник-художник.

Блажен, кто подаянье близ фрамуг
смирненно собирает на кормушках,
отдавая музыкой, кто звук
даёт увидеть в росписях воздушных.
Им всем завещан заповедный сад,
а в нём, как шёлком, шёлканьем расшитом,
щеглы порхают, иволги царят,
и зёрнышками Хлебников рассыпан.

* * *

Сыну

Несчастья происходят в тишине.
Неслышно разверзается ловушка.
В открытую, с другими наравне
живёт в лесу напёрсточник, кукушка.

В каком гнезде — вовек не угадать —
окажется яйца чужого шарик,
кому свой жребий телом согревать,
не ведая о будущем кошмаре.

Ты сам взрастишь в гнезде среди дерев
с обычной слепотою очевидца
свой фатум и спохватишься, прозрев,
когда придёт пора птенца лишиться.

* * *

*Сухие обмылки пригодятся при нанесении
выкроек на ткань.*

«Советы по домоводству». 1960

Здесь пропуск в анкете, там припуск на швы.
Убористым шрифтом теснясь
в строю, со свободой слова на «вы»,
заученный текст повторяли годами.
Врастал, натирая, наложенный жгут,
бинта заскорузлая бязь,
а ветер и раны — что в сумме дадут
парадному гляncy казённых изданий?

Копили обмылки, хранили лицо
вещей, наизнанку сложив.
Ложились безропотно заподлицо
в печатный набор вереницами литер.
Сквозь сито терпенья, дуршлаг дистрофий,
оставив детей на разжив,
просыпались просом в сухую цифирь,
которою всех уравниал аналитик.

На лампочке штопали старый носок,
из швов выпускали запас,
глухими согласными сгнули в срок
в параграфах сносок, синодиках ссылок,
и свежего сленга пружинистый мох
разросся поверх, не скупясь.
Не нужен для выкроек новых эпох
истраченный временем старый обмылок.

* * *

Не отзывайся, если позову.
И я на пересвист манка не двинусь
из дома, что во сне и наяву
неспешно превратился в домовину,

не сдамся на голосовой подлог,
когда зальётся соловей в черешнях,
затягивая в сеть своих морок.
Ведь это веселится пересмешник.

Под крышкой крыши зиму зимовать.
Оцепенев, в ушко иголки вдеться,
нырнуть в канву, ступать стежками вспять —
куда течёт река, впадая в детство,

сквозь жизни истончившейся плеву,
по тёмному течению с развальцей.
Не отзывайся, если позову.
А я не позову. Не отзывайся.

Санджар Янышев

Сладкий ужас

- ...и съел девочку! Тебе понравилась сказка?
- Нет.
- Почему?
- Грустная.
- Что тебе еще рассказать?
- Про Синюю Бороду.

*Мужчина и женщина
(Un homme et une femme)*

Жил на свете таракан,
Таракан от детства,
И потом попал в стакан,
Полный мухоедства.

Бесы

Дети любят пугаться. Страх — в гомеопатических дозах — развивает, расширяет границы мира.

В первой моей книжке «Червь», названной так в честь лирического героя из державинской оды «Бог», есть стихотворение «Аглая». Речь в нем о Бабке Аглае, которую я придумал в раннем детстве, — о старухе с копытами и козлиной бородой. Она приходила по ночам в наш двор из соседней махалли.

Мы жили на четвертом этаже; через окно бабулиной и дедулиной комнаты я видел — или мне казалось, что видел, — как внизу одинокая фигура, ритмично кивая головой, выстукивает асфальт — от фонаря к фонарю: из тени в свет, из света в тень... Сейчас она зайдет за угол нашего дома. Можно перебежать к противоположным окнам и увидеть, как медленно и неотвратно она приближается к подъезду, как исчезает под его козырьком... Бегом к входной двери: за ней то, о чем писать я уже не в силах, поскольку и сегодня чувствую, как собственный пульс, приближение Бабки Аглаи: первый пролет (он особенно короток), второй, третий... Рано или поздно придется посмотреть в дверное стеклышко — после того, как нарастающий цок вдруг прекратится, и слух откажется в это верить.

...Из темной кажити Аглая
лепила рост волос, ресниц.
А время пропускало воздух;
его материя гнила
вытягивала воду с лиц
и снова обращалась в воду.

В том же стихотворении есть утверждение: «Все взрослые тогда казались красивыми...» И это чистая правда. Люди были прекрасными — все до единого; обманчивым оказывался мир слов и вещей.

Если попробовать назначить что-то (событие, явление...) ответственным за появление первых стихов то нужно вспомнить остро переживаемое в раннем детстве НЕСООТВЕТСТВИЕ, подобное рассказанному выше оксюмору «сладкий ужас».

Красота, которая может укусить.

Смех, который может оскорбить.

Свет, который может испугать.

Время, которое может кончиться...

Заболев, в горниле жара я видел (и поныне вижу), как пространство выходит из-под контроля: гигантские слоны просачиваются сквозь предельно мелкие отверстия. Образ верблюда и игольного ушка обретал визуальное воплощение. Над моей головой была крыльями гигантская, размером с комнату, бабочка.

...Несоответствие это не обязательно трагическое или трагедийное. Оно может быть комическим. Или просто — интересным, мыслеродительным (акунинское словечко). Это же чертовски *интересно*, когда вещь изменяет своей функции. Детское творчество по своей природе антропоморфно. При помощи слова неживое вдруг становится живым. Да и сами слова обладают физическими свойствами, как вылезшие из словаря иностранных слов и расплзшиеся по дому кракозябры — помните, в «Шляпе Волшебника»?..

Тем не менее, если обратиться к конкретным примерам, то импульсы для появления того или иного текста столь же загадочны, сколь таинственна подчас сама природа.

Небольшое предупреждение. В демонстрации себя раннего почти всегда есть толика самолюбования: смотрите, мол, какой я был талантливый УЖЕ ТОГДА. Несмотря на заведомую вторичность этих опытов, сравнимых с так называемыми «детскими» болезнями, вроде ветрянки или свинки. Однако можно попытаться максимально отстраниться и подойти к сшитым из лоскутков чужой ткани текстам с герменевтической линейкой (это я так умничаю — чтобы отстраниться еще больше) — авось какая-нибудь польза из этого выйдет.

Я помню лишь два таких опыта; меня теперешнего удивляет тематический и жанровый диапазон, растянувшийся меж ними, как подсушенная шкурка варана. Диапазон, ничем, кроме дилетанства, кажется, не обусловленный.

Первый стишок можно отнести к разряду натурфилософской лирики. Зато второе стихотворение — несомненный образец лирики гражданской.

Итак, «Цветы» (год, наверно, 1978 или 79-й; пунктуация — сегодняшняя). Экспозиция произведения, как всякое хорошее преступление, содержит в себе *мотив*:

Цветы душистые предметы
И совершенные пометы.
Пройдешься по аллее ты:
Какой чудесный запах!
Здесь за цветком растут цветы;
Теперь не думаешь ведь ты
О кошках и собаках...

В скобках отметим такие типические для подобных текстов элементы, как усилительные частицы «ведь» и «уж»: необходимые каждому неофиту пучки соломы в щелях классического строения. То есть попросту недостающие ритму слоги.

Идем дальше. После идиллического вступления следует драматический перелом:

Но есть такие, которые цветы не любят.
Придет то время, когда они цветы полюбят!
Не любят их кроты,
Которые всегда сыты.
Не говорю я о лягушках,
Которые купаются в своих кувшиночных подушках.

Мы видим, что, начавшись ямбически-традиционно, стихотворение выкручивает в широкий, как масленица, раешник... Тоже эквивалент ритмо-метрической беспомощности. Хотя тот же самый волюнтаризм — но уже как осознанный прием — сходит с рук обэриутам, о которых речь впереди.

К сожалению, дальнейшее развитие поэтической мысли, не дожидаясь вакханалии, из памяти заботливо вымарывается, остается лишь всепобеждающая кода:

Цветы душистые предметы
И совершенные пометы.

Сейчас осенило: проникшие в стихотворение злодейские кроты и лягушки — результат наслушанности «Дюймовочкой», инсценировку которой в исполнении М.Корабельниковой (Дюймовочка), З.Нарышкиной (Жаба), М.Назанова (Крот) и с музыкой Грига я заездил до дыр в ароматном черном круге среднего, как помню, диаметра за 90 копеек (стандартов у пластинок было три: гиганты, миньоны и средние пластинки — последние, в основном, с аудиосказками).

А вот что за «пометы» такие?.. К гадалке не ходи! — это рифма к «предметам». Смысл искать бесполезно, хотя... Есть же слово «пометки». Можно пространство пометить цветом, можно подарить цветок на быструю память — и то, и другое в сознании юного автора обладает грифом «совершенство».

Цветы, таким образом, становятся едва ли не божественным даром человечеству, эквивалентом высшей — почти суфийской — истины.

Еще по прошествии десятилетий я вижу в этом премудром стишке хлебниковско-обэриутскую струю, высокую «галантерейность», всех и вся поучающую лже-ученость, а также романтическую аллегоричность, берущие начало в опытах капитана Лебядкина и дальше — какого-нибудь Бенедиктова:

Иной цветок живет лишь день,
Но он зато — краса природы,
А неизменно черный пенъ
Стоит бесчисленные годы.

Или же вот, прекрасный Николай Макарович Олейников:

О бублик, созданный руками хлебопека!
Ты сделан для еды, но назначение твое высоко!
Ты с виду прост, но тайное твое строение
Сложней часов, великолепнее растения.

А вот здесь — замечательное слово «предмет», так же (как и мной) использованное в значении «объект», «вещь», «штука» — то есть нечто неодушевленное, но вдруг исполненное Высшего Замысла:

Вот птичка жирная на дереве сидит.
То дернет хвостиком, то хохолком пошевелит.
Мой грубый глаз яйцеподобный
В ней видел лишь предмет съедобный.
И вдруг однажды вместо мяса, перьев и костей
Я в ней увидел выражение божественных идей.

Ни Достоевского, ни Олейникова я в свои шесть лет, разумеется, не знал (только Хармса — из песен «Радионяни»; однако Хармс к моим «Цветам» почему-то не лепится). Здесь есть какие-то уловленные ими и подвергнутые сатире токи мухоедства... То есть графоманства.

И тут можно было бы порассуждать о веке золотом (в лице поэтов пушкинской плеяды) и веке серебряном (в лице поэта Есенина) — как обязательных источниках всякой неопасной графомании. О среднеобразовательном (школьном) ее происхождении. Но лучше перейду к живой иллюстрации.

Стихотворение называется «Узник». Год 1981—1982-й. Следовательно, школьная программа уже всю работу. А юный поэт истоиво впитывает. Итак.

Тюрьма, сырые стены,
Окно под потолком.
Здесь Узник за измену
Томится день за днем.

Он обвинен в измене...
В измене он обвинен!
Не выйти ему отсюда.
Умрет в этой камере он.

Сидит в этой камере грязной...
Как странно — не ведает он:
Что это за измена,
В которой он обвинен?

.....
.....
.....
.....

Но вера Узника греет:
Хотя в тюрьме он сидит,
Весь Мир за него болеет.
А Мир всегда победит!

...Помню, мама говорила (на примере возникшего в доме Высоцкого, конверт с пластинкой которого много лет украшала карандашная надпись, сделанная рукой брата: «Он умир»): поэт — это такой человек, который отзывается, реагирует на каждый вызов времени. И я поверил. Прислонись ухом к рельсе, держи руку на пульсе, ибо трещина мира прошла через твоё сердце!..

Наверно, стихотворение «Узник» — это такая реакция на вызов мамы. Прототип — какой-нибудь «узник совести», чью свободу отстаивал тогда СССР. Правда, никто, кроме Леонарда Пелтиера, индейца, приговоренного в 1977 году в городе Фарго (штат Северная Дакота) к двум пожизненным срокам за убийство двух агентов ФБР, мне на ум не приходит.

Проблема в том, что мифическая «измена», в которой напрасно обвинен герой моего «Узника», — ответ на вызов *другого времени*. Времени, о котором тогда мы с мамой не имели ни малейшего понятия. Хотя мама, может, и имела, да мне не рассказывала.

Еще одна загадка.

Сергей Маркедонов

Россия и постсоветские конфликты: стратегия или реагирование

Ситуация на постсоветском пространстве по мере углубления украинского политического кризиса (отягощенного вооруженным противостоянием в Донбассе) значительно трансформировалась. Изменение статуса Крыма фактически окончательно поставило крест на перспективах СНГ как интеграционного проекта, поскольку он базировался на признании тех границ, которые сложились между бывшими союзными республиками в советский период.

Противоречия между Россией и Западом по поводу Украины спровоцировали самое масштабное противостояние между ними со времен окончания «холодной войны». По своему воздействию оно оставило далеко позади августовский конфликт 2008 года на Южном Кавказе, закончившийся признанием независимости Абхазии и Южной Осетии (прецедент признания в качестве самостоятельных государств не союзных республик, а автономных образований). На более высокий уровень вышла конкуренция между европейской и евразийской интеграцией. Часть новых независимых государств выбрала подписание Соглашения о свободной торговле с Европейским союзом, а часть — вхождение в состав Евразийского экономического союза под эгидой Москвы. При этом и те и другие страны (Армения, Грузия, Молдова, Украина) вовлечены в неразрешенные этнополитические противостояния, а интеграционные возможности рассматриваются ими, среди прочего, как дополнительный инструмент для реализации своих интересов.

Эти новые противоречия накладываются на уже имеющиеся «замороженные» конфликты в Абхазии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе и Приднестровье. Они умножают риски в сфере безопасности и сужают возможности для качественного урегулирования многолетних противоборств.

Во всех перечисленных выше событиях одна из ключевых ролей принадлежит России.

В какой степени новые, постсоветские реалии повлияли на динамику подходов Москвы к неразрешенным конфликтам? Можно ли говорить о неизменности подходов Российской Федерации к ним, и если нет, то какие факторы влияют на их эволюцию? Существует ли у Кремля некая универсальная схема урегулирования конфликтов или он действует по индивидуальным планам и рассматривает каждый кейс как уникальный?

*Этнополитические конфликты и Россия до Крыма:
«селективный ревизионизм»*

До начала украинского кризиса позицию Москвы по отношению к постсоветским конфликтам можно было бы определить как «селективный ревизионизм», то есть готовность идти вразрез с мнением подавляющего большинства стран — членов ООН относительно территориальной целостности Грузии, но при этом отказ от автоматического переноса этой позиции на другие конфликты (Приднестровье, Нагорный Карабах). У российского руководства не было общего подхода ни к этнополитическим противостояниям, ни к существующим де-факто государствам. Можно выделить три базовые позиции Российской Федерации.

Первая — признание независимости Абхазии и Южной Осетии. В Концепции российской внешней политики (2013) в число российских приоритетов было поставлено «содействие становлению Республики Абхазия и Республики Южная Осетия как современных демократических государств, укреплению их международных позиций, обеспечению надежной безопасности и социально-экономическому восстановлению». После того как в результате парламентских и президентских выборов в Грузии (2012—2013) сменилась власть, а наиболее проблемный партнер Владимира Путина президент Михаил Саакашвили покинул свой пост, в повестку дня Москвы и Тбилиси встала нормализация двусторонних отношений. Однако Москва ограничила этот процесс «красными линиями» в виде статуса Абхазии и Южной Осетии, а также «тех сфер, в которых к этому готова грузинская сторона». При этом Российская Федерация в общении с западными партнерами (формат Совета Россия — НАТО) последовательно призывала США и их союзников признавать «новые реалии» в Закавказье.

В то же время следует отметить, что вопреки широко распространенному мнению об однозначной поддержке сепаратистов Кремлем российская политика за период, начиная с 1990-х гг. и заканчивая августовской войной 2008 г., претерпевала серьезные изменения. Так британский эксперт Оксана Антоненко, характеризуя российскую политику на абхазском направлении, справедливо назвала ее «многополюсной». Напомним, что после начала первой антисепаратистской операции в Чечне Российская Федерация перекрыла границу с Абхазией по реке Псоу, а в январе 1996 г. Совет глав государств СНГ при решающей роли России и Грузии принял решение «О мерах по урегулированию конфликта в Абхазии, Грузии». В этом документе было провозглашено прекращение торгово-экономических, транспортных, финансовых и иных операций с непризнанной республикой. В 1997 г. Россия для разрешения грузино-абхазского конфликта предложила формулу «общее государство», не принятую ни в Тбилиси, ни в Сухуми. И хотя блокада против Абхазии со стороны России была в 1999—2000 гг. подвергнута существенной ревизии, окончательно режим санкций против нее был свернут Москвой только в 2008 г., незадолго до «пятидневной войны» и признания де-факто двух государственных образований.

Впрочем, это же определение можно с неменьшим основанием отнести и к Южной Осетии. Политический курс Москвы по отношению к двум де-факто государствам определялся широким спектром проблем: внутривосточной ситуацией на российском Северном Кавказе, а также динамикой российско-грузинских, российско-американских отношений и международными контекстами. Лишь в августе 2008 г., после «пятидневной войны» с прямым вовлечением российских вооруженных сил в

противостояние с грузинской армией, было принято решение о признании двух бывших автономий Грузии.

Вторая из базовых позиций РФ — участие в урегулировании приднестровского конфликта. В отличие от Абхазии и Южной Осетии здесь позиция Москвы основывалась на признании Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) не как отдельного государственного образования, а лишь как стороны противостояния, а также на признании территориальной целостности и нейтралитета Республики Молдова и сохранении переговорного формата «5+2». В этом формате Молдова и Приднестровье — стороны конфликта, Россия и Украина — страны-гаранты, ОБСЕ — посредник, Евросоюз и США — наблюдатели.

Третья базовая позиция Российской Федерации — роль в разрешении нагорно-карабахского конфликта. На этом направлении Москва была в максимальной степени готова к интернационализации процесса мирного урегулирования. Российская Федерация наряду с США и Францией входила в состав Минской группы ОБСЕ. Президенты России, начиная с 2009 г. (саммит G-8 в Аквиле) совместно с главами других государств-посредников неизменно заявляли, что разделяют консенсус относительно так называемых «Базовых принципов» как основы для разрешения многолетнего противостояния. При этом Нагорно-Карабахская Республика (НКР) Москвой не признавалась. Более того, представители МИД РФ в ходе всех избирательных кампаний в этой непризнанной республике заявляли о ее непризнании и о поддержке территориальной целостности Азербайджана. Утратив с признанием Абхазии и Южной Осетии рычаги для влияния на внешнеполитический курс Грузии, российская власть стремилась балансировать между Ереваном и Баку. И в отличие от грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликта обе стороны, вовлеченные в нагорно-карабахское противостояние, были заинтересованы в российском посредничестве. Для Армении, участника интеграционных проектов с доминированием Российской Федерации (Организация договора о коллективной безопасности, ЕврАзЭС и Таможенный союз, к которому Ереван примкнул в сентябре 2013 года), посредничество Москвы было надежной гарантией невозобновления военных действий и рисков попытки реванша. Азербайджану же сотрудничество с Российской Федерацией позволяло обеспечить дистанцию от Запада, настроенного критически в отношении внутривосточной ситуации в республике (нарушения прав человека и авторитарного правления президента Ильхама Алиева).

При этом все непохожие позиции России по отношению к этнополитическим конфликтам объединяли следующие опасения:

- процесс возможного расширения НАТО на территорию бывшего СССР и попытки использования ресурсов Альянса руководством новых независимых государств для минимизации российского влияния;
- усиление кооперации между странами, вовлеченными в конфликт с Евросоюзом, без учета российских интересов в сфере безопасности.

Несмотря на имеющиеся различия в подходах к разрешению конфликтов, для Москвы постсоветское пространство рассматривалось как сфера особых жизненных интересов. Она была готова к кооперации с международными игроками там, где это не противоречило данным представлениям. Самая крупная после России страна СНГ Украина рассматривалась как «приоритетный партнер» на пространстве бывшего СССР и потенциально важный участник интеграционных проектов, инициируемых Москвой.

Крымский слом статус-кво: новые реалии и старые подходы

События революционного Майдана в Киеве, а также свержение власти Виктора Януковича кардинально изменили позицию Москвы по отношению к «приоритетному партнеру». Почувствовав опасения по поводу превращения «буферной Украины» в важного игрока на стороне США и их союзников (а также возможный пересмотр условий Харьковских соглашений 2010 г. по базированию российского Черноморского флота в Крыму, где сосредоточено до 80% всей флотской инфраструктуры), Россия пошла на слом существующего статус-кво. Это произошло путем присоединения Крыма к Российской Федерации (в ее составе появилось два новых субъекта) и нарушения Будапештского меморандума по статусу Украины и ее территориальной целостности. В случае с Крымским полуостровом Кремль не пошел по пути повторения абхазско-югоосетинского сценария (в статусе самопровозглашенного образования Крым просуществовал менее одной недели). И хотя в риторике Москвы присутствовала апелляция к защите «русского мира» (впервые после 1991 года внешнеполитический реализм стал дополняться национальным романтизмом), российское руководство неизменно акцентировало внимание на референдуме как основе решения об изменении статуса Крыма. В итоге был создан прецедент уже не просто признания бывших автономий в составе той или иной союзной республики, а их прямого включения в состав Российской Федерации. Внешнеполитические ставки были повышены, сделан новый шаг в сторону ревизионизма.

После изменения статуса Крыма началась эскалация конфликта на Юго-Востоке Украины (Донецкая и Луганская области), где в апреле 2014 г. были провозглашены две «народные» республики (ДНР и ЛНР). Несмотря на политическое вмешательство Российской Федерации и поддержку донбасских ополченцев, Москва воздержалась от официального признания этих двух самопровозглашенных образований. И даже от прямого признания результатов референдумов (11 мая 2014 г.) о статусе Донецкой и Луганской народных республик. В то же время, в феврале 2017 г. указом Президента РФ Владимира Путина были признаны документы и регистрационные знаки транспортных средств, «выданные гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Именно такой формулировкой эти территории обозначены в Минских соглашениях, нацеленных на урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе. Путинский указ стал своеобразным сигналом западным партнерам Москвы, что простого «ухода» из интересующего Россию региона не будет. Диалог возможен, и Москва продолжает увязывать его с Минскими соглашениями. Но если имплементация по-прежнему будет игрой в одни ворота и будет рассматриваться в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе как эксклюзивная обязанность России, позиция Кремля, не исключено, будет ужесточаться.

Как бы то ни было, а действия Москвы на украинском направлении вызвали общественно-политический подъем в Приднестровье и в Южной Осетии. Руководство этих де-факто образований, а также общественные структуры внутри них надеялись на повторение «крымского сценария». В ходе югоосетинских парламентских выборов (8 июня 2014 года) победу одержала партия «Единая Осетия», а ее лидер Анатолий Бибилов выиграл президентскую кампанию в апреле 2017 года. Команда нового югоосетинского президента последовательно выступала за реализацию проекта объединения республики с Северной Осетией под эгидой и в составе Российской

Федерации. Однако после своего президентского триумфа Бибилов подверг определенной ревизии свои подходы. Под занавес 2017 года он заявил, что, поскольку его республика — единственная, кто признал независимость двух донбасских образований, объединение с Россией в силу этих условий следует отложить. При этом сама необходимость вхождения в состав РФ не ставится под сомнение.

Несколько иная ситуация сложилась в Абхазии. В отличие от приднестровского и югоосетинского проектов, нацеленных на интеграцию с Россией, абхазское руководство по-прежнему сохраняет интерес к строительству собственного национального государства (другой вопрос, насколько подобные планы реализуемы). Однако в ходе внеочередных президентских выборов в Абхазии (24 августа 2014 г.), вызванных массовыми выступлениями оппозиции (27 мая) и отставкой прежнего главы республики Александра Анкваба, победу одержал Рауль Хаджимба, лидер «Форума народного единства Абхазии», выступающий за углубление военно-политической кооперации с Российской Федерацией и практически полное замораживание контактов с Грузией. В марте 2017 года его сторонники получили большинство в абхазском парламенте.

Ключевыми событиями в политической жизни Абхазии и Южной Осетии стало подписание договоров между этими республиками и Россией. Российско-абхазский Договор «О союзничестве и стратегическом партнерстве» был подписан 24 ноября 2014 года, а российско-югоосетинский «Договор о союзничестве и интеграции» — 18 марта 2015 года. И хотя оба документа зафиксировали растущее военно-политическое присутствие Москвы в двух частично признанных республиках, их нельзя назвать в полной мере новой вехой. Они формально закрепили тот расклад, который обозначился в августе 2008 года, когда Москва из статуса участника переговорного процесса перешла в разряд патрона и гаранта безопасности Абхазии и Южной Осетии.

Вместе с тем, наряду с общими чертами, эти два договора имеют свои особенности. В абхазском случае присутствовала следующая коллизия: противоречие между стремлением к осуществлению собственного национально-государственного проекта и растущей зависимостью от российской военной и финансовой помощи. Абхазская сторона стремилась подвергнуть документ ревизии с целью сохранения преференций для себя (например, россияне не обрели права на получение абхазского гражданства, из названия документа было исключено слово «интеграция»). Югоосетинская же сторона была, напротив, заинтересована в максимальной интеграции с Российской Федерацией вплоть до вхождения в ее состав (по примеру Крыма). Эти различия объясняются фундаментальным расхождением двух проектов. Как уже было сказано, если Абхазия стремится к сохранению своей государственности (при российских военно-политических гарантиях), то Южная Осетия рассматривает независимость не как самоцель, а как переходный этап к объединению с Северной Осетией под эгидой России.

В июле 2015 года югоосетинскими пограничниками (при поддержке России) была проведена установка новых пограничных знаков на линии Хурвалети — Орчосани, в результате чего кусок стратегически важного нефтепровода Баку — Супса оказался под контролем Цхинвали. В настоящее время пограничный пост Южной Осетии располагается всего в 450 метрах (!) от автомагистрали общекавказского значения, связывающей Азербайджан, Армению и Восточную Грузию с ее собственными черноморскими портами и Турцией. Однако Россия в то же время последовательно уклоняется от постановки вопроса об изменении нынешнего статуса Южной Осетии и о возможном пополнении государства путем присоединения нового субъекта.

Несмотря на регулярные инициативы о вхождении в состав (они выдвигались наиболее активно в 2016 году), прежний подход, основанный на де-юре признании независимости двух бывших автономий Грузинской ССР, продолжает работать.

Тем не менее, Москва не пошла по пути мультипликации крымского сценария. Ввиду резкого обострения отношений между Москвой и Киевом серьезно ухудшилось положение Приднестровья (не имеющего общей границы с Россией, но граничащего с Одесской областью Украины) в транспортно-логистическом, политическом и экономическом отношениях. В этой ситуации Российская Федерация опасается «разморозки» конфликта, включая и эвентуальную военную конфронтацию, и полную деградацию переговорного процесса, что заставило бы жестко реагировать, а значит, и подвергаться дополнительным рискам (от экономических санкций до вовлечения в вооруженное противоборство). В новых условиях Россия предполагает сохранять определенное пространство для маневра, ставя свои возможные действия в зависимость от вероятных шагов своих партнеров по формату «5+2». Так еще 20 октября 2014 г. глава МИД РФ Сергей Лавров на открытой лекции по внешнеполитическим вопросам заявил: «Если Молдова теряет свой суверенитет и поглощается другой страной или если Молдова меняет свой военно-политический статус на блоковый с нейтрального, то приднестровцы имеют полное право принять решение о своем будущем самостоятельно. И мы будем эту базовую позицию, с которой все согласились, с которой все началось, отстаивать».

При этом и Киев, и Кишинев предпринимают попытки «выдавить» Москву из мирного процесса как посредством дискредитации российской миротворческой операции, так и посредством создания барьеров для снабжения ОГРВ (объединенной группировки российских войск — наследницы 14-й армии) в Приднестровье. Молдавский Конституционный суд 4 мая 2017 года постановил признать Приднестровье оккупированной территорией, фактически игнорируя Соглашение от 21 июля 1992 года «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова». Мирное урегулирование, на которое четверть века назад соглашался и Кишинев, предполагало фактическое отчуждение части молдавского суверенитета над левым берегом Днестра (а также большей частью правобережных Бендер). В июле 1992 года в зону вооруженного конфликта были введены миротворцы. Для наблюдения за выполнением условий мира была создана Объединенная контрольная комиссия (ОКК) из представителей Молдовы, Российской Федерации и ПМР. При этом наиболее важные решения должны были приниматься на основе консенсуса.

Сегодня Кишинев, видя растущие проблемы в отношениях между Украиной и Российской Федерацией (а Приднестровье, напомню, граничит не с Россией, а имеет порядка 400 км границы на украинском направлении), готов к ужесточению своих позиций. В декабре 2017 года в фокусе информационного внимания оказался проект правительства Республики Молдова, посвященный путям и методам реинтеграции Приднестровья в общее политико-правовое пространство единой страны. Одним из центральных положений этого документа является идея об «интернационализации мирного урегулирования» и трансформации миротворческой операции в международный полицейский формат. Но даже в этом контексте до сих пор Москва не включает в повестку дня вопрос об официальном признании Приднестровья. Не ставится под сомнение и территориальная целостность Молдовы. Впрочем, нельзя сбрасывать со счетов выборы в парламент этой страны. Они состоятся в 2018 году. Поскольку Молдова — парламентская республика, исход именно этой кампании предопределил

основные политические расклады в ней, равно как и внешнеполитические приоритеты Кишинева на ближайшие годы.

Особая статья — Нагорный Карабах. В апреле 2016 года ситуация вдоль линии соприкосновения конфликтующих сторон резко обострилась. За 22 года с момента вступления в силу Соглашения о бессрочном прекращении огня (12 мая 1994 года) произошло самое крупное вооруженное столкновение с использованием танков, авиации и крупнокалиберной артиллерии. И хотя после четырех дней боестолкновений начальники генеральных штабов Армении и Азербайджана при посредничестве России подписали в Москве перемирие, напряженность в зоне конфликта сохраняется (режим прекращения огня нарушается постоянно), а ни один из статусных вопросов, как и проблема беженцев, по-прежнему не решены. И угроза повторения апрельских событий сохраняется. Не прекращаются и вооруженные инциденты меньшей интенсивности. Самыми опасными стали столкновения вдоль армяно-азербайджанской границы в декабре 2016 года, а также на линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе в феврале, мае, июне и октябре 2017 года.

Во многом это стало возможным из-за растущего противостояния России и стран Запада, которые в урегулировании именно этого конфликта многие годы успешно сотрудничали. Тем не менее, с начала украинского кризиса стали ощущаться стремления каждой из участниц Минской группы ОБСЕ к проведению собственной миротворческой деятельности. К таковым можно отнести выступление американского дипломата Джеймса Уорлика. Его «элементы урегулирования» были представлены как план правительства США в мае 2014 года. В этом же ряду — трехсторонняя встреча президентов РФ, Армении и Азербайджана в Сочи в августе, переговоры глав двух кавказских республик с госсекретарем Джоном Керри в рамках саммита НАТО в Ньюпорте в сентябре, а также встреча президентов Армении и Азербайджана при посредничестве французского президента Франсуа Олланда в ноябре 2014 года. Репутация Минской группы как некоего единого координационного посреднического центра серьезно пошатнулась, хотя никакого иного формата посредничества не предложено. Более того, посредники проявили солидарность и в период апрельской эскалации 2016 года, и после нее. Так 9 апреля они сделали заявление, в котором обозначили три основных элемента урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. В отличие от «обновленных Мадридских принципов», рассматриваемых в качестве фундаментальной основы мирного процесса, эти «апрельские тезисы» носят более общий характер и включают в себя «неиспользование силы, право народа на самоопределение и территориальную целостность». По оценкам сопредседателей, все эти три элемента обладают одинаковой приоритетностью¹.

Тем не менее, в конце 2015 года к факторам дополнительного риска для нагорно-карабахского конфликта добавилась российско-турецкая конфронтация. Сложность (и опасность) этой проблемы определяется прежде всего мощными взаимосвязями закавказских стран — участниц конфликта с Турцией и Российской Федерацией. И если для Баку Анкара — это стратегический союзник, осуществляющий взаимодействие по широкому спектру вопросов от энергетики до обороны и безопасности, то для Еревана — стратегический противник, закрывающий одну из четырех сухопутных границ — выходов Армении во внешний мир. Москва же, напротив, — важнейший военно-политический партнер Еревана (102-я база российских вооруженных сил

¹ Минская группа ОБСЕ заявила о трех принципах урегулирования карабахского конфликта // <http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/280576/> 9 апреля 2015 г.

расположена в Гюмри на армяно-турецкой границе). Улучшение отношений между Российской Федерацией и Турцией в июне 2016 года стало определенным дополнительным фактором удержания ситуации в Нагорном Карабахе от новой, более масштабной «разморозки».

Однако, несмотря на эти изменения и даже самую масштабную за 22 года военную конфронтацию в зоне конфликта, российское руководство принципиально не поменяло ни одного из своих прежних подходов к карабахскому урегулированию (статус НКР, роль Минской группы и участие в ней). Оно лишь сделало незначительную коррекцию, фактически выступив за дополнение переговорного формата трехсторонними встречами с участием лидера РФ. Впрочем, после встречи в Сочи в 2014 году эта идея не была последовательно реализована. Ее, скорее, можно рассматривать как некую декларацию о намерениях, которая, не исключено, еще получит продолжение.

В поисках адекватного реагирования

Таким образом, принципиальные изменения в российско-украинских отношениях, а также растущая конфронтация Российской Федерации и Запада не повлекли за собой тотального слома прежних подходов Москвы к постсоветским конфликтам. Эти подходы по-прежнему определяются не столько универсальными схемами, сколько индивидуальными позициями. Там, где Москва чувствует угрозу выгодному ей статус-кво (как это было в Абхазии и в Южной Осетии в 2008 или в Крыму в 2014 году), она играет на обострение и обращается к ревизионистским инструментам. Там же, где сохраняется надежда на удержание имеющегося сегодня статус-кво (случай с Приднестровьем, Нагорным Карабахом, Абхазией и Южной Осетией после 2008 года), Москва не спешит менять правила игры.

Так, в случае с приднестровским конфликтом Россия надеется на внутривнутриполитический раскол в молдавском истеблишменте, неэффективность проевропейской коалиции, наличие пророссийского электората как в республике в целом, так и в отдельных регионах страны (Гагаузская автономия), и поэтому лишь выражает обеспокоенность украинскими оборонительными приготовлениями на де-факто границе с непризнанным Приднестровьем и запретом Киева на военный транзит из Российской Федерации в непризнанную республику, но не пытается выйти из имеющегося переговорного формата или ускорить процедуру официального признания ПМР.

После ухода от власти Саакашвили Москва заинтересована в прагматизации отношений с Грузией (особенно по вопросам безопасности в северокавказском пограничье). Отсюда и нежелание форсировать ирредентистские¹ устремления югоосетинского руководства. Свой прежний курс на балансирование между Арменией и Азербайджаном Россия также поддерживает, опасаясь утраты влияния в обеих странах после случая с Грузией в 2008 году. При этом Баку может быть использован как возможная площадка для выстраивания прагматических отношений с Турцией.

Следовательно, доминирующей мотивацией Кремля является не некая идеологическая программа или всеобъемлющая геополитическая стратегия, а

¹ Ирредентизм — политика государства, партии или политического движения по объединению народа, нации, этноса в рамках единого государства.

реагирование на изменяющиеся обстоятельства (эрозию постсоветского пространства, проникновение новых игроков, опасение утратить свое влияние). Однако, как бы ни планировал Кремль свои диверсифицированные подходы, они объединены опасением утраты позиций на постсоветском пространстве, которое по-прежнему мыслится в качестве зоны жизненно важных интересов России. Но главными недостатками самой этой защиты являются дефицит стратегии и приоритет реактивных тактик в решении имеющихся или вновь возникших конфликтов.

На сегодняшний день самыми опасными с военной точки зрения являются конфликты в Донбассе и в зоне нагорно-карабахского конфликта (к ней примыкает и армяно-азербайджанская госграница за пределами Карабаха). На этих направлениях России и Западу крайне важно продемонстрировать готовность к солидарной ответственной деятельности как по минимизации инцидентов на линии соприкосновения, так и по активизации мирного процесса. И в этом плане был бы крайне важен некий символический жест, демонстрирующий готовность представителей России и Запада к продолжению усилий по поиску мирного решения. Но если по Карабаху кооперация продолжается несмотря ни на что, то по Донбассу Москва и Вашингтон расходятся диаметрально. В контексте решений о передаче вооружений Киеву (даже если их эффективность не будет столь высока, как уверяет украинская сторона) сближение позиций выглядит практически нереальным. При таких обстоятельствах «заморозка» конфликта выглядит едва ли не как идеальный выход, хотя и тактический по сути.

В описанных выше условиях чрезвычайно важной задачей представляется недопущение критического обвала двусторонних российско-грузинских отношений. Базовым приоритетом текущего момента представляется сохранение Женевских дискуссий как канала взаимодействия между участниками неразрешенных конфликтов и всеми игроками, вовлеченными в мирный процесс.

Для приднестровского противостояния необходима активизация переговорного процесса и в формате «5+2» и в двусторонних отношениях (Москва—Кишинев, Москва—Тирасполь, Москва—Брюссель). При этом помимо статусных вопросов крайне важно сосредоточиться на гуманитарных аспектах во взаимоотношениях между двумя берегами Днестра.

Однако в сегодняшних условиях прогресс в урегулировании всех этнополитических конфликтов невозможен без учета украинского фактора. Кризис на Украине обнажил не только проблемы постсоветского пространства, но и уязвимость европейской и международной безопасности. Стало очевидно, что конфронтация Запада и России и продолжение «игры с нулевой суммой» ведут к усугублению нестабильности на постсоветском пространстве. В этой ситуации Западу и России крайне важно выйти из состояния «заложников» конфликта на Украине, перейдя к содержательной дискуссии как по положению дел в этой стране, так и по другим неурегулированным противостояниям. Без этого любой постсоветский конфликт обречен на подвешенное состояние, при котором стороны, вовлеченные в него, будут наблюдать за балансом сил в противостоянии Запада и России, а не стремиться к достижению компромиссов. Решение этой задачи не может отменить даже нынешняя конфронтация, которую все чаще называют «холодной войной-2».

Василий Крюков

Путь слова

Дом

Мы давно хотели дом в деревне купить. Пусть худой, старенький, денег бы наших только хватило. Чтобы и руками что-то поделать, и чтобы дети городские по травке побегали. Однажды мы вычитали где-то в сети, что в Вологодской области дом дешево продается, в суете какой-то с хозяином по телефону поговорили, сорвались, приехали, а из первой же избы вышли пьяные люди и говорят нам: «Мы вас-то знаем, уходите отсюда!» Мы отвечаем им: «Да откуда же вы нас знаете, вы нас с кем-то спутали». — «Нет, — говорят, — не спутали, давайте, проваливайтесь...»

Ну, мы постояли, постояли, а потом развернулись и назад через поле осеннее побрели к неизвестному автобусу, обидно было, да еще супруга моя на сносях, с животом огромным. Это так нам дом в деревне купить не терпелось. И однажды отправился я на север уже Тверской области. В интернете сразу два дома нашел в одном районе, созвонился с молодым риелтором местным и поехал.

Первый домишко задней частью своей в землю совсем ушел, так, с фасада — вроде дом стоит, но если сбоку его обойти, тогда понятно, насколько он в землю ушел. Русская печь накренилась. Вида с боку в интернете не было. Ну и ничего, ведь деревня, деревня — это еще важнее, чем дом, а деревня-то живая. Гусарево. Домов мало, жители к нам вышли, стали что-то рассказывать, деревеньку свою нахваливать. Красиво, холмисто, и деревья старые, и поля, и озеро сильно заросшее, большое — в несколько километров, и все оно в протоках реки Мологи, все в птичьих криках. Соседняя деревня — Бежицы, с церковкой, это древний, исторический центр всего района...

Я уже думаю, ну как хорошо, а просевший дом и подвесить можно, и вывесить, и перебрать, но тут выясняется, что хозяин дома прячется. Узнал, что у риелторов цена в десять раз выше, чем его собственная, и телефон свой отключил, уже не первый день на связь не выходит, перепугался, мало ли что, или запил не по телефонному, или просто решил не связываться.

Жалко, но делать нечего, и поехали мы в другую местность еще один дом смотреть, и тоже ничего из этого не вышло. Мне деревня совсем не понравилась. Важно ведь, чтобы место было местом, чтобы тебе хотелось именно здесь обосноваться, опять сюда вернуться и т.д.

Голые поля, обломки бетонных коровников, вдоль светлой, как мука, дороги в два ряда ровно тянутся похожие дома, ровные огороды, первый дом — председателя, на доме спутниковая антенна, рядом с домом «волга» черная стоит, а соседний дом тот, что продается. И цена высокая, и не впишемся мы сюда, не потянем мы такие мощные и ровные гряды, и борщевик везде вокруг, в общем, распрощался я с риелторами и отправился ни с чем восвояси, уставший, поникший и расстроенный.

Да, думаю, раз нет на то Божией воли, значит так и надо жить в городе, ни о какой деревне не мечтать. Туманный сентябрьский день приближался к концу. Километров двадцать я от Бежецка отъехал, вокруг струился холмистый покой, и вдоль дороги деревеньки попадались. Женщины стояли рядом со своими домами, продавали бруснику, яблоки и картошку.

Дом не купил, брусницы немножко детям куплю. Останавливаюсь, покупаю бруснику и лишь немного с людьми разговорился, а мне и подсказывают, есть дом. Тут от трассы километров пять, на горе, и церковка там есть старая. Когда цену мне назвали, я невольно ответил: «А чего же дешево-то так? Документы не в порядке, что ли?» — «Да все в порядке, просто не нужен дом стал хозяевам. Деревня называется Лозьево».

Поехали мы дом смотреть. Дорога в гору. На высотной доминанте стройный храм в коротком вечернем солнце. Руина храма так изящна, так еще крепка, и крест есть над руиной.

Храм Никиты Мученика был построен в самом начале XIX века, Никиты Мученика центральный алтарь, а приделы Образа Матери Божией Знамение и Илии пророка. С горы в остывающем медленно воздухе красота зыбко трепещет на десятки километров.

Продающийся дом пять лет пустой простоял, окно одно разбито, крыльцо уехало, угол подвешивать надо, но в целом крепкий дом, бурьяны вокруг выкосить, все и оживет. Восточные окна выходят прямо на храм, и солнце на храме.

Печь живая еще, «металлисты», конечно, покорежили слегка, вырвали плиту, дверцы да колосники выломали, но подлепить, все вставить можно, печь растопить, послушать треск поленьев, это однажды становится тем, ради чего и стоит жить. Вспомнить про огонь. Протянуть к нему руку...

Проводка вся обрезана... но мне вокруг как-то все больше нравилось, проводка — это дело поправимое. Какой, зато, обломок жернова в траве! Такой руками не покрутишь, тут лошадь нужна, а может быть поблизости стоял большой ветряк. Проблем здесь с ветром нет. Заросшая и полупустая деревня в облаках летит, или это просто небо очень большим здесь кажется. Деревня. Зимовали в этом году три дома.

В середине XIX века село Лозьево было в триста домов, тогда даже трапезную в Никитском храме увеличивали. В начале XX века это еще большое село на 150 дворов, но постепенно остается 70, 30, сегодня мы насчитали 15 изб, сильно разбросанных одна от другой. В трех зимуют, две пустуют, в остальных — дачники жизнь поддерживают. Во всем пожары виноваты. Пожары времени. Пожары места. Здесь место огнеопасное. Травы на ветру сохнут рано. Здесь подобие хутора, один от другого метров за двести, а то и за пятьсот живет.

Вековые осокори, липы, ничейные яблони, торчащие черные ребра обрешетки какого-то мертвого дома, и все это рыжевато-седым быльем плотно заросло. Люди здесь добрые, гостеприимные. На первых порах мне как новожилу всячески помогали. И с каждым годом я все больше узнавал, осознавал, как здесь свободно, пустынно. Просторно. Ветрено. Здесь птиц разных много. В конце западного склона есть озерцо, осенью вокруг него ночуют журавли, а весной токуют бекасы, издавая незнакомое горожанину протяжное блеяние. Августовскими ночами молодые кулички с немецкими именами спят стайками прямо на проселочной дороге. В лесу легко поднимешь тетерева, в поле — куропатку. Журавли перед ночевкой кричат громко, на километры простреливает пронзительный минор. А как токуют дикие лесные голуби, крупные, сильные вяхири! Они наполняют весенний воздух нежными гортанными голосами и в характерном параболическом полете исполняют кувырок с хлопком крыльев. Ласточки живут в каждом доме.

Осенью мы с Саввой на автобусе сюда приехали, прошлись полями-перелесками пять километров в горку, ему лет десять, одиннадцать было. У него каникулы осенние,

интересно ему все: сад в полный рост заросший, на чердаке двора сена старого несколько тонн, в доме мусора всякого море, и сколько диковинных коромысел, хомутов, ухватов, клубков грубых ниток и обломков ткацких станков.

Храм величественный и изящный, колонны разных ордеров на каждом следующем ярусе колокольни. Высокое строение в классическом стиле с элементами барокко невольно отстраняется от серых сараев, крытых замшелой дранкой, отплывает от черных изб, крытых и толем, и старым шифером, и с порывом ветра летит над деревней.

Остаток свода над трапезной рухнул этой зимой, но сама церковь крепкая, стены толстенные, окна вставить, полы настелить и служить во славу Божию. Колокольня еще доступна для реставрации. Только бы крышу прикрыть, уже жизнь и потечет, а там, глядишь, и шпиль с крестом найдется. Глядишь...

В соседнем селе Константинове отличная церковь стоит пятиглавая, закрытая, сухая, открывай да служи. Так закрытая и стоит, ждет своего открывателя. А соседнее то село, по сравнению с Лозьевым, многолюдное, там уже и железная дорога, и школа недалеко. В Бежецкой епархии сегодня священников совсем мало. Святых мест гораздо больше...

Я печь весь день правил, но и к поздней ночи в ней еще дырки оставались, ну что ж, говорю, сынок, пошли на сеновал спать. Холодно, но все ж заснули, просыпаемся, а вокруг белым-бело. Снег первый выпал. Белый, как лен ангелов. К обеду дымок из трубы пошел.

Мальчишка чувствует весь простор здешний, носится и кувыркается в высоких зарослях сухой травы, украшенной первым снежком. А сколько было радости, когда среди каких-то тряпок мы нашли пробку электрическую, смастерили времянку, и в доме лампочка загорелась.

Акты, найденные в архиве московского Богоявленского монастыря свидетельствуют, что в 1511 году и эта гора, и селище на горе было вкладом Василия Третьего и собственностью московского Богоявленского монастыря.

В 1937 году в нашем храме отслужил свою последнюю литургию иеромонах Софроний Харитонович Несмеянов, преподобномученик.

Он из донских казаков был, от властей, от обновленцев притеснения терпел. И во многих храмах служил священником, и монашескую мантию носил ту, что есть радушное снесение клеветы и напраслины. Прямой человек был, прямо к Богу направлялся. Здесь, на горе, односельчанам в 37 году всю правду о себе, о жизни рассказывал, и его предали. Он путем Христовым прошел. Теперь и гора, и прекраснейшая руина изящного храма, и крест на этой руине — все это теперь под сенью молитв преподобного существует.

Нигде не могу пока найти фотографий святого Софрония, а они, скорее всего, должны быть, когда его мучили и расстреляли, ему было 67 лет.

Возле храма старое кладбище, в проходах между могилами, в кустарнике, всюду видны наклоненные, выветренные головы могильных камней другой эпохи, вот чья-то эпитафия под углом уходит под землю, уходит своим текстом про землю благословенную, вот чей-то отполированный камень 1830 года...

Надо испросить благословение, знающих людей поспрашивать, как поклонный крест вырезать, поставить. Пусть небольшой, но вырезать, с планками в форме крыши, стройный, строгий. Валуны скатить, водрузить с молитвой. И какие именно слова должны быть на этом кресте.

Преподобне отче Софроние, моли Бога о нас грешных. Памятуют преподобномученика 3 ноября, молебен бы у креста хоть иногда служить, тогда и руину храма язык не поднимется руиной называть, когда поблизости стоять будет свежий поклонный крест.

Прудик святой надо откопать. Старожилы показывают поросшую ивовой лозой низину за черненькой банькой. Здесь пруд был, святой назывался, в нем купаться никому не разрешали. Крестили, служили молебны водосвятные. Надо бы лопатой копнуть, вдруг жилка откроется. В разгар советских времен к пруду этому были не равнодушны многочисленные трактора и бульдозеры. Сейчас все сильно заросло кустарником, лишь небольшая лужица собирается под ивовым кустом.

Человек в небо посмотрел и увидал звезду, когда в пустой деревне дом купил, а оказалось, здесь святое место...

Аистов надо привлечь, макушку сухому тополю убрать, колесо тележное туда приладить, а к колесу веток крупных веревками навязать, чтобы на основу гнезда все походило. В соседней деревеньке аисты-то есть. Была бы только воля Божия.

Савва

Загородный дом, яблоневый сад. Беременная женщина вешает светлое белье в саду на фоне темного дома. Повсюду много яблок, и на деревьях и на земле, август, яблочный год. Женщина не торопится, поглядывает на яблоки, на небо, вслушивается в голос какой-то птички, собирающейся в дальний путь. Женщина на последнем месяце беременности, и все уже ей дается с трудом, взгляд глаз ее тревожен, она ждет чего-то. Она кричит, иногда слегка вскрикивает: ой! Хватается за живот, уносит пустой бельевой таз в дом.

Савва смотрит на маму из открытого окна, потом опять в свою книгу, продолжает что-то читать, потом поднимает глаза, смотрит на икону Божией Матери с Младенцем. На голубом фоне — Мария в вишневых ризах, Спаситель в охристом хитоне. Краски мягкие, скромные, золота на иконе нет. Глаза Марии ни на кого не смотрят, они всматриваются куда-то в глубину собственной святой души.

Лучи света на полу в гостиной. Полупустое, свободное пространство интерьера. Одинокая мебель, несколько картин и икон на однотонных стенах. Беременная женщина у стены гладит утюгом, оставляет утюг и выходит на середину комнаты. Огромный живот освещен падающим из окна светом. Лицо ее взволнованно, она зовет Савву: «Савва, Савва, иди, потрогай, как твой братик разыгрался!»

Он слегка поддерживает руками живот, чувствует, как с той стороны живота кто-то дергает ручкой или ножкой, отводит взгляд от мамы и смотрит на икону на стене. Младенец лицом Своим касается щеки Матери.

Савва играет на компьютере или переписывается с друзьями «в контакте», временами он отворачивается от монитора и заглядывает сквозь коридор на кухню. Там взволнованный отец названивает по телефону. У него из рук падают какие-то вещи, какие-то книги, он бесцельно бродит по комнатам, звонит в роддом, а никто не подходит к телефону.

Ночью мы узнали, что родился Нил. Мы долго не ложились спать, а когда легли, Савва слышал, что отец не спит, и сам не мог заснуть. Уже светало, по стенам стали проявляться первые тени утра, он встал, подошел к окну, смотрит: отец сидит на корточках, прислонившись к столбу крыльца спиной, курит.

Отец сказал ему, что не переживал так сильно, когда они с Варей рождались, он сказал, что чем старше становишься, тем больше за рождение детей переживаешь.

Дождь, мокрые стены серых высоких домов. Обширный мокрый двор многоэтажного родильного дома. Две-три красно-белые машины скорой помощи. Две маленькие фигурки под зонтами. Они стоят уже несколько минут, жестикулируют, размахивают своими зонтами. Все их внимание приковано к единственному окну на пятом этаже. Там мама держит Нила на руках. Издалека сквозь дождь виден лишь силуэт матери с младенцем.

Дождь, Савва читает книгу, смотрит в мокрый сад, а потом на икону на стене, икона ему кажется темной, он ничего не видит, встает, подходит поближе к иконе и рассматривает Божию Матерь с Младенцем.

Выписка из роддома. Цветы. Белая стена и новая дверь с блестящей ручкой. Дверь открывается, и мама вся в слезах, мама плачет от радости, говорит сквозь слезы: «Вот и мы!»

Лицо Нила. Нила так запеленали, что видны одни глаза. Нил ни на кого не смотрит, он пока еще смотреть умеет только внутрь.

Все пытаются хоть краешком глаза заглянуть в сверток с ребенком. Бабушка говорит: «Красавец!»

Цветы, поздравления, хлопают двери машин, все едут домой.

Августовский вечер, в саду — тихий семейный праздник, стол, снедь, бутылки с вином, светлая скатерть, дымок маленького костерка.

Всё это Савва видит из окна, поворачивается, а прямо перед ним — образ Мадонны с Младенцем, Нил сосет грудь, лицо мамы в красных пятнах, но глаза ее, глаза спокойны, счастливы, этого счастья у нее не отнять, это видно по ее взгляду, и смотрит она куда-то в глубину своей души...

Нил и Нил

О Ниле Сорском я узнал из его маленькой «книжки», и эта маленькая «книжка про скитскую жизнь» меня так удивила своей краткостью, что я подумал, вот если даст Бог мне второго сына, я его Нилом назову. И сын у меня родился. И мама еще до его рождения знала, что он Нилом будет, имя ей нравилось. Она тихо плакала от волнения, когда я забирал их из роддома. Новорожденные, как известно, по сторонам не смотрят, они и головкой-то особо не вертят, да и слышат они что-то отличное от нашего. Нил только грудь сосал и спал, глаза его были темнее и синее, нежели сейчас, и смотрели они в первые после рождения дни куда-то скорее внутрь, нежели наружу...

Отец сей дивный Сорский Нил родился в XV веке. Рода он был боярского, образование получил хорошее, уже в юности он занимался переписыванием книг. Он получил имя свое в честь Нила Синайского. Через Нила Синайского до нас дошло духовное толкование самой первой заповеди, данной Богом Адаму еще в раю. Адам должен был райский сад возделывать и хранить. Сад райской благодати трактовался Нилом Синайским как молитвенная радость, как свет созерцания, а возделывание и хранение как труд молитвенный, как умное делание. Делание есть восхождение к созерцанию, как сказал Григорий Богослов. Отец сей чудный Сорский Нил учил нас в сердце Бога тайно *пети*. Тайно и всегда. А сам он научился у Господа, Апостолов и предшествующих Отцов. В первую очередь, конечно, он учил «тех, кто его же нрава», потом и всех остальных.

Его «Устав о жизни в скиту», «Предание о жизни скитской» зовут человека проникнуть внутрь сознания. Нил проникает до самой глубины душевной и показывает в деталях весь процесс очищения помысла, достижения просветления и чистоты сердечной. К себе в скит он брал только тех, кто понимает, о чем он говорит и пишет, тех, кто видел свет созерцания или хотел увидеть больше всего на свете...

Нилку мы крестили в Ферапонтове. В деревянной церкви Нила Сорского, срубленной недавно, недалеко от стены монастыря. Церковь свежая, светлая, светло-соломенная, Нил розовый, масляный, завернут в белую ткань...

Раньше я ничего о Ниле Сорском не знал. Но коль северная наша Фиваида есть ожерелье, рассыпанное среди озер, лесов, рек и речушек, то на Вологодчине сразу четыре маргарита закатились в одно место: Кирилло-Белозерский монастырь, Ферапонтов монастырь, Горицкий девичий монастырь и Нило-Сорская пустынь —

четыре разных обители в шестистах километрах к северу от столицы. Три жемчужины сияют воочию, наглядно, но вот последняя, она излучает свет таинственный, потому что там, у Нила Сорского, сумасшедший дом. Необычное лечебное заведение, психоневрологический изолятор, убогий и нелепый, мирским людям маловходный, и мощи святого таятся под спудом этого дома странных мира сего. Из соседнего Ферапонтова всего 20 минут на машине, но когда вы сюда попадаете, создается впечатление, что от цивилизованного мира вас отделяют сотни миль.

Когда Нил пришел на Сорку, здесь была неприглядная болотистая низина посреди еловых дебрей. Верст пятнадцать от «мирской чади» и шума каменного строительства в соседних монастырях. Несколько человек, близких по нраву, присоединились к нему. Селиться можно было по одному, друг от друга «на вержение камня», так, чтобы не было слышно, если брат, например, поет или молится, или громко плачет. Вместе они натаскали земли на сухое место и построили маленькую церковку, освятили ее во имя Сретения Господня. Подельем в Ските Нила Сорского было переписывание книг.

Если мы посмотрим на Нила Сорского как на филолога, посвятившего жизнь собиранию, переписке, изучению духовных книг, сверке параллельных текстов, то схожий труд увидится нам в XVIII веке у Паисия Величковского, а в XX — у Феофана Затворника, авторов-собрателей «Добротолюбия» славянского и русского соответственно. Но если «Добротолюбие» — сборник многотомный, то Нилов устав удивительно краток, и хлеб фиваидский — пища твердая.

Мы оказались здесь с друзьями, нас было четверо. Монастырская каменная застройка — низкая, формальная какая-то, усугубляющая характер болотистой низины. Вдоль обшарпанно-белой монастырской стены дорога, черная от угольной крошки, и как часовой на воротах, парень стоит в спортивной одежде. Ворота приоткрыты. По другую сторону дороги — домик, но не жилой, общественный, и в нем нас встречает крепкая женщина — начальник и комендант. Осень была уже в расцвете, кукушки и многие другие птицы улетели, многие, но не все.

«Нет, — сказала нам эта женщина, — внутрь вам нельзя, у нас тут специальное учреждение, вы что? Вот, можете на скит сходить».

Ну и пошли мы на скит, парень-часовой нас и проводил, нормальный, в общем-то, парень, у него просто сопля большая из носа висела, а когда он ее убрал, вообще все на место встало. Он о себе рассказал, о том, что вокруг происходит. Он после детского дома сюда попал, сюда его, значит, «распределили». И по всей вероятности, пожизненно. Жилья не дали.

А на воротах монастырских проводник наш стоял, так сказать, на шухере, потому что возле монастырской стены деревенька, и если начальство какое приезжает, то всех пациентов нынешней Ниловой пустыни быстренько обратно загоняют, по местам расставляют, а если тихо всё, то выходить некоторым можно, по деревеньке погулять, на велосипеде прокатиться, ведь постоянно за стеной — тяжело. Так что и деревенька там не простая. Убогих тут человек двести. Разные люди с разными историями, кто приبلудный, кто эпилептик, от кого родители отказались. Ну и местные. Раз в неделю молодое хулиганье так напивается, что из Кириллова полиция приезжает. Вот такая лечебница. Суровая пустыня...

Пока мы шли к скиту, проходили какой-то гараж, в нем дед и подростков бритоголовых десятков, у деда, как на рекламе «голуаз», все лицо синим раскрашено, один подросток вышел к нам на дорогу, спрашивает: «Вы откуда?»

— Мы из Москвы.

— А как про нас узнали?

За деревню метров двести — и плотная стена елового леса, возле самого леса большой свежий крест. Рядом маленький прудик, прямо лужица, только глубокая. Нил своими руками выкопал. Я почерпнул воды, выпил. Провожатый наш достал сигарету,

закурил. И вдруг наступило умиротворение, настоящее умиротворение, все поняли, куда, зачем ехали и шли, и что пришли наконец, поняли...

Нилок больше всех любит старшего брата Савву. Они с ним в какую-то одну нишу детства попадают. Только начал говорить, все Фава да Фава, а где Фава? Савва с ним возится, борется, кувыркается до пота, настоящий друг. Савва Нила драться научил, Савва Нила кидаться вещами научил, все родительские шишки, понятное дело, Савве достаются. В общем, куда Савва, туда и Нил, а если Савва один пошел, то Нил — реветь...

Иван Грозный увидел «убогость» пустыни уже через 60 лет после преставления Нила и задумал каменный храм здесь возвести. Нил явился царю во сне и запретил, и царь послушался. Все постройки оставались деревянными до первой трети XIX века. Рядом с поздней каменной монастырской постройкой Ниловой пустыни, в лесу два деревянных скита было. Успенский и Предтеченский, последний сгорел здесь в прошлом веке, сейчас только свежий крест и прудик, пятьсот лет назад выкопанный. Вот и весь скит. Дионисий с сыновьями расписывали храм в соседнем Ферапонтове как раз тогда, когда поблизости Нил подвизался. Историкам пока не удалось документально подтвердить факт их встречи, но не будем исключать той возможности повидаться с чудесным старцем, которая была у художника. И видел ли Нил свежие фрески?

На сайте вологодской епархии я узнал, что изредка, когда автобус с паломниками приезжает издалека и если среди паломников находится священник, женщина-комендант может разрешить паломникам попасть внутрь «изолятора» и отслужить там молебен. Разрушенная церковь перестроена под столовую, здесь убирают столы, моют пол, вешают на стену икону Нила. При виде священника многие «пациенты» подходят под благословение. Паломники перестают обращать внимание на внешнее, лишь только начинается молебен, так сильно чувствуется Нилово благодатное присутствие.

В словах Марка Подвижника скрыта тайна, слова эти такие: самоуничижение есть место внутреннего покоя. Нил эту тайну знал. Он сам обрел покой души в смирении и говорил об этом остальным. Он говорил о скромности во всем, о том, что церковные сосуды и облачения должны быть самыми простыми, что не стоит наживаться за счет чужого труда, что нет добра в том, чтобы всем человекам угождать, и не забудем, как он спасал еретиков в огненное время. Нил Сорский говорил, что будет стараться, чтобы имя его не прославлялось в миру как при жизни, так и по смерти. Это нам как пример смирения, а впечатление складывается, что мы буквально все воспринимаем. Лукавому хочется накрыть учение Нила колпаком, но Господь прославляет его, чтобы мы увидели свет его.

Нил помогает томящимся здесь отверженным. Государство не возьмется распутать клубок столь разнообразных недугов, устроить каждому сухую палату, простую заботу, и Нил помогает калекам да обманутым. Болезни их душ и тел самые разные, но что их здесь объединяет, в этой болотистой низине? То, что многим из них уже никогда не вписаться в наш мир. В нашем мире только они и достойны этого святого места. Они, наверное, ни воровать, ни лгать, ни деньги откатывать, ни на других людях наживаться не умеют, умалишенные. И вот здесь рождается чудо об умалишенных. Потому что а нас-то мы как назовем? Нет, нам не скрыться за тем, что «умное делание» в истории часто переживало как подъем, так и падения, и на Синае, и на Афоне, и в Ниловой пустыни было это. А потом ситуация менялась, и пустынь вновь сияла подвижниками. Но наше время с каким знаком в эту историю войдет? А что, если там среди этих двухсот «закрытых» есть хоть один, кто по смирению носит маску юродства Христа ради? И даже без всяких предположений, говоря самым простым языком, мы находим во всем этом пример любви. Сострадание к этим «заключенным» в итоге перевешивает все остальные умозаключения...

Святые знают друг друга. Любят друг друга. Святой может через много лет опять прийти, как с Исааком Сириянином случилось. Он полторы тысячи лет назад жил.

Одна его книга на славянском языке давно была у нас читаема, а другие на персидском, на арабском, ну никак не переводились, и вот вдруг в XX веке — пожалуйста. Нил знал Исаака Ниневийского. Святые друг о друге вспоминают. Один про другого может многое порассказать. Спросим Игнатия Брянчанинова, он о Василии Поляномерульском расскажет, спросим Василия, он нас к Нилу пригласит, Нил укажет на ранних святых Отцов греческих, африканских, палестинских пустынников, но все они нам возгласят, что если мы любовь разыскиваем, то искать ее надо у самих учеников Христовых, у Апостолов.

Сорская пустынь при Ниле была скитом-скрипторием и книжным детелищем. Сам же Нил очистил себя до прозрачности, чтобы нам было легко увидеть смысл христианской традиции. Он сохранил ее в чистоте, передал ее последующим поколениям, и в этом море веры, в этой прозрачности видна несказанная глубина его любви.

А Нилка вчера расшалился так, что засунул в нос железный шарик. Диаметром аккурат в ноздрю. И вытащить его, естественно, не может. Шарик застрял в носу. Сначала Нил плакал, капризничал, но быстро понял, что ситуация какая-то необычная, что ни мама, ни папа помочь ему ничем не могут, может только он сам. А для этого ему из всех сил надо «дуть» носом. А он никогда специально носом не дул, поначалу ничего и не выходило у него, и он все срывался в слезы. Потом понял, стал дуть, почувствовал, что надо делать, чтобы шарик вытолкнуть, но силенок у него не хватило, и он опять расплакался, на этот раз от обиды, что ничего не удалось. Я уж думал, придется везти его в Филатовскую. Но он в третий раз приступил, и я даже удивился ему — столько в нем было решимости и силы. «Дуй! дуй!» — кричали все вокруг. Он поднатужился — и выдул шарик из носа. Победил его. А я смотрел и думал: как, с одной стороны, близко, а с другой — далеко от Нила до Нила. Много раз ему еще побеждать себя. Целую жизнь.

Я слабый исследователь и прошу молитв у Нила преподобного. Сыну моему младшему уже четвертый год, он не слушается, озорничает, а мне нужно научить ребенка читать, любить слово, ведь жизнь и смерть во власти языка, и любящие его вкусят от его плодов. Мне нужно научить его разбираться в написанном, исследовать прочитанное чувством сердечным, а когда он вырастет и поумнеет и если Бог ему поможет, то он поймет, что *словеса Господня чиста, яко сребро разжежено и очищено седмерицею, и заповеди Его светлы и возжеленны паче злата и камня честна, и услаждают паче меда и сота, и хранят я, и внемлют сохраняют я, воспримут воздаяния многа...*

Журавли во льне

Я крою задний скат крыши скотного двора толем, отбил большой палец на левой руке, на эту желто-серую посыпку, которой посыпан толь, у меня аллергия, но между ударами молотка иногда высоко в небе я слышу голос редкого кулика, не чибиса, не зуйка и не кроншнепа. С горы мне виден Бежецк, в синей дымке — малюсенькая заводская труба, километров пятнадцать от меня — пыльный городок, где на въезде — тюрьма, из которой двое сбежали недавно.

В городке есть детские приюты, и в главном соборе — икона Божией Матери Сиротской. Есть в том храме и другая Богородица, на Толгскую похожая. Не Толгская, просто похожая. Пресвятая Богородица. Пресветлая. Висит эта большая темная икона в том углу, где лавка церковная, чан блестящий с пластиковым стаканчиком, ведра для уборки собора и стол со свечными огарками, но Глаза... и остаются, и теряются, и хочется опять в Них робко заглянуть, и всякий раз...

Рядом со мной сено и дрова, ласточки и журавли. Даже альпийская ворона с красным изогнутым клювом. Откуда на тверском севере альпийская ворона? Богу всё

возможно. Иссиня-черная, она чуть меньше серой вороны, много грациозней, она быстрее серой вороны. Она успевает раскопать муравейник в песке под молодой сосной, проглотить множество муравьиных яиц, перелететь к другой молодой сосне, копнуть там другой муравейник и, характерно каркнув, улететь прочь, проделав всё это за какое-то мгновение.

Сено, дрова, ржавая кровельная жесь. Смотрю с крыши, одну красоту вижу. Суровая, тихая красота пустой деревни. Ольховая оранжевая поленница, бурая прошлогодняя скирда. Жесь видится уже потом, позже, когда человек освоится, когда сможет как-то осмыслить, понести.

В начале апреля напал на Иру бешеный барсук, я его вилами да обухом взял, пока с вилами подлетел, Ира кричала, а Нил плакал у нее на руках. Хорошо, холодно было, валенки помогли, мы только приехали, снегу нет, Ира замерзла, в валенках по весенней земле ходила. Ну он валенок-то прокусить и не смог, так только вцепился и давай теребить...

Бабу Маню зарезали. Добрая-то, добрая, да только одновременно и корову продала и пенсию получила. Парня соседского в «рулонник» затащило. Учительницу завалило бревнами с лесовоза. Как бабушке грустно станет, как долгий плач ее послушаешь, суровая жизнь.

Недавно пастух молодой, совершенно пьяный, по центру скоростной автомагистрали ночью на велосипеде ехал, по сплошной белой линии. В свою деревню возвращался тихим зигзагом в последний раз...

Такой увидел я вчера деревню. Стоит крепкая русская женщина в резиновых сапогах, в спортивных полинявших штанах, она у калитки своей стоит, выпила с мужиками рюмку, ну и что, сейчас только обед, ей еще два раза корову доить, да бычок еще, внучата, огород еще, она своё отпотеет. Вдруг иномарка старенькая появляется, выходят два худеньких человека, не местные, один выкрикивает: «Слава Господу!» Другой достает синенькие книжечки. Евангелие. Тот, что выкрикнул, берет у другого книжечку, подходит и говорит деревенской женщине: «У нас есть подарок для вас!»

«Я сейчас тебе покажу подарок», — отвечает она быстро, негромко.

Человек отворачивается от нее, выкрикивает, поднимая руки: «Слава Господу!» Пospешно направляется к другому двору, шагами большими, какими ходят на той планете, откуда он прибыл в восторге первых веков. Космодромы за океаном, говорят, много...

Расскажешь трактористу про репрессии, про новомученников российских, и видишь, что не понимает его как-то особо, а потом понимаешь, да его этой жостью 1937 года и не проймет, как тебя. У него тут своя, свежая.

Простая, проще уж некуда, без всякой политики, но если осмыслить верно, от матерной грубости здешней, от всей суровости этой молиться внимательнее станешь, внутрь себя отвернешься. Отвернешься легче, нежели от прекрасной картины. Задумаешься, зачем отцы искали суровую пустыню. Внутрь себя еще внимательнее посмотришь. Здесь, в деревне вранья-то поменьше, чем в городе. От суровости и лицемерие бежит...

Говорю о том, что вокруг меня, пытаюсь обозначить на полотне пустынного раздолья цветные точные акценты, но и это не путь, ведь главное то, что внутри. Хочется внутрь посмотреть, да не может. Все обрывается на фразе, на нескольких фразах. Деланье плачевное. Открой глаза мне, Господи.

Самое большое событие этого лета — святитель Игнатий Брянчанинов. Я что-то рубил, косил, клинья какие-то подбивал, лишь к августу взялся за двухтомник «Аскетических опытов». Пошел по верному пути. Слово за словом. От книги может произойти чудо, вера может стать чуть-чуть крепче, но это чуть-чуть — дорого, если мерить горчичным зерном.

Святой Игнатий шел к Нилу Сорскому, Исааку Сириянину и Пимену Великому, шел и пришел. Это Твой дар — увидеть бессмертных людей, понимать, слышать их, учиться у них. Святой Игнатий душу мятую мою утюгом разглаживает...

Это все монахи, а тебе помалкивать надо. Их прозрения обусловлены образом их святой жизни, а тебе что до того, ты всю зиму на постели валяешься с книгой в руках, да и летом ничего толкового не сделал. Давно уже знаешь, что надо отказаться от помыслов и мечтаний в пользу молитвы. Отказаться от воспоминаний и самых красочных впечатлений в пользу молитвы, почувствовать узость верного пути...

Я как тот, вдвойне несчастный, который и монахом не стал, и в миру ужиться не может...

Я кошу ручной косой, легкой, я громкую бензокосилку не люблю, отбиваю косу на обухе старого колуна, в итоге, на самом краю лезвия делаю узким концом молотка маленькие редкие зубки, несколько штук, не коса, а пила выходит, режет траву с правильной такой, едва заметной легкой вибрацией. Я не сам дошел до такого знания о косе, люди подсказали, простые люди, но с опытом этим уже за спиной...

В июне утром журавли во льне...

Я в юности художником стать хотел. У меня отец — художник, это сейчас он худой и беззубый в постели лежит, а вообще-то он всю жизнь рисовал, лепил что-то, конструировал, прямо чувствовалось, что дар у него такой есть, и он всю жизнь его тратит, а дар не кончается.

В детстве мне хотелось повторять то, что делает он, казалось, что так и у меня должно получаться. Мне нравилось крутить ногой гончарный круг, вдыхать запах живописного масла, запах скипидара, с помощью киянки резать стамеской по сухой вишнево-черной яблоне.

Если яблоневое дерево вымерзает от сорокаградусного мороза, древесина его уходит в каштановые оттенки, а частично и чернеет. Когда она хорошо просыхает, она становится твердая, как кость, срез от стамески плотный идет, глянцево-белый, дерево поблескивает. Слетает, конечно, сначала стамеска, руку в кровь больно ранит, но все равно яблоня мороженная хороша, она, как темная яшма, и прожилки светло-лимонные, как самшит.

Витражи из цветного стекла и бетона, с которым, как с глиной, надо работать руками...

Его примером я был подстегиваем на поиск прекрасного, а само понятие — художник, со временем это понятие как-то разрасталось.

Однажды я понял, что художник-то он, а не я. У него свои шаги, своя живопись, мысли и характерные черты, а у меня все иначе.

Дорога, тропка в лесу, в чаще душ людских, от отца к отцу, и светлый помысел напоминает, что никого так называть не надо...

Я думал, что слово — это тоже материал, из которого можно ваять и лепить. Оказалось наоборот, оказалось, что слово лепит человека, одухотворяет. Слово как мечом разделяет отца с сыном по плоти.

Сначала я писателей читал самых разных, меня занимал поэтический образ, привычный речевой оборот мог увидаться с другой стороны, но осмысления, одухотворения живого не было до тех пор, пока я святых отцов не услышал. Сжалился над моим поиском Господь и дал услышать.

Мира Христова не было, потерян был он, вот душа умириться и не могла, искала, да только плохо видела то, что искала, когда же отцы добавили света, слово уже стало обращаться в хлеб...

Бывает, на опыте проверишь, а потом об этом прочтешь, бывает, прочтешь, а потом на собственном опыте проверишь, и все это на одном пути. На этом пути мне святитель Григорий Богослов помог, есть у него статья о поэзии, «О стихах своих» называется. Святитель Григорий в небольшом тексте тайну поэзии раскрывает,

вдохновляет того, кто предается словесному искусству, он говорит, что если чувствуешь талант, пусти его в рост, направь его в доброе русло. *Да и как тебе, человек, пиша по дольным понятиям, изречь несомненное слово?*

Когда доброе со временем окрепнет, красное слово, как подпорка, отнимется от свода, и останется самое доброе...

Святитель Игнатий Брянчанинов открывает мне глаза на то, что происходит со мной. *Завеса, изредка проницаемая, лежала для меня на Евангелии; но Пимены Твои, Твои Сисои и Макарии производили на меня чудное впечатление.*

Полями засеянными путешествуешь, колос в руках растираешь, когда поучаешься в книгах. Упрек книжников и фарисеев Учитель объясняет на уроке милости. Здесь говорят языками, это путь слова. Этот сад и возделывает и хранит сугубый плач. Сугубый дождь. Все лишившие себя наставлений на этом пути упали как листва поздней осенью.

Святитель Игнатий примечает, что каждая книга имеет свой дух, свой запах, и его собственная книга как фимиам покаяния. Верный дорожный знак. Звезда кормчего. Слеза путеводная...

Святитель говорит, что правящий ладью по морю святоотеческому видит единство.

Это их согласие, согласие чудное, величественное. Осмнадцать веков в устах их свидетельствуют единогласно единое учение, учение Божественное! Когда в осеннюю ясную ночь гляжу на чистое небо, усеянное бесчисленными звездами, столь различных размеров, испускающими единый свет, тогда говорю себе: таковы писания отцов. Когда в летний день гляжу на обширное море, покрытое множеством различных судов с их распущенными парусами, подобными белым лебединым крылам, судов, бегущих под одним ветром, к одной цели, к одной пристани, тогда говорю себе: таковы писания отцов...

Мы живем в благодатное время потому, что во множестве сейчас издаются бесценные святоотеческие книги, издаются и продаются, и доступны каждому. Так было не всегда. Только бы прозреть, Господи, чтобы увидеть слово Твое, а еще для того, чтобы видеть дремучий лес.

Лес понятий дольных, мнений людских, лес самых разных книг и кинофильмов. Стволы, как книги, ветви, как мысли, и капли росы в паутине, как чистейшей прелести чистейший идеал, а тебе, как тому, кто бежит из тюрьмы, надо пробираться сквозь эту паутину на восток. Ты снимаешь паутину с лица, но вскоре вновь попадаешь лицом в паутину.

Ты знаешь, что если ты бросишь молитву, то тебя поймают. Чуждая, встречающая нагло мысль пытается прервать твоё внимание, и ты сечешь ее косою молитвы. Невидимой слезой смываешь. Во время краткой передышки смотришь на стог сена, видишь старые потемневшие дрова, бросаешь беглый взгляд на ржавую кровельную жесь.

«Школа диалога народов России: литература и жизнь»

На протяжении многих лет в программах и учебниках литература народов России была достаточно широко представлена в диалогическом взаимодействии с русской литературой, а принцип общности духовно-нравственного содержания родной и русской литературы являлся основополагающим при изучении литературы в национальной школе. Сегодня же имена Р.Гамзатова, Ю.Рытхэу, М.Карима, Д.Кугультинова, М.Джалиля и других поэтов и прозаиков многонациональной России далеко не всегда входят в культурное поле современного подростка.

В 2017—2018 гг. Автономной некоммерческой организацией «Центр дополнительного профессионального образования — «АЛЬФА-ДИАЛОГ» (Санкт-Петербург) при поддержке Фонда президентских грантов и совместно с журналом «Дружба народов» был проведен конкурс творческих работ учащихся в рамках Всероссийского проекта «Школа диалога народов России: литература и жизнь». Одна из его ключевых идей — создание условий для межнационального диалога через диалог национальных литератур. Проект призван привлечь внимание ученых, учителей, общественности, государства к проблеме изучения вершинных произведений литературы народов России в курсе школьного образования.

Участникам конкурса были предложены три направления:

1. сочинение на литературную тему;
2. сопоставительный анализ переводов художественного текста;
3. национальная литература и кино.

Было получено более 600 творческих работ из 66 регионов нашей страны. В списке победителей 26 работ. Три из них публикуются на страницах «ДН».

Елена ЯДРОВСКАЯ,
д.п.н., директор АНО «ЦДПО — «АЛЬФА-ДИАЛОГ»,
руководитель проекта

Кристина Гайдарлы,

ученица 8 класса средней школы №3, г.Новочебоксарск, Республика Чувашия

«Жизнь дана на добрые дела»

Представления о добре и зле в чувашском и русском фольклоре

Знаете ли вы такой народ,
У которого сто тысяч слов,
У которого сто тысяч песен
И сто тысяч вышивок цветет?
Приезжайте к нам — и я готов
Это все проверить с вами вместе.

Народный поэт Чувашии Педер Хузангай

Синие зимние сумерки опускаются на Тахмеево. Тахмеево — это деревня в Чебоксарском районе Чувашской Республики, где живет моя бабушка Михайлова Зинаида Евстафьевна. Вернее, прабабушка, но я ее называю бабушкой, бабулей. Вот и кончились выходные, и мы уезжаем в родной Новочебоксарск. Милая моя бабушка! Что поделаешь?.. Мне завтра — в школу, Кирюше — в садик, а маме — на работу... Ты

выйдешь проводить нас и, как всегда, благословишь в добрый путь: «Ырапа суремелле пултӑр» (Чтобы добро с вами в дороге было). И обнимая, каждому на прощание тихо скажешь: «Пил сӗре ахаль укмест, умра пулатӑ» («Благословение на землю не падает, с вами будет» — так звучит эта чувашская пословица по-русски). Теперь можно тронуться с места в дальний путь со спокойной душой, зная, что все будет хорошо. А ты, прислонившись к калитке, долго стоишь и смотришь нам вслед, пока мы не выедем на «большую» дорогу.

Вот уже не белеет в потемках твой платок, исчезают очертания твоего небольшого деревянного дома с ажурными резными наличниками на окнах (прадед искусным плотником был). Мы уезжаем, и мне грустно от мысли, что тебе одной возвращаться в опустевшее жилище. Но знаю, унывать ты не будешь — сядешь перед телевизором и займешься каким-нибудь своим любимым делом: будешь плести кружева, вышивать какие-нибудь новые узоры или вязать теплые варежки кому-то из детей и внуков.

Идет ли за окном осенний нудный дождь или завывает в трубе злая зимняя вьюга, в твоём доме всегда радостное лето, потому что повсюду — на кровати, диване, лавке — горы вышитых подушек. Одни подушки как белоснежные полянки с яркими цветами, другие — с разными линиями и геометрическими фигурами: на них полосы, зигзаги, многочисленные квадраты, треугольники, круги самых разных цветов и оттенков. Эти не простые фигуры, ведь чувашский узор — знаковое письмо, шифр-послание наших предков с особым смыслом. Например, линиями обозначен жизненный путь, рисунками животных — труд, старание. Некоторые узоры — это имена людей, названия сел и деревень. И каждый цвет имеет свою сущность: красный — это цвет счастья, зеленый — природы и жизни, желтый — солнца, синий — волшебства, черный — земли. Все эти цвета особенно ярки и выразительны на белом, символизирующем чистоту, правдивость и мудрость. Чуваши считали, что вышивка бережет человека от болезней и бед, поэтому в избах не было не украшенных узорами тканых вещей.

Твои волшебные руки, бабушка, умеют все: испекут вкуснейшее хуплу, подадут на стол теплое парное молоко, за ночь свяжут для меня носки... Неслучайно для бабушки самый почитаемый человек — это трудолюбивый, а самый неуважаемый — ленивый. «Еслеме юратакана сынсем хисеплене (Кто любит труд, того люди уважают)», — любишь ты повторять чувашскую пословицу. «Ватанман юмӑс пулна, ўркенмен аста пулна (Бесстыжий становится знахаркой, неленивый — мастером)», — говоришь мне часто. Ты сама всегда в работе и нам не позволяешь без дела сидеть. Например, Кирюшина обязанность — кур покормить и яйца собрать. Меня научила вышивать и вязать. Конечно, можно, например, и в магазине варежки Кирюше купить. Но разве на них будут узоры, ни на какие другие не похожие, только для него придуманные?

Ответственное отношение к любому делу, аккуратность мы тоже у тебя перенимаем. Ты любую работу делаешь с удовольствием. Эти чувашские пословицы как будто ты придумала и пустила в жизнь: «Ес вӑл пурнаӑс илеме» (Труд — это украшение жизни), «Тӑрӑшсан сӑрт синче те тулӑ пулатӑ» (При старании и на горе можно вырастить пшеницу). И мы с Кирюшей стараемся, чтобы ни бабушке, ни маме за нас не приходилось краснеть, чтобы бабушка не восклицала: «Ял мен калать!» (Что на деревне скажут!). В школе я успеваю учиться отлично, в танцевальную студию хожу, в этом году стала заниматься живописью, домашних дел не боюсь, с Кирюшей вожусь... А иногда бывает, не заметит мама моих стараний. Нахлынет тогда обида. Но вспомнишь, бабушка, твои слова: «Сынсем пурнассӗ хесенсе, вилессӗ курентерсен» (похожая пословица есть и на русском языке — «В тесноте люди живут, а в обиде гибнут»). И думаешь: а разве ты для дифирамбов старалась? Вот мама никогда не жалуется, хотя часто в две смены работает, с нами все свободное время проводит, бабушке помогает... «Ежедневно угощай мать блинами, испеченными на своей ладони, — и то не отплатишь ей добром за добро, трудом за труды» — вспоминаю я звучащую как заповедь чувашскую пословицу (тоже от тебя, бабушка, ее впервые услышала). За нашу маму ты стоишь горой, потому что всегда была ей вместо матери. Я смотрю, как мягко, доброжелательно и вместе с тем строго ты одергиваешь Кирюшу, когда он пытается спорить с мамой: «Аннуне ниһаҫан та хирӗҫ ан кала» (Не перечь никогда матери).

Твоя речь изобилует пословицами и поговорками. Ты черпаешь народную мудрость, как из бездонного колодца с чистой водой, и чем больше оттуда берешь, тем больше, кажется, ее там прибывает. Много из того источника вошло в мою

исследовательскую работу «"Мать" и "Отец" в русских и чувашских пословицах», которую я защищала на республиканской научно-практической конференции студентов и школьников. Это была уже вторая моя работа, посвященная изучению фольклорных традиций двух родных мне народов. Чем больше я занимаюсь изучением народного творчества, тем интереснее становится это занятие. Я замечаю, как за это время обогатилась моя речь: точная рифма, простая форма, краткость делают пословицы и поговорки запоминаемыми и необходимыми в речи. «Сахал пупле, нумай итле, юлхав ан пул, сынран ан кул, шут сáмахне сёкле, пусна питё ан сёкле (Болтай меньше, слушай больше, ленивым не будь, над людьми не смейся, шутку принимай, голову не задирай)», — услышит Кирюша от меня совет, если начнет хорохориться. Это чувашское народное пожелание маленьким детям Кирюша уже и сам наизусть выучил, и концовку обычно мы, смеясь, проговариваем хором. Мне Кирюша еще может перечить, а с пословицей не поспорит: «На пословицу и на правду суда нет». Потому как пословицы не доказывают — они просто утверждают или отрицают что-либо в уверенности, что все ими сказанное — твердая истина.

...Далеко на горизонте видно зарево от огней Новочебоксарска. Спит безмятежным сном Кирюша, прислонившись к моему плечу; мелькают за стеклом машины темные силуэты лесочков и пригорков, а у меня перед глазами встает вчерашний вечер с хуплу, самоваром, неторопливыми разговорами, и в душе звучит твоя негромкая песня:

Уй варринче лаштра юман,
Атте тесе, ай, кайрāм та.
Килех, херем, ай, темерё,
Чун, хурланчё, макāртāм та.
Уй варринче, чечен сāка,
Анне тесе, ай, кайрāм та.
Килех, херем, ай, темерё,
Чун, хурланчё, макāртāм та.

Посреди поля — раскидистый дуб:
Отец, наверное. Пошла я к нему.
«Иди ко мне, дочка», — не сказал он;
Душа моя опечалилась — заплакала я...
Посреди поля — красивая липа,
Мать, наверное. Пошла я к ней.
«Иди ко мне, дочка», — не сказала она;
Душа моя опечалилась — заплакала я...

Тебе, рано оставшейся без отца, лишенной семейной поддержки-защиты, очень близка эта песня. Она как молитва: и пожалуешься в ней, и повинишься, и душу свою облегчишь, и камень с души сбросишь.

Кирюше не нравятся грустные песни.

— Бабуля, почему ты скучные песни поешь? — говорит он недовольно.

А эта грусть — возможно, сохраненная нашим небольшим народом память о тяжелой судьбе с горестями и бедами на долгом и нелегком пути. А может быть, и потому часто наполнены твои песни скорбью, что детство твое пришлось на военные годы. Тебе было восемь лет, когда воскресным днем 22 июня 1941 года страшная весть обошла всю деревню. Война для тебя — незаживающая рана. Ты говоришь с болью о своих односельчанах: о тех, кто рядом с тобой, не поднимая головы, работал в тылу, и о тех, кто не вернулся в родное Торхеево с полей сражений. Вот как живые встают в рассказе твоя тетя Агриппина и ее муж Анисим: «Поженились они перед войной. Красивые, веселые были оба. Она, провожая его на фронт, так рыдала, как будто уже навек прощалась. Многие тогда расставались со своими родными, но никто так не убивался. Похоронку Агриппина получила месяца через три после проводов. В том же году у нее и Юрка родился. Замуж она больше не выходила, да и не за кого было: мужиков в деревне не осталось, всех война прибрала. Одна сына вырастила. Не видела я только с тех пор, чтобы она веселым смехом залилась. А петь она была мастерица. Едем, бывало, с ней вечером с сенокоса на телеге, она лошадей правит, песню поет и плачет:

Аста каян, чекес, сумар витер,
Ик сунату витёр шыв юхтарса?
Аста каян таван каса хирёс,
Ик кусунтан куссуль ай юхтарса?

(Куда летишь, ласточка, сквозь дождь,
Сквозь оба крылышка воду проливая?
Куда идешь, родной, в далекий путь,
Из обоих глаз слезы проливая?)

А я, глупая девчонка, слушаю ее песню-плач, и до того мне ее жалко, что сама начинаю реветь. И все мечтала я: а вдруг случится чудо, и однажды постучится отец Юрки в окошко. Ведь были же случаи: солдата погибшим считали, а он вернулся живой...»

Тех, с кем могла бы ты поделиться памятью о прожитых годах, осталось очень мало. Поэтому ты всегда очень трепетно относишься к приходу гостей: и твоих односельчан, и родственников, с кем можно вспомнить любимые песни или просто поговорить. Особенно мне нравятся вечера, когда к тебе приходят подруги из фольклорного ансамбля «Телей», солисткой которого ты и сама была много лет. Обычно такие встречи проходят зимой, и песни на них могут звучать одна за другой часами. Когда протяжно звучит древняя песня-символ «Алран кайми аки-сухи», богатая оригинальными образными сравнениями, особенной аллитерацией:

Алран кайми аки-сухи!
 (Плуг-соха вечно в руках!)
 Асран кайми атти-анни!
 (Отцы-матери вечно в памяти!)
 Ая-ай-ай, ая-ай-ай
 Асран кайми пёлеш-тантэш!
 (Знакомые-ровесники вечно в памяти!)
 Пуринчен пахи ял-йыш, пускил!
 (Всего дороже односельчане-соседи)
 Ая-ай-ай ,ая-ай-ай
 Ай ёсер-и, ай сиер-и,
 (Не выпить ли нам, не поесть ли)
 Виличчен пёрле ай пурнар-и?
 (До самой смерти вместе не пожить ли?) —

по-особому торжественными и сосредоточенными становятся и поющие взрослые, и притихшие дети. Медленный темп, торжественность слов, распевы, широкое дыхание делают ее понятной и тебе, и маме, и мне... В этой протяжной песне, дошедшей до нас из глубины веков, мне видятся и дедушка Василий, хлопочущий о своем хозяйстве, и трудолюбивая прекрасная Нарспи, героиня одноименной поэмы классика чувашской поэзии К.В.Иванова «Нарспи», и печальная Агриппина... В этой песне думы и чаяния всего трудолюбивого чувашского народа, преклонение перед родителями, призыв жить в мире с собой и людьми.

Поете вы за столом обо всем, что вам дорого и близко, размышляете о скоротечности человеческой жизни:

Пахсан — шалт телентем:
 (Когда ввысь да глянул — вдруг удивился)
 Кайах хурсем каяс картине,
 (Дикie гуси улетают вереницей)
 Шухашласа ларсан — шалт телентем
 (Когда, задумавшись, сидел — вдруг удивился)
 Самрак емер иртсе те кайнашан,
 (Тому, что молодость пролетела).

Поете и лирические песни о добрых делах, которыми человек будет памятен:

Лайах лаша юртать те — сулсем юлать,
 (Хороший конь бежит да — дорога остается)
 Ыра сынсем вилет те — ят юлать,
 (Добрые люди умирают да — имя остается).

Поете о нежности к родной земле, которую, как и другие народы и национальности, испытывают чувашки:

Аста канна пырсан — пер те уйях,
(Куда ни пойдешь — везде одна да луна)
Ху сурална сёршив — сав лайях,
(Но свой родной край — лишь тот хорош).

Весь вечер звучат народные песни, живой голос народа. И я чувствую себя защищенной и одновременно сильной среди близких людей, которые собрались вместе и исполняют родные для всех нас песни. Для каждого этапа вечера своя мелодия. Обязательно в конце вечера гости споют радостные песни, в которых поблагодарят за гостеприимство, пригласят к себе:

Инес сула каймаллине манса каятпар
(Забываем в гостях у родных,
Таван патне ханана ай килсессен.
(Что домой в дальнюю дорогу надо собираться).
Кёрекере ларса та ай саванар.
(Порадовались вместе,
сидели на самом почётном месте).
Ларса саванар, тусла каласар
(По-дружески беседовали).
Ёмёр хаварт иртсе каять, тусла пуранар.
Ларса саванар, тусла каласар.
(Жизнь проходит быстро,
будем дружно жить и вместе веселиться...).

Поют на этих встречах все. Неслучайно русский музыкант и этнограф В.А.Мошков писал, что чувашки, как ему кажется, — один из самых музыкальных народов. Он писал, что из чувашек ему не доводилось встретить ни одного человека, который не пел бы своих родных песен. Чувашки умели петь и умели ценить певцов. Об этом и рассказ известного чувашского писателя М.Н.Юхмы о певце Саргамыше. Легендарный певец попадает в плен к жестокому и беспощадному Удаману. Но грозный атаман падает ниц перед певцом и приказывает своим соратникам: «Поклонитесь этому человеку. Он юрӑс! Певец!» Подобные безымянные певцы донесли до современников и оставили нынешнему поколению бессмертные творения: сказки, легенды, предания, песни... «Трудно представить себе что-либо прекраснее, лучше и очаровательнее, чем чувашские песни..., песни спасут чувашский мир — как лучшее из творений, как самое сокровенное из духовных богатств народа», — писал чувашский ученый, педагог и писатель Г.Н.Волков.

«Бабуля, откуда вы знаете столько песен? У кого научились?» — спрашиваю я тебя. «Предки передали, от дедов пришли они, — говоришь ты о песнях. — Люди радуются, и песня радуется; люди печалются, и песня грустит. Без нее жизнь чуваша пуста, бесцветна, для него песня — язык души. А знаешь, сколько песен у нас сложено о самой песне? "Не петь — так кровь свернется, не говорить — так язык станет тупым", — пели наши родители». С.Максимов, известный чувашский композитор и народных песен, записал их около двух тысяч! Только от одного известного чувашского певца Гаврила Федорова им записано около 700 песен. О певцах-исполнителях, о музыкантах чувашки говорят: «Камалепе пуян сын» — «Душой богатый человек», а о песне — «Юра — чун эмеле» — «Песня — лекарство для души».

Космонавт №3, дважды Герой Советского Союза, любимый сын чувашского народа Андриян Григорьевич Николаев сказал: «Человек, если помнит главные песни своего народа, никогда не перестанет быть его настоящим сыном».

Моя бабушка Зинаида, ты тоже истинная дочь своего народа. В твоих песнях сливаются с любимыми мелодиями слова родного языка, повторяются краски и линии

родной природы в узорах твоих вышивок, которые не пылятся в сундуках, а в будни и праздники радуют всех своей неповторимой красотой.

Вспоминаю тебя в день свадьбы твоей внучки Лены. Ты по этому поводу достала из своего заветного короба праздничное белое платье, надела яркий атласный фартук, украшенный кружевами и вышивкой. На голову надела хушпу, головной убор замужней чувашки, расшитый бисером и монетами, шею и грудь украсила май сыххи — праздничной нагрудной подвеской. Повязала на боку одновременно три вышитых пояса с цветными помпонами: один — на платье, другой — на напуск платья, а третий — на фартук. И сделалась такая яркая, такая красивая! Как к лицу был тебе этот праздничный наряд! А какой мелодичный звон издавали монетки на хушпу, когда ты вышла на середину зала, прошлась по кругу и исполнила свой такмак, шуточную короткую песню — пожелание молодым: если возьметесь, мол, вместе, железо обломаете; если ударите ногой, можете гору разрушить... Разные песни и пляски украсили эту свадьбу: свадьбу, которая соединила чувашскую девушку Лену и русского парня Сашу. Для этого случая и я в разучила танец «Барыня» (спасибо за помощь Елене Васильевне, руководителю нашей танцевальной студии!). В этом задорном танце мне хотелось передать русскую душу: показать в легких прыжках ее удаль и широту, а в нежных и утонченных движениях — ее лиричность. А невеста, исполняя чувашский народный танец «Линка-линка», заворожила всех не сложностью танца, а изяществом. Ничего лишнего в ее движениях не было: словно белая лебедушка, плыла она в роскошном свадебном платье, очаровательны и грациозны были движения ее нежных рук, которые она, как и полагается при исполнении этого танца, не поднимала выше груди. Голову с достоинством приподняла, глаза скромно опустила... Не оторвать глаз! Тут и подружки поддержали ее и тоже включились в танец. В России искренне выражают свои чувства и переживания, потому любят петь и танцевать все, делают это охотно, с удовольствием. К концу вечера общие песни и танцы всех объединили, всех перезнакомили и подружили.

А теперь в молодой семье Лены и Саши растет маленькая Анечка. У ее мамы и папы, даже у ее бабушек, нет времени петь ей колыбельные песни и рассказывать сказки. На помощь пришли незаменимые люди — прабабушки. И конечно же, вы, бабушки и прабабушки, во внучке души не чаете, поете ей колыбельные на двух языках: на чувашском и русском.

Ачине — паппине,
Лаптăк, лаптăк сăпкине.
Ашшĕ кайна пасара,
Кулач илсе килет-ха,
Амаш кайна сьрлана,
Сьрла татса килет-ха.
Паппа ту, паппа ту,
Няня сине паппа ту.

Чтобы деточке поспать,
Колыбельку покачать.
Папка пошел на базар,
Калач купив, вернётся;
Мамка пошла по ягоды,
Ягод нарвав, вернётся.
Засыпай, засыпай,
На постельке засыпай —

поешь ты, бабушка Зина, монотонно покачивая малыша.

«Спи да усни,
Золотиночка моя,
Золотиночка моя,
Жемчужиночка моя.
Вырастешь большая,
Будешь в гости ходить.
Тата приедет,
Калачей привезет,
Мама приедет,
Конфетки даст», —

баюкает внуку бабушка Лиза.

Но на каком бы языке ни пели баюкальщицы, под песни, от которых исходит добро и счастье, Анюта засыпает быстро, блаженно улыбаясь под ровный ритм, спокойную напевность. Чувствует: ее любят и папа, и мама, и бабушки, и тети... Наши Арины Родионовны ей предрекают счастливое будущее: «Будешь, Анечка, большой, будешь в золоте ходить, чисто серебро носить», и маму с папой не велят забывать: «Вырастешь большой, будешь мамочку кормить, будешь тятеньку поить». Бабушки хотят видеть внучку трудолюбивой и умной:

Уж мы Анечку разбудим,
На работку поведем.
Баюшки-баю!
На работку поведем.

Когда бабушки поют колыбельную, во всем доме наступают покой и тишина. Только слышно, как довольный кот Тимоша мурлычет. Он тоже к воспитанию малышки отношение имеет: Тимоша очень терпеливый и ласковый, Анечка таскает его и за хвост, и за уши, а он не сопротивляется... Неслучайно в русских колыбельных бабушки Лизы кот часто является действующим лицом:

Баю-баюшки-баю,
Баю, Анечку, баю!
Приди котик ночевать,
Мою детоньку качать.
Уж как я тебе, коту,
За работу заплачу:
Дам кусок пирога
И кувшин молока.

А когда Анечка долго не засыпает, баба Лиза делает вид, что сердится, и пробует ее напугать: «Баю-баюшки-баю, колотушек надаю, колотушек двадцать пять, будет лучше Аня спать». Но Аня не боится никаких колотушек и в ответ только улыбается.

Многое из раннего детства забывается, но как когда-то и я купалась в такой же любви, помнится. Помнится, как сладко засыпалось под плавную речь колыбельных песен. Помнится то ощущение покоя, радости, умиротворенности, какое, наверно, может быть только в самом раннем детстве. Кажется, до сих пор летают надо мной те мамини гули:

Люли, люли, люли,
Прилетели гули,
Стали гули ворковать,
Стали гули хлопотать:
Залетели в уголок,
Зажигали огонек,
Стали кашку варить,
И Кристиночку кормить...

и закрывают меня от всех бед и горестей.

...Вот и въезжаем в город. Улица Советская, наш дом, скрипнули тормоза, бужу Кирюшу: «Мы доехали...»

Набираю бабушкин номер, сообщаю: «Доехали нормально! Спокойной ночи». До свидания, милая бабуля! Неделя пролетит быстро. Не успеешь соскучиться, и снова в доме с резными наличниками, с летом посреди зимы ты обнимешь нас. Мы опять пожалуем за мудрыми уроками, которых и в книгах поискать — не найдешь, за светом, добром, теплом. Нет для нас роднее места, чем у бабушки, как нет для нее дороже лиц, чем наши. «Усалтан тар, ырӑ патне пыр» (Беги от дурного, иди к доброму), — напомним нам снова бабушка Зинаида. Долгих лет жизни тебе, дорогая, веди нас к доброму, оберегай нас от дурного. Пусть твое благословение всегда будет с нами. До свидания!

Алина Иванченко,
ученица 10 класса ГБОУ «Политехнический лицей-интернат»,
г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Из детства дорогие представления...

Размышления о добре и зле на материале сказок нивхов, мари и русичей

Для чего нужны сказки? Почему бы не воспитывать детей по книгам с четко расписанными правилами и указаниями, как следует поступать в тех или иных ситуациях? Но когда хотим преподать ценный урок растущему поколению, мы и по сей день обращаемся к сказочным историям и притчам. Дело в том, что именно сказки в ненавязчивой и интересной для ребенка форме прививают ему нравственные истины, которые так необходимы во взрослой жизни.

Исторически сложилось, что народы не только были обособлены друг от друга в силу географического положения, но и имели свой особенный взгляд на жизнь, свои традиции и веру. И все-таки, несмотря на эти различия, людей объединяли непреходящие ценности: доброта и честность, милосердие и бескорыстие, готовность всегда прийти на помощь и верность слову. Всегда самыми значимыми были семейные отношения. В них на первый план выходили ведение хозяйства, сохранение домашнего очага и уюта, уважение к старшим, воспитание детей. Все эти, казалось бы, простые и очевидные истины нашли отражение в фольклоре народов России.

Как и всем детям, мне тоже родители читали сказки, которые им, в свою очередь, рассказывали их мамы и бабушки. Из душевных разговоров с родителями и сказочного эпоса я узнала многое о культуре, жизни и морали своих предков. Вот еще одно ценное свойство сказок — они связывают не одно поколение. Прочитанные родителями легенды и предания позволили мне соприкоснуться с нравственными истоками моего рода, который исторически связан с казачеством. Отец мне рассказывал о храбрости и силе донских казаков, а мама раскрывала восточный менталитет через сказки народов Казахстана. И сейчас, уже повзрослев, я понимаю, что учили они меня одному и тому же — нравственности. Этому находится простое объяснение: представления о добре и зле у всех народов поразительно одинаковы.

Особый интерес у меня вызывают сказки народов Дальнего Востока, которые на удивление схожи со сказками народа мари. Дело в том, что вскоре после моего рождения моя семья из Республики Марий Эл переселилась в Хабаровский край, богатый культурой северных народов. В силу суровых природных условий здесь особо значимы выручка, дружба, семейная поддержка (человек просто не мог прожить здесь в одиночку!). Люди Дальнего Востока уделяли огромное внимание проявлению доброты к ближнему. В фольклоре нивхов, проживающих на территории полуострова Сахалин, мы можем наглядно увидеть Добро и Зло в бытовой жизни. Да, именно в бытовой. Сказки этого народа отличаются своей правдоподобностью и реальностью. В них мало магических персонажей и небывалых существ. Именно эта приближенность к обыденной жизни привлекает мое внимание к фольклору нивхов и истории этого народа, на сегодняшний день насчитывающего всего 3 тысячи человек. Бытовая жизнь нивхов тесно связана с природой, и образы животных органично соединяются в художественной ткани произведения с образами людей. (А народ мари и до сих пор неразрывен с природным миром. В священных березовых рощах устраиваются

языческие моления; родоновые воды озера Яльчик и минеральная вода родников — целебны.)

Изучая и осмысляя нивхские сказки, можно заметить, что, как и многие другие народы России, нивхи часто уподобляли человеческие качества каким-либо проявлениям природного мира. Так, с образом лебедя, величественной и грациозной птицы, отождествлялась чистая и нетронутая пороками душа. Чаще всего это — детская душа или душа юного влюбленного. Дети приходят в наш мир невинными, со светлым сердцем и открытой душой, поэтому мотив лебедя связан именно с ними. Однако чистота и внутренняя красота женщины также нашли свое отражение в белоснежных и воздушных крыльях лебедушки. Лебедь и в современной культуре — символ красоты, любви и верности, но истоки этой символики, безусловно, восходят к народным представлениям. (Примечательно, что в народном марийском танце движения рук у девушек очень плавные, словно медленные взмахи лебединых крыльев.)

А что является злом? По народным представлениям, это — проявление эгоизма, алчности, лени, жестокости по отношению к семье, соседям, природе. Нивхи обличают зло в образе жестокой и несправедливой мачехи, которая зачастую недолюбливает свою падчерицу или пасынка и обходится с ними бесчеловечно.

Сказка «Кыкык» рассказывает о маленькой девочке, которая рано осталась без матери. «Отец привез красивую женщину с черными соболиными бровями и ресницами, похожими на кисточки ушей зимней белки, с толстыми, подобно хвосту чернобурой лисицы, косами». Однако красота для нивхов не главное, она не является отражением души. Обладая прекрасными внешними данными, человек может быть злым, жадным, жестоким. Именно такой и была мачеха девочки. Стоит отметить, что в древности народы жили по определенным традициям и многовековым устоям: отец был кормильцем и добытчиком для семьи, мать сберегала домашний уют, готовила еду и воспитывала детей. В сказке «Кыкык» мачеха не выполняет свою столь важную семейную роль. Она долго спит, не ведет хозяйство и совсем не заботится о падчерице. «Девочка встала с восходом солнца и пошла на берег залива играть с волнами. Она играла долго, а когда солнце высоко поднялось над лесом, побежала домой завтракать. Вошла в дом и увидела: мачеха еще спит. Девочка тихо вздохнула, вернулась на берег и снова стала играть... Так настали для маленькой девочки тяжелые дни. Отец добывал много зверя и дичи. Приходил домой только для того, чтобы принести добычу, и снова надолго уходил в тайгу. Все вкусные куски мачеха съедала сама».

Прослеживается особенная связь ребенка с природой. Девочка играла с волнами на берегу моря, смотрела на парящих в небе лебедей. «Она очень любила играть на ровной песчаной косе: с утра до вечера рисовала прутиком разные узоры, строила из песка маленькие домики. Еще она подолгу любовалась красивыми птицами, которые, как молчаливые белые облака, проплывали над ее стойбищем. Девочка ложилась на теплый песок и смотрела вслед стаям до тех пор, пока они не исчезали вдаль». Природа заменила ей дом. Она и была настоящим ее домом и ее миром. Именно природа подарила девочке ласку, заботу и любовь, которые не давала ей мачеха. Но самое главное — природа приняла девочку в свое «царство», спасла ее от несчастной жизни. Те самые благородные и величественные лебеди откликнулись на плач девочки, на ее беду. «У девочки совсем стянуло животик. Голод так сосал ее, что она протянула руку за розовым кусочком. Когда ее рука дотронулась до юколы, мачеха ударила по ней острым ножом. Кончики пальцев так и остались на столе. Девочка убежала на теплый песчаный бугор, стала громко плакать. Из пальцев струйками стекала кровь. Девочка всхлипывала:

— Кы-кы, кы-кы!

В это время над заливом пролетали лебеди. Они услышали голос плачущей девочки и сделали круг. Потом сели рядом с ней, окружили ее и принялись разглядывать. Когда они заметили, что из ее пальцев струится кровь, им стало очень жалко бедную девочку. Жалость птиц была так велика, что у них на глазах выступили слезы. Лебеди заплакали молча. Слезы росинками капали на песок. И там, где сидели лебеди, песок от слез стал мокрый. Большие белые птицы плакали все сильнее и сильнее, и вдруг у них пробился голос:

— Кы-кы, кы-кы, кы-кы!

Услышав их голоса, отец девочки выбежал из дому, увидел, что его дочь окружили лебеди, бросился за луком и стрелами: хотел убить больших птиц.

Лебеди взмахнули крыльями. В тот же миг и у девочки из плеч выросли крылья — она превратилась в стройную лебедь с красными лапками.

Когда охотник выбежал из дому, стая лебедей уже поднялась в небо. В самой середине стаи летела молодая птица. Все лебеди кричали:

— Кы-кы, кы-кы, кы-кы!

Только молодая птица молчала».

Дети обладают светлым и добрым сердцем, они находятся в очень тесной связи с природой, отчего их душа напоминает белогрудых лебедей. Поэтому плач девочки созвучен с криком птиц. Именно среди вольных, милосердных лебедей чистая и невинная душа ребенка, к которой отнеслись жестоко и несправедливо, обрела свое место.

Схожая по сюжету и нравственному уроку сказка есть и у народа мари. В «Белой лебедушке» рассказывается, как злая мачеха невзлюбила своего пасынка Тойдемара: «День и ночь заставляла его гнуть спину на тяжелой работе». Как и девочка из нивхской сказки, он тоже нашел свое утешение в матушке-природе: «За обидами да попреками только и помнил он, как всходы зеленым ковром взошли, как летом, перед грозой, бушевало его поле тугими волнами, а потом золотым чубом кланялся ему овес, благодарил за уход, за заботу...» И так проходили тяжелые дни Тойдемара, но однажды он поймал лебедушку — «на лапке у нее алела кровь». И снова два отдаленных друг от друга (географически, но не нравственно!) народа — мари и нивхи — сходятся в своих представлениях о добре и его сущности. В обеих сказках лапки лебедя — кровавого цвета. Это объясняется глубокими ранами их благородной и неоскверненной души. Поэтому обиженная нивхская девочка превратилась в молодую птицу с красными лапками. Эта история северного народа стала красивой легендой о возникновении редкого лебедя с красными лапками. «Говорят, раньше лебеди были немymi птицами, и лапки у всех были черными. Теперь всякий знает, что они кричат "кы-кы, кы-кы", за что и получили название "кыкык", и лапки у многих — красные».

В мариийской сказке говорится, что лебедушка обратилась в «девицу-красавицу с длинной косой». «Взял Тойдемар ее за руку и сказал:

— Не гневайтесь, матушка и родимый батюшка. Благословите нас... Мачеха будто язык прикусила...» Но девушка-лебедушка не смогла долго жить на земле со злой свекровью-мачехой, которая и ее невзлюбила: «То и дело понукает. С утра до вечера молодая жена не разгибает спину. Но не работа мучит девицу, а обида». В обеих сказках людская и небесная среда находятся в контрасте между собой. Небо представлено как освобождение и обретение свободы от земной, полной жестокости и несправедливости жизни. Поэтому девица-краса вновь обращается в белую лебедушку, а с ней и ее молодой супруг Тойдемар становится свободной и гордой птицей. Они улетают вместе со стаей белоснежных лебедей в лучшую и счастливую жизнь. «Взмахнула крыльями Лебедушка и полетела. И так захотелось ему улечь вместе с ней, что он горько заплакал. Услышали лебеди, вернулись, сбросили по перышку — и вдруг желание

Тойдемара исполнилось: он превратился в белоснежного лебедя. Высоко поднялась лебединая стая и тут же растаяла в облаках».

В русских народных сказках понятия о Добре и Зле также тесно связаны с семейными взаимоотношениями. Семья играет роль незаменимого защитника от темных и злых сил. Любовь и забота прочно оберегают семейный очаг от вмешательств колдовства и злой магии. Поэтому отклонение от «семейной нормы» сулит несчастье и плохие события. Так, потерявший мать ребенок будет страдать от тягот жизни с алчной и злой мачехой («Морозко», «Крошечка Хаврошечка», «Мать и Мачеха»). Раскол между членами семьи также послужит причиной череды несчастий и невезений («Иванушка-дурачок»). Традиционная русская семья, как и любая другая, не может существовать без уважения и почитания старших. Человек, послушавшись родителей, обрекает себя на заведомо ошибочный жизненный путь, поэтому словам матери и отца нельзя идти наперекор. Забывчивость и послушание родительских наставлений влечет за собой наказание злыми силами. Так, например, в сказке «Гуси-лебеди» рассказывается, что из-за легкомыслия Машеньки, небрежного выполнения поручения родителей (не уследила она за братцем, пошла с подружками гулять) злые помощники Бабы Яги украли маленького братца Иванушку. Интересно отметить, что в данной сказке стая птиц не символизирует Добро, а наоборот, способствует и помогает Злу, поэтому птицы здесь не лебеди, а гуси-лебеди. Девочка совершила ошибку, но она сможет ее исправить, так как ей дорог братец, ради него и восстановления благополучия в семье она готова преодолеть испытания и невзгоды. Героиня сказки обладает добрыми качествами, поэтому у нее все получится. Добро в русской сказке представлено, как и в нивхской («Горная красавица»), силами природы: это и яблонька со спелыми плодами, и реченька с прозрачной водицей, и ежик. Важна также печь — сакральный центр дома, не зря Машенька, обращаясь к печке, говорит: «Печка-матушка, спрячь меня» — так показано отношение народа к печи. Ее сравнивают с матерью, самым дорогим человеком. «Печь-матушка» дарит тепло, защиту, с ней не страшна беда. Машенька любит и уважает свою семью, поэтому вызволяет Иванушку из логова Бабы-Яги, в этом ей помогают силы Добра.

Идея неразрывной связи семьи и формирования представлений о добре и зле прослеживается также в сказке нивхов «Недобрая Ладо». Название уже говорит о злонравии и недобрых качествах характера главной героини. Как и в других уже рассмотренных нами сказках, сущность Зла выражается через безделье, непочтение к родителям, эгоистичность. «Ничего Ладо делать не умела. Не хотела мать, чтобы у Ладо были руки грубые: огонь дочь не разводила, дров не рубила, рыбу острогой не била, весла в руках не держала, шкурок не выделявала Ладо. Не хотела мать, чтобы у дочери глаза покраснели от работы: не вышивала дочь халатов шелками, не сшивала шкурок, не подбирала олений волос для вышивки. До того дошло, что Ладо даже теста замесить не умела, не умела лепешек испечь. Ничего Ладо делать не умела».

Примечательно, что нивхи мудро подходили к вопросу о красоте. В их понятии она не стоит в одном ряду с Добром, как, например, отзывчивость, милосердие и трудолюбие. Поэтому зачастую отрицательные герои предстают перед читателем с прекрасным лицом, безупречной фигурой. Внешняя красота Ладо противопоставляется ее внутреннему миру. «Лицо у нее широкое, белое, как полная луна; глазки, как черная смородина; щеки розовые, как багульник весной; губы, как спелая малина; стройная Ладо выросла, как цветок сараны. Вот какая красивая!» Из-за чрезмерной опеки матери Ладо стала эгоистичной и высокомерной. Она была недовольна всем! Ее не устраивали молодые люди, которые к ней сватались: «Отойди от меня ты, зверем пахнувший! Как буду с тобой жить? О твои шкуры все руки исколю; отойди от меня, ты, рыбой пахнувший! Как с тобой буду жить? Вечно мокрая ходить буду; отойди от меня ты, собакой пахнувший! Как с таким жить буду? Твоих собак кормя, все ноги свои

истопчу...», — говорила она им. Потом и мать с отцом стали вызывать у нее раздражение: «Прогнала Ладо женихов, а потом и родители ей не милы стали. Дуется Ладо: почему на матери некрасивый халат надет, почему отец мокрый с рыбной ловли пришел? Все не по ней». Ладо решает покинуть родной дом, отказаться от своих родителей, тем самым совершает страшный грех. «Оглянувшись вокруг — все ей нехорошим кажется: и грязно, и дымно, и люди некрасивые. Посмотрела вверх, видит — лебеди летят. Перья на них — будто чистый снег, блестят. Летят лебеди неведомо куда, от зимы улетают. Закричала тут Ладо: «Через спину перекачусь, заплачу, белым лебедем стану! С лебедями полечу в неизвестные края, чистых людей искать буду! Другую мать найду!» Через спину перекатилась. Белоснежными перьями покрылась, в воздух поднялась на лебединых крыльях, полетела. Заплакала мать, закричала, дочь свою звать стала. Даже не оглянувшись недобрая Ладо на мать».

Да, действительно, Ладо, отказавшись от матери, обрекла себя на несчастную и мучительную жизнь. Стая белоснежных лебедей не приняла ее к себе: «Не расступились лебеди, в стаю не пустили Ладо. Захлопал крыльями вожак, говорит: «Как можно другую мать найти? У человека только одна мать. Другой — нет!» Устами лебедя-вожака нивхский народ передал одну из главных жизненных истин: не будет добра тому человеку, который обижает мать и отказывается от нее. Недобрые поступки mnoжат зло, об этом говорится в нивхской пословице: «Кто с горы катится, тот с собой и камни скатывает».

Ладо, конечно, не нашла себе другую мать, она не нашла и счастливой жизни. Прошли годы, прежде чем девушка поняла, что она сделала, но, к сожалению, было уже поздно. «А мать все плачет, все на небо смотрит, все в ту сторону смотрит, куда Ладо улетела. Все в небо мать смотрит, даже про огонь в очаге забывать стала. Стал огонь гаснуть и погас совсем. Ушел огонь из дома. Ушла жизнь из дома. Умерла мать Ладо». Девушка была вынуждена странствовать по небу в облике лебедя. Одиночество и скитания стали ей наказанием. «Вьется Ладо в небе, плачет. Не может девушкой обернуться... Целое лето летала над родной деревней Ладо — все ждала, когда мать из дома выйдет, ее встретит. Так и не дождалась. Когда холодный ветер с Амура повеял, улетела Ладо в теплые края. С тех пор каждую весну прилетает она, кричит, мать свою зовет — и не дозовется».

Сказка — своеобразный нравственный учитель. Она дает наставление как детям, так и родителям в вопросах воспитания. В сказке «Недобрая Ладо», на мой взгляд, выражена философская мысль: «Цени то, что имеешь». И конечно, сказка доказывает невозможность существования счастливой семьи без добрых отношений, трудолюбия и уважения к старшим, а также утверждает необходимость должного воспитания. Не изнеженность и лень, а трудолюбие — основа формирования будущей доброй хозяйки и заботливой женщины. А мудрость родителей состоит в действенной любви, а не в ограждении своего чада от забот.

В заключение хочется еще раз с благодарностью вспомнить наши семейные вечера, чтение и рассказывание сказок, поистине национального достояния народов, кладезь мудрости и нравственных уроков. «Сказка — ложь, да в ней — намек, добрым молодцам урок», — говорил великий Пушкин. Именно из сказок я впервые узнала о Добре и Зле, стала учиться хорошему и избегать плохого. Нередко на трудные жизненные вопросы мне помогали найти ответы простые народные сказки. В фольклоре каждого народа заключены одни и те же истины. В этом мы убедились, сравнивая сказки нивхов, мари и русичей.

Раушан Гайнуллин,

ученик 10 класса ГБОУ «Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», г.Лаишево, Республика Татарстан

По направлению к Милосердию, Мудрости и Красоте

Произведение национальной литературы, по которому я бы снял фильм

Не найдя смысла жизни
Появляется слепота...

Уважаемый читатель, если речь заходит о съемках фильма, то я бы, конечно, снял фильм по произведению татарского писателя Шарифа Еникеева «Судьба Солтангарея». Почему именно фильм? Да потому, что это произведение читается не только как художественная книга, а как завораживающая история, воспроизведшая психологию слепого человека.

Автор, как человек, потерявший зрение в раннем возрасте, досконально, детально описывает переживания и чаяния своего героя, как будто это его личная автобиография. Это его крик души, информация, не доступная для большего слоя населения не из-за того, что люди не хотят знать об этом, а из-за того, что эта тема недостаточно освещена.

С целью ознакомления людей с проблемами социализации и интеграции людей с ОВЗ в общество я и предлагаю снять фильм по этому произведению, потому что кино смотрят больше людей, чем читают книги (очень жаль).

В произведении через образ главного героя писатель показал стремление к своей мечте и как он вместе со своим героем тоскует по целостности человеческого существования. Он показывает, как человек с ограниченными возможностями здоровья становится личностью.

Произведение построено на образе мальчика, который в силу жизненной ситуации остался сиротой и, наконец, ослеп. Его тяжелый жизненный путь в адаптации к миру можно сравнить с рождением нового человека, человека, который родился в кромешной тьме, что и является сюжетом произведения. Это повесть о том, как через стремление стать независимым от окружающих, найти и понять смысл своего существования рождается личность.

После потери зрения мальчик шаг за шагом постигает мир через звуки, остаточные воспоминания. Он постепенно изучает психологию людей. На протяжении всего произведения его сопровождают такие понятия, как красота, добро, любовь к природе.

В разных жизненных ситуациях люди по-разному выявляют свою сущность: некоторые — как Кадыр (Крючок), стремящийся к лучшему, стремящийся к знаниям, труду, а некоторые — как Иван, погубивший себя сам. Я хочу привести одно его высказывание, которое, по моему мнению, полностью охарактеризовывает его: «Глаза, говоришь? Глаза не только тебе, глаза и зрячим нужны. Зрячие, они ведь тоже не видят. Что ни прикажут им, они выполняют. Как бараны, выполняют. Кто им глаза раскроет? Есть ли сила такая? Не знаю. Я конченный человек! Я сам слепой».

Солтангарей же пошел по своему пути, ему свойственны разочарования и обиды, он находил воодушевление и утешение, прошел через унижения и оскорбления, но не потерял своей человечности.

Долго Солтангарей был поглощен своим горем, долго искал он, сам того не

понимая, свое назначение в жизни, и, наконец, главное его желание — быть независимым от окружающих — сбывается.

К сожалению, не сбылась эта мечта у его отца — Батыргаря, который в силу жизненных ситуаций сначала остается сиротой, потом работает на Хасана, который, когда Батыргарей потерял здоровье, выгнал его, не заплатив за его 12-летний труд. Только большая любовь помогла ему соединиться с Зайтуней, которая, к сожалению, умирает, оставив сына сиротой. И опять Батыргарей возвращается в свое село и нанимается работать пастухом. Где безвинно погибает.

Вроде бы Солтангарею уготована та же участь — зависеть от людей, от подаяния. Эта сюжетная линия добавляет яркости в рассказ, делает его более полным.

Через сострадание к другим Солтангарей понимает, что он не один несчастный в этом мире. Просто есть разные стороны несчастий. Как в случае с Иваном — это зависимость от наркотиков, с Золейхой — сиротство и ужасное отношение к ней ее мачехи. В любых ситуациях в нем живет надежда на лучшее, он умеет учиться новому, что у него хорошо получается. Он, подобно птице Феникс, сгорает и возрождается, с каждым разом становясь лучше.

Семейная жизнь с Золейхой, получение образования и рождение детей и, наконец, возвращение ему зрения — все это стало для Солтангаря вознаграждением за его тяжелые и болезненные искания.

И этот фильм должен показать, что не надо обвинять окружающих в своих бедах, перекладывать ответственность на других, может быть, стоит более критично относиться к самому себе. Что рядом должны быть люди, которые могут в трудную минуту прийти на помощь, оказать поддержку, показать, что они и есть направление, где есть Милосердие, Мудрость и Красота. Этот фильм должен пробудить интерес людей к самим себе, к окружающим, помочь сохранить самое ценное, чем обладает человек, — человечность.

*Сценарий фильма «От чистого сердца»
по книге «Судьба Солтангаря»*

*Посвящается моим родителям, которые в самые трудные моменты
моей жизни были и остаются со мной,
которые вовремя прочитали мне эту книгу*

Погожий солнечный день. По дороге бежит мальчик лет двенадцати, задыхается, за ним бегут четверо подростков, у них в руках палки.

Мальчик вбегает на стройку, за ним, не отставая, четверо подростков.

— Что — попался, Ильяс! Скажи, что откажешься от Маши!

Подростки теснят мальчика к проему.

— Не-ет!

Ильяс прыгает.

Темнота. Звук сирены скорой помощи.

Больничная палата. Ильяс лежит с забинтованными ногой, рукой и головой. Нога на вытяжке.

Разговор мамы с врачом.

— Нам главное спасти мальчику ногу. Очень сложный перелом. Придется провести много времени в гипсе.

Мать плачет. Заходит к сыну.

— Сынок, как ты?

Ильяс, не открывая глаз:

— Больно.

— Все у нас будет хорошо. Доктор сказал, ты поправишься. Сынок, может, откроешь глаза, посмотри, я твои любимые яблоки принесла.

— Яблоки? — пытается открыть глаза. — Больно.

Разговор матери с доктором.

— Доктор, что у сына с глазами?

— Следствие черепно-мозговой травмы. У ребенка может развиваться слепота...

Надо ребенка готовить психологически.

Мать плачет.

Через некоторое время. Та же палата. Мать вслух читает книгу «Судьба Солтангарея».

«— Вставай, сынок, пора!

Да где уж там! От прикосновения теплой отцовской ладони Солтангарею еще больше захотелось спать....»

— Мам, а зачем они так рано идут в поле?

— Чтоб коровки травку ели и молока побольше давали.

— Он отцу помогает. Это их работа. За это им деньги платят.

Продолжает читать.

«— Папа, солнце встает, солнце! — радостно закричал он, вбегая в дом».

Ильяс плачет. Мать утешает его.

— Что такое, почему плачем?

— Мама, а я смогу увидеть солнце?

— Конечно, сынок. Медицина ведь не стоит на месте.

Отец разговаривает с врачом, врач говорит, что готовит мальчика на выписку.

— А как же глаза?

— К сожалению, в настоящее время надо проходить много обследований и лечений. Я надеюсь, что зрение к мальчику вернется.

Отец заходит в палату:

— Ну что, богатырь, пошли на выписку!

Возникают строки из книги: «Не на шутку рассердившись, Батыргарей абый шумел и ругался, но внезапно притих. Он понял, сколько ни ругай двенадцатилетнего мальчика, делу не поможешь, корову не найдешь. Ему стало жаль сына. — Ну а провалилась, так тому и быть, значит. От своей судьбы не уйдешь». Ильяс думает: «Надо же было пропасть именно корове Хасана. Ну и скверный же этот человек, Хасан. Сам продал мясо своей коровы, сам еще и обвиняет пастухов».

Ильяс дома, лежит с загипсованной ногой, бредит. Ему снится сцена из книги, где Батыргарей с Солтангареем приходят к караулке, где Хасан мстит Батыргарею за Зайтуну, убивает его, калечит Солтангарея. Подходит к нему мама, нежно будит его, промачивает пот, выступивший у сына на лбу.

— Мама, а почему никто не заступился за Солтангарея? Почему Хасан бай такой злой?

— Потому что в жизни есть место несправедливости.

У Ильяс срослись кости. Но встать он не решается. И вот когда все ушли на работу, он встает и не знает, куда идти. Вспоминаются строки из книги: «Когда никого не было дома, он потихоньку стал осваиваться внутри дома. Сначала ему было очень трудно: он постоянно натывался на что-либо, ударялся, пока хорошо не изучил, где дверь, где печка, где окна... Постепенно мир мальчика стал расширяться... Его глазами стали теперь руки...» Ильяс вытянул вперед руки и продвинулся вперед. Наткнувшись на стул, он опять останавливается и вспоминает: «надо считать шаги».

Вернувшись на свое место, он присел и пошарил руками вокруг.

— Вот стул, на нем стоят вода в чашке и фрукты, которые оставила мама на случай, если проголодаюсь. Вот полотенце, если надо будет, — какое оно мягкое. Впереди ничего нет. Так откуда же взялся этот стул, который остановил меня?

Ильяс встает, протягивает руки и нащупывает стул — «ага, вот он». Обойдя стул, он продвигается дальше. «Где же это дверной проем?» Не найдя его, он возвращается обратно. Как долго тянется день, когда себя занять нечем!

«Целыми днями мальчик лежал без движения. Это измучило его, ему хотелось вскочить, выбежать на улицу и пройтись по деревне в хрупкий рассветный час, играя на рожке, как раньше, когда был подпаском.

И то, что казалось ему раньше трудным, казалось теперь привлекательным...»

Пришла мама, в доме стало как-то тепло и уютно.

— Привет, как дела?

Ильяс заплакал.

— Ну что ты, что ты, — мама присела рядом, обняла его. — Все у нас будет хорошо, вот собираем документы, чтобы ехать в клинику на обследование.

— Мам, а еще долго ждать?

— Нет, сынок, неделю-другую — и поедем.

Ильяс еще не знал о финансовых затруднениях семьи.

Позвонили в дверь, мама открывает дверь, послышалось:

— Здравствуйте. Можно пройти к Ильяссу?

Кто бы это мог быть? Очень знакомый голос.

— Здравствуй, Ильяс.

— Здравствуй, Луиза.

Это была его одноклассница — Луиза. Ничем не примечательная девочка, на нее никто в классе не обращал внимания. Не то что на Машу. Как же она выглядит? Ильяс не помнил этого, а ведь целых пять лет учились в одном классе!

— Вот, пришла навестить тебя после школы. Знаешь, у нас в классе такой переполох, такой переполох случился, как узнали, что с тобой случилось. Мальчишек этих все осуждают, на учет поставили!

Она без умолку говорила о новостях в классе, о том, кто что сказал, куда пошел. А Ильяссу было неловко оттого, что он раньше не обращал на нее внимания, и оттого, что он выглядел таким беспомощным!

— Ну вот, кажется, все рассказала, я к тебе в следующий раз зайду. До свидания.

Голос за кадром:

«Поправлялся он очень медленно.

Иногда, не выдержав лежания, пробовал вставать, но тут же со стоном падал: ломило спину, ноги, руки, ныло все тело. И только доброта людей, навещавших его, неутомимые хлопоты старой Сахипжамал помогали ему иногда забыть о себе.

Он подружился с маленькой Золейхой. Раньше он никогда не водился с маленькими, тем более с девочками....

И вдруг сейчас оказалось, что маленькая Золейха стала для Солтангарея очень нужным человеком».

Луиза приходила еще не один раз.

— Представляешь, сегодня Саша на уроке литературы свалился со стула, ну и грохот был! А Гена получил двойку по географии! Сегодня отменили урок английского, англичанка на семинар какой-то ушла, и мы всем классом в кино слиняли... Ой! Я что-то не то ляпнула. Прости...

Ильяс ходит по комнате, идет на кухню, самостоятельно наливает воды из крана. Умывается.

- Сынок, иди кушать, — зовет мать.
- Иду, — отвечает Ильяс. Садится за стол, нащупывает ложку, кушает.
- Мам, а что это у тебя настроение такое хорошее?
- Завтра, сынок, мы едем в клинику.
- Урааа!!! Наконец я буду видеть!

Голос за кадром:

Прошел месяц после возвращения его из клиники. Прогноз неутешительный — «пока медицина бессильна».

— Папа, я ведь все равно должен учиться. Есть ведь специальные школы, где обучают таких детей, как я!

— Давай, сынок, сначала попробуем обучиться работать на компьютере.

И началась для Ильяса новая жизнь с компьютером. Он целыми днями учился работать на клавиатуре, набирать тексты, слушать аудиокниги, которые ему были так необходимы. Теперь уже не надо было ждать родителей, чтобы ему почитали. Перед Ильясом открывался новый, увлекательный мир книг.

— Скоро первое сентября. У тебя будет новая школа. Там учатся такие же дети. Ты ведь хотел научиться системе Брайля

— Как меня встретят? Какие будут учителя? Найду ли я здесь новых друзей? — делился он с Луизой.

— Добрый день, дорогие ученики! — по микрофону обращается директор школы.

— Мама, какой громкий и в то же время нежный голос! Должно быть, она добрая, — говорил Ильяс маме.

— Поздравляю вас с новым учебным годом!

Все принимали поздравления, говорили и бывшие ученики, и будущие выпускники.

Вот линейка закончилась, и родители повели его в класс. Он познакомился со своим классным руководителем. Ее звали Нелли Ахметовна.

— Ну, здравствуй, Ильяс. Здесь будет твой класс. Ребята познакомят тебя со школой, а мы поближе познакомимся с твоими родителями. Ребята, кто готов помочь Ильясу?

Послышались голоса нескольких мальчиков.

— Никита, помоги однокласснику. Иди, Ильяс, а родители тебя здесь подождут.

— Иди, сынок, иди, — слышались голоса родителей.

К нему подошли ребята, кто-то взял его за руку,

— Я Никита, будем знакомы. — Он положил его руку себе на плечо. — Пошли за мной.

Как легко было идти за Никитой, он шел медленно, но уверенно.

— В нашей школе два этажа, на первом этаже находятся кабинеты директора,

завучей, столовая, спортзал, кабинеты ЛФК и другие. А вот учебные классы находятся на втором этаже.

- А школа большая? — спросил Ильяс.
- У нас учатся более 100 человек!
- А это много?
- Если в классе по 12 учеников — считай сам!
- Так мало?!
- Это не мало, потом сам поймешь.
- Саша, а ты видишь?
- Ты в смысле — зрячий ли я? У меня остаточное зрение.
- То есть?
- Я вижу свет.

На этом он остановился и повернулся:

- Мне сказали, что ты незрячий?
- Да, я потерял зрение, но говорят, можно вернуть.
- Они все так говорят. Ты больно-то не надейся, — сказал Саша с горечью.

Ильяса обучают системе Брайля:

— Вот 6 точек, из них мы будем составлять слова, — говорит учительница. — Это прибор и грифель, при их помощи мы будем писать.

Голос за кадром: «На первом уроке учитель познакомил слепых с предметами, необходимыми для письма. Ими оказались железная дощечка в мелких дырочках и маленькое шило, выполнявшее роль грифеля. Железная дощечка была побольше тетрадного листа и состояла из двух пластинок. Верхняя пластинка представляла собой решетку из одинаковых прямоугольников, расположенных ровными рядами...

Учитель раздал несколько листков с бугорками наколов. Дал он своим ученикам и целую книгу с такими же страницами».

- Представляешь, Никита, я думал, когда читал книжку, какие бугорки, какие дыры, а тут, вот они — буквы! Какой все же умный был этот Брайль.
- Да среди незрячих не только один Брайль умный, знаешь, сколько их!
- Тебе придется навестывать, не радуйся раньше времени.
- Смог же Солтангарей за 2 месяца научиться читать и писать. И я научусь. Я же не Кадыр, который не чувствовал этих дырочек-бугорков, хотя у него многое что другое получалось.

— Ильяс, а что ты всегда вспоминаешь про какого-то Солтангарея? Это ваш родственник?

- Представляешь — это книга.
- А как называется?
- «Судьба Солтангарея».
- Дашь почитать?
- Мне ее читали... в самом начале... Не знаю, есть ли по Брайлю. Надо в библиотеке спросить.

RS. Через два года, после неоднократных операций, Ильяс стал видеть и стал ходить в обычную школу. С Никитой он продолжает дружить, а с Луизой дружит повзрослому.

В артисты я бы предложил учеников и учителей нашей школы.

Елена Иваницкая — Анатолий Королёв

Гибель бумаги

Диалог критика и писателя

Елена Иваницкая: «Скрипящая в трансцендентальном плане, несмазанная катится телега», — сказал поэт. Мне все больше кажется, что этот образ относится к нашей современной литературе.

На днях читатель (тот самый «читатель», которого литература уже много лет «теряет») сказал мне, что ориентируется в выборе книг на читательские отзывы в Сети. Если многим нравится, объяснил он, то книга заведомо «читаемая», написанная для людей. А если хвалят литературные критики, то вряд ли будет интересно: у них странные вкусы и какие-то свои, непонятные цели, не имеющие отношения к живым людям, которым предстоит купить и читать книгу. Впрочем, спохватился он, книжных критиков послушать полезно: они откровенно *пиарят* изданный продукт, их отзывы почти всегда совпадают с читательскими, а что касается литературных премий, то я давно не обращаю на них внимания.

Сегодня вряд ли кто-то станет спорить, что у нас разлад и потеря взаимопонимания между писателем — читателем — издателем — критиком — редактором — наградами.

Вопрос в том, было ли когда-нибудь иначе, а если да, то когда?

Лермонтов рисовал торжественно-героические картины далекого (вымечтанного) прошлого, когда голос поэта-пророка воспламенял бойца для битвы и звучал, как колокол на башне вечевой. В сущности, Лермонтов сказал, что поэты не нужны. Поэт-пророк должен быть один. Как вечевой колокол или «чаша для пиров» — круговая чаша, единственная. Поэзия настоящего — «блестки и обманы» — утратила свое «назначение» и священную «власть» ради «злата». То есть ради читателей-покупателей, как я понимаю. Этот суровый приговор был произнесен над тем «изнеженным веком», который мы сегодня называем Золотым веком русской поэзии.

В самую, напротив, мрачную, мертвую для русской литературы пору поздней сталинщины гремело фанфарное ликование: все прекрасно, лучше не бывает! «Прежде всего следует сказать о колоссально возросшем интересе к советской художественной книге. <...> Тот подъем, который переживает советская художественная литература в последние годы, после исторических решений партии по идеологическим вопросам, нашел исключительно горячий отклик у самых широких слоев читателей. <...> Требование правды в искусстве соответствует всему моральному облику советского человека. Жизненность, правдивость художественных образов, помогающих понять и осмыслить нашу современность, отмечают читатели «Счастья» П. Павленко, «Белой березы» М. Бубеннова, «Алитет уходит в горы» Т. Сёмушкина». Так писал Генрих Ленобль в статье «Советский читатель и художественная литература» («Новый мир», 1950, № 6).

Взаимная заинтересованность, несомненное притяжение литературы и читателя существовали в течение нескольких лет в конце 80-х и самом начале 90-х. Насколько

это единство было иллюзорным — сложный вопрос. Реальным оно тоже было, о чем свидетельствует и счастливая читательская судьба вашей повести «Гений местности».

Анатолий Королёв: Увы, прежде чем подхватить вашу тему, я вынужден взять дистанцию дальнего взгляда и развернуться в точку старта, которая, возможно, кое-что прояснит и, надеюсь, придаст нашему разговору правильный тон. Взявшись за перо в юные годы, я не понимал, что практически обречен, потому что глупо скакал на детской лошадке амбиций и замахивался прутиком Дон-Кихота на догмы социалистического реализма в царстве советской *плоскатиш*. Я не понимал, что любая эстетическая дерзость в 60-е годы будет считаться только позой, за которой нет никакого содержания. Всякая озабоченность формой априори списывалась в утиль с напором бульдозера против искусства для искусства. Советизация культуры нанесла главный удар вовсе не по содержанию, как у нас принято считать, не по антисоветчине и поиску правды-матки, а по нюансировке творческого высказывания, по эстетике и по артистизму.

В сфере содержания с нашей литературой было все в полном порядке — несмотря на разделение литературы на ту, что писалась за кордоном в диаспоре, и ту, которая существовала под партийным, непротекающим зонтиком в метрополии в СССР... — в общей целокупности суммы Набокова/Булгакова/Шолохова/Солженицына/Замятина/Платонова проза XX века мало чем уступала русской классической литературе XIX века. За одним исключением...

Тут чуть подробнее.

Формальная связка новаций и традиций существует, на мой взгляд, как дихотомия: скажем, новый язык современной живописи возникает сначала в фотографии, в кино — обновление стартует чаще в документальном кино и только лишь затем обогащает арт-хаус и Голливуд. В литературе роль запала играет поэзия. Там рождается та божественная игра формы, которая затем коронует (или не коронует) содержание, прозу, мемуары и прочую беллетристику.

В моем частном случае было именно так, но мне выпал парадоксальный жребий... «Крестной матерью» моего опасного увлечения писать стала полуслепая девочка восьми лет, легендарная Мину Друэ, ныне совершенно забытая, о которой, между прочим, Ролан Барт написал примечательное эссе. Портрет этой чудесной куклы с большим бантом на голове и ее стихи были опубликованы в журнале «Работница», в 1955-м году. Это был единственный журнал, который мы выписывали, потому что там печатались выкройки, а моя мама по бедности все свои наряды шила сама. Мину Друэ писала стихи в манере верлибра, и понять, что это именно стихи, было выше моих сил. Но, видимо, я был потрясен. Впрочем, как была потрясена тогдашняя Франция чудом гениального вундеркинда. Почему — видимо? Да потому, что этот эстетический шок от свободы слов и натиска метафор я пережил уже на краю той бездны, которая известна как пубертация. Три года смерти — это отдельная тема.

Чудом уцелев в черном котле метаморфоз, я, мальчик-отличник, чистюля и блондин, нежданно-негаданно обнаружил себя в теле нагловатого подростка-брюнета, который тарашился на меня из зеркала прыщавым лицом негодяя-двоечника. Из этого состояния наглости я прыжками обезьяны переключался в состояние пылкого амбициозного юноши, который почему-то решил заняться искусством... Короче, все мои первые опусы были копией манеры именно Мину Друэ (которая фактически «умерла» ребенком), о чем я совершенно не подозревал, потому как напрочь забыл того себя перед смертью. Признаюсь, этот факт я явственно осознал уже лет в сорок, когда давно стал профессиональным писателем...

Тут что важно подчеркнуть? Что я прискакал на деревянной лошадке вызова в мироздание русской литературы как абсолютный продукт чуждой французской культуры, как фрукт иной манеры бытия, этакий мальчик-бананан. Все мои первенцы в прозе были осколками галльского зеркала. Но жизнь живо взяла в оборот провинциального выскочки; поступив в университет на филфак, я чуть огляделся и понял, что мои кумиры в русской стране великанов — это в первую очередь Гоголь, а во вторую — Андрей Белый. Европейским образцом стал для меня Джойс.

В моих поисках образца нет ничего необычного — тривиальный старт любого писателя... Но! Хотя русская литература вышла не только из «Шинели», но и из гоголевского «Носа», социальная революция привела к тотальному главенству повествовательности, а под ферулой партии и приказов писать понятно и разборчиво для крестьян и рабочих вскоре выросло чудовище советского просторечия, каковое до сих пор продолжает марш безыскусности и длит торжество тиражей ширпотреба и беллетристики.

Что собой представляли в плане формы 60—70-е годы?

Всякие поиски конфигурации ушли в авангардную живопись и кино, литература, ворочая якобы глыбами смысла, игнорировала вопросы формы. Лена, я тут немного утрирую. Но я говорю языком метафор, чтобы меня легко понял тот самый ваш читатель, который не почитает всяких там критиков.

Идеальная литература — это равновесие формы и содержания.

Исключение формы из этой диалектики прав грозит омертвлением языка. Но, увы. Мы страна максимализма. Если восход солнца был затронут перлами формального языка, то зенит и закат советской империи был описан исключительно языком просторечия. Даже Набоков поставил содержание выше формы, хотя и говорил, что это, мол, ложный дуализм. Кумир 70-х Булгаков в его великих посмертных романах все-таки равнодушен к языку постава. Это прекрасный реализм высшего розлива, как и творения Замятина, Бунина, и несть им числа. Погибшие тени Серебряного века, те же обэриуты, оказались вообще за чертой внятности.

Парадокс, но именно гениальная клоунада Хармса стала замыкающей в серии возвращенной литературы. Вот последнее имя в том оглашенном списке. Если я не прав, поправьте меня.

Уф, вот только сейчас я, наконец, подошел к ситуации с моим «счастливым успехом» у критики и читателя, я о повести «Гений местности», о которой вы заметили выше...

В топку этого паровоза я бросил отказ от всех (!) своих первых текстов.

Все мои публикации в журналах и две стартовые книги были искалечены именно в части эстетики, содержание никак не пострадало. Особенно плачевным оказался опыт в элитном издательстве «Советский писатель». Я хотел написать роман смирения речи и умаления гордыни изыска перед судьбами человека, решился рассказать о маленьких людях, размечтался (глупец!) повторить шемящий опыт Достоевского, вот мои новые «бедные люди»... Редактура романа «Вечная зелень» стала кошмаром для моего *симфонического* языка.

Тут я окончательно осознал трагическую ситуацию в сфере эстетики: мы все в плену омертвевшего поля безликости — и, отложив в сторону все свои замыслы, написал книгу о том, что в истории России главный двигатель не экономика вовсе, не идеология, не политика, не культура, не равенство и прочее братство, не поиски Бога, не эмансипация и даже не справедливость, а красота!

Ей, красоте и ее сиянию, я посвятил свою повесть, описав историю метаморфоз красоты на примере жизнеописания пейзажного парка длиной в пятьсот лет, от молекулы идеала — скита — до пейзажного гения Екатерины и советского парка культуры и отдыха... Тень... застенчивость...шум дубравы...переливы ручья...гений стрекоз над гладью сияющей синевы... солнечный дождь... артистизм снегопада... Вот чему я отдал те рукописные страницы... Я даже отказался от пишущей машинки и писал по старинке рукой на бумаге, чтобы вспомнить, что и у меня когда-то был почерк... Я писал, спохватившись за судьбу прекрасного... И вы были одной из первых, кто понял природу моего тогдашнего вызова.

Елена Иваницкая: Литература, «настоящая литература», у нас всегда подразумевала, неявно, но несомненно, нечто суровое, принудительное, страдательное. В таком духе, будто писатель пишет из тяжкого долга со сверхзадачей спасения России (или построения коммунизма), а читатель вынужден читать из тяжкого долга со сверхзадачей воспитать себя бойцом ради спасения России (или построения коммунизма). Тут уж не до артистизма и эстетизма. «Советский писатель пишет для миллионов, — строго

указывал Генрих Ленобль в той же статье "Советский читатель и художественная литература", — и то, как воспринимают и оценивают его труд миллионы, имеет для него первостепенное значение». Сегодня вряд ли писатель рискнет сказать, что пишет для миллионов. Но роковые слова «для немногих» — тоже не скажет. Для кого он пишет — этот вопрос вновь стал непонятным.

Вы ставите себе сверхзадачу спасти Россию и воспитывать бойца? Для кого вы пишете? Как вы относитесь к своему читателю, когда пишете? Рассерженный читатель, мой собеседник, со слов которого я начала наш разговор, относится к писателям подозрительно и даже неприязненно: «Вы сомневаетесь, что книги — это товар, что гуманитарии придумали себе хороший бизнес? Мы, бедные читатели, тратим порой последние гроши, чтобы отдаться общению с интересным человеком. Но ведь это иллюзия коммуникации — изощренные нарративные уловки акул пера. О какой тут солидарности писателя и читателя может идти речь?»

Анатолий Королёв: Согласен с вами в посыле — сверхзадача спасти отечество однажды раздавила и литературу, и писателя и явно внесла смуту в головы прилежных читателей. Опасность этой установки чувствовал тот же Лермонтов, который образом поведения поэта считал парение демона в голубой бездне над миром — его трубный шепот: будь к земному безучастен! Да и Пушкин сторонился от жребия соучастия в суете бытия: поэт, ты царь, живи один. Но история России не посчиталась с грезами кумиров. Наоборот, новое время назначило литературу трактором в перепахивании индивидуализма и превратило коллективизм в добровольное массовое самоубийство личности. Долг читателя был принять активное участие в этом устранении себя самого. И писатель первым подает пример сладкого растворения сахара в кипятке крепкого партийного чая. Мы стали страной бойцов и санитарок. Парадокс, но капитализм эту советскую установку на ширпотреб ширпотреба только в разы усилил. Теперь мы все — трофеи социальной рекламы в наилучшем из возможных миров (почти по Лейбницу) и счастливые дети чужой наживы и прибавочной стоимости (по Марксу).

Но тут есть ряд тонкостей.

Вернемся к началу...

Так вот, сейчас я вообще принципиально не пишу «для людей».

Признавшись в таком умонастроении — вы правы — я неминуемо подставляюсь.

Но тогда для кого и зачем ты строчишь часами, писака?

Вопрос о читателе был для меня всегда зоной дискомфорта.

Чаше я намеренно избегал прямого ответа, хотя прекрасно понимал, что умолчание говорит о проблемах с чувством ответственности. Хочешь ты этого или нет, но книга — это союз текста и чтения. Средостение бедного писателя с бедным читателем. Между тем, даже сочиняя свои глуповатые отроческие опусы, я с крупным школьным наклоном надписывал на тетрадке в косую линейку: *для пятиклассников*. То есть даже лопухий школяр понимал, что у написанного должен быть конкретный получатель.

Позднее эту головоломку писательской участи с адресатом для текста я обозначил как сумму нескольких векторов: а) ты пишешь безадресно, ради литературы как таковой в чистоте ее бытийного субстрата, б) ты пишешь отчасти для себя самого, в) ты пишешь для круга знающих толк, т.е. для избранных, для партера экспертов, где принято читать партитуру с листа... следовательно, твой читатель не «пипл» и не он «хавает»...

На уровне логики вроде бы верно, на уровне самооценки — напротив.

Эгоизм этой классической позы был для меня самого все-таки неприятен.

Я стал искать решение от противного.

Если цель титанов русской литературы была — упростим — исправление нравов, воспитание человека, уроки для общества, нравоучение для тысяч, наказания за преступления и т.д., то последствия такого учительского поучительного идеализма были внезапны. Что из этой совершенной машины суггестии вышло, мы знаем; тут я

не отделяю роль русской литературы от умонастроений конца XIX века, а плюую ее к мейнстриму... ГУЛАГ и печь Освенцима стали общим итогом развития европейской мысли. Кризис гуманизма был тотальной участью всех. Раз так, решил я — то правильной формой моего личного поведения внутри замысла будет написание такого текста, который не будет иметь никаких *прежних* последствий для человека.

Итог был вновь неожиданным — если прежний роман был готов разделить пиршество с почитателем и охотно забирал пассажиров на борт «Титаника», то мой новый роман (онтологически замкнутый) разом выбрасывал читателя за борт тонущего корабля.

Оказалось, что последствия диктуют поведение причине.

Между тем — подсказывает память — пока ты находился в состоянии поиска жребия и не был накрыт куполом экзистенциальной непогоды, ты писал свою повесть о парке (1988/1990) в состоянии любви к тому, кто, возможно, заглянет в журнал.

Да, соглашусь. Я нежил и баюкал читателя, баловал, гладил непокорные пряди, нашептывал на ушко, кудесничал. Если есть некое умонастроение природы — гений местности, — грезил я, значит, должно быть еще одно божество — гений текста — некий надмирный аполлон воображения. Ему, абстрактному гению текста, с душевным трепетом — вслепую — вручал я свои страницы, и — да — это был, пожалуй, последний пример счастливой гармонии.

Редкий момент взаимного притяжения книги с читателем!

Другой мой роман — «Человек-язык» — написан уже в совершенно ином ключе, даже мне перечитывать эту *пытку* сейчас нелегко. Язык книги намеренно сконструирован, сделан как можно более дискомфортным для чтения, шрифт, буквы и прочий инструмент как набор хирургических скальпелей и т.д. Читатель! Тебе не будет пощады. Берегись. Дальше — только больнее. Каждая буква будет ёжиться иглами в глаз... Наконец, сам герой — несчастный уродец с патологическим языком, что висит ниже подбородка и закрыт стыдливой маской из марли, и прочий, прочий телесный кошмар сюжета о свадьбе невесты с монстром.

Сказать, что роман «Человек-язык» написан «для людей», — pardon за каламбур — язык не повернется. Кто же в таком случае истинный читатель этого текста? Знатор? Я сам? Или мой читатель — все тот же пушкинский гений, аполлон местности бытия моего текста, он же *жажда бумаги* (Пастернак: А ночью, поэзия, я тебя выжму во здравие жадной бумаги...)

Понятно, что по большому счету это уловка и тоже не ответ на строгий кардинальный прямой вопрос восклицания: кто он, ваш читатель, в конце концов, для кого, почему и зачем ты так самозабвенно строчишь, сочинитель?

Или это род наркотический иглы, с которой не слезть?

Другая установка *поведения текста* была выбрана для романа «Эрон».

Повторю то, что вам уже было однажды сказано.

Моя цель — свобода, независимость от правила и тотема нормы, детскость и дерзость, спонтанность наброска, с каждой страницей я стараюсь увеличить свою раскованность и одновременно увеличить свободу читателя. Перегрузки тут неизбежны.

Что ж, итоги такой установки были вполне очевидны — двадцать долгих лет я не мог найти издателя для полной версии своего романа, сам объем которого говорит о безумии автора. Участь практически всех других моих текстов тоже весьма незавидна, годы и годы уходят на выход романов в свет. Семь лет ушло только на роман «Хохот». Как писатель я почти что забыт. Но это нормальная ситуация на фоне прежнего культа литературы в стране, где смерть Льва Толстого на железнодорожной станции Астапово однажды приостановила на миг течение времени. Настала пора заслуженной отместки за литературоцентризм и белокипенной царской и красной кубовой советской державы. Вот два года назад я сказал, что ухожу из романистики. Ну и кто это заметил? Дед Пихто! Я ведь не Бузова Ольга. Так... буза в стакане воды. Что ж ответить вам и рассерженному читателю, которому интересно «отдаться общению с интересным человеком»? Только предельно честным рассказом о том, чем же озабочено мое

одиночество... и почему сегодня в жор беллетристики и нерест трюизмов мне все-таки есть дело до эстетики, до артистизма?

Но прежде чем продолжить наш диалог, Лена, хочу затронуть одну из тем нашей традиционной встречи за чашкой кофе в кафе Eat&Talk. Напомню. Дотошные менеджеры по продажам выяснили, что современный читатель не дочитывает до конца 80% купленных книг. Ну и ну! Бросает читать буквально в самом начале, в том числе — парадокс — мировые бестселлеры вроде Гарри Поттера. Согласитесь, что уж эти-то образчики чтива написаны именно «для людей». В чем тут-то причина, на ваш взгляд?

Елена Иваницкая: Разделю свою ответную реплику на две части.

В первой коротко и удивленно скажу, что не согласна со всеми вашими утверждениями, из которых, однако, вырастает такой интересный и парадоксальный рассказ о ваших отношениях с читателем. Я решительно не согласна с тем, что Пушкин и Лермонтов были безучастны к земному. Я решительно не согласна с тем беспредельным расширением, которое вы придаете идеям Теодора Адорно, говоря, что «печь Освенцима стала общим итогом развития европейской мысли». Но это предмет совсем другого разговора, большого и тяжелого.

А теперь часть вторая — о том, почему читатель бросает книгу недочитанной.

Во-первых, и я бросила бы верную половину терпеливо дочитанных книг, если бы не добровольно принятые на себя обязанности критика и рецензента. «Скажите, каково прочесть /Весь этот вздор, все эти книги, — /И все зачем? — чтоб вам сказать, /Что их не надобно читать!» Во-вторых, бросить книгу недочитанной — явление не сегодняшнее, а всегдашнее. Об этом хорошо знали строгие школьные библиотекари, которые проверяли, дочитал ли Петя-непоседа «Карлсона, который живет на крыше» или «Мальчика из Уржума». Лично я обе эти книги бросила в самом начале. В-третьих, взрослым читателям не задавали таких вопросов, как «дочитываете ли вы купленную книгу», и по умолчанию считалось, что дочитывают. В-четвертых, теперь задают, а взрослые люди не Петя и реальное положение вещей не скрывают.

В общем, причины мне казались понятными и даже очевидными. Но я подумала, засомневалась и решила проверить свои выводы, воспользовавшись возможностями социальных сетей. Вот что ответили мои собеседники, которых заинтересовал вопрос.

«Я редко не дочитываю. Может быть, из привычки доводить все до конца... Но я не читаю любую книгу: у меня есть эксперты, они меня практически не подводили».

«Дочитываю всегда».

«Читаю десяток страниц начала, середины и в конце. Если не захватывает ни в каком месте, то бросаю».

«Эту ситуацию наглядно иллюстрирует рынок электронных книг. Издатель эл. книги выставляет ознакомительный фрагмент, 20% объема, и примерно 80% читателей довольствуются этим: уровень понятен, к тому же платить или же совершать усилия по покупке книги не надо».

«Слово изменилось опять, стало инструктивно-описательным, автор исчезает из текста. Вот читатель и реагирует. Те же менеджеры могли бы подтвердить, что интерес к “нон-фикшн”, напротив, растёт. Это всё — как на Западе во второй половине 50-х (см. Майю Туровскую — “Герои безгеройного времени” — интеллектуальный бестселлер начала наших 70-х). Теперь литературные сюжеты унифицированы, искусных рассказчиков в стиле О’Генри кот наплакал. А жизнь такое закрутит... Пора появиться Бальзаку. И Диккенсу. Только по-русски пишущим. Тогда люди снова будут читать от корки до корки. Как Толстого и Достоевского».

«Бывает так, что книжка просто надоест несколько раньше, чем закончится».

«Слишком большой поток информации, нужно торопиться жить. И если книга отстаёт от ритма жизни, тем хуже для этой книги».

«Книги! Я посты до конца дочитывать перестала».

«Я дочитываю все книги с сюжетом. Нон-фикшн идёт труднее. Так в “мои 5 процентов недочитанных книг” вошли “Чёрный лебедь” и “Будущее разума”. Пусть пока полежат, вернусь».

«Да, очень много начато и заброшено... книги, дела, люди — это что-то в нас. Надо это как-то осмыслить, но времени нет».

«Я часто не дочитываю последнее время, хотя книги хорошие. Дочитала за 2 года только 2 книги, просто совпали с ощущением себя в окружающей среде. Первая — "Биоген" Давида Ланди, вторую недавно обнаружила, прочитав один рассказ из книги, она на Литрес есть — "Солнце, тень, пыль" Бориса Крижопольского, особенно два рассказа понравились: "Блики и тени", "Запертый сад"».

«Если не дочитываю, то причина скорее во мне, чем в книге».

«Не дочитываю. Хотя стараюсь покупать только проверенных авторов. Увы. Какая-то перенасыщенность. С тоской вспоминаю, как читала когда-то Бальзака, Стендаля...»

«Книжки в большинстве своем плохие. Авторы или лишены таланта, или не стараются в должной степени, потому что ничего для себя от этого не ждут — ни славы в вечности, ни денег прямо сейчас».

«За последние лет 10 не дочитал две: "Ибица — это глагол" и "Улисса"».

«Я могу сказать лишь, что я все дочитываю. Но это потому, что я читаю очень выборочно. И мало».

«Вообще перестал читать книги полностью. Отрывки, урывки».

«Все просто: книг стало очень много, качество снижается, а внимание концентрировать все тяжелее, много отвлекающих факторов: соцсети, видео и т.д. Времени все меньше на чтение. Кроме того, нейромаркетинг: издательства затачивают названия книг, дизайн обложек и весь маркетинг на создание вау-эффекта в момент привлечения внимания и покупки, а после ты понимаешь, что купил то, без чего можно было бы и обойтись».

«Победа клипового сознания, я думаю. Люди не выдерживают больших текстовых объемов — отвыкли и утратили навыки длительного и вдумчивого чтения».

«Количество концовок, которые понятны без дочитывания, увеличилось многократно».

«Это вот так: читаешь, читаешь, читаешь — отложишь из-за других забот, а потом не возвращаешься, хотя книга хорошая. Порой из жалости я прочитываю последние страницы».

«Начала читать "Ненастье" Алексея Иванова, прочитала треть книги и отложила, написано хорошо, как всё у него, но вдаваться в эту историю не захотелось, тоска».

«Думаю, что добросовестными читателями остаются главным образом литературоведы, критики, преподаватели литературы и те читатели, которые пишут отзывы в сети, то есть люди, которым чужая книга нужна для самореализации. Если чужая книга "стать звездой" не помогает, то человек начинает искать другие инструменты».

Анатолий Королёв: Еще раз перечитав наш диалог, вдруг принявший крен в сторону читающих лиц, я понял, что был неточен в двух поворотных моментах, которые и привели к такому перекосу, между тем как я заранее заявил лейтмотивом разговора — желательно — проблематику формы, утраты в сфере эстетики, закят артистизма, а не более широкую тему писатель/читатель...

Так вот, в формуле *для кого* смысл разом транслируется к читателю, между тем будет точнее сказать, *почему ты* и *зачем именно ты*, тогда хотя бы часть смысла откатывается назад к причине рождения книги, к истоку, к писателю, который пленник именно формулы быть пишущим. Тогда я легко вижу проблеск выхода из ловушки вопроса в классической формуле Платона: «Аэд, разродись в прекрасном». Не в полезном или поучительном, не в нравоучительном или верном, не в моральном и сиюминутном, а в заоблачном, в прекрасном... там мы все утолим нашу жажду истины и жизни. Смысл певца и напевающего про себя в этих вот родильных родах общей причастности к бытию. Будь! — вот простой смысл творчества, и он обращен и ко мне, и к вам.

Рискну сделать комплимент самому себе. (Недаром Сергей Чупринин любит подтрунивать над моим писательским эгоизмом: да вы же мономан, Анатолий

Васильевич...) Мой «Эрон» был издан небольшим тиражом на моей малой родине в Перми, в издательстве Ольги Даниловой «Титул»... Жребий вычитывать эту толщу размером в тысячу страниц выпал милому корректору — И. (ограничимся инициалом), она в тот момент как раз ждала ребенка и была измучена токсикозом... «Не поверите, — сказала она мне, — когда я начинала вычитывать ваш роман ...мой токсикоз проходил, так целых два месяца читки я спасалась вашими страницами...» Это лучший комплимент, какой я слышал за всю свою жизнь, и одновременно точное попадание в сверхзадачу «Эрона», которую я всегда для себя определял одним ключевым словом — *противоядие*. В самом глубинном смысле этой вот экзистенциальности глубинного смысла. Противоядие от чего? А вот это мне неизвестно! Как яд ищет уязвимость в теле, так противоядие ищет уязвимость в душе, и не автору решать, о чем завяжется речь. Вы один из самых прилежных читателей этого романа, и, видимо, у вас есть свои основания для частого перелистывания. Но это ваш личный маршрут, я — автор — имею к этому лишь косвенное отношение.

Один из читателей очень верно подметил:

Если не дочитываю, то причина скорее во мне, чем в книге.

Согласен.

Следовательно, ключи чтения положены в родовых муках текста и заранее записаны на твое имя (или не записаны!), подобно тому как подземный сад сокровищ был заколдован печатью тайны на имя Алладина.

То есть весь ворох и разноголосицу ответов из соцсети можно сканировать по формуле восточной притчи.

Божественный вестник подал чашу воды и задал вопрос.

Что ты выпил? ...Глоток гноя, — ответил грешник в аду.

Что выпил ты? ...Глоток амброзии, — ответил в раю праведник.

Что испил ты? ...Чашу воды, — ответил мудрец в саду.

И последнее.

О недочитанном. Я тоже не дочитываю книги и согласен с вами, так было и раньше — за одним уточнением: я всегда дочитывал в отрочестве Майна Рида, Дюма, Жюль Верна, Джека Лондона, позднее Жоржа Сименона и Агату Кристи, Диккенса и Брэдли, Воннегута и братьев Стругацких. Бросить «Тома Сойера» или «Графа Монте-Кристо»? Ни за что... Я до сих пор перечитываю шедевр Александра Дюма от корки до корки... То есть книги, написанные сюжетными манками, срабатывали (при том, что прав Ортега-и-Гассет: манок сюжета бесчестен). Именно поэтому я и спрашиваю вас и себя: что же стряслось, отчего железная сцепка манков сегодня перестала работать, как прежде, ведь с точки зрения мастерства приманивать жертву и Гарри Поттер и Толкиен /Шелдон/Коэльо — это идеальные машины для пожирания твоего досуга, а перу Стивена Кинга принадлежит блистательная книга о ремесле писателя и технике написания бестселлера, которую я сам перечитываю для лекций на своем семинаре прозы в литературном институте. Кинг написал о сюжетной воронке намного умней и ярче, чем рафинированный интеллект Умберто Эко. Короче, поставим тут пока многоточие... — и перейдем к мысли Адорно, который обозначил словом Аушвиц (Освенцим) дух европейского кризиса в XX веке... Я, пожалуй, соглашусь с вами — этой характеристики уже недостаточно, я использовал тезис Адорно скорее как метафору, как знак и как привычную маркировку обозначения кризиса. Но у меня есть — есть — и свои соображения на эту тему.

Для наглядности вернусь к голосу ангела, который звучал над бездной той черноты, в которой я когда-то фактически умер в смоле пубертации... к Мину Друэ. Тут есть над чем подумать. Благо Ролан Барт написал весьма примечательное эссе о природе поэзии и онтологии формы, словно подслушал и опередил мою озабоченность на этот счет.

Добавлю только несколько слов.

Судьба Мину Друэ до сих пор одна из самых тревожных историй в послевоенной Франции. Мари родилась в июле 1947 года, в Париже. Она была незаконнорожденным ребенком, и родители-буржуа отказались от девочки. Бог им судья. Вскоре дитя-

парижанку усыновила мадам Клод Друэ из провинциального городка. Тут обнаружилось, что девочка почти что слепа, но при этом была настолько влюблена в фортепьяно, что стала жить внутри фортепьянной музыки и проявила такие способности, что завоевала внимание одного из мэтров Парижской консерватории. Между ними завязалась переписка, которая была так удивительна, что стала передаваться из рук в руки и в конце концов попала на глаза легендарному Рене Жюллиару, который только что издал дебютный роман Франсуазы Саган (дебютантке было 17 лет). Поразившись письмами восьмилетней девочки, смесью стихов и прозы, издатель принимает решение опубликовать сочинения Мину Друэ и в сентябре 1955 года выпускает в свет книжку «*Arbre, mon ami*» («Мой друг дерево»). Книжка стала сенсацией. Друэ становится знаменитостью. Она играет и читает стихи на сцене вместе с Казальсом и Сеговией. Ей исправляют зрение. Она видит. Наконец ее принимает в Ватикане сам папа Пий XII... Он готов признать, что в душе дитя брезжит свет самой девы Марии, культу которой он посвятил всю свою жизнь. Пресса начинает травлю французского чуда. Семью обвиняют в том, что все стихи вундеркинда написала приемная мать. Это афера! Проходит серия скандальных полусудебных проверок Мари. Она или не она? Приемная мать заставляет приемную дочь пройти проверку в полиции. Идет серия графологических, психотехнических и текстологических анализов. Дознание. Даже секвестр! Не может ребенок обладать такими взрослыми чувствами: «Я люблю воду, потому что она длится, потому что она никогда не оканчивает фразу, она не имеет одно и то же чрево, один и тот же голос».

Даже великий небожитель Кокто — эгоцентрик в кубе — приревновал к славе Мари и заявил: *все девятилетние дети гениальны, за исключением Мину Друэ*.

Одним словом, ребенок был замучен, истерзан, изнасилован и замолчал. Да, вышло еще несколько книжек, но они не имели никакого успеха, девочка выросла, пропала из виду, скрылась от слежки... Недавно Мину Друэ исполнилось семьдесят лет, остальное опустим.

В ракурсе нашей озабоченности судьбой художественного субстрата любопытно заглянуть в статью Ролана Барта (как-никак Барт один из столпов европейской культуры), где он, заступившись за судьбу подопытного кролика и справедливо негодуя на ухватки и нравы — разве что пытки не применялись! — между тем камня на камне не оставил от самой поэзии чудо-ребенка. Он не признал ее стихи стихотворчеством. Почему? Изложу его пространные тезисы кучно: загадка лишена сколько-нибудь значительного интереса, потому что не проливает свет ни на детство, ни на поэзию; воспевать гениальность вундеркинда — на деле вопрос экономии времени, дитя умеет то, что делают взрослые, вот де образец карьеры — это пошло; феномен поэзии не зависит от таких мелочей, как возраст, в любом изводе мы имеем дело с взрослым состоянием творчества; само понятие «вундеркинд» сугубо буржуазно: Моцарт, Рембо, Роберто Бенци — пример образца исполнения функции, образчик максимального употребления порций жизни, ведь они имеют свою стоимость; наконец, поэзия Друэ и ей подобных представляет нескончаемую метафору, цепь утомительных находок, акробатические трюки сравнений, она болтлива без умолку...

Тут, пожалуй, нужна прямая цитата: «Тексты Мину Друэ оказываются антиподом подлинной Поэзии, потому как чужды точности называния... Так о поэзии Аполлинера можно с уверенностью утверждать, что лишь точность способна избавить метафору от ненатуральности, что ее красота и истина рождаются из глубочайшего диалектического сопряжения между жизнью языка и его смертью, между оплотненностью каждого слова и однообразной размеренностью синтаксиса».

Умно, не спорю, но чего стоит весь этот храм интеллекта по сравнению с моим тогдашним потрясением и чувством влюбленности длиной в мою жизнь: именно Мину Друэ вывела меня из состояния половой комы.

Голос, в котором — допустим — брезжил некий иной божественный свет.

Замечу для вас, Лена, что вся моя повесть «Гений местности» — о лесе, который стал парком, — вышла не только из почеркушек Пушкина на полях своих рукописей,

но из приснившейся мне во время смерти строчки из письма Мину Друэ: «Мой дорогой Тантон, если есть Бог, то, наверное, лес его придумал».

Короче, именно *неточность слов* была поставлена мне в вину во время эстетической казни всех первых книг, советская редакция оказалась прилежным учеником французского пуризма.

Сыск и казнь Мину Друэ дает мне основания уточнить и масштабную формулу Теодора Адорно. Освенцим ныне не место пыток за чертой бытия, не надмирный чертеж для исправления дурной истории, не исполинский план холокоста, не космос эриний, не кара недостойным народам, а игрушечная гильотина, машинально спрятанная в каждом домашнем предмете, минимализм пытки, пылинки, банальность замученного ребенка, вот новые буквы нашей *поэзии после Освенцима*. Этими буквами-муками-вундеркиндами можно писать новые стихи.

Елена Иваницкая: Прискорбная история маленькой Мину Друэ заставляет вспомнить, что всех вундеркиндов-писателей подстерегала большая беда или смерть. Без единого исключения. А вундеркиндам-музыкантам удавалось раскрыть свой талант в зрелые годы. По-моему, из этого следует, что взрослым людям пора усвоить: маленьких музыкантов все-таки можно выводить на сцену под свет софитов, хотя это и опасно, а маленьких поэтов — нельзя, нельзя и нельзя.

На ваше обращение к Платону — «Аэд, разродись в прекрасном» — разрешите ответить обращением к Гераклиту: «Вечность — дитя, играющее галькой на берегу моря».

Мне кажется, что закат артистизма, утраты в сфере эстетизма — проблемы вечные. Аэд разродился в прекрасном, а народ увлечен неприличными приключениями молодого балбеса, который превратился в осла... Дитя играет камешками.

Сегодня я не вижу никаких катастрофических и невиданных прежде эстетических «утрат». В самом начале нашего века Борис Дубин писал о том, что российская словесность выстроилась в три слоя пирамидально: «литература конвейера» (пестрые книжки на лотке у вокзала) — «литература уровня» (романы в большом книжном магазине или в премиальном цикле) — «литература поиска» (в том числе эстетического — для немногих). Социолог считал бесплодными отчужденно-негативные оценки массового беллетристика («машины для пожирания досуга», говоря вашими словами), а задачу видел в другом — в опосредовании дистанции между литературным сообществом и широким читателем.

И последнее, под занавес. Я поняла вас так, что писательство — это страдание и долг. Писать можно только «буквами-муками», «ключи чтения положены в родовых муках текста». Мне кажется, что мучений и без книги слишком много. Мне кажется, что писатель пишет, а читатель читает, потому что им этого хочется. Для писателя «мука» — это принуждение к молчанию, а не рождение текста.

Анатолий Королёв: Думаю, что читатель читает не потому, что ему хочется читать, а потому что ему хочется «быть», «существовать» и не обретаться «как стоимость»... Ведь чтение есть особая — резко обособленная от быта форма жизни. Массовая литература конвейера и литература уровня (воспользуюсь определением Б.Дубина), на мой взгляд, не имеют никакого отношения к существу читательской жажды быть событием для самого себя, положить цель бытия внутрь своего «я» (проще объяснить не могу). Потому что это два уровня в одном стакане чтения — низкого ли, высокого ли, без разницы — и только в литературе поиска, на уровне эстетических задач и формальной игры, в ненужном «для дома и семьи» космосе формируется существо литературы: дарование смысла твоей личной тайны. Дух той пары-литературы — разгадки и отгадки. Что совершенно меня не интересует, потому как моя цель — увеличение тайны бытия.

Вернемся к пушкинской формуле: он как-то сказал — правда, о картине, а не о тексте — *я вижу в ней много искусства, но ни капли творчества*... Что тут сказано? Разве литература конвейера не лишена мастерства и блестящих находок в сфере подачи и рассказа? Разве в тех романах уровня и бестселлерах нет достижений *искусности*? Разумеется, они там есть, и с лихвой, и там многому, наверное, можно поучиться

профессионалу, но! Но вся эта машинерия досуга, все это умное и разнообразное чтение и чтиво биографий находится вне эстетики, то есть там нет главного — *творчества* — вот то, о чем я пытаюсь выговориться хотя бы самому себе, раз сказать это вам не получается...

Я вовсе не хотел сказать, что долг писателя писать порциями мук, буквами-пытками и буквами долга, и тем более переживать текст как родильные муки, это только метафоры. Наоборот, счастье общего рождения на свет — вот итог сияния творчества, т.е. красоты и художественности/артистизма над океаном личного мироздания. Этим качеством умная и даже гениальная беллетристика не обладает. Душа истины обязательно есть тень вдохновения. Тень той формы, которая предстает перед нами как слепок облака имени: Пушкин! Платон! Утолить свою жажду быть человеком мы можем только у этих парнасских сосцов. И кто есть то дитя, которое играет в гальку на берегу моря у Гераклита? думаю, это сам Творец, который по формуле грека создал мир понарошку. Думаю, Гераклит хотел сказать, что с нами шутить нельзя.

Что еще?

В чем я вижу новизну новых опасностей, которых не было прежде... да хотя бы в том, что мы находимся на сломе эпох. Наступило время гибели бумаги. Сменился носитель культуры, как раньше — упростим — разбились глиняные таблички с клинописью и пал Вавилон, как позднее погиб папирус и заодно с ним пал Египет, как в Средние века сгинул пергамент и на смену ему пришла галактика Гуттенберга, бумага (и каждый раз это сопровождалось фазами смерти культур). Так и сегодня электронные носители пришли на смену бумаге. И по большому счету, и падение тиражей, и проблемы толстых журналов, и торжество беллетристики, и культ продаж, и гримасы литературных премий, и прочие, прочие результаты — есть вариации главного: погибла бумага! Поверьте, книжных магазинов скоро не будет, только — книжные антикварные лавки. Вот что создает — повторяю вас — «катастрофические и невиданные прежде эстетические утраты» — потому что мы имеем дело отныне с *единственным на весь мир читателем* — его имя *социальная сеть*. Вечные проблемы остались в прошлом. Они — парадокс — впервые с точки миллениума не продлеваются, а буксуют. Новое время их не принимает. Социальная сеть бессмертна и не озабочена никакими родами и муками красоты, вот в чем, на мой взгляд, существо потерь, вместе с бумагой сгорела вся галактика Гуттенберга... Содержание дудит в свою дуду, а форма перестала что-либо форматировать, мы стали чужаками в новом раскладе бытия.

Посмотрите на эту бороду бормотания Сети выше, в ее ответе на ваш вопрос, дочитывает ли Она (сеть) или не дочитывает книги. Да без разницы! В этом хаосе реплик нет никакого отвечающего смысла. Напомню формулу бумажной цивилизации: у вопроса есть только один ответ; если у вопроса два ответа, то они убивают друг друга; если у вопроса три ответа — они убивают вопрос.

Сеть выбросила 33 ответа — и 33 раза убила вопрос. Я не пишу для Нее. Мы с Ней незнакомы. Чтение бумаги в моем понимании стало родом чудачества. Стоклеточные шахматы. Вот почему Она не дочитывает... Да по фигу, смысл Сети в пожирании и употреблении самой себя, сродни формуле Шанкары: Атман наслаждается собою как Атманом. Все аргументы Сети для меня лишены репрезентативности. И ссылки на Ее мнение для меня не аргумент. А что же тогда аргумент? В том-то и штука, что институция аргументов тоже видоизменилась, но как — я еще сам не разобрался. Вот еще почему я ушел из романистики, мне непонятна цель творчества и вдохновения в новом формате бытия... Посиживаю на краю, бросаю камешки...

Евгений Абдуллаев

Бишкек утопический, Алма-Ата ностальгическая

«Города, где я бывал, по которым тосковал, мне знакомы от стен и до крыш...»

Города, о которых пойдет речь, не знакомы мне от стен и до крыш. Но бывал в них часто и люблю туда возвращаться.

Алма-Ата и Бишкек.

Несколько последних «барометров» получились как-то с креном в политику, в российские реалии. Решил взять небольшой тайм-аут — нырнуть в родную среднеазиатскую тематику.

Итак, две книги. Первая — сборник «Бишкек утопический»¹ — вышла два с половиной года назад, была получена в подарок от одного из авторов, привезена в Ташкент, прочитана и поставлена на полку. Хотелось откликнуться, но ждал, когда она с чем-нибудь «срифмуется». И дождался: в самом конце прошлого года в Алма-Ате вышел другой сборник: «Иллюстрированный путеводитель по смыслам Алматы»². Оба сборника — результаты коллективных проектов: алмаатинский — литературного, бишкекский — исследовательского³. Оба снабжены картами города.

Между Бишкеком и Алма-Атой всего несколько часов езды, если не застрянешь в алмаатинских пробках, а потом на границе. Города близки не только территориально. Оба расположились в предгорьях, горы видны прямо из центра, огромны, впечатляют. Оба строились по прямоугольной схеме (в отличие от радиального Ташкента): всё под прямыми углами. В обоих городах в центре сохранился «жилой», не задавленный помпезностью, городской дух. В Алма-Ате — поскольку полигоном градостроительных амбиций стала Астана, в Бишкеке — в силу нехватки средств и скромности самих амбиций...

¹ Бишкек утопический: сборник текстов / Сост. и ред. Г.Мамедов, О.Шаталова. — Бишкек: «Штаб», 2015. — 206 с. (Доступен для скачивания: <http://www.art-initiatives.org/ru/content/bishkek-utopicheskiy-sbornik-tekstov>).

² Иллюстрированный путеводитель по смыслам Алматы: Сборник. — Алматы: Книголюб, 2017. — 132 с. Название «Алматы», в официальном порядке введенное в казахстанский русский (вплоть до судебных процессов против тех, кто использовал «Алма-Ата»), естественно, используется и авторами и издателями этой книги. Но поскольку за пределами Казахстана традиционное название города пока никто не отменял (и не переименовывал, по тому же принципу, «Ташкент» в «Тошкент», «Баку» в «Бакы», «Киев» в «Кыив», «Рим» в «Рому»...), пользуюсь им.

³ Кроме текстов о самом Бишкеке, в книге есть еще пара текстов общетеоретического характера по проблемам утопии (Дэвида Харви и Нины Багдасаровой), которые заслуживают отдельного разговора.

Ну и заметная невооруженным глазом и ухом «русскость» этих городов — по сравнению с другими соседними столицами.

Города, конечно, меняются. «За ночь ровно на этаж подрастает город наш...» Приехав после двух-трех лет отсутствия, утыкаешься в центре в какой-нибудь очередной свежевозведенный жилой комплекс. И понимаешь, что хуже типичной советской застройки может быть только атипичная безвкусица новой. Города затопляет машинами. Войлочный купол из смога стал уже почти фирменным знаком Алма-Аты, а недавно соткался и над Бишкеком. И все меньше зелени. И русского языка.

В двух сборниках предпринята попытка осмыслить и удержать исчезающий город. И понять то, что идет на смену.

Начну с «Бишкека утопического».

Сборник — как сообщается в аннотации — «результат исследовательско-художественного проекта “Бишкек: хроники радикального воображения” (2014–2015)». Проект этот осуществлялся группой «Штаб» (Школа творческой актуализации будущего), которую создали в Бишкеке Оксана Шаталова и Георгий Мамедов; оба, кстати, не коренные бишкекцы. «Штаб» — некий аналог питерского «Транслита» (как группы): «левая» политическая теория и риторика, разве что с большим уклоном в гендерные проблемы. Отсюда — из «левой» ориентации «Штаба» — и интерес к советским утопическим проектам.

«Бишкек, — рассказывает в одном интервью Оксана Шаталова, — это уютный город с прекрасной советской модернистской архитектурой, город “с человеческим лицом” (а не державным, властным или имперским). И очень зеленый... хотя деревья вырубает, и вообще в городе гигантская масса проблем. Я думаю, что Бишкек вполне может ассоциироваться с экспериментом; мы посвятили... проект именно этому (экспериментальному, амбициозному) аспекту Бишкека... о советских утопиях, определявших облик города»¹.

В сборник вошли исследования по истории советского Бишкека (Фрунзе), увиденной как «испытательный стенд» различных советских утопических проектов. Причем, не только официальных — вроде типового жилищного строительства, индустриализации, создания киргизской Академии наук... Еще интереснее примеры «неофициальных» утопий. Например, чешского промыслового кооператива «Интергельпо», существовавшего во Фрунзе в двадцатые-тридцатые. Или загадочной диссидентской «коммуны имени Коллонтай», о которой еще скажу.

Возможно, термин «утопия» звучит здесь несколько непривычно — например, в отношении истории трикотажной фабрики «Илбирс» или сооружения телевышки. «Утопия», по определению, то, что присутствует лишь в воображении.

Авторы сборника понимают это понятие шире.

«Город и утопия неразрывно связаны, — пишет в вводной статье Георгий Мамедов. — Идеальному общественному устройству, описываемому утопией, должна соответствовать столь же идеальная организация жизненного пространства». В советском Бишкеке, считает Мамедов, реализовались и утопия «Города-солнца» Кампанеллы и созданная Э.Говардом в начале прошлого века утопия «города-сада».

Сами жители городов эту «утопичность» могут и не замечать.

«Для большинства горожан круглый жилмассив “Рабочий городок”, построенный в начале 1930-х годов, и многочисленные советские мозаики — ничем не примечательные, обыденные элементы привычной городской среды. Еще более обыденными и непримечательными кажутся советские микрорайоны Бишкека. Среднестатистический обитатель панельной пятиэтажки не задумывается о том, что

¹ «Политическое действие практически невозможно, но на воображение ограничений пока нет». Беседа Арсения Жилева с Георгием Мамедовым и Оксаной Шаталовой // Сайт «Colta», 10 ноября 2016 г. <http://www.colta.ru/articles/art/13040?page=2>.

его типовая квартира и рационально организованная среда микрорайона — прямое наследие революционного жизнестроительного утопизма 20—30-х годов».

Все эти черты «утопизма», правда, можно найти и в других городах, чей бурный рост пришелся на советские годы. Это признают и авторы сборника. «Бишкек утопичен ровно в той же мере, что и Саратов, Кишинев или Алматы». В чем же тогда, возникает вопрос, специфика бишкекской утопии? В том, что она реализовывалась на бывшей «национальной окраине»? В чем-то еще? Вопрос остается открытым.

Особняком в сборнике стоит раздел «Радикальная эмансипация». Это публикация анонимных материалов некой загадочной «коммуны им. Колонтай», найденных в архиве бишкекского философа и психолога Арона Брудного¹.

Материалы очень любопытны — сочетанием радикальных архитектурных фантазий (на тему горного города, возводимого с помощью «стратостатов-домовозов»), радикального развития марксистских взглядов на пол и семью и достаточно авангардных — для того времени — поэтических опытов. Последние представляют собой восемь текстов, написанных на обратной стороне почтовых открыток с видами Фрунзе. То есть на открытке — прогуливающиеся возле кинотеатра «Ала-Тоо» гражданами или пляшущие под дойру фольклорными девицами, а на обратной стороне читаешь: «Космос — подлинная революция. / В космосе нет правящего класса. / В космосе — только / трудящаяся масса, / Но нет нетрудового веса. / Масса безвесна. / Бестелесна. / Свободна от дыхания / и метаболизма. / Пролетарий, природа — / последний предел. / Коммунизм есть / советская власть / плюс десоматизация тел. / Земли анатомический / театр забыт. / Даешь новый быт! / Вакуумический».

Эти материалы, относящиеся к началу 70-х, публикаторы (Мамедов и Шаталова) связывают с архитектурным факультетом Фрунзенского политехнического института, где в эти годы разрабатывались проекты по строительству на горном рельефе. Саму «коммуну» публикаторы называют «квир-коммуной» — на том основании, что некоторые ее тексты обнаруживают «конгруэнтность современной квир-теории». Тут, похоже, натяжка. И теории такой тогда еще не было, и не факт, что такая коммуна вообще существовала (впрочем, это допускают и публикаторы)... Больше похоже на какой-то домашний семинар по «творческому развитию марксизма», вроде существовавших в 60-х в Москве и Питере. А тексты на открытках — интригующая страница в истории поэтического концептуализма; узнать бы имя автора...

Авторы сборника стремились (снова цитирую из аннотации) «найти в утопиях прошлого материал как для критического осмысления настоящего, так и для радикального воображения будущего».

«Радикального воображения будущего» Бишкека я в сборнике не нашел, а осмысление настоящего — скорее, не критическое, а ностальгическое. Утопия уходит все дальше в прошлое. Фасадная мозаика с космическими мотивами бывшего «Дома науки и техники», превращенного в караоке-клуб «Запой», замазывается новыми владельцами коричневой краской... В планетарии какое-то время помещается ночной клуб, потом здание превращается в руины... Что-то, разумеется, сохраняется (в Бишкеке, к счастью, никому в голову не приходит сносить «хрущевки»), но все больше становится объектом ностальгии...

Тут самое время закрыть зеленоватый бишкекский сборник и перейти к черному, алмаатинскому. В котором ностальгическая тема пронизывает большинство текстов.

¹ Арон Абрамович Брудный (1932—2011) — незаурядный мыслитель, разрабатывавший в 70—80-е теорию понимания, создавший во Фрунзе философскую школу. Фигура, как бы сказали в те времена, всесоюзного научного уровня. (До сих пор сожалею, что наше общение в конце 90-х было таким коротким...)

я живу на улице Гагарина
в городе переименованных улиц
где у Дзержинского и Калинина подпольные клочки батыров Наурызбая и Кабанбая
но Гоголь с Шевченко все еще держатся паспортных данных
и Фурманов ждет смерти того чье честь и достоинство
охраняется государством
на территории которого все еще есть космодром
и падают отработанные ступени
(будущее страны после того как кончится нефть иногда представляется мне свалкой
радиоактивных отходов Китая и прочих японий)

Мария Вильковская. «День космонавтики»

Различение того, что «все еще» остается, и того, что уже исчезло.

«Город быстро менялся. Он повзрослел сразу на несколько сотен лет, и от прежнего облика некогда уютного города-сада не осталось и следа» (Анастасия Кириенко, «Лавка древностей»).

Даже то, что остается, — усыхает, сжимается, как шагреновая кожа. Меняются дома, меняются до неузнаваемости привычные места.

«Сейчас там асфальт, мосты, развязки, парковки... Наш маленький дом уже совсем не зеленый — тусклый и обветшалый, он жалобно приклеился к основанию многоэтажного урбанистического монстра...» Подзаголовок рассказа Натальи Слудской, из которой взята эта цитата, так и звучит: «Исчезнувший город». Меняется одноэтажная деревянная застройка — резные ставни соседствуют с пластиковыми панелями (Дэнис Кин, «Одноэтажная Алма-Ата»)... Даже городское водохранилище — меняется до неузнаваемости (Сергей Алексеёнок, «О бедном Сайране...»).

Впрочем, это беды почти всех постсоветских мегаполисов: слоноподобные жилые комплексы, автомобильные пробки; и в воздухе — вся таблица Менделеева; кроме, пожалуй, кислорода.

«Моя Алма-Ата была другой — тихой, патриархальной, с запахом дорожной пыли и кислым вкусом незрелой алычи» (Максим Гринкевич, «Мехпоселок»).

Меняется город — меняются запахи.

«Потом я иду вниз по улице Желтоксан. В воздухе зависли капли дождя, пар, запах ужасного одеколona впереди идущего метросексуала, удушающий дым сигары из открытой двери, и еще что-то жареное и одновременно сладкое из десятка встречных ресторанов» (Лиля Калаус. «Если долго сидеть на берегу...»).

И конечно же, смог. «Любимый мордор укрывает смогом / как мягким пледом волглым покрывалом...» — пишет Павел Банников, подставляя вместо «город» — название толкиновской горной страны.

Ловлю себя на том, что начинаю немного перебарщивать с именами и цитатами... Но как иначе дать представление о сборнике, в который вошли тексты двадцати пяти авторов, и очень разных? Не упомянуть, хотя бы назывным порядком, стихи Юрия Серебрянского и Ивана Бекетова? Или замечательную графику Зои Фальковой, которой иллюстрирован сборник, — Фалькова, кстати, и автор самого этого проекта. Собственно, вошедшие в «Путеводитель» тексты были отобраны на основе конкурса, проводимого в рамках этого проекта. То, что сборник — не антология, а публикация конкурсных работ, является плюсом — возникло несколько новых имен. С другой стороны, немного жаль, что в сборнике нет прозы Михаила Земскова, Ильи Одегова, Николая Верёвочкина... Видимо, в конкурсе они не участвовали.

Не все тексты, разумеется, подсвечены ностальгией. Младшее поколение авторов вполне встраивается в приходящий на смену городу-саду мегаполис. Возможно, когда-нибудь и нынешняя Алма-Ата, с ее новостройки, гипермаркетами и заторами, станет объектом элегических воспоминаний.

«Архитектура города постоянно изменяется, — пишут создатели сборника, — и то, что вчера определяло его лицо, завтра может быть попросту снесено, многие артефакты остаются лишь на фотографиях и в памяти горожан. Что же в такой ситуации может рассказать нам о городе? Что может проявить его смыслы, рассказать о том, чем город важен и дорог его обитателям?.. “Иллюстрированный путеводитель по смыслам Алматы” — попытка создания новейшей истории города, его новых мифов и легенд»¹.

И это, безусловно, удалось.

Недавно сайт «TheNational» опубликовал список из 10 самых литературных городов мира и небольшие статьи о них. Это Париж (разумеется), Эдинбург, Барселона, Гонконг (благодаря самому высокому количеству книжных магазинов на душу населения), Каир, Таллин (вот так), Дублин, Танжер, Токио и Петербург².

Алма-Аты и Бишкека в этом списке нет. И дело, думаю, не в количестве книжных и не в литературных музеях; хотя и в этом, наверное, тоже. И не в количестве и качестве писательского сообщества. Дело в создании мифа города, его (города) гуманитарного освоения, создании городского текста.

Еще пару лет назад в разговоре о казахстанской литературе я посетовал на невысокий интерес у алмаатинских авторов к литературному осмыслению города. На то, что в Алма-Ате не возникало аналогии «крымскому», «уральскому», «одесскому», «ташкентскому» и прочим текстам. Хотя, казалось бы, необходимый для этого материал — «воспоминательный», фольклорный, исторический — присутствует...³ Не было заметных попыток и в Бишкеке.

Два вышедших сборника — первые шаги в этом направлении. И по результатам — очень обнадеживающие. Кто следующий на очереди? Астана? Душанбе? Самарканд?.. Будем ждать.

¹ Информация с сайта проекта «Alaguide» (<http://alaguide.kz/>).

² Skirka H. The world's most inspiring literary cities // Сайт «TheNational». 26 февраля 2018 г. <https://www.thenational.ae/lifestyle/travel/the-world-s-most-inspiring-literary-cities-1.708295>

³ Абдуллаев Е. Алмаатинская аномалия. О новой русской литературе Казахстана // Новый мир. 2015. № 12. С. 193. (http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2015/12/almatinskaya-anomaliya.html).

Юрий Подпоренко

Альберт Гогуадзе: главное — быть самим собой

Внимательные посетители Центрального Дома Художника, что в Москве на Крымском валу, наверняка обращали внимание на человека с острым взглядом и запоминающимся обликом, чем-то напоминающим библейских старцев с полотен мастеров Высокого Возрождения, который на протяжении нескольких лет является завсегдатаем этого выставочного пространства. А в последние полтора года вновь созданную галерею грузинских художников «Эрзи» облюбовал для своей мастерской.

Этого человека зовут Альберт Иосифович Гогуадзе. В Википедии о нем всего несколько строк. Родился в 1935 году в Батуми, окончил Тбилисскую академию художеств. Российский художник-нонконформист.

А ведь этот удивительный художник — неотъемлемая часть уходящей, да что уж там, ушедшей эпохи, которая стремительно лишается оттенков и глубины в исторической памяти. Кто, кроме специалистов-искусствоведов вспоминает сейчас о так называемом «советском неформальном искусстве»? Теперь и само это словосочетание звучит как-то странновато. Потому как был западный формализм, с которым официально боролись, а было еще и неформальное искусство, которое представители и руководители искусства официального не замечали. Точнее, делали вид, что не замечают. И уже в постсоветские времена этих самых неформалов, талантливых, ищущих и очень разных художников, одним скопом записали в нонконформисты.

А разве может быть художник, если он действительно творец, то есть создатель чего-то нового, конформистом? В самом подходе, в готовности раскладывать современных художников по полочкам «измов» заложено лукавство.

И что делать тому самому художнику, генерирующему образы, неведомые ему самому до того мгновения, как они проявятся на холсте, картоне или бумаге? Нет у него иного выхода, как становиться... Альбертом Гогуадзе.

В его человеческой судьбе смешалось, соединилось многое и разное. Отец, как прежде говорили, — рабоче-крестьянского происхождения, вторым выпуском окончил Тбилисскую сельскохозяйственную академию, а мать — из древнего дворянского рода.

И художником Альберт стал вроде бы случайно: будучи талантливым акробатом и учеником циркового артиста Арама Ивановича Кука, сыгравшего роль молодого негра Томаса в фильме «Пятнадцатилетний капитан», съемки которого проходили в Батуми, он не поехал поступать, как собирался, в Ленинградский институт физической культуры имени Лесгафта. (Хотя, кто знает, где случайность пересекается с закономерностью? Ведь и его первый учитель рисования Борис Филиппович Бреговдзе, писавший импрессионистские пейзажи, и профессор Академии художеств Василий

Иванович Шухаев, создавший свой уникальный стиль, скептически относились к канонам и догмам в искусстве. Так что стремление Альберта Гогуадзе быть ни на кого не похожим возникло не на пустом месте.)

Эта его непохожесть обошлась художнику дорого — годами не брали его картины на выставки ни в Тбилиси, ни в Москве, куда он перебрался в начале 1960-х годов. И это при том, что Гогуадзе не ёрничал над советским официозом, скажем, как Комар и Меламид, а писал портреты, пейзажи и натюрморты так, как он их видел своим внутренним взором, предупреждая, правда, портретируемых о том, что сходство с оригиналом он гарантирует, но все будет немного по-другому.

Вот это самое «по-другому», похоже, и разводит упорно зрителей по разные стороны эстетических баррикад. Одним подавай «как в жизни», создавая максимальную иллюзию реальности, а других манит неизведанное, и они готовы поучаствовать в процессе то ли достраивания, а то ли разгадывания образа, предложенного художником.

Многие работы Альберта Гогуадзе интересно именно разгадывать. Свершив некий труд, вдруг увидеть в цветовых пятнах пейзажа человеческое лицо, проникнуть в глубь изображения и как бы достроить его.

Правда, работы, созданные художником в его уникальной манере «Пэри-пэртан» (цвет к цвету) требуют от зрителя гораздо больше усилий, словно побуждают преодолеть звуковой, пардон, цветовой, барьер, за которым равные по тону цвета обретают какие-то иные, надмирные свойства. Видимо, так и останется загадкой, как пришел художник к этой манере. Толчком стал то ли солнечный удар, перенесенный им, еще подростком, под жарким южным солнцем, то ли упорное стремление быть уникальным, не таким как все, а, возможно, и еще что-то, не имеющее пока внятного обозначения. Ведь искусство перестает притягивать, примагничивать, когда становится понятным и все его тайны разгаданы.

Были в терпеливой творческой судьбе Альберта Гогуадзе и квартирные выставки, и участие в легендарной выставке в Доме культуры на ВДНХ в 1975 году, и персональные выставки на Малой Грузинской, на факультете психологии МГУ, в Государственном музее современной истории России.

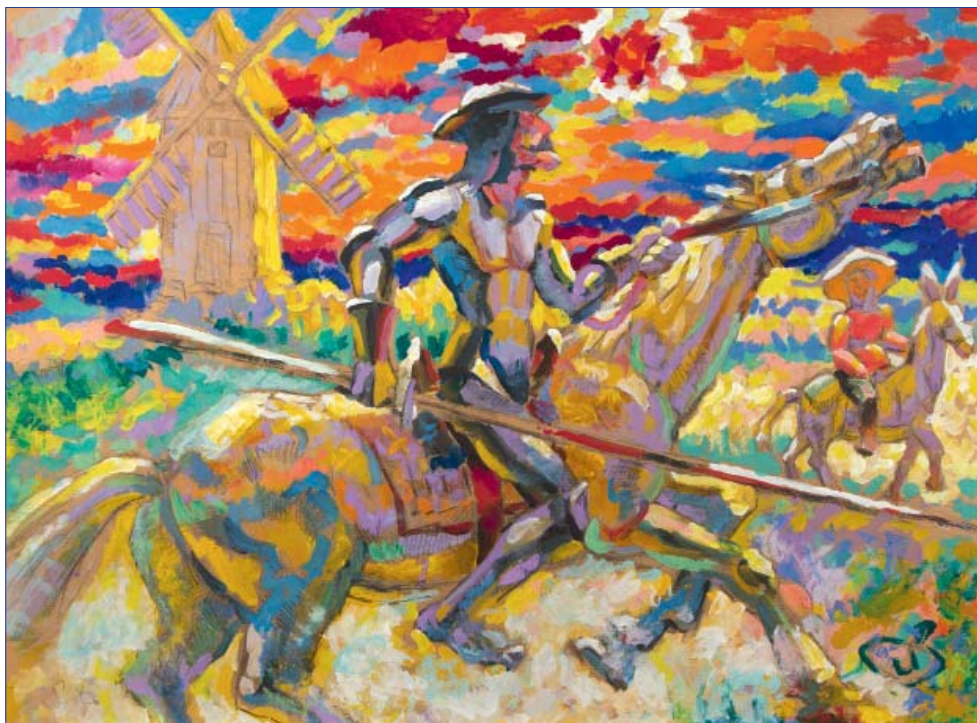
И, как это нередко случается в наших отчизнах, к художнику пришла зарубежная слава, когда, начиная с 1992 года, он почти полтора десятка лет ездил в Германию, обретая там и друзей, и неподдельный интерес к своему творчеству, создавая свои оригинальные работы прямо там, при подготовке очередной выставки. И теперь по всему миру разбросаны десятки тысяч работ Альберта Гогуадзе, поскольку в советское время их можно было вывозить из страны безо всякого таможенного оформления, как «не имеющие художественной ценности».

А в Центральный Дом Художника Альберт Иосифович зачастил в 2014 году, когда был приглашен участвовать в Московских международных художественных салонах «ЦДХ-2014» и «ЦДХ-2015», проводимых Международной конфедерацией союзов художников с 1998 года и, увы, ставших теперь, как и сама Конфедерация, историей.

Но галерея грузинских художников «Эрзи», организованная предпринимателем и коллекционером Элизбаром Маргошвили, в ЦДХ работает, и здесь можно познакомиться с самим художником, неизменно готовым к горячим дискуссиям об искусстве, и с его работами.



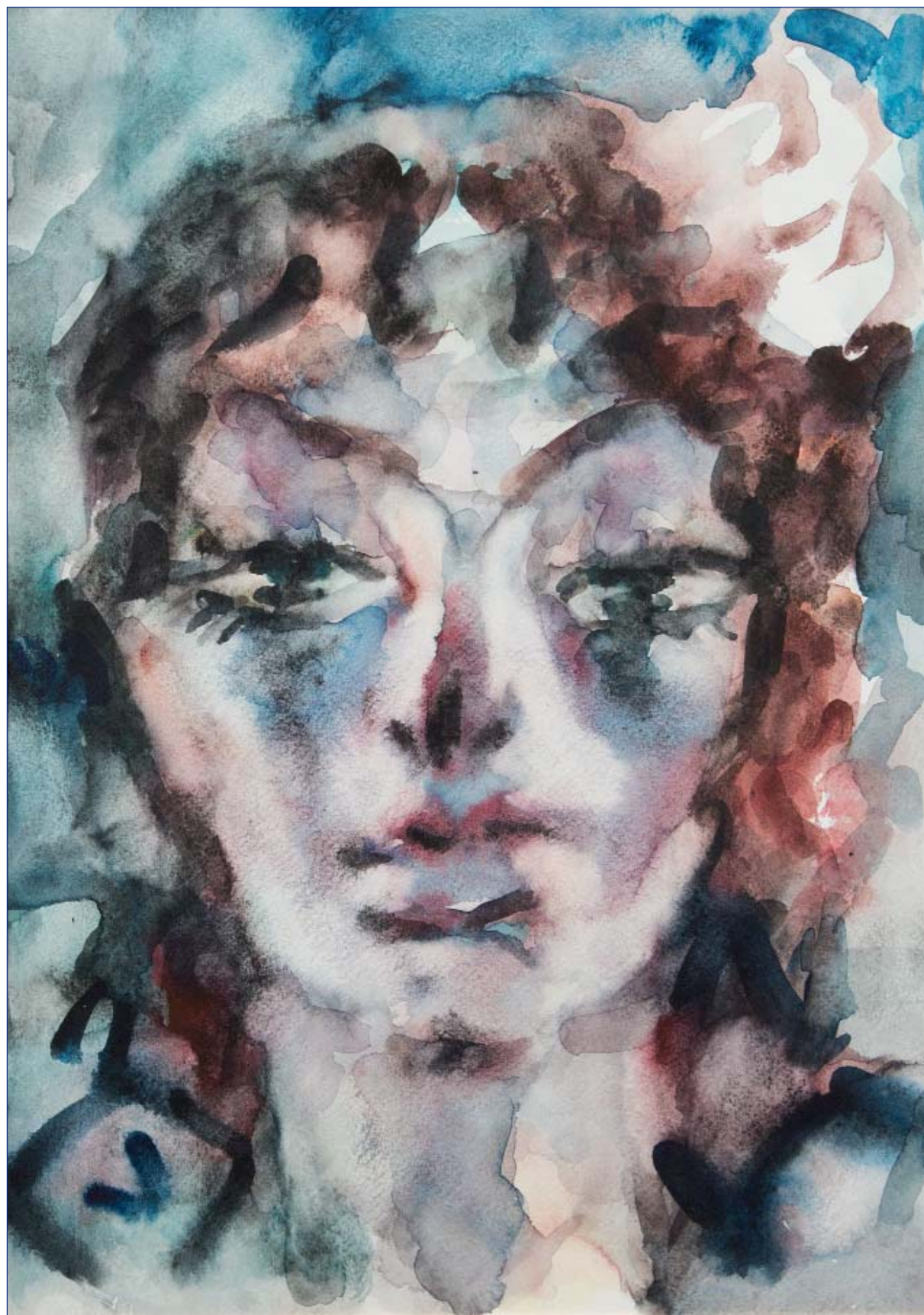
Альберт Гогвадзе
АВТОПОРТРЕТ, 1962
картон, масло, 35x20



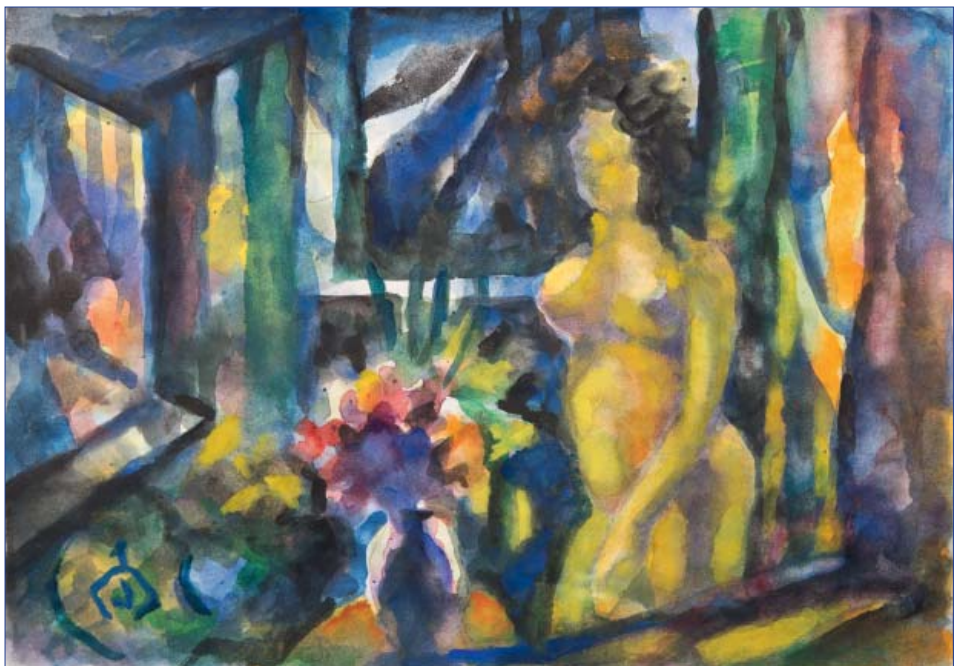
Альберт Гогадзе
 ДОН КИХОТ, 1988
 темпера, бумага. 56х77



Альберт Гогадзе
 МАМЫ И ДЕТИ, 1978
 бумага, акварель. 30х42



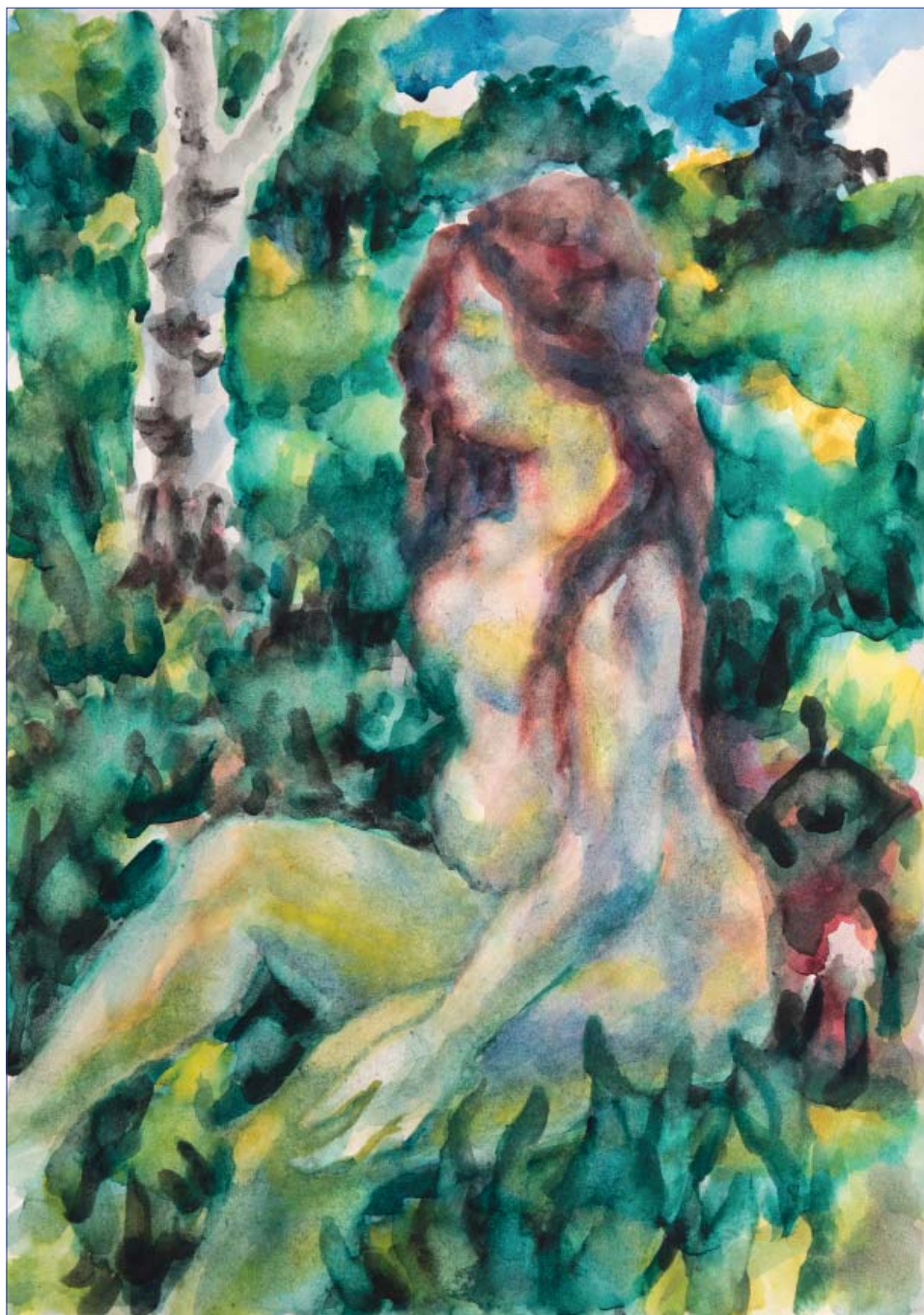
Альберт Гогугдзе
ДЕВУШКА С БАНТОМ, 1978
акварель, бумага, 40х30



Альберт Гогуадзе
ДАМА В ИНТЕРЬЕРЕ, 1977
бумага, темпера, акварель. 30х42



Альберт Гогуадзе
ФИГУРКИ У БЕРЕГА МОРЯ, 1977
картон, масло. 40х50



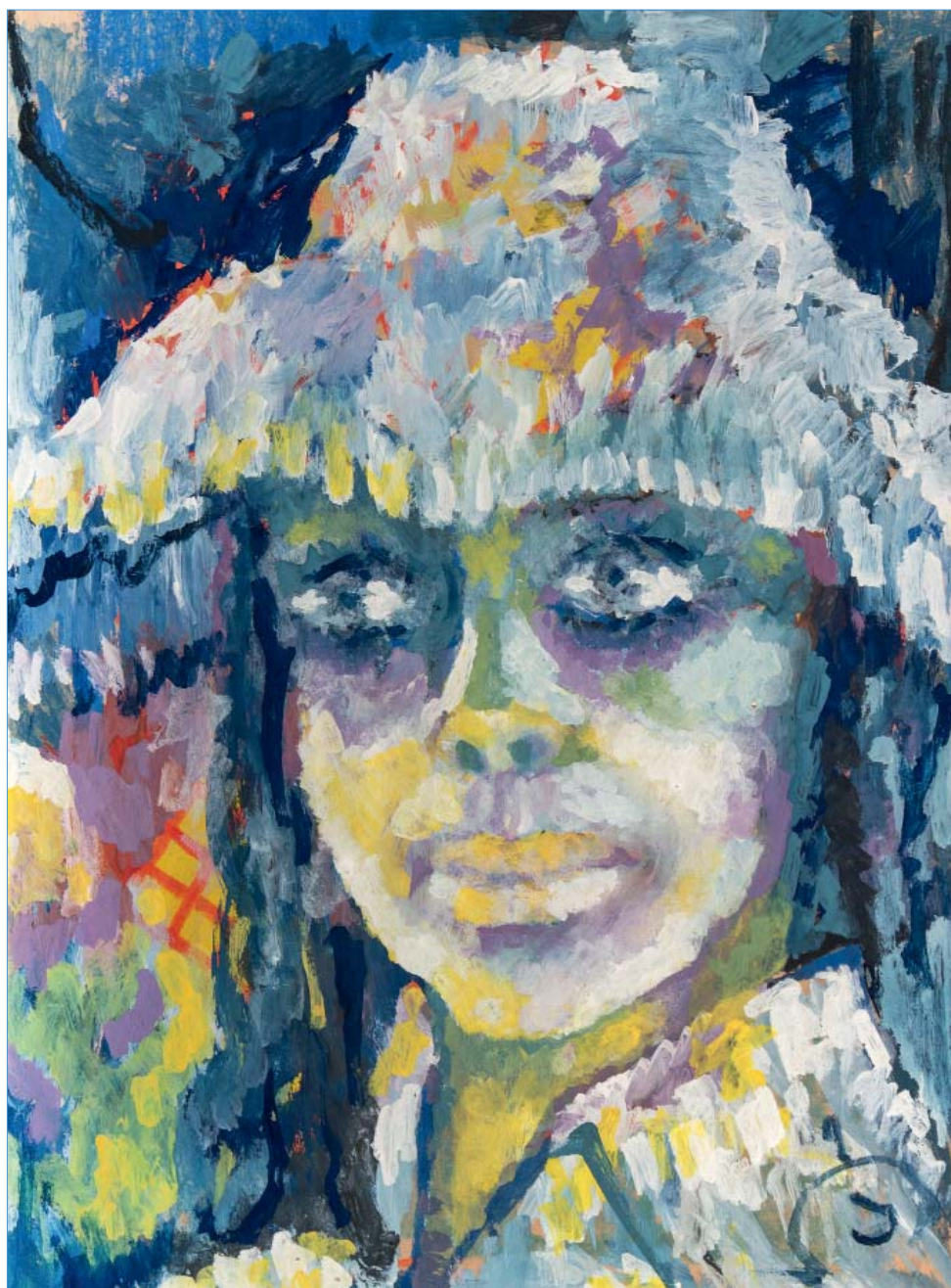
Альберт Гогуадзе
СИДЯЩАЯ НА ТРАВЕ, 1979
бумага, акварель. 42х30



Альберт Гогуадзе
КАВКАЗЕЦ, 2012
картон, масло. 50х60



Альберт Гогуадзе
ДЕКОРАТИВНЫЙ МОТИВ №1998, 1964
темпера, бумага. 41х50



Альберт Гогуадзе
ЖЕНЩИНА В ШЛЯПЕ, 1985
темпера. 55х40



Альберт Гогуадзе
НАТЮРМОРТ № 170, 1977
бумага, темпера. 41x58



Альберт Гогуадзе
ЦВЕТ К ЦВЕТУ. НАТЮРМОРТ, 2011
картон, масло. 40x50

Фишка не шутка! Пушкин в помощь...

Рубрику ведет Лев Аннинский

Сибирское раздолье перекликается со всесоюзной бескрайностью, столичные указания, спускаемые сверху, вязнут в перекрестном уюте элитных бараков, мечты о ВГИКе подкрепляются воспоминаниями о шахте родного Кузбасса... Юрий Мирошниченко издает в Москве книгу «Непридуманные рассказы и сказки», куда уложено наше все. И обязательно — тут Пушкин... Кто это такой, герой романа после травмы подзабыл, но все время слышит: «Если ты чего-то не сделал, Пушкин, что ли, за тебя это сделает?» А это уже в 1957 году: и все ждут новостей не о Пушкине, а о заговорщиках: Молотове, Кагановиче, Маленкове и кто там к ним примкнул. И то ли их, как раньше водилось, поставят к стенке, то ли поступят помягче: дадут сроки или просто попрут со всесоюзных должностей. И при этом без перерыва: «Буря мглою небо кроет...» Дался же нам всем Пушкин... О Пушкине герой Мирошниченко повествует, как о ВГИКе, со спокойной интонацией: все делается правильно!.. Меж тем, эта правильность постоянно сотрясается от мелких и крупных срывов, из которых герои выходят как ни в чем не бывало. Что и побуждает меня задуматься над такими делами.

В день выборов в Верховный Совет СССР (!) начальство, прибывшее в район действий, пускает в дело пачку поддельных бюллетеней. Почему? Потому что подлинные, подписанные, которые агитаторы везли от избирателей после выпивки («Пока не выпьете, голосовать не будем»), вывалились из телеги где-то в снежных заносах — искать некогда... Выборы проходят триумфально.

Но тут — большая политика. Иногда срывы происходят просто от нечего делать. Дружная компания собирается и харкает на пол; стоят кружком и созерцают нахарканное. Идущие мимо бездельники, видя этот кружок, присоединяются и смотрят, что же там такое... Зачинщики хохмы потихоньку ретируются, а бездельники продолжают стоять и гадать, что же означает эта рвотная лужа на полу... Прелесть такого рода забав в их изначальной и окончательной бессмысленности.

Однако смыслы обнажаются. Один из героев одержим ненавистью к бандитам: вступает с ними в драку даже в самых проигрышных ситуациях, и удержать его невозможно. Откуда такая ненависть? Хочет навести порядок на улицах? Или, напротив, скомпрометировать стражей порядка в глазах народа? Ни то, ни другое! А просто есть в характере это парня какая-то врожденная необъяснимая ненависть к

бандитам и уличным проказникам, какую и назвать-то не знаешь как. Мирошниченко придумывает для этой одержимости словечко: «фишка».

И своя фишка — у героя соседнего рассказа: он упоенно матерится, да так артистично, что люди приходят слушать из дальних мест. А он-то чего хочет? Отучить односельчан от мата? Пристрастить их к мату? Ни то, ни другое.. Мат — это его страсть. Его фишка.

Но Пушкин-то, Пушкин тут причем? Да при всем! Ему бы отдубасить Дантеса обломком тяжелой мебели, а не состязаться с ним в стрельбе. Но и у Пушкина в душе — *фишка*, которая не позволяет ему воздержаться от абсурдной и губительной дуэли!

Без этого наше все уже не все.

Есть у нас История!

Вот такая, какая есть.

Summary

It's generally believed that in the XXI century Russia stopped being a literature-centric country. But this can't be said about today's authors — not only because of them being devoted to their profession, but also because of their active interplay with the works of their predecessors. In Vladimir BEREZIN's book «The Bloom of the Vital Forces» Karlsson and the Kid try on the collisions of «The Captain's Daughter» and «A Hero of Our Times», the characters and the deeds of Sherlock Holmes, The Boy Nipper-Pipper and Harry Potter. The title of Valerij Bochkov's novel «Return to Eden» refers to the book after which the famous serial was shot, but the author's intention is much higher — this is The Book of Books, its authors, postulates and protagonists. The authors of the short stories published in this issue play with the titles which became the tokens of modern culture: «The Flying Dutchman», «Lady Hamilton», «The Sound and the Fury», «Gentleman from San Francisco», «Lady Macbeth of Kaprovanskij District».

Poetry

In this issue: shrilling poems about the war in Donbass by Ukrainian poets Evgeniya BILCHENKO and Ivan VOLOSUK and about the mysterious den of evil in our hearts — by Olesya NIKOLAEVA. The lyrics by Kazakh poet Zair ASIM are full of contemplativeness and metaphors. Piotr MATYUKOV and Maya SHVARTSMAN, winners of The World Championship of Russian Poetry, are debutants on DN's pages.

Vasilij KRUKOV. The Way of the Word

Sincere notes about the simple and the ordinary which the higher plans of existence are showing through.

Sergej MARKEDONOV. Russia and Post-Soviet Conflicts

The author analyses the conflicts all over the ex-Soviet territory and points out the most important tasks of Russia as far as supporting of security in the region is concerned.

Elena IVANITSKAYA, Anatolij KOROLEV. Death of the Paper

The dialogue of the critic E.Ivanitskaya with the writer A.Korolev is about the fate of the paper books in our times.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Мобильная версия «ДН» для устройств на iOS доступна в App Store и на <https://itunes.apple.com/ru/app/druzba-narodov/id893172883?mt=8>

Верстка: Елена ЖИРНОВА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»

**4/2018**

В номере:

Роман Валерия Бочкова
«Возвращение в Эдем»:

“Потом ловко, как портовые грузчики, индейцы взвалили мертвых бандитов на плечи и гуськом — один за другим — исчезли в черной пасти сейфа. Я лежал под днищем машины, и мне даже не было страшно. Разжал кулак, в ладонь впечатался амулет со святым Дмитрием Солунским. Может, эта Ева из бутылки действительно права насчет имени: у меня, человека паталогически мирного, покровителем числится один из самых воинственных святых.”

Повесть Владимира Березина
«Комендантская дочка»:

“Карлсон открыл томный взгляд. На лице его ничего не изображалось, кроме физической муки. Казаки отнесли его на бурке, испятнанной кровью. Рана Карлсона оказалась не смертельна. Его с конвоем отправили во Владикавказ. Малыш видел из окна, как его уложили в телегу. Взоры их встретились, он потупил голову, а Малыш поспешно отошел от окна. Малыш боялся показывать вид, что торжествует над несчастьем и унижением недруга. Шамиль же бежал, преследуемый Ермоловым. Вскоре все узнали о совершенном его разбитии (в который, впрочем, раз).”

Рассказ Александра Феденко «Муха»:

*“Петр Ильич отвернулся, угодил взглядом в гроб, дотянулся до него рукой и оперся. Кто-то, наверное, все тот же Матвей Романович, сказал только:
— В добрый путь, Петр Ильич, в добрый путь. Не поминай лихом.
Петр Ильич покосился набок, помутнел, залез внутрь и лег. Глаза его устало закрылись.
Толпа издала вздох облегчения и начала расходиться.”*

И многое другое...